95 коп. 14 Индекс 73276

В 1989 ГОДУ «НЕВА» предполагает опубликовать:

Евгений Гнедин. Катастрофа и второе рождение. Записки дипломата.

Глеб Горбовский. Шествие. Повесть.

Анатолий Злобин. Демонтаж. Роман.

Илья Ильф. «Бал эпохи благоденствия». Из записных книжек.

Вениамин Каверин. Эпилог. Роман воспоминаний.

Виктор Конецкий. Париж без праздника. Непутевые заметки.

И. Меттер. Пятый угол. Повесть.

Алексей Ремизов. Кукха (Розанова письма).

Юлиан Семенов. Ненаписанные романы. Цикл второй.

Аркадий Стругацкий и **Борис Стругацкий.** Град обреченный. Вторая книга романа.

Валентин Тублин. Заключительный период. Роман.

Владислав Ходасевич. Дом искусств.

Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1938—1941.

Планируется публикация новых произведений **Д. Гранина, М. Чулаки, Н. Сладкова, Н. Катерли.**

На страницах «Невы» будут опубликованы также произведения зарубежных авторов: **Грэма Грина, Дафны Дюморье, Станислава Лема** и других.

Подписка на журнал «Нева» принимается без ограничений.



«Нева», 1988, № 8, 1—208

НЕВА 8 1988

ISSN 0130-741X

НЕВА

8 | 1988



НЕВА

Выходит
с апреля
1955
года

8 | 1988

Ежемесячный
литературно–
художественный
и общественно–
политический
иллюстрированный
журнал

Орган
Союза
писателей
РСФСР
и Ленинградской
писательской
организации



**Ленинград.
Издательство
„Художественная
литература.“
Ленинградское
отделение**

Содержание

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

СРЕДИ КНИГ

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

В номере вклейка: «Георгий МОСЕЕВ. Сценограф и живописец».

На обложке: гравюра А. УШИНА «Фонтанка. Пантелеймоновская церковь».



Рис. В. Шаронова

Майя БОРИСОВА

ВЕЧЕРНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Черный вечер. Белый снег.
Несчастливый человек.
Соглашусь на эту роль,
вечную тоску и боль,
лишь остался бы вовек
мирным — вечер,
чистым — снег.

1988

НА УГЛУ МАРСОВА ПОЛЯ

По периметру луг огибая,
сочлененным гремя костяком,
работящее тело трамвая,
проползает неспешным ползком.
И, боками блестя, словно глобус,
заслоняя дворцовый фасад,
выплывает туристский автобус
с этикеткой во лбу «ЛЕНИНГРАД».
В нем привычная служится месса:
микрофончик приладив ко рту,
тихой пастве воркует гидесса
про гармонию и красоту.
Той, насупленной бабушке в шали,
тем, кто выпить имеет в виду,
тем, двоим, им бы лишь не мешали
целоваться в последнем ряду...
О имперская наша гордыня,
вековых заблуждений оплот,
будто к нам пилигримов доныне
привлекают Баженов и Клодт.
Будто прибывший мыслью — в барочных
и ампирных дворцах и садах,
а не в личных своих заморочках,
не в сапожно-колбасных рядах!
Только вдруг прикорнувший сутуло
лик и взор поднимал, трепеща,
и житейское к вечному льнуло,
утешенья, опоры ища.

1987

* * *

Воспоминанья пишут старики.
Борцы за правду ныне летописцы.
Но вот им говорят, что нетипичны
их взгляды на событья старины.
Приходят люди мирных штатских званий
и заверяют мудро, как врачи,
что те, кого они друзьями звали,
на самом деле были их враги.
И старики сперва кряхтят от срама!
Их блеклый взгляд бескомпромиссно хмур.
Но их давно уже пригрела слава,
и слава эта жестче, чем хомут.
Она их укрощает, усмиряет...
И, прокурорски к прошлому строги,
с посредственным учебником сверяют
свои воспоминанья старики.
Но по ночам, когда тревожны тени,
когда все звуки зыбки и смутны,
я знаю: в стариковские постели
приходят несознательные сны.

Приходят сны высокой, чистой стати,
не зля, не упрекая, не дразня.
И бой гремит.
И рядом — крепче стали —
трагично ясноглазые друзья,
а враг — он там!
Огнем к земле придавлен!
И ловят солнце чистые клинки!
И дни победы,
славы
и предательств
пока что невозможно
далеки.

1958

МЫ БИТНИКИ

Рыданье линий ломаных,
крик рытвин!
Променяны мелодии
на ритмы.
Мы навсегда с иконами
простились,
мы молимся синкопами
пластинок.
Как грубо бьется в ставни век
свет улиц!
Машинный век, холодный век
нас учит.
Мир ждет, дыханье затаив,
скандала,
а мы — лишь сыновья твои,
стандартность.
Мы дух эпохи стережем,
поверьте!
Танцмейстер наш и дирижер —
конвейер.
Мы — всходы, злые, ранние,
мы — судьи.
А в мире все изранено:
и судьбы,
и зёмли, что стальным огнем
изрыты,
и плоскость неба за окном,
и ритмы.
Не надо, не судите нас
так строго.
Он очень точен — хриплый бас
Армстронга.
Земля гудит, земля горит,
в ней — трупы.
Мы ловим ритм, мы входим в ритм.
Нам — трудно.

1959

Яков ЛИПКОВИЧ



Повесть

Рис. А. Пахомова

ВМЕСТО ПРОЛОГА

...Шесть дней мы не вылезали из окопов. Держали нас там на случай, если немцы, окруженные в Т..., надумают прорываться на нашем направлении. Правда, мы сильно сомневались, что из всех направлений они выберут именно наше: надо было окончательно потерять рассудок, чтобы выходить на соединение со своими дальним кружным путем.

В общем, чутье нас не обмануло. Действительно, немцы попытались выйти из блокированного города впрямую как раз там, где новая линия фронта проходила в каких-нибудь шести — семи километрах, то есть в полосе, где все было подготовлено к их разгрому. Они шли напролом, разгоряченные обильным шнапсом, подгоняемые отчаянием и надеждой. И смерть сотнями косила их. В результате половина гитлеровцев была уничтожена, а половина взята в плен. Потом нам рассказывали: куда ни глянешь, всюду среди гусеничных следов валялись трупы в грязно-зеленых шинелях и над неостывшей кровью поднимались испарения. Некоторые танкисты после этого несколько дней не могли брать в рот мяса. Словом, разгром был полный. В связи с тем, что мы тоже выполнили свою задачу — проторчали шесть суток в окопах, наш батальон отвели в ближайшее село на отдых.

Вскоре мы занялись тем, чем обычно занимаются части, отведенные на формировку,— готовились к новым боям. Конечно, жизнь у меня была вольготнее, чем у строевых офицеров, которых с утра до ночи мурыжили в поле и на полигоне. Но хорошо помню, что поначалу я тоже был загружен по горло. Прежде всего не было отбоя от больных. Пока шли бои, никто не хворал. А тут повалили, кто с простудой, кто с фурункулами, кто с потертостью. Один даже заявился с местным «подарочком», проявившим себя, как это и значилось в медицинском справочнике, уже на третий день.

А потом напряжение вдруг как-то сразу спало, и я зажил спокойной, неторопливой, размеренной жизнью батальонного фельдшера. К этому располагало и жилье — большая удобная хата в центре села. Из трех комнат самую просторную и светлую отвели под санчасть. Чтобы не разводить инфекцию, я попросил хозяев убрать все лишнее: фотографии со стен, цветы с подоконников, занавески, коврики, половики. Оставил лишь то, без чего нельзя было обойтись: стол и тумбочку под медикаменты, кровать для себя.

Надо сказать, что хозяева приняли все мои нововведения безропотно. Возможно, они даже рады были, что у них поселился «пан ликар», как они уважительно меня величали, к тому же один. В соседних хатах, например, ногу негде было поставить — чуть ли не в каждой комнате размещалось по десять — двенадцать бойцов. Разница? Но действительно ли хозяева молились на меня, как на выгодного постояльца, я не был до конца уверен. Кто знает, что они там думали обо мне. Да и вообще мы редко попадались друг другу на глаза. Я жил на своей половине, они на своей. Видел я их преимущественно из

окна. То проходил мимо, как всегда потупив голову и опустив широкие плечи, хозяин. То пробегала, бросив быстрый взгляд на марлевые занавески, вечно спешившая куда-то хозяйка. И лишь четырнадцатилетняя Ганна, единственная в семье, кого я знал, как зовут, на цыпочках, тихо поскрипывая половицами, подходила к двери в мою комнату и прислушивалась к тому, что я делал.

Впрочем, мне положительно было не до хозяев. Голова у меня была забита другим — непонятным, загадочным, необъяснимым молчанием Тани. Ведь прошли две недели, как я послал ей записку, в которой намекал на свое одиночество и просил приехать, а она почему-то не ехала. Последние несколько дней я прямо не находил себе места. Смешно говорить, но всякий раз, заслышав на улице чьи-то легкие шаги, бросался к окну и, если не доставал прохожего взглядом, высовывался по пояс. Или замирал, когда поблизости скрежетали автомобильные тормоза и останавливалась машина. А однажды со мной произошло и вовсе нечто странное. Меня вызвали в корпус на совещание среднего медицинского персонала. Я ехал в кабине грузовика и всю дорогу — как туда, так и обратно — по своей близорукости чуть ли не каждую попадавшуюся на глаза военную девушку с замиранием сердца принимал за Таню. Для этого той достаточно было иметь темные волосы и легкую походку.

Возможно, измученный вконец ожиданием, я бы рванул к ней сам. Но, с одной стороны, я боялся разминуться, а с другой — никто бы не дал мне сейчас увольнительной: со дня на день ожидался приезд командующего армией, собиравшегося проверить, как мы готовимся к предстоящей операции. Можно было, конечно, смотаться в самоволку. Но стоило мне только представить, что кому-то может понадобиться моя помощь (вот как вчера, когда с полигона доставили бойца с закрытым переломом руки), а меня нет, я тут же глушил в себе это поползновение. В общем, заменить меня было некем... в отличие от Тани, которая всегда могла попросить кого-либо из подруг подежурить вместо себя, что она, кстати, и делала раньше...

После того, как ее из отдельного истребительного противотанкового дивизиона, где она была санинструктором батареи, перевели в армейский хирургический госпиталь, мы встречались довольно часто. За какой-нибудь час я легко добирался до госпиталя. У Тани же на дорогу уходило примерно вдвое больше времени. Она не могла удержаться, чтобы не свернуть в лес, и там непременно нападала на грибное или ягодное место. Не помню, чтобы она приходила с пустыми руками. Я любовался ею, когда она, закатав рукава гимнастерки, весело поглядывая на меня, принималась жарить грибы или перебирать ягоды. Я чувствовал себя тогда самым счастливым человеком в батальоне... почти мужем, да, почти мужем этой необыкновенной, удивительной девушки. На душе был полный покой, как будто все, что делалось кругом, включая войну, не имело к нам никакого отношения. Казалось, так будет всегда. И эти встречи, и эти ягоды, и эти сеновалы, где в самый неподходящий момент начинали ворковать голуби. Сказочные полгода. Мы даже стали забывать то недоброе для нас время, когда наши части — мой батальон и ее дивизион — дрались на разных направлениях, и мы виделись всего три раза. Можно представить, как я тогда истосковался по ней, а она по мне, так, во всяком случае, она говорила. И у меня не было основания ей не верить. Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь отозвался о ней плохо. Как-то в одном селе я заночевал с ребятами из ее дивизиона. Они направлялись куда-то в тыл за новыми орудиями. Я давно забыл, в какой связи зашла речь о Тане, возможно, я сам заговорил о ней. И тут все шестеро иптаповцев, включая их командира, словно сговорившись, в один голос стали нахваливать своего санинструктора: и дело знает, и пуль не боится, и себя в строгости держит. Сколько мужиков ни пытались подъехать, всех отшила. В том числе самого командира дивизиона гвардии майора Гулыгу, которому незадолго перед этим спасла жизнь — вытащила контуженного с поля боя из-под носа вражеских автоматчиков. Находившийся в соседней комнате ординарец комдива слышал каждое слово. Когда гвардии майор полез к ней, она выхватила из санитарной сумки гранату и сказала: «Только посмей! Выдерну чеку!» Конечно, рассказывая об этом, ребята не знали и не догадывались о наших отношениях. Да и меня они видели в первый раз. Но я нисколько не сомневался, что Таня способна на такое...

В свои двадцать два года Таня пережила столько, что мне и не снилось. Правда, она была почти на два года старше меня (чем я тоже, как ни странно, гордился), но не это имело значение. Просто в то время как я припеваючи жил с родителями, она на целых пять лет была разлучена с отцом, известным историком гражданской войны, и матерью, лучшим врачом-педиатром Харькова. Я еще только раздумывал, куда поступить после десятилетки, а она уже кончала второй курс исторического факультета. Дальше — больше. Перед самыми экзаменами ее, не объясняя причины, отчислили из университета, и она вынуждена была пойти работать дворником. Впрочем, занималась она этим, по ее выражению, бесспорно-полезным трудом всего три месяца. Неожиданно вернулись из заключения родители. Лишь шесть дней было отпущено им судьбой на радость: грянула война. Уже на другой день Таня записалась на курсы медсестер и ровно через месяц получила назначение санинструктором в одну из формируемых частей. Под Киевом она была тяжело ранена в ногу, едва не угодила в плен. К счастью, ее прямо на поле боя подобрали местные жители. Несколько месяцев она пролежала в низком сыром погребе на сбитых на скорую руку нарах. К зиме рана, наконец, затянулась, и Таня, напялив на себя какое-то немыслимое тряпье, двинулась пешком в Харьков. Однако родителей там она уже не застала. Соседи сообщили, что они были эвакуированы за несколько часов до прихода немцев. Но куда — неизвестно.

Обычно Таня не вдавалась в подробности, вспоминая о своем участии в местном подполье. И вообще она не любила рассказывать о себе. Все, что я знал о ней, было собрано по крохам за полтора года нашего знакомства. Так, только недавно мне стало известно, что она выполняла какие-то очень опасные задания подпольного центра. В частности, не без ее помощи был уничтожен некто Полоз, принимавший участие в расстреле харьковских евреев.

Снова на фронт Таня попала только после первого освобождения Харькова. Она пришла на только что созданный призывный пункт и потребовала, чтобы ее направили на передовую, минуя запасной полк. Так она оказалась в нашей армии, в отдельном гвардейском истребительном противотанковом дивизионе. Не знаю, сколько раненых она вытащила с поля боя, но ко времени нашего знакомства под Лизогубовкой она уже была награждена двумя орденами: Отечественной войны I степени и Красной Звезды. То, что она получила их за дело, а не за красивые глаза и прочее (такие случаи тоже бывали на фронте), я понял с первой нашей встречи. Да, забавной была эта встреча, хотя и произошла при обстоятельствах далеко не забавных. После того как немцы перешли в контрнаступление и выбили нас из Харькова, наши части — моя и Танина — отошли на левый берег Северного Донца. И вот во время этого лихого драпа судьба и свела нас. Оказавшись без машины, которая в темноте налетела на танк и осталась без радиатора, я вынужден был «голосовать». Долго никто не обращал внимания на мою метавшуюся по обочине фигуру в короткой — не по росту — шинели. Возможно, я казался подозрительным. Но одна машина все-таки остановилась. Когда я залез в фургон, и меня в кромешной тьме стало швырять от борта к борту, я вдруг обнаружил, что здесь еще несколько человек, в том числе две девушки. Одна из них взяла меня за руку и усадила рядом с собой, на свободное место. Это и была Таня. Конечно, в тот момент я интересовал ее лишь как объект мимолетной заботы. Она даже не видела моей физиономии, а «спасибо!», наполовину проглоченное мною во время тряски, Таня, я думаю, не расслышала. Разглядели мы друг друга только когда закурили. На нас падали короткие и слабые отсветы от попыхивающих самокруток. У нее было вдумчивое городское лицо, которое с каждой новой затяжкой, выхватывавшей его из темноты, все больше раскрывало свою неспокойную красоту. Я уже не мог оторвать от него глаз, и Таня, видя это, нарочно, как потом призналась, погасила недокуренную цигарку, хотя и не накурилась еще. Она не выносила, когда на нее смотрели в упор незнакомые или малознакомые люди.

Я же продолжал дымить и был весь на виду. И она, как выяснилось позже, тоже что-то углядела. Рассматривая себя, тогдашнего, на фотографии, я по сей день недоумеваю, что она во мне такого нашла. Крупноватый нос, вечно скорбные близорукие глаза, ранняя синева завалившихся щек. Существовала еще

густая черная шевелюра, но она вся была упрятана в шапку-ушанку и, естественно, не участвовала в пробуждении интереса ко мне.

Пока мы курили и приглядывались друг к другу, разговор был какой-то случайный, не запомнившийся мне не единым словом, как будто его и не было. В то же время я понимаю, что такого не могло быть. Ведь о чем-то мы все-таки говорили. О сволочной погоде хотя бы.

Зато темнота, которая наступила после того, как мы перекурили, придала нам смелости. Через час мы уже многое знали друг о друге, хотя больше говорил я. Тогда меня страшно поразило, что Таня чуть ли не с первого взгляда признала во мне ленинградца. Ведь в равной степени я сошел бы за москвича, киевлянина или жителя любого крупного города от Белого до Черного моря. Я не буду пересказывать, о чем мы говорили. Незачем и ни к чему. Скажу лишь, что я был в ударе и что за разговором мы не заметили, как прошла ночь. С небес на землю нас вернули частые удары зенитных орудий. Немецкая авиация бомбила переправу через Северный Донец, которую мы только что проехали. На телеграфном столбе с оборванными проводами во все стороны глядели указатели. Таня побежала к своим расчетам, я — к своим ребятам.

Мы встретились с ней только спустя два месяца. Потом еще раз встретились, и еще... Она была первая моя женщина, а я у нее второй мужчина, и то, что знала она, стало и моим знанием.

И лишь война нам была ни к чему: каждая наша встреча могла стать последней...

1

Говоря военным языком, я располагал достоверными разведданными, что с Таней ничего не случилось. Одна из наших телефонисток, Анечка Белобородько, ездившая в госпиталь по поводу каких-то своих таинственных болезней, нажитых еще в первую военную зиму, видела ее там и, зная в общих чертах о наших отношениях, не преминула сообщить мне, что с Таней все в порядке, что она жива-здорова и что, несмотря на жестокую бомбежку, которой недавно подвергся госпиталь (один врач и одна сестра были убиты и четверо раненых снова ранены), жизнь в нем быстро наладилась. Разумеется, никаких приветов, ни ей от меня, ни мне от нее, Анечка не передавала: она делала вид, что ничего не знает о нашей, как тогда говорили, дружбе. Что-что, а чужие тайны наши телефонистки хранить умели.

Я был в полном недоумении. Думать плохо о Тане я не мог, я запретил себе это с самого начала. Но была же какая-то причина, которая мешала ей приехать? Может быть, в связи с потерями, понесенными медиками во время бомбежки госпиталя, запретили увольнения? Ведь и раньше, судя по Таниным рассказам, людей не хватало, а тут такое дело...

Но в этом случае она должна была написать. За столько дней мы успели бы обменяться десятком писем. Да и не похоже было на нее — не отвечать на мои послания. Ведь она прекрасно знала, как я истосковался по ней. Раньше, когда она не могла почему-либо приехать, непременно писала. Пусть немного, всего несколько строк. У меня сохранились все до единой ее записки. На днях я не выдержал и жадно, с чувством непонятной неловкости перечитал их. Исписанные ровным стремительным почерком лучшей студентки, эти дорогие для меня тетрадные листки только подогрели мое нетерпение. Двадцать шесть записок!

А что, если она написала, а записка не дошла? Мало ли какие могли быть обстоятельства! Ну, потеряли, забыли передать. Наконец, что-нибудь случилось с тем, кто взялся доставить записку?

Думая так, я испытывал некоторое облегчение. И все-таки было сомнительно, что записка могла затеряться. Такого с нами еще не было. Все, что мы писали и передавали с оказией, находило нас, как бы далеко ни разводили меня и Таню фронтовые дороги. Помню даже случай, когда моя записка, вызвав чем-то подозрение у одного из непомерно бдительных товарищей, угодила прямиком в СМЕРШ, а оттуда, после тщательного изучения, была препровождена мне с настоятельным советом пользоваться в дальнейшем, как

26

все военнослужащие, обычной, проходящей военную цензуру почтой. Так что я не верил, что послание, если оно есть, могло пропасть.

Совершенно издергавшись, я написал новую записку, густо усеяв ее вопросительными и восклицательными знаками. Очень скоро нашелся и человек, который взялся передать. Это был замполит нашего батальона капитан Бахарев, уже вторую зиму одолеваемый фурункулами и потому являвшийся моим постоянным пациентом. Он направлялся в штаб армии на какое-то совещание политработников, и занести записку в госпиталь, который находился где-то рядом, ему, как он заверил меня, не составляло труда.

Уехал Бахарев сразу после завтрака. Чтобы окончательно не свихнуться, я принял двойную дозу снотворного и завалился спать, тем более, что ночью была учебная тревога, завершившаяся двадцатикилометровым пешим переходом с полной выкладкой, и все, кроме часовых и дежурных, дрыхали без задних ног. Вскоре голова моя отяжелела, и я уснул...

2

Проснулся я от легких осторожных шагов по комнате. Первая мысль была: Таня! Но едва я открыл глаза, как увидел метнувшуюся к двери Ганну. Несмотря на полумрак, сменивший, пока я спал, ясный солнечный день, я все-таки разглядел ее по-деревенски крепкую и ладную фигурку. Ганна скрылась раньше, чем я успел спросить ее, что ей здесь надо. При случае — спрошу... Ох, господи, сколько же я спал? Я зажег спичку и посмотрел на часы: без двадцати восемь. В общей сложности я дрых девять часов. Проспал и обед, и ужин. То, что меня не разбудили, означало одно: ни я, ни мои знания никому не понадобились.

Я стал одеваться. Первым делом надо было узнать, вернулся ли капитан Бахарев. Судя по времени, он должен быть уже дома...

Я подошел к окну, стал всматриваться в темноту. В хате напротив, где поселились командир батальона и его зам по политчасти, по-ночному непроницаемо чернели окна. С улицы казалось, что там или уже спят или нет ни души. На самом деле это означало, что начальство дома. Когда замполит и комбат задерживались в штабе или на учениях, хозяева не очень заботились о светомаскировке. Порою тусклый свет от керосиновой лампы допоздна тянулся к небу, в котором время от времени урчали вражеские самолеты, и к лесу, где, по слухам, взамен бродячих немцев появились какие-то новые вооруженные банды, нападающие на наших солдат и офицеров.

Я неловко повернулся и рукой смахнул на пол со стола несколько пузырьков. Резко запахло валерьянкой. Осторожно, чтобы не раздавить уцелевшие при падении пузырьки, я обошел стол и взял со второго подоконника лампу-самоделку-гильзу из-под зенитного снаряда с зажатым в верхнем сплющенном конце куском старой шинели.

Но прежде чем зажечь лампу, я завесил плащ-палатками все три окна. Мне нисколько не улыбалось заработать несколько суток домашнего ареста за нарушение приказа о строжайшем соблюдении светомаскировки. То, чего невозможно было спросить с гражданских, с нас спрашивали строго.

Наконец по толстому, сильно обгоревшему фитилю медленно попола огонек, разгоняя по закуткам темноту. Я пошел с зажженной гильзой к валявшимся на полу пузырькам и вдруг на самом краешке стола увидел два больших антоновских яблока. Так вот зачем прокралась ко мне в комнату Ганна. Решила побаловать меня яблоками. Ничего не скажешь — трогательно и приятно. Потеснив жирные запахи валерьянки и бензина, до меня добрался нежный, вкрадчиво-душистый, полюбившийся еще с детства аромат перезимовавших антоновок. Я взял яблоки и залюбовался ими. Они светились, отливали, дразнили доходящей, казалось, до самых семечек чистой янтарной плотью. Как кстати. Будет чем угостить Таню. Я переложил яблоки на тумбочку — дескать, дар принят — и, задув огонь, вышел из хаты...

В хозяйском окне дрогнула занавеска, и я увидел круглое лицо Ганны. Девочка провожала меня заинтересованно-внимательным взглядом. Все-то ей надо знать обо мне. В жизни не встречал таких любопытных девчонок.

— Стий! Хто идэ? — остановил меня на той стороне окрик часового.
— Это я, Зинченко, лейтенант Литвин!
— А... товарищ лейтенант! — узнал меня Зинченко, старый солдат, воевавший еще в первую мировую войну.
— Замполит приехал?
— Прыихав. З пивгодыны як прыихав...
Сердце мое бешено заколотилось. Точно с цепи сорвалось.
— З другий роты солдат пропав.
— Как пропал? — недоуменно спросил я.
— Учора послалы за новыми патефонными пластинками до сусидив у Лучаны. Так и не повернулся. А иты тут всього годыну. Звонылы туды, кажуть: не прыходыв, не бачылы. Дезертируваты вин тэж не миг: старый солдат... Тихов, може, вы знаете?
— Нет, фамилию слышал. А в лицо не помню.
— Ось воно як: боив нэма, а люды пропадають...
— Может, еще отыщется...
— Може ще знайдеться... десь... в канави... з перерizаным горлом...
— Думаешь, бандеры?
— Кому ж ще?
— Откуда они только взялись?
— А бис их знае!..
— Ну пойду погляжу, что замполит делает,— сказал я подчеркнуто безмятежно, чтобы скрыть от Зинченко волнение, с новой силой охватившее меня.
— Мабуть до политбесиды готовляться...
— Сейчас проверим...
Я постучал в дверь.
— Войдите!
Замполит сидел за столом, освещенным двумя большими гильзами, и что-то быстро писал. Похоже, он действительно готовился к политбеседе.
— А... доктор! Садитесь. Я сейчас. Допишу только.
Я сел на лавку в сторонке, чтобы не мешать и не отвлекать. То, что он велел подождать, могло означать лишь одно: у него было что сказать мне. Я всматривался в его сосредоточенное белобрысое лицо, пытаясь хоть что-нибудь прочесть на нем. Но мысли Бахарева, видимо, были заняты докладом и ничем больше. Наконец он поставил точку — самую настоящую точку в конце фразы. Я ясно видел, как бежавшее перо вдруг остановилось и, повисев некоторое время в воздухе, в последний раз опустилось на бумагу.
Потом Бахарев посмотрел на меня и весело объявил:
— Ну, ваше задание я выполнил, доктор.
— Спасибо,— я почувствовал, как предательски запылали у меня щеки.
— Передал записку в собственные руки. Ваша знакомая обещала сегодня же ответить.
Я еще раз поблагодарил.
— Приятная девушка.
— Возможно,— неопределенно пожал я плечами и встал.— Разрешите идти, товарищ гвардии капитан?
— Да, конечно,— почему-то удивленно ответил он. То ли ждал от меня каких-либо расспросов, то ли сам еще хотел сказать.
Я вышел из хаты и, пожелав покуривавшему украдкой Зинченко спокойного дежурства, направился к себе...

3

А у меня уже был гость. Нет, не Таня, как я вначале с оборвавшимся сердцем подумал, увидев в своем окне тонкую полоску света, а Славка Нилин, единственный человек в батальоне, от которого у меня не было тайн, старый друг и земляк. Он валялся на моей кровати, закинув ноги на спинку. На кирзовых сапогах, которые он поленился снять, висели куски грязи. Когда я вошел, он даже не переменил позы.

— Мог бы хоть сапоги снять,— сделал я замечание.
— Видишь, я аккуратненько,— показал он на спинку кровати.
— Что, мне взять твои ноги и придать им нормальное положение?
— Ну, ладно, черт с тобой! — сказал он и, спустив ноги, сел.— Я к нему с доброй вестью, а он даже полежать не дает.
— С какой вестью?
— На... держи! — Славка достал из нагрудного кармана сложенную в несколько раз записку и отдал мне.
Разворачивая ее, я чувствовал, как от нетерпения дрожали мои руки. Так и есть — от Тани...
«На днях приеду. Т.»
«Приедет... приедет... приедет...» — застучало в висках.
— Ну, что пишет? — спросил Нилин.
— Что приедет...
— Знаешь, а меня эта твоя пацанка пускать не хотела. Боялась, что я касторку сопру. Все в щелку подглядывала... Была бы она года на четыре старше...
— Выпьешь? — на радостях предложил я.
— Он еще спрашивает! — мгновенно отреагировал Славка и вскочил с кровати.— Какой русский не любит быстрой езды!
— При чем здесь быстрая езда? — спросил я, доставая из-под кровати (подальше от чужих глаз!) флакон с медицинским спиртом — весь мой запас.
— Вот и я интересуюсь — при чем? — остановился Нилин.— Только не жмоться,— добавил он, глядя, как я бережно и осторожно колдую с мензурками.
— Бери кружку,— сказал я.— Ведро с водой — в сенях!
— А ведра с помоями там нет? — полюбопытствовал Славка.
— Иди, смело набирай! — напутствовал я.
Он вышел в сени. Вскоре до меня донеслись грохот и Славкино чертыханье. Дверь была приоткрыта, и я, от души забавляясь, слышал все до последнего звука. Первой на шум выскочила Ганна. Она ойкнула и бросилась за тряпками.
Славка заглянул в комнату и упрекнул меня:
— Чего лыбишься? Видишь, по самые ноздри промок?
— Ничего, у меня запасные кальсоны есть. Поделюсь по-братски,— попытался я его успокоить.
— На хрена мне твои кальсоны? Я в них с головой утону! Лучше скажи им,— кивнул он в сторону сеней,— чтобы печку затопили. Буду сушиться,— сказал Славка со смешком.— Ты от меня еще так просто не отделаешься!
Я зашел к хозяевам и попросил затопить печь. Двинулась было сама хозяйка, но ее опередила Ганна. Через минуту она вернулась с охапкой дров. То и дело прыскала, глядя на подмокшего Славку. Однако это не помешало ей быстро и умело растопить печь. Иногда Ганна бросала взгляд на меня, словно приглашая посмеяться вместе. Щеки ее разрумянились, и она выглядела старше своих четырнадцати лет.
Вскоре дрова затрещали, и огонь стал весело перебегать с одного полена на другое.
Придержав на мне свой совсем не по-детски внимательный взгляд, девочка молча скрылась за дверью.
— Да, была бы она года на три старше,— снова посетовал Славка.
— Ну, это от нее не уйдет,— сказал я и протянул Нилину мензурку с разбавленным спиртом.— Давай!
— От нее не уйдет,— заметил Славка.— От меня уйдет.
Я мысленно улыбнулся: слушая Славку, можно подумать, что он завзятый донжуан. На самом же деле он упрямо обходил всех женщин стороной.
— За что?
— Чтобы дожить до победы,— сказал Нилин, поднося ко рту мензурку.— Чего мудрить?
— Давай!
«За твой приезд, Танюшка! За нашу встречу!» — про себя произнес я.

— Знаешь,— вдруг объявил Славка, снимая мокрые сапоги,— я новую поэму накатал. Я читал командирам машин. Им понравилось. Теперь хочу знать твое мнение...

— Она у тебя с собой?

— А как же! Все мое со мной. Правда, малость подмокла, но читать можно...

Развесив на спинке стула мокрую одежду, включая кальсоны с оборванными тесемками, Славка завернулся в мое одеяло и принял позу римского сенатора. В протянутой руке он держал ученическую тетрадку.

— Цицерон,— сказал я.

— Ну что, готов слушать?

— Готов. Она большая?

— Четыреста сорок восемь строк. Не считая названия.

— Шпарь!

— «Баллада о старом Аркаде Иштване и его дочери Марице»...

— О ком, о ком? — удивленно переспросил я.

— Это о давно прошедших временах,— пояснил Славка.— На венгерскую тему.

— На венгерскую? — я был совсем озадачен.

— Ну да!

— Ты что, был в Венгрии?

— Нет, но зто не имеет значения... Слушай!

Высокая башня стоит на горе.
Под ней бурно плещет Дунай.
Деревья склонились в тревожной игре —
Такой неспокойный здесь край.

Осенние ветры срывают листву,
Цветной расстилая ковер.
Вода поднимается быстро во рву —
То замку шлет небо укор...

Славка читал с пафосом. Его голос то набирал силу, изображая рев ветра и шум потока, то как бы выдыхался, показывая бессилие человека перед стихией. В поэме рассказывалось о том, как некий трубадур поплатился жизнью за любовь к знатной даме. Чего только там не было: и бегство влюбленных, и погоня за ними, и черное предательство, и умница-шут, подсмеивающийся над своим властелином, и многое, многое другое из той же оперы. Это была третья или четвертая поэма, которые накатал Славка между двумя ранениями. Нет, слушать было нескучно: захватывал сюжет и очень хотелось знать, что будет дальше. Но в то же время я никак не мог взять в толк, что побуждает Славку, лихого и бесстрашного командира танкового взвода, участника боев под Сталинградом и на Курской дуге, тратить время на эту рифмованную чушь. Ей-богу, уж лучше бы он писал о том, что видел и пережил за три года войны. Я уверен, у него бы получилось здорово. Однажды я ему сказал об этом, но он так посмотрел на меня, что я уже больше не совал нос в его творческие дела. Он отнял у меня, своего верного друга и читателя, все права, кроме одного — слушать и восхищаться...

Он окончил чтение поэмы примерно в полвторого ночи. К этому времени я уже потерял способность что-либо соображать и громко позевывал в кулак.

— Устал? — спросил Славка, свернув тетрадь трубкой.

— Устал.

— Но интересно?

— Интересно,— зевая, ответил я.

— Спать будем или почитаем еще?

— Спать,— жалобно сказал я.

— Еще пару стишат, и все!

Но вместо двух стихотворений он прочел по меньшей мере с десяток. Из них я запомнил особенно одно — о гондольере, который катает прекрасных дам по Венеции и иногда ловко пользуется их благосклонностью. Были там

такие строки: «Я, честью клянусь, никогда не сменю нелегкий свой жребий мужской. Пусть тяжко приходится нашему дню, наградой за то час ночной...»

Услышав их, я едва удержался от улыбки: для кого-то часы ночные, возможно, и являлись наградой. Но для меня, вконец одуревшего от поэзии друга, они были скорее наказанием.

Часа в три я спросил Славку, рассчитывая на его догадливость:

— Послушай, а тебя не хватятся в роте?

— Не хватятся,— усмехнулся он.— Ребята знают, что я у тебя. Так что терпи, брат, до первых петухов...

4

Когда меня разбудили, вовсю светило солнце и где-то за селом высокий и чистый голос запевалы направлял и вел за собой нескончаемую походную песню — солдаты строем шли на боевые учения. Нилина, спавшего прямо на полу на шинели, уже и след простыл. Да и не до него было сейчас. Привезли тяжело раненного. Один из разведчиков чистил наган и не заметил, что в барабане остался патрон. Пять или шесть раз нажимал он на спусковой крючок — ничего, а потом нажал... и раздался выстрел! Пуля угодила стоявшему рядом сержанту в ногу. Его кое-как перевязали и доставили ко мне. Рана была нехорошей. Раздробив кость, пуля застряла где-то в нижней трети голени. От обильного внутреннего кровоизлияния нога прямо на глазах наливалась устрашающим свекольно-синюшным цветом. Я занялся раненым. После того, как я ввел противостолбнячную сыворотку и хорошенько обработал входное пулевое отверстие, предстояло самое трудное — наложить повязку и шину. Едва я дотрагивался до ноги, сержант стонал и матерился от боли...

— Ганна, помоги! — крикнул я девочке, которая как всегда возилась где-то близко за дверью.

Она влетела в комнату и в нерешительности остановилась у порога. В глазах ее плескалась растерянность. И в то же время они выражали готовность выполнить любую мою просьбу.

— Ну чего смотришь?.. Поддержи!

Девочка опустилась рядом со мной на колени.

— Руки чистые?

— Ось! — она показала розовые ладошки.

— Ну, держи, чего же ты?.. Не здесь, выше!..

Поначалу Ганна терялась, торопясь, делала не то и не так. Но вскоре она поняла, что от нее требовалось, и уже с зтого момента ее крепкие руки, с детства привыкшие ко всяким работам, быстро и умело справлялись с моими указаниями.

Мне ничего не оставалось, как нахваливать и благодарить ее:

— Хорошо!.. Хорошо!.. Молодец!..

От всех этих похвал круглое лицо Ганны разрумянилось, и я временами ощущал его чистое и свежее тепло.

— Все!

Наконец раненый был готов к дальнейшей эвакуации.

Я вышел на улицу посмотреть, не идет ли машина, за которой вот уже как полчаса послал проходившего мимо санчасти бойца.

Не прошло и пяти минут, как из-за поворота выехал грузовой «форд». На подножке стоял мой посыльный.

Мы подняли носилки и понесли. Ганна сама, без напоминания, ни разу не замешкавшись, открывала и придерживала двери. Повертеться бы ей с неделю-другую среди медиков, и она бы не хуже других справлялась бы с обязанностями санитарки. Только ее по молодости ни в один из госпиталей не возьмут. Какой-то странный, неопределенный возраст. И не девочка уже, и не девушка еще...

Обогнав нас, она успела убрать с дороги упавшие грабли, прогнать борова, распахнуть перед нами калитку.

После того, как носилки с раненым были установлены в кузове, я сказал Ганне:

— Если кто приедет ко мне, скажи, что я просил подождать. Я скоро! Самое большое — буду через час!.. Поняла? — спросил я, залезая в кабину.

— Розумию, пане ликар!

И опять ее глаза как-то странно, не по-детски смотрели на меня.

— Поехали! — сказал я водителю.— Только не гони. Ему нельзя...

Машина тронулась, осторожно объезжая ухабы и рытвины. Из-за густой, вязкой грязи почти невозможно было определить, где основная дорога, а где объезды. Главное было выбраться за околицу. Там от главного шляха ответвлялось несколько лесных и проселочных дорог, ведущих к соседям, и соответственно на каждую из них приходилось меньше колес и гусениц...

Дорога, которая вела к большому селу, где были расположены штаб корпуса и медсанбат, шла глухим темным лесом и только в редких местах вырывалась на опушки — к нркому весеннему солнцу, к голубому небу, к зеленеющим лугам и полям. Я не раз проезжал здесь. Расстояние было невелико, всего пять или шесть километров. Даже по расползавшейся грязи я проскакивал его за десять-пятнадцать минут. И сейчас я рассчитал, что на оба конца потребуется максимум полчаса. Ну и какое-то время уйдет на то, чтобы сдать раненого.

Преодолев самый грязный, самый ухабистый, самый тряский участок дороги, мы круто свернули в лес. Машина с заметным облегчением покатила по разбухшей наезженной колее. Деревья подступали так близко, что, попадись навстречу другой грузовик, нам бы ни за что не разъехаться.

Еще совсем недавно распустились первые почки, а уже сейчас нигде не увидишь голой веточки. И в этом зеленом разливе, затопившем почти все вокруг, только дороги никак не могли расстаться со своей грязью...

Отъехав от развилки всего каких-нибудь триста — четыреста метров, мы обогнали троих солдат с автоматами, шагавших гуськом на небольшом расстоянии друг от друга. Вместо того, чтобы попросить подвезти, они молча сошли на обочину. Я еще обернулся, посмотрел, не «голосуют» ли. Нет, ни одна рука не взметнулась вверх, не помахала нам. Но провожали нас внимательным, ничего не упускающим взглядом. Между тем все трое — бывалые солдаты. У каждого на груди ордена и медали. Я пожал плечами: «Охота им топать пешком?» Другие на их месте разом бы оседлали наш «форд». Тем более что нам было по пути: дорога вела прямиком до села, нигде не разветвляясь. Одно можно сказать: чудаки! Но, возможно, они решили пройтись по лесу, надышаться волнующими весенними запахами? В конечном счете, это куда приятней, чем трястись в кузове. Да и шесть километров — разве расстояние?

Вот и мы только свернули в лес, только обменялись взглядами с бредущими по обочине солдатами, как уже впереди показался погорелый хутор, встречавший нас всякий раз на пути к селу. От человеческого жилья остались лишь русская печь да обугленный сруб колодца. Я вздохнул: все недосуг спросить у местных жителей, кто и когда его спалил...

Только подумал, как машину уже вынесло к повороту, за которым открылся вид на квадраты зеленеющей озими. У каждого хозяина тут свое поле, не то, что у нас, в России. Но живут неплохо, надо признаться.

Следующая веха — немецкое солдатское кладбище, если можно назвать кладбищем пять... нет, шесть деревянных крестов с фамилиями погибших. На одной из могил лежала каска, пробитая в нескольких местах автоматной очередью.

За кладбищем мы по обыкновению сбавляли скорость, потому что дальше протекал ручеек, над которым нависал изрядно осевший мостик. Конечно, если бы он вдруг обвалился, ничего страшного не случилось бы. Глубина была всего по колено. Но повозиться пришлось бы немало.

Пружиня на длинных бревнах, мы осторожно перевалили на другую сторону ручья...

Я вылез на подножку, заглянул в кузов. Раненый не стонал, не ругался, смотрел широко открытыми глазами на скользящую над ним узкую полосу неба.

— Ну как, живой, Свиридов? — спросил я.

— Живой,— ответил солдат.— Долго еще?

— Вот уже рядом...

Не прошло и минуты, как дорога знакомо расширилась воронкой и показались первые хаты. А потом они пошли косяком, расступаясь перед нашей медленно ползущей машиной.

Крутой поворот, и мы очутились во дворе сельской школы, в которой разместился медсанбат. Быстро сдав раненого дежурному врачу, я двинулся в обратный путь.

Теперь никакая тряска не была нам страшна.

— Давай жми на всю железку! — приказал я водителю.

Через минуту-другую мы были уже в лесу и неслись по собственным, еще свежим следам. Наш «форд» пер вперед как танк, и только у самого моста ему пришлось сбавить скорость и аккуратненько перебраться на ту сторону. Дальше нас опять ничего не задерживало, кроме редких поворотов и грязи. Стрелка спидометра приближалась к двадцати километрам.

Мой взгляд снова отмечал давно примелькавшиеся вехи, только в обратной последовательности...

...жалкое немецкое солдатское кладбище...

...лесная опушка с видом на зеленые поля...

...черное пятно пожарища...

И вдруг меня точно обухом по голове огрело: а где те самые... те самые солдаты? По времени мы непременно должны были их встретить на обратном пути. До села, где нетрудно затеряться, они дойти не могли. За те четверть часа, что нас не было, они приблизились бы километра на два, не больше. Куда же они подевались? Свернули с дороги, чтобы идти лесом? Какой смысл? Прыгать с кочки на кочку? Шлепать по лужам?.. Странно, очень странно. Прямо как сквозь землю провалились!

А!.. Мало ли куда они свернули!.. Может быть, сидят в кустах по большой нужде... Втроем, одновременно?.. Да-а-а...

Мы выехали из леса и пристроились к какой-то колонне автомашин с боеприпасами. Некоторым полуторкам, видно, не под силу было справиться с грязью, и их тянули на буксире мощные «студебеккеры». Хорошо, что до нашего села было недалеко. Добрались с трудом, но своим ходом...

5

Отпустив машину, которая подвезла меня прямо к хате, я пошел к себе. Проходя мимо окон санчасти, я увидел метнувшуюся на свою половину Ганну. Черт бы ее побрал, эту девчонку! Всякий раз, когда меня не было в санчасти, она пробиралась туда и хозяйничала, как у себя дома. Не скажу, что это не беспокоило меня. Мало ли, что ей взбредет в голову! Правда, ядовитые и сильнодействующие средства я хранил в небольшом трофейном сейфе, ключ от которого всегда носил с собой. Но это означало лишь, что она сама не отравится и не отравит других. Однако даже безобидные порошки, попав в нетерпеливые и отчаянные руки подростка, могли наделать столько вреда, что его не исправит и десяток врачей. А ведь каждый пузырек, стоявший на столе, каждая таблетка таили в себе восхитительную тайну. Но что делать? Двери не запирались: заходи все, кому не лень, хочешь — с улицы, хочешь — из соседней комнаты...

Поэтому-то я и намеревался прямо сейчас поговорить с Ганной, строго-настрого запретить ей заходить в санчасть в мое отсутствие. Я по-настоящему был сердит и недоволен. И, наверное, разговор вышел бы соответствующий — занудно-воспитательный и обидный для девочки.

Но едва я переступил порог комнаты, как увидел свой парадный китель с серебряными медицинскими погонами. Вместо того чтобы висеть на спинке стула, он валялся на кровати. Первая мысль была: не хватало еще, чтобы Ганна шарила у меня по карманам! Теперь, отчитывая ее, я бы не стал щадить ее самолюбия. Пусть и родители знают!

К счастью, в последний момент, когда я уже было направился решительными шагами на хозяйскую половину, я вдруг заметил краешек не до конца

пришитого белоснежного подворотничка. От него тянулась белая нитка, на которой чуть ли не у самого пола болталась иголка.

У меня сразу отлегло на душе. Поймал, как говорится, на месте преступления! Подшивала старому дураку свежий подворотничок. Похоже, она этим делом занимается давно. То-то я все время недоумевал: хожу день, хожу два, хожу три, целую неделю хожу, а подворотнички почему-то не пачкаются. И шею вроде бы мою не чаще, раз в день по утрам. А ларчик просто открывается...

— Ганна! — позвал я.

Она, видимо, ждала, что призову ее к ответу, и, пунцовая от смущения, появилась на пороге. Вошла и легким движением руки прикрыла за собой дверь — чтобы родители не слышали.

— Давай подшей,— показал я на китель.— Раз начала...

— Я зараз! — с готовностью отозвалась она, схватив китель.

— Только запомни,— назидательным тоном произнес я,— чтобы это было в последний раз!

— Я ще вам чоботы чистила,— неожиданно призналась она.

— Это еще зачем? — вконец растерялся я. Действительно, в последнее время мои сапоги, несмотря на грязищу вокруг, выглядели вполне пристойно. Занятый другими мыслями, я относил это исключительно за счет своей аккуратности.

— А щоб в хату грязюку не наносылы,— она взглянула на меня исподлобья, и я хорошо увидел в ее глазах легкую усмешку. Бог ты мой, да она же кокетничает со мной. Этого еще не хватало!

— Давай договоримся,— сказал я строго.— Если мне нужна будет твоя помощь, я сам попрошу. Как сегодня утром, когда привезли раненого. А сапоги в Красной Армии каждый чистит себе сам. И подворотничок подшивает тоже. Ясно?

— Ясно, пане ликар,— снова заливаясь краской, ответила Ганна.

Она мяла в руках мой китель и не знала, что делать: то ли вернуть его, то ли докончить работу.

И вдруг она спросила:

— А праты... стираты тэж сами будэтэ?

— Тоже... А это можешь подшить,— разрешил я.— В порядке исключения...

— Можно я туточки посыдю? — похоже, она не хотела подшивать при родителях.

— Ну... посиди,— ответил я без особого восторга. Был самый момент выпроводить ее и сказать, чтобы в мое отсутствие сюда не заходила, но я не воспользовался им. От нее исходила какая-то трогательная беззащитность. Просто язык не поворачивался.

Ганна села на краешек стула и принялась за работу. Подшивала она неторопливо, аккуратно, старалась, чтобы выступающая часть подворотничка на всем протяжении тянулась ровной тонкой полоской. От большого усердия у нее на лбу выступили капельки пота.

— Я пошел снимать пробу,— сказал я.— Если кто придет, пусть подождет. Я быстро.

— Идить, пане ликар. Я скажу...

6

Батальонная кухня находилась в конце нашей улицы у костела. Я шел по подсохшей полоске земли у самой изгороди. Чтобы не поскользнуться, перехватывал руками колья.

— Товарищ лейтенант! — услышал я позади знакомый голос. Зинченко? Я подождал его.

— Чулы, солдата того, що пропав... ну, Тихов... знайшлы,— сообщил он.— На дубу бандеры повисылы...

— Как повесили? — сердце у меня оборвалось.

— Як вишають? За шыю!

— Что же это такое, Зинченко?

— И на груды дощечку повисылы: «Так буде з усима москалямы!» От паскуды!

— Где он?

— Хто?

— Тихов?

— Повезлы на вскрыття. Може, ще сам повисывся?

— А потом на себя дощечку повесил: «Так будет со всеми москалями»?

— Так-то воно так. Тилькы в такому рази без вскрыття нэ можно.

— Да и с чего бы ему вешаться? Всю войну прошел, скоро домой возвращаться.

— Всяко бувае. Одному в минулому роци земляки написалы, що жинка скурвилась. Так вин сэбэ из автомата. И записку заставыв: «Видпешить ий, курви, що ваш законый муж Иван Курков (иого Иваном Курковым звалы) не захотив бильше за нею, таку блядь, з нимцем воюваты».

— Ну это псих какой-то. По письму видно.

Походная кухня обосновалась во дворе большой крестьянской усадьбы — еще недавно здесь жил немецкий бургомистр из местных. Он исчез вместе со своей семьей перед приходом наших войск. Для присмотра за домом осталась какая-то дальняя родственница хозяина — тихая горбунья с печальными глазами приживалки. Было ей лет сорок, и она, к моему удивлению, пользовалась успехом у солдат. Особенно у пожилых, которые, оправдываясь, посмеивались: «Та що с того, що горб? Вона ж не верблюд. Лисицы не трэба...»

Незаметно горбунья стала своей в доску. Помогала на кухне, на свой страх и риск приобщала к однообразным казенным продуктам хозяйские припасы, все чаще баловала личный состав деревенскими разносолами. А вечерами вплетала свой теплый звонкий голосок в дружное солдатское пение...

Она первая и заметила мое появление. Я еще не дошел до кухни, а повара уже были предупреждены и приготовились меня встретить. Я был для них высшее медицинское начальство, от вкусов, добросовестности и настроения которого зависела оценка их кулинарных усилий. В мгновение ока с обоих столов, стоявших в саду под брезентовым навесом, убрали лишнюю посуду, прошлись мокрой тряпкой по столешнице и лавкам, поставили миску с ровно и толсто нарезанным хлебом, положили полнокомплектный столовый прибор, хотя я вполне мог обойтись одной своей ложкой, которую всегда носил с собой в полевой сумке, и развернули на нужной странице толстую амбарную книгу, где я и мои верные помощники — санинструкторы расписывались, разрешая раздачу пищи. К тому времени, когда я усаживался за стол, передо мной уже стояла полная миска головокружительно-аппетитных, духовитых, жирных и густых щей. Отборные куски мяса волновали своей величиной и обилием. Впереди меня ожидал такой же божественный, довоенно-ресторанный гуляш из настоящей баранины. Но как я ни истекал слюной от всех этих кулинарных красот, я приказал поварам вылить миску обратно в котел и дать мне другую — как всем, из середины. Мое приказание было тут же выполнено. Однако я бы не сказал, что остался сильно внакладе. По-прежнему то там, то здесь, как айсберги, выглядывали куски мяса, островками золотился жир, ложка зацепляла одну гущу.

Словом, повара из кожи лезли, чтобы меня задобрить, быть со мной в хороших отношениях. В то же время я не раз проверял и убеждался, что недовольных харчами в батальоне сейчас не было, кормили всех досыта. Правда, в солдатских котелках и мяса попадало меньше, и жира плавало не в таком количестве. Но при всем этом каши и супы были густые. Ложка, когда погружалась в них, не клонилась, не падала, а стояла, как часовой на посту.

Ко мне за стол подсел капитан Бахарев. В предвкушении сытного и вкусного обеда он потирал руки.

— Ну как, доктор? — спросил он меня.

— Ничего, на уровне,— ответил я, дуя на ложку с обжигающим варевом.

— Хорошо стали готовить батьки,— похвалил кашеваров замполит.

— Понимают, что лучше быть хорошим поваром, чем плохим автоматчиком,— желчно заметил я.

Бахарев улыбнулся. Кто-кто, а он знал, как не просто было наладить нормальное питание в батальоне. Двоих поваров, по моему настоянию, за мухлеж с продуктами прямо с облучка походной кухни отправили в автоматчики. До сих пор на меня точил зуб начальник продснабжения. За допущенную халатность ему вкатили десять суток домашнего ареста. В этой крутой, открытой схватке, сопровождавшейся доносом на меня с обвинением в аморальном поведении (узнали каким-то образом, что я встречаюсь с Таней), комбат и замполит решительно поддержали медицину. Вот тогда-то я и соврал, сказал, что с Таней мы только друзья, еще до войны встречались. К тому же, в батальоне я воевал уже полтора года, несколько раз был награжден, дважды ранен, и снабженцу, всего четыре месяца назад переведенному сюда из армейских складов, тягаться со мной было нелегко.

Я приступил ко второму, когда капитану Бахареву подали щи.

— Да, это не черные сухари на Ленинградском фронте,— вдыхая густой и дразнящий запах еды, произнес замполит,— не супчик, где крупинка за крупинкой гоняются с дубинкой...

— Еще бы с месяцок так пожить,— вздохнул я.— Тихо-то как?

— Увы, желанная идиллия подошла к концу,— сказал капитан.— Слышали?

— Да.

— Уже есть приказ командующего, запрещающий передвигаться в одиночку. Только вооруженными группами.

Ложка в моей руке дрогнула. До последнего разговора с Зинченко я еще витал в облаках, как-то не связывал ожидаемый приезд Тани с теми опасностями, которые, возможно, подстерегали ее в пути. Но все равно острой тревоги не было. Она охватила меня только сейчас, после сообщения капитана Бахарева. Я представил себе все и ужаснулся. С Танюшки вполне станет поехать одной. А то и, не дождавшись попутки, пойти пешком или — того хуже — сокращая расстояние до нашего села, потащиться лесом, как в добрые старые времена...

Я в сердцах брякнул ложку о тарелку:

— Взять бы да прочесать весь лес!

— Были и такие предложения,— спокойно сказал капитан Бахарев.— Но прочесать всю эту глухомань... сотни километров... практически невозможно... Да и бандитам здесь известен каждый кустик...

— Товарищ гвардии капитан, ну чего им от нас надо?

— Кулацкие прихвостни, прикрывающиеся хлесткими националистическими лозунгами.

— Но население ведь их не поддерживает? Большинство я имею в виду?

— Конечно, нет. Но многие запуганы, вынуждены скрывать свои симпатии к нам.

— Я считаю, нам надо что-то делать, а не ждать, когда придет дядя! — воскликнул я.

— А мы и не ждем,— ответил замполит.— Со вчерашнего дня усилены посты... организовано патрулирование... предупрежден весь личный состав... Правда, есть одна сложность: переодеваются, мерзавцы, в нашу форму. Не всегда узнаешь...

— Вот черт!

— Что случилось?

— Сегодня утром, когда возил раненого в медсанбат, мы в лесу догнали троих. Все трое в нашей форме. У каждого ордена. Меня еще удивило, что не попросили подвезти, хотя дорога, сами знаете, какая... По идее, когда мы возвращались, должны были встретиться на обратном пути, но они как сквозь землю провалились. Наверно, в лесу скрылись...

— Возможно, и бандеровцы...

— Но нас они почему-то не тронули...

— Всякие могли быть соображения... Дорога оживленная...

— Нет, мы одни были...

— Тогда другое задание.

— Но попадись им кто-нибудь без оружия или с пистолетиком одним...

Я поймал на себе внимательный взгляд замполита. Неужели он все-таки знает, что я жду Таню?.. А! Такая у него должность, чтобы все знать!

Я положил перед собой амбарную книгу и, думая все о том же, об опасностях, подстерегающих Таню, сделал запись о снятии пробы.

— Все,— сказал я подошедшему повару,— приступайте к раздаче! — и вышел из-за стола...

Капитан Бахарев что-то сказал мне вслед, но я не расслышал и не стал переспрашивать. Я лихорадочно ломал голову над тем, как предупредить Таню, чтобы она не вздумала добираться одна. Можно, конечно, послать новую записку. Но пока я найду, с кем послать, пока письмо будет в пути, они могут разминуться. А что, если снова отлучиться на часок в медсанбат и оттуда позвонить в госпиталь? (От нас звонить куда-либо без личного разрешения комбата строжайше запрещалось.) Во всяком случае, попытаться дозвониться. Сказать, что, если не найдет вооруженных попутчиков, пусть вообще не едет. Приеду я. Сразу же после смотра. Уговорю комбата и замполита отпустить меня на пару суток. В конце концов я уже много месяцев не бывал в увольнении. А подменить меня попрошу кого-нибудь из фельдшеров медсанбата.

— Чего вздыхаешь? — весело спросил меня еще за несколько шагов Славка Нилин, который, держась за изгородь, пробирался к кухне. Чтобы услышать мой вздох с такого расстояния, надо было обладать фантастическим слухом.— Радоваться надо!

— Чему?

— Твоя свет-Татьяна приехала! В санчасти сидит, ждет тебя не дождется!

— Врешь! — отозвался я дрожащим голосом.

— Ну, иди, иди, проверь!

Перехватывая руками изгородь, я рванулся вперед. Даже не помню, как мы разминулись со Славкой.

— Ни пуха ни пера! — догнал меня подначивающий голос Нилина.

— К черту! — ответил я, не оборачиваясь...

7

Весь этот короткий путь от кухни до санчасти я летел, не чувствуя под собой ног. Чтобы удостовериться, не разыграл ли меня в очередной раз Славка, я прильнул к первому от угла окну и увидел Таню. Она стояла спиной ко мне. При виде ее стройной, тонкой фигурки в военной форме, перетянутой в узкой талии офицерским ремнем, меня обдало знакомым щемящим жаром.

Я легонько постучал в окно и, не дожидаясь, когда моя дорогая гостья обернется, бросился к крыльцу. Разом перемахнул через все ступеньки, толкнул первую дверь, вторую и сжал Таню в объятиях.

— Задушишь! — смеясь, взмолилась она.

— Как я рад, как я рад, ты не представляешь,— приговаривал я, осыпая поцелуями родное лицо.

— Хватит, хватит,— твердила она, но я никак не мог оторваться от дарованного мне чуда. Это было все мое — и щеки, и глаза, и лоб, и подбородок, и волосы, и кончик носа с едва заметной расщелинкой. Она принесла с собой с дороги и сейчас источала чистые дурманящие запахи встречного ветра, доброго украинского солнца, душистых полевых трав. Я задыхался от радости. И все же я не мог не заметить, что открытое улыбающееся лицо Тани встречало мои поцелуи с чуть замедленной, запоздалой реакцией.

Удивленный, я даже спросил:

— Что с тобой?

— Ничего, все в порядке,— заверила она.

— Ну, рассказывай! — перевел я дыхание.

— Что?

— Почему не отвечала? Что случилось? Если бы ты знала, чего я только не передумал! Неужели так трудно было написать? Хотя бы несколько строк?

— Я же написала...
— Когда? Два дня назад? А до этого, до этого почему молчала?.. Послушай, ты получала мои записки?
— Получала.
— А почему не отвечала? — допытывался я.
— Я скажу тебе, только потом... Дай лучше закурить!
— Сейчас. У меня где-то были припрятаны две «казбечины». Я их стрельнул у нашего СМЕРШа. На случай твоего приезда.
Я полез в тумбочку и в уголке на верхней полке среди пузырьков нащупал две папиросы.
— Вот... А эту оставлю тебе на потом.
— Давно не курила папиросы,— сказала Таня, прикурив от бумажной спички, сгоревшей до конца в считанные мгновения.— Ты тоже кури!.. Не мелочитесь, товарищ Литвин!
Мне не нравилось, когда, иронизируя, она называла меня по фамилии. Я тут же начинал ломать голову, что за этим скрывается. То ли недовольство мною, то ли еще что-то? И всегда настораживался. Насторожился и сейчас.
Допытываться же дальше, почему она не отвечала на мои записки, я не стал. Придет время — скажет сама. Она еще ни разу ничего от меня не утаивала.
Главным было то, что она приехала. И что все мои опасения и страхи остались позади. Правда, не надолго — до ее отъезда. Но там я уже что-нибудь придумаю. Во всяком случае, одну не отпущу.
— Точка,— сказал я.— Больше ни одного упрека за то, что не писала, ты от меня не услышишь. Бомбежка, переезды, работа за троих? Так?..
Таня взглянула на меня и улыбнулась: на ее левой щеке знакомо заиграла не то ямочка, не то складка. Ах, как хорошо она улыбалась. Чего стоили одни ее зубы — белые-белые. Так и напрашивались сравнения... как снег, как сахар, как фарфор. Но они были прелестны и без сравнений. Забавно. Два передних нижних зуба у нее слегка заходили один за другой. Они теснили друг друга и выросли криво. Но эта бросающаяся каждому в глаза неровность не портила улыбку. Наоборот, придавала ей особое очарование. И я, чудак, почти каждую встречу говорил Тане об этом. Правда, на этот раз промолчал. Но любоваться продолжал...
Таня придвинула ко мне стеклянную банку, в которую мы, сидя напротив друг друга, стряхивали пепел.
— Лучше расскажи, как добиралась... Я здорово перенервничал. На днях бандеровцы повесили одного нашего солдата. Всю войну прошел — и такой конец.
— Да, я слышала об этом. Но я, как видишь, дошла благополучно!
— Дошла пешком? — ужаснулся я.— Одна?
— Одна. А что? За всю дорогу я не встретила ни одной живой души. Если не считать двух зайчишек...
Я тут же рассказал ей о своей встрече с подозрительными солдатами, которые, судя по их странному поведению, были переодетыми бандеровцами.
— А тебе не кажется, что у страха глаза велики? — спросила она, погасив папиросу.— Я имею в виду не тебя, а вообще...— поправилась она, увидев, как изменилось у меня лицо. Я и в самом деле принял ее слова на свой счет.
— К твоему сведению,— заявил я,— вначале у меня и в мыслях не было, что это бандеровцы. Я понял, что дело тут нечисто, только после разговора с замполитом. А тогда никакого страха не испытывал...
— Я же сказала, что имею в виду не тебя, дружочек, а всех нас,— повторила она.— Нет, правда, я прошла от Уланок до Моричева пешком, и вот...— развела она руками.
— Если бы я знал! — вырвалось у меня.
Взгляд Тани потеплел.
Я взял ее руку и прижался к ней щекой. Потом опустил голову Тане на колени.
— Осторожно, юбку прожжешь,— со смешком сказала она.
Я отвел руку с дымящей папиросой в сторону, но голову не убрал.

Она легонько поиграла моей шевелюрой. Я стал целовать ее колени.
— Хватит, хватит,— говорила она, прикрывая ноги руками.
Я сразу обессилел.
— Ну что ты со мной делаешь? — пожаловался я.
— Я ведь тоже не каменная, дурачок,— ответила она.
— Кому ты это говоришь?
— Тебе. А может быть, и себе,— несколько загадочно досказала она.
— Все, берем себя в руки,— сказал я, отодвигаясь.— На улице день, будь он неладен, солнце, тьма народу. И каждую минуту могут войти... Есть хочешь?
— Хочу,— просто ответила она.— Честное слово, хочу!
— Я быстро! — я рванулся к выходу.
— Только что-нибудь одно, первое или второе!
— На первое у нас щи, на второе гуляш,— сообщил я, задержавшись у двери.
— Гуляш,— выбрала она и, смеясь, добавила: — И щи тоже...
— Да, чем бы тебя занять? — вдруг спохватился я.
— У тебя нечего почитать?
— Откуда?.. Хотя у хозяев я видел какие-то книги. Даже, кажется, на русском языке... Сейчас попрошу,— я двинулся на хозяйскую половину.— Кстати, идем, я заодно познакомлю тебя с ними.
Таня удивленно посмотрела на меня. Я терпеливо ждал.
— Забавно,— пожала она плечами, отвечая на какие-то свои мысли.— Ладно, пошли!
Я громко постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, по-свойски приоткрыл ее:
— Можно?
В комнате были хозяйка и Ганна. Ползая по полу, они что-то кроили из грязно-зеленой немецкой шинели.
Увидев меня, а за моей спиной Таню, обе сразу вскочили.
— Заходьтэ, пане ликар? — пригласила хозяйка.
Ганна, мгновенно зардевшись, бросилась поднимать нарезанные лоскуты.
— Познакомьтесь,— сказал я, взяв Таню под руку.— Это моя жена.
Таня снова удивленно взглянула на меня, но ничего не сказала. Впрочем, я не заметил на ее лице ни одобрения, ни осуждения. Только удивление. И то на одно мгновение. Честно говоря, я ожидал более определенной реакции. Ведь я никогда еще не называл ее своей женой. Будь на то моя воля, я бы узаконил наши отношения в первый же день. Но однажды, когда я осторожно намекнул Тане на это, она посмотрела на меня как на ненормального: фронтовая жизнь давно отучила ее, а теперь и меня строить планы на будущее.
И все же какое-то странное было это удивление, не согретое обычным теплом...
Между тем хозяйка суетилась, придвигала к нам стулья, приглашая сесть, что-то попутно прибирала, одергивала, оглаживала, поднимала.
Как всегда, мне было не до Ганны, и я не заметил, когда она исчезла. Только-только была здесь, и вдруг не стало. Тогда я не придал этому никакого значения.
Я подошел к высокому комоду, уставленному всевозможными безделушками. Тут же, только на самом краю, возвышалась небольшая стопка книг.
— Можно посмотреть? — спросил я.
— Та глядить,— разрешила хозяйка.— Будьте ласкови, пане ликар и пани ликарка!
Но и на «пани ликарка» Таня среагировала до обидного короткой уклончивой улыбкой.
Я брал книгу за книгой и, быстро взглянув на название, передавал Тане. Их было всего пять. Довольно потрепанный «Кобзарь». (Ну здесь Шевченко, по-видимому, читают и стар, и млад.) «Жития святых», изданные во Львове еще до его первого освобождения. (Ого, святая Магдалина! Надо бы почитать!) Пушкин в академическом издании, том первый. (Любопытно, какими судьбами его занесло в далекое западноукраинское село?) Шеллер-Михайлов,

«Лес рубят — щепки летят». (А она как попала сюда?) И, наконец, нечто, прямо сказать, жалкое и общипанное — без начала и конца — об Иване Грозном. (Ну, эту, если кто и зачитал до дыр, только не мои хозяева. Что им русские цари?)

— Я возьму их, полистаю. Можно? — спросила Таня хозяйку.

— Та визмить на здоровячко!.. У нас була ще одна... Ганна! — позвала та.

Ганна не отзывалась. В обеих половинах хаты стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь жужжанием залетевшего в открытое окно шмеля.

— Ганка! — уже сердито повторила хозяйка.

Но и на этот раз ответом было упрямое молчание.

— От холэра ясна! — выругалась хозяйка и этим ограничилась...

— Мне хватит. Спасибо,— сказала Таня.

— Ты пока листаешь, я слетаю на кухню. Но не очень углубляйся,— шутливо предупредил я ее, пропуская на нашу половину.— Повышать свой общеобразовательный уровень будем в другое время!

Я знал, что говорил: за чтением она могла забыть обо всем на свете.

— Другое время, дружочек, это — сейчас,— улыбнувшись, ответила Таня. Интонация была ласково-поучающая. Таня и раньше позволяла себе разговаривать со мной как старшая с младшим, и я в общем-то привык к этому. В конечном счете, она была умнее, образованнее и старше меня. И все окупалось нашей любовью, нашим общим знаменателем.

— Тогда шпарь! — весело заявил я и шагнул к двери.— Вернусь, проверю, сколько прочла.

— Хорошо, дружочек,— сказала она, располагаясь с книгами на кровати — самом удобном и уютном месте в комнате.

— Я сейчас! — бросил я и выскочил из хаты...

8

Я был уже на полпути к кухне, как по селу в разные концы побежали посыльные. Они метались от одного дома к другому, с той стороны улицы на эту и обратно, прямо по лужам и грязи, унося на своих сапогах пуды чернозема.

— Все — на построение! — долетело до меня.

— По какому поводу? — остановил я пробегавшего мимо солдата.

— Командующий приехал!

Я рванулся было к штабу, куда поротно и повзводно направлялись бойцы, но, решив, что лучше опоздать на построение, чем оставить Таню голодной, помчался на кухню. На мое счастье, не пробежав и сотни метров, я нос к носу столкнулся с Чижиком, батальонным сапожником, который по состоянию здоровья (куриная слепота, плюс плоскостопие, плюс пошив всему офицерскому составу брезентовых сапог к лету) был освобожден от всех боевых и учебных тревог. Он брел неторопливой, перевалистой походкой и смотрел на общую суматоху спокойным, невозмутимым взглядом человека, занятого единственно настоящим делом.

— Кузьма Иванович,— все в батальоне, в том числе и я, называли Чижика по имени-отчеству.— У меня к вам огромная просьба. Я бегу на построение, а в санчасти меня дожидается товарищ из армейского госпиталя. Его надо накормить. Попросите поваров от моего имени одну порцию щей и одну порцию гуляша и отнесите ему...

— Ладно, беги!

Оставив Кузьму Ивановича у изгороди, я побежал к штабу. Вскоре я догнал строй, сбоку которого шагал Славка, замещавший командира танковой роты Доброхотова. Сапоги у всех, включая самого Нилина, были заляпаны грязью. Явиться в таком виде перед командующим было немалым риском. В лучшем случае генерал мог погнать всех привести себя в надлежащий вид.

Мы шагали со Славкой рядом. Он был мне по плечо и, на первый взгляд, казался тщедушным. Но я знал, что это впечатление обманчивое. Когда он раздевался до пояса и просил кого-нибудь из бойцов полить на спину воду, у него играл каждый мускул. Он был на редкость хорошо сложен. Я бы многое

дал, чтобы иметь такие же широкие плечи и такую же узкую талию. Ему ничего не стоило одним рывком положить меня на лопатки. Поэтому, однажды померившись с ним силами, я уже больше не рисковал.

Однако, глядя на нас, никому даже в голову не приходило, что он намного сильнее меня физически. И это всеобщее заблуждение устраивало мое самолюбие...

— Ну как? — спросил меня Славка.

— Порядок!

— Почему не отвечала?

— Одна за троих работала.

— А!.. Надолго приехала?

— Дня на два. Я еще не спрашивал, но думаю, что дня на два.

— Я забегу вечерком. Почитаю вам кое-что новенькое.

— Славка, не надо,— взмолился я.— Дай нам побыть одним.

— И зря... Поэзия облагораживает... Правда, не всех...

- Если хочешь, приходи завтра,— пожалел я друга.— Только...

Что только?

— Сперва пройдись несколько раз мимо окон. Я дам тебе знать, если можно войти...

— Пошел ты к черту! — свирепо ответил Славка.— Рота, стой!.. Направо!

Теперь Славке было уже не до меня.

На низеньком крыльце штабной хаты стояли комбат Батьков, замполит Бахарев и адъютант старший батальона Мазурков. Командующего со свитой еще не было. Если он и впрямь должен нагрянуть, то ждать осталось недолго.

Доложив о прибытии роты, Славка, по приказанию комбата, распустил на пять минут людей — чтобы привели себя в порядок. Все в темпе — кто предусмотрительно припасенными тряпочками, кто сухой травой, кто щепочками, а кто финками — принялись счищать с сапог грязь. Не было ни одного, у кого бы не замызгались полы шинели. Но с этим решили погодить — пока не подсохнет. Чтобы ускорить подсыхание, смешно, по-петушиному, трясли полами...

Другие подходившие роты и взводы также получали несколько минут на то, чтобы привести себя в божеский вид.

Вскоре весь батальон, собравшись на большой сельской площади перед штабом, отплясывал нечто среднее между«барыней» и чечеткой.

А потом последовала команда: «Батальон, становись!», и вся эта «танцующая» и галдящая толпа в одно мгновение разбежалась по своим взводам и ротам.

— Батальон, равняйсь!.. Смирно!.. Равнение на середину! — капитан Мазурков доложил комбату, что батальон построен.

Похоже, командующий должен был появиться с минуты на минуту; все трое — Батьков, Бахарев и Мазурков, а вслед за ними и ротные — беспокойно поглядывали на дорогу, ведущую к селу с запада.

Я думал, что комбат все-таки спустится с крыльца, обойдет перед смотром строй, проверит напоследок, все ли в порядке. Но он лишь сошел на нижнюю ступеньку. Видимо, не хотел раньше времени марать свои надраенные до зеркального блеска хромовые сапоги.

Впрочем, как и все разведчики, Батьков не очень трепетал перед высоким начальством. Награжденный шестью орденами, трижды раненный и дважды контуженный, он знал себе цену и понимал, что судить о нем и его батальоне командующий будет прежде всего по основательности и серьезности, с которыми они готовятся к предстоящей операции. Конечно, прекрасно, когда все до единого разведчики подтянуты и аккуратны, когда они дружно «едят глазами» начальство и еще дружнее отвечают на приветствие, когда, проходя мимо проверяющих, никто не собьется с ноги и не сломает строя. Возможно, и нашелся бы генерал, которому этого было бы достаточно. Но мы сомневались, чтобы наш командующий предпринял поездку к нам только ради того, чтобы поглазеть, как мы шлепаем по грязи и держим руки по швам. На все это он немало нагляделся до войны. Теперь ему стоило взглянуть на лица солдат в строю, чтобы решить для себя, можно ли довериться сведениям о части,

которые доходили до него по разным каналам, или нужно самолично их проверить. Но, соблюдая верность традициям, он, как рассказывали, иногда набирался терпения и провожал застывшим усталым взглядом дефилирующие мимо подразделения. Тем же офицерам, которые особенно нажимали на строевую подготовку, он насмешливо напоминал: «Вижу, вижу, хорошо отрепетировали... Балет...»

Но это так, к слову. Если говорить начистоту, в эти долгие томительные минуты ожидания меня больше занимала Таня, покинутая мною на чужих людей, чем наш командующий со всеми достоинствами и недостатками...

— Едут! — вдруг оповестил всех чей-то нервный голос.

И действительно с главного шляха свернул и двинулся в сторону села кортеж машин. Впереди шел бронетранспортер с охраной. Следом ползли по грязи два черных трофейных лимузина. Замыкал крохотную колонну «додж три четверти» с автоматчиками.

А ведь совсем недавно командующий ездил на обыкновенном «виллисе» в сопровождении всего двух-трех автоматчиков, в непринужденной позе восседавших в кузове второго «козлика». Теперь же, если потребуется, охрана может и выдержать бой с небольшим отрядом противника. Да, кончилась вольготная жизнь в прифронтовой полосе...

— Отставить разговоры! — взлетел порывистый голос комбата.— Батальон, слушай мою команду!.. Смирно!.. Равнение на середину!

И ведь рассчитал точно, до секунд. Пока он, легонько прихрамывая, колошматил грязь своими шикарными сапогами, подъехал кортеж, и из лимузина вышел, поддерживаемый адъютантом, командующий — плотный, приземистый человек с палочкой. Из другой машины вылезли командир корпуса и еще два генерала и полковник — начальник корпусной разведки.

Командующий не успел поправить фуражку, съехавшую чуть набок, и она придавала старому генералу не по возрасту ухарский, молодецкий вид.

— Товарищ генерал,— далеко разносившимся по площади глуховатым голосом стал докладывать комбат,— по вашему приказанию отдельный гвардейский мотоциклетный батальон построен. Командир батальона гвардии капитан Батьков.

— Здравствуйте, товарищи гвардейцы! — пророкотал командующий. У него, как и у многих людей маленького роста, был густой красивый бас.

— Здравия желаем, товарищ генерал! — разом выдохнули мы приветствие.

— Вольно!

— Вольно! — повторил комбат.

Опираясь на палочку, генерал-полковник сказал:

— Через двадцать пять минут я должен быть у ваших соседей и потому буду краток. Что ж, поработали мы неплохо. Еще одно усилие, и мы полностью очистим нашу священную землю от фашистской погани, начнем освобождать наших польских братьев. По моим прикидкам, не пройдет и нескольких месяцев, как мы вступим на территорию гитлеровской Германии и будем добивать зверя в его же берлоге. Я надеюсь, что к началу весны будущего года мы кончим войну и вернемся к своим семьям... Так вот я прошу вас постараться... Надо кончать войну, сынки... Желаю успеха,— добавил он и, козырнув, бросил своей свите: — Поехали!

И, не глядя ни на кого, направился к лимузину.

И все? А может быть, и не требовалось больше слов? Как просто и человечно закончил он свою речь... По взволнованным серьезным лицам бойцов я видел, что и на них это произвело сильное впечатление.

Адъютант подсадил командующего в машину, и кортеж повернул назад к главному шляху. В голове колонны, как и раньше, шел бронетранспортер с расчехленными пулеметами.

— Ну что, притомились стоять? — спросил разведчиков комбат.

— Притомились,— сразу ответили несколько голосов.

— Был бы здесь лужок, полянка, усадил бы всех на зеленую травку... А теперь послушаем доклад нашего замполита гвардии капитана Бахарева. Тема доклада: «Идейно-воспитательная работа среди местного населения»...

9

Целый час с четвертью продолжался доклад. От долгого и неудобного стояния в грязи у нас затекли ноги и притупилось внимание. Капитан Бахарев читал по написанному, и от его ровного убаюкивающего голоса кое-кого начало клонить ко сну. Я же истомился от ожидания: скорее бы кончил, и я побежал бы к Тане!.. С самого начала доклада я с тоской поглядывал на стопку исписанных листков: уж очень медленно она таяла в руках замполита. Против самого доклада я ничего не имел. Все в нем было правильно, и я, не задумываясь, подписался бы под каждым его словом. Вот только примеров, на мой взгляд, было маловато. Но смысл сказанного мы усекли сразу: охватить все население, особенно его неустойчивые элементы, идейно-политическим воспитанием. Не травить баланду в свободное от занятий время, а провести беседу, рассказать, как живут и трудятся советские люди, какая прекрасная жизнь наступит после войны. Неплохо бы и поколоть дров, сходить по воду, починить забор, поработать в саду или огороде, чтобы видели, что мы не бездельники какие, а трудовые люди, рабоче-крестьянская армия, защита и опора трудящихся всего мира.

Когда Бахарев кончил и спросил, есть ли вопросы, подал голос стоявший в первой шеренге Зинченко:

— Товарищ гвардии капитан! А що робыты, якщо хазяин в лис крадучи ходыть?

— Обязан сигнализировать... Вот товарищ Ершов,— показал он на Колю Ершова, нашего смершевца,— уполномоченный СМЕРШа... Ему и сигнализируйте!

— Зрозумив.

— Еще раз призываю вас к бдительности. Мы ждем, чтобы каждый солдат и офицер стал проводником всепобеждающих идей коммунизма... Есть еще вопросы?

— Нет,— послышалось из строя.

— У меня все,— обратился к комбату замполит.

— Командиры рот и взводов, ведите людей на занятия! — приказал тот.

Славка хотел что-то меня спросить, но я махнул рукой и побежал в санчасть. Что мне были какие-то лужи, грязь, ухабы? Уже у самой хаты я вдруг поскользнулся и только чудом удержал равновесие. Я облегченно вздохнул. Мне нисколько не улыбалось предстать перед Таней заляпанным с ног до головы грязью. Я любил, когда она заливалась смехом, но совсем не по моему поводу.

Я вбежал в дом, Тани в санчасти не было. По всей кровати были разбросаны хозяйские книги. Историческое исследование об Иване Грозном было раскрыто на взятии Казани...

— Таня! — позвал я, думая, что она на хозяйской половине. Никто не ответил. Я заглянул туда. Хозяйка обернулась и, широко улыбаясь, сообщила:

— Ой, ваша жинка пишла грядки полоты.— И добавила: — Тай файна жиночка!

Пошла полоть огород? Что это ее вдруг потянуло на крестьянский труд? Забавно. Может быть, им в госпитале тоже подсказали, что надо находить общий язык с местным населением? И тут я вспомнил, что до шестнадцати лет она жила в деревне с бабушкой и научилась там многим полезным вещам...

Я спустился во двор и, пройдя узкой скользкой тропкой между двумя добротными сараями, вышел к огороду. И увидел Таню, которая внаклонку выдергивала из грядки сорняки. Она была без пилотки, и волосы то и дело падали ей на глаза.

Заметив меня, Таня привычно улыбнулась и попросила:

— Принеси кусок марли. Завязать волосы.

— Ты пообедала? — осведомился я.

— Еще как! Щи мировецкие!

— А гуляш?

— Ну, гуляш я бы лучше сготовила.

— Когда-нибудь проверю...

— Чудак ты, Гриша,— она поправила локтем волосы.— Иди, принеси марлю!

Я направился в хату. То, что Таня не поддержала разговора о будущем, меня не удивило: она, как я уже говорил, не любила предаваться мечтам. Во всяком случае, избегала вещать о них вслух. В отличие от меня. Я же нет-нет да и позволял себе уноситься в облака. Да еще и поделиться с кем-нибудь.

Чего скрывать, я считал Таню самой большой, самой прекрасной, самой незаслуженной наградой на войне. Сколько вокруг было куда более достойных ее любви — известных командиров, писаных красавцев, отчаянных смельчаков! Любой из них был бы счастлив, если бы Таня обратила на него внимание. А она выбрала меня. Выбрала и полюбила. Честное слово, я сам не понимал, за что. Не только же за высоченный рост, в какой-то мере импонировавший Тане вкупе с моим ленинградством? И — уж конечно — не за верную любовь к ней. Пожелай она, каждый бы ответил ей взаимностью. Почти год мы были вместе, и я все еще не верил: неужели она полюбила меня просто за то, что я есть я, и ни за что больше? Боже, какое счастье! Такое же редкое и бесценное, как сама жизнь среди нескончаемых фронтовых смертей...

Я резал ножницами марлю и от нетерпения портил один платок за другим. Они получались у меня лохматые и кривые — лишний повод попасть Тане на язычок. Наконец я постарался и отрезал аккуратный — сантиметр в сантиметр — квадрат.

Сложил вдвое. Примерил на себе. Посмотрел в блестящую зеркальную поверхность стерилизатора. Увидев свое отражение — носатую физиономию с густыми черными бровями,— скорчил еще более страшную рожу и сплюнул. Содрал с головы косынку и пошел к Тане.

Она встретила меня насмешливым упреком:

— Товарищ Литвин, вас только за смертью посылать.

— Понимаешь,— стал я оправдываться,— у меня что-то с глазомером. Уйму марли изрезал. Вот возьми...

— Сейчас посмотрим, на что способны умелые мужские руки,— сказала Таня, складывая платок вдвое. Как она и предвидела, половины совершенно не совпали. Таня усмешливо покосилась на меня, но ничего не сказала. Она надела косынку и заправила под нее волосы.— Ну, я пошла дальше,— и наклонилась над грядкой.

— Давай я помогу тебе,— предложил я не без тайного умысла: с одной стороны, мне хотелось быть рядом с ней, а с другой — и это главное — быстрей закончить работу.

— Помоги,— ответила она, по-видимому, не догадываясь о моих задних мыслях.

Я захватил сразу несколько сорняков и... выдернул их вместе с тоненькими стебельками моркови. Сконфуженный своей неловкостью, я в темпе стал отделять морковку от пырея и снова сажать ее.

— Смотри, как я делаю,— сказала Таня.

Руки ее ловко и аккуратно выдергивали сорняки, и на том месте, где еще минуту назад был густой зеленый ковер, весело и свободно поднимались тоненькие ростки морковки.

Я смотрел, как полола Таня, и старался во всем подражать ей. И стало получаться. Уже через несколько шагов моя часть грядки мало чем отличалась от Таниной.

— Молодец! — время от времени похваливала меня Таня.

Похвалы похвалами, но вот от постоянного движения и работы внаклонку у меня вскоре заныла спина. Теперь я все чаще жалобно поглядывал на Таню: не пора ли закругляться? Вон сколько уже прошли!

Но на Таню мои жалобные взгляды не действовали. Закончив первую грядку, она принялась за вторую.

Теперь я то и дело опускался на корточки и временами даже становился на колени.

— Может, хватит, Тань?

— Не ленитесь, товарищ Литвин! — посмеиваясь, отвечала она.— Не ленитесь!

— Хватит! — решительно произнес я и перешагнул через грядку.

Таня чуть посторонилась и продолжала полоть.

— Танька, ну, хватит! — повторил я и, схватив ее за плечи, притянул к себе. Она не противилась и ответила на мой поцелуй с хорошо знакомым мне умением. Я чувствовал, что окончательно теряю голову. В эту минуту мне было плевать, видят нас или нет. И ни я, ни она не заметили, что топчем только что прополотые грядки.

— Пусти. Мы спятили совсем,— проговорила она, оставляя в моих руках косынку.

— Еще немного,— упорствовал я.

— Не надо... до вечера...— прошептала она.

Я сразу успокоился.

— Пошли!

— Пошли! — согласилась она.

Мы двинулись след в след по узкой меже. Она вывела нас к сараям. Там я изловчился и поцеловал Таню в затылок.

— Брысь! — отмахнулась она.

Когда мы из-за сараев вышли во двор, Таня спросила:

— У тебя есть дела?

— Нет, до ужина свободен.

— Вот и хорошо, займемся самообразованием...

— В каком смысле? — меня еще не покинуло игривое настроение.

— В самом прямом,— ответила она.— Ты будешь читать жития святых, а я — историю Казани. К татарской столице у меня особый интерес...

— Это с каких пор?

— С тех самых, как туда были эвакуированы мои родители. Ты забыл, я тебе говорила.

— Ты говорила, что они эвакуированы в Кострому.

— Да, а потом переехали в Казань. Я говорила, ты забыл.

— Теперь буду помнить.

— Ну это необязательно,— небрежно бросила она.

Как всегда, никаких, даже крохотных авансов на будущее. И снова — в который раз! — промелькнула мысль: или Таня не намерена связывать в будущем свою судьбу с моей, или она совершенно не верит, не надеется, что переживет войну... или переживем войну... врозь или по отдельности...

В душу же к себе, в ее сердцевину, она не пускала, то есть допускала, но ровно настолько, насколько считала возможным. Не скажу, что мне было легко с ней, не скажу...

Ей со мной было куда легче, так во всяком случае мне казалось. Я не помнил, чтобы она когда-либо жаловалась на мой характер...

Я обнял ее за плечи.

— Тань, ты хоть вспомнила, что послезавтра год, как мы вместе?

— Как год? — удивилась она.— А ведь и правда! Подумать только...

— Обмоем это дело? — предложил я.

— Как хочешь,— ответила она вяло.— Нет, правда, как хочешь...

10

Мы были еще в сенях, как откуда-то появилась растрепанная, в пыли и паутине хозяйка.

— Пане ликар и пани ликарка,— взволнованно спросила она,— вы Ганны не бачылы?

— Нет,— ответил я.— Таня, ты не видела ее?

— Какую Ганну?.. А, девочку эту... Нет, не видела...

— Куда вона подилася?.. Ох, знайду, намну вуха!

— Но может быть, она к соседям пошла? — сказал я.

— Ни, я усих оббигала... Ну, паразитка!

— Зря вы ее ругаете... Никуда она не денется. Придет.

— Ой, пане ликар, боюсь за нэи...

— Чего бояться? — удивленно спросил я.

— Один солдат, що у Бородулей живэ, усэ дывыться на нэи, дывыться, дывыться...
— Ну и что? Может, она ему дочку напоминает? Или сестренку?
— Ни, вин нэ добре дывыться...
— Ах вот... ну, как вы можете такое подумать? — возмутился я.
— Ой, боюсь!..
— Тань, подожди. Я попробую поискать ее... Все-таки какой ни есть, а разведчик... В широком смысле этого слова...
— Поищи, дружочек... А я пойду почитаю, хорошо?
— Я скоро! Надо помочь,— продолжал я.— Чтобы убедилась, что никто на ее чадо не посягает!
— Сколько девочке лет? — поинтересовалась Таня.
— Четырнадцать.
— Я бы ей дала все шестнадцать... Ну, ладно, если быстро не найдете, позовите меня. Будем искать вместе... Ни пуха,— сказала Таня и прикрыла за собой дверь в санчасть.

Поиски я начал с коровника. Осторожно обходя лепешки, которые в изобилии раскидали кругом обе Зорьки — мать и дочь, я осмотрел все уголки этого довольно просторного, рассчитанного на несколько голов крупного рогатого скота помещения.

— Ганна! — задрав голову, крикнул я в сторону сеновала.

Но по-прежнему стояла тишина, нарушаемая лишь неторопливым похрупыванием сена, неуклюжим переступанием коровьих ног и сладким причмокиванием теленка.

— Ганна! — позвал я еще раз и по приставной лесенке полез наверх.

Защекотало в носу от многолетней пыли, поднимавшейся с каждым моим движением. Я громко чихнул и принялся за планомерные поиски. Я уже не сомневался, что Ганны на сеновале нет — будь она здесь, она бы непременно отозвалась на мой чих непроизвольным смешком. И все-таки, пока я не облазил вдоль и поперек весь чердак, я не терял надежды. Одновременно в душе моей нарастала злость на этого чертенка, на розыск которого я вынужден был тратить драгоценные минуты, отпущенные судьбой на свидание с Таней. И в самом деле, какого лешего я связался с этими дурацкими поисками!

Но отступать было поздно, и я, чертыхаясь, перешел по грязи из первого хлева во второй, где меня дружным визгом встретили поросята. По-видимому, они решили, что я принес им корм. Если бы не перегородка, отделявшая их от меня, я бы, наверно, вынужден был спасаться бегством.

— Ганна! Слезай! — заорал я.— Хватит валять дурака!

Но девочки или здесь не было, или она решила отмолчаться: дескать, покричу, покричу и отстану. Если так, то она плохо знала меня.

По широкой лестнице я взобрался наверх, и передо мною, растерянным и обалдевшим, предстала чудовищная барахолка. Чего только не натаскали сюда припасливые хозяева. Чтобы пройти, я должен был откатить детскую коляску, с верхом нагруженную всевозможным домашним скарбом от самовара до ночной посудины с незабудками на эмали. Пробираясь к дальним затемненным уголкам чердака, где могла спрятаться Ганна, я с немалыми ухищрениями преодолевал одно препятствие за другим: широчайшую кровать, на которой неизвестно кто и когда спал, горку кресел, в которых неизвестно кто и когда посиживал, старинное трюмо, в которое неизвестно кто и когда гляделся. Ждали своего часа, чтобы послужить новым хозяевам, эмалированная ванна, круглая вешалка с загнутыми рожками, столик на кривых ножках. Если бы кто-нибудь надумал составить опись всего, что здесь находится, потребовалось бы немало времени. Конечно, при желании можно было набрать бесхозного имущества еще больше — сколько кругом стояло домов, навсегда покинутых их жильцами. Обезлюдели города, местечки, когда-то густо заселенные польским, еврейским, украинским населением. Заходи в любой дом, бери все, что душе угодно!

Я обшарил весь чердак и, перепачканный с головы до ног паутиной и прочей дрянью, спустился к поросятам, снова метнувшимся к перегородке.

Оставалась конюшня. Но если я и там не обнаружу Ганну, то на этом

кончаю поиски. Мало ли куда она могла удрать? Село большое, в каждой хате у нее, наверно, есть подружки. Делать мне больше нечего, как искать ее!

Первое, что я встретил, когда вошел в конюшню, был теплый лошадиный взгляд. Из-под длинной челки на меня глядели умные карие глаза огромного немецкого тяжеловоза. Не трудно было догадаться, какими судьбами он оказался здесь. Сколько их, брошенных своими хозяевами во время нашего весеннего наступления, одичавших, истосковавшихся по человеческой заботе, бродило по полям, лесам и лугам на месте бывших сражений. Но пока наши трофейные команды только прикидывали, как лучше организовать сбор этих ни в чем не повинных, безотказных трудяг, расторопные крестьяне в день-два разобрали их.

Поначалу хозяин сильно опасался, что битюга отберут у него; он понимал, что тот как-никак был трофейным военным имуществом Красной Армии и принадлежал только ей и никому больше. Но шли дни, недели, и никто не предъявлял права на Гнедка, как, не затрудняя себя выбором прозвища, впрямую, по масти назвали они коня.

Гнедко и в самом деле был спокойным, добродушным и премилым существом. Широкогрудый, коротконогий, с густыми щетками на ногах, с такой же густой гривой на большой тяжелой голове, он чуть ли не на второй день стал отзываться на свое новое имя. И все его недоброе прошлое, когда он послушно работал на рейх, навсегда исчезло вместе с немецкой речью, с нескончаемыми переходами по разбитым российским дорогам, с запахами тола и пороха, неотступно преследовавшими битюга все эти годы.

Кто может знать, как дальше сложится у него судьба, оставят ли здесь работать на единоличника или отправят в далекие края восстанавливать то, что разрушили его первые хозяева, но никогда, мне кажется, ему не было так хорошо, как сейчас. Чего стоила только одна привязанность к нему Ганны. Не было дня, чтобы не перепадало битюгу что-нибудь вкусненького из ее рук. Я не раз видел из своего окна, как девочка бегала сюда, держа миску с остатками пищи. И слышал ее ласковый голос: «Ах ты мий рыженький! Ах ты мий золотко!»

Не исключено, что именно здесь, по соседству со своим любимцем, спряталась она от матери.

Уверенный, что на этот раз я наконец угадал, где затаилась Ганна, я, чтобы зря не тратить время на поиски, разыграл маленькую сценку:

— Ганна! А вот ты где!.. Ну давай слезай!.. Давай!.. Давай!.. Я же вижу тебя!.. Ну, долго я буду ждать?.. Считаю до трех... Раз!.. Два!.. Три!

Словно деликатно сдерживая смех, тихо пофыркивал рядом битюг.

— Хорошо, я пошел за твоей мамой. Она тебе такую устроит выволочку... поверь... Она все село обегала, разыскивая тебя... Ну?

Но мое «ну» так и повисло в воздухе без ответа.

Я вышел во двор, но, не увидев в окне Таню, видимо, уже приступившую к чтению, повернул назад, в конюшню. Слишком много здесь было уголков, где могла бы отсидеться Ганна. Я давно заметил, что отношения у нее с родителями далеко не простые. Не раз слышал, как она огрызалась, сердито хлопала дверью, пробегала мимо с заплаканным лицом. Ничего нового я не видел и в сегодняшней истории. Больше того, я бы и не подумал заниматься поисками, если бы хозяйка не бросила тень на неизвестного мне разведчика. Разумеется, народ в нашем батальоне был разный: наряду с простыми, нормальными ребятами встречались и такие, которым, как говорится, палец в рот не клади. Несколько человек когда-то до войны даже сидели по уголовным делам. Но среди разведчиков не было ни одного, кто бы решился обидеть девчонку. За два с половиной года существования разведбата лишь однажды приезжал следователь из штаба армии, но и тот был вынужден уехать с пустыми руками: жалоба на изнасилование не подтвердилась. Выяснилось, что, встретив первый же отпор, боец покорно ретировался. Это-то, по-видимому, и задело бабенку, рассчитывавшую на продолжение атаки и раззвонившую о плохом солдате по всему селу. Остальные же разведчики улаживали свои дела тихо-мирно, к обоюдному удовольствию, так что думать о ком-нибудь плохо не было никаких оснований...

Поэтому-то я и ринулся защищать доброе имя батальона, хотя, признаться, кроме высоких целей, мною двигало еще и беспокойство о девочке. Или почти девушке, как хотите. Я привык к ней, к ее тихим и вкрадчивым шагам в соседней комнате, к ее постоянной готовности услужить и помочь мне. И даже то, что она иногда подслушивала и подсматривала, в конечном счете больше забавляло, чем раздражало...

11

На этот раз интуиция не подвела меня. Едва я поднялся на сеновал, как до моего слуха долетел близкий шорох. В отличие от нижних звуков, происхождение которых поддавалось быстрому и точному распознанию (несмотря на кажущуюся флегматичность, битюг проявлял живой интерес ко всему, что его окружало), верхний шорох таил в себе весьма подозрительную неопределенность.

— Ганна! — позвал я.

Меня окружала чердачная тишина.

Утопая в ворохах сена, я продолжал идти на шорох, хотя его уже давно не было.

Поднимаясь все выше и выше, я, наконец, добрался до верха и вдруг прямо в двух шагах увидел Ганну, наполовину зарывшуюся в сено. Ее ставшие огромными глаза внимательно следили за каждым моим движением.

— Ганна! Ты чего не отвечаешь? Я ору, ору, а ей хоть бы хны! А ну живо домой! Мама твоя все село обегала, уже не знает, что и думать!

— Поцилуйтэ мэнэ,— тихо сказала она.

— Что? — обалдело уставился я на нее.

— Ну... поцилуйтэ,— чуть не плачущим голосом повторила она.

Бог ты мой! Этого еще не хватало!

— Тебе еще рано целоваться с мужчинами,— назидательно произнес я.

— Я вже вэлыка,— тем же плачущим голосом сказала она.

— Какая ты большая? Тебе же всего четырнадцать лет. Когда мне было четырнадцать, я ни о чем, кроме уроков, не думал...

Господи, какую чушь я несу! И вру безбожно. Мне еще не было четырнадцати, когда я в первый раз в жизни обнимал и целовал во сне нашу соседку по коммунальной квартире продавщицу Олю и впервые испытал то, что сперва ошеломило меня, а потом наполнило душу предвкушением новых, еще более сильных наслаждений.

— Потом, ты знаешь, я женат,— продолжал я занудным голосом.— Представь себе, если бы твои родители целовались не друг с другом, а с чужими. Папа с другой женщиной, а мама с другим мужчиной.

— Вона нэдобра.

— Кто? — не понял я.

— Ваша жинка.

— Это интересно. Чем же она тебе не нравится? — спросил я, присев на корточки.

Ах ты, ревнивица!

— Пидсмиються з вас.

Неужели подслушивала?

— Это у нас такая манера разговора,— принялся объяснять я.— Я подсмеиваюсь над ней, она надо мной. Нельзя же быть всегда серьезным и глубокомысленным, как ваш битюг? — сидеть на корточках было неудобно, и я переменил позу: уселся рядом с Ганной.— И не надо, не надо, дружочек, осуждать людей, которых плохо знаешь...

— А чого вона до вас довго не ихала? — с вызовом спросила девочка.

И это заметила! Хотя только слепой мог не видеть, как я томился эти проклятые три недели, по нескольку раз в день бегал за околицу встречать проходившие машины, без конца выглядывал в окно.

— А не ехала она потому, что у нее было много работы. Каждого раненого надо перевязать, напоить, накормить, каждому сделать укол, дать порошки,— популярно объяснял я Танины обязанности.— Ты же знаешь, сколько мы возились только с одним раненым? А таких там раненых десятки, сотни. Вот и не могла раньше приехать.

— Пане ликар, а вона вам взаправду жинка?

Ну и проницательный же чертенок! Или родители обсуждали при ней неожиданное появление Тани? Можно не сомневаться, что глаз у них наметанный. Так что мне ничего не оставалось, как, преодолевая смущение, врать напропалую:

— Самая настоящая... У нас даже дочка есть. Полтора годика. Она сейчас находится в Казани, у родителей жены...

— А як ии звуть? — вдруг спросила Ганна.

— Кого? — не понял я.

— Та дочку вашу?

Бог ты мой, да она, кажется, проверяет меня?

— Светлана,— назвал я имя своей двоюродной сестры, и, подкрепляя вранье, добавил: — Светленькая такая, смешная...

— Вы не кажить ий,— попросила Ганна.

— Кому? — опять не понял я.

— Жинци ваший... Про мэнэ...

— Хорошо,— пообещал я.— Ну... встаем?

Она кивнула головой и отвела взгляд в сторону.

Я вскочил:

— Давай руку!

Ганна протянула руку. Ее крепкая горячая ладошка обожгла мою — прохладную. Я рывком поставил девочку на ноги.

— Пошли в хату!

Глубоко погружаясь в сено, мы двинулись к лесенке, которая вела вниз.

— Пане ликар,— шепотом сказала Ганна, остановившись.— Я никому не скажу...

— Что никому не скажешь?

— Поцилуйтэ мэнэ,— опять тем же просительным тоном произнесла она.

— Что ты со мной делаешь? — пожаловался я.— Ну, хорошо. Только один раз.

Она закрыла глаза и подставила губы. Я наклонился и коснулся легким беглым поцелуем.

Ее круглое лицо мгновенно зарделось.

Господи, что я делаю?

— Все,— решительно сказал я.— Пошли!.. А то меня тоже хватятся.

Я торил дорогу в глубоком сене. Ганна шла следом, плотно сжав губы, не глядя на меня. Я слишком мало знал девчонок, чтобы до конца понять, что делалось в ее сердечке. Но если она поверила во все, что я ей нагородил (а мне думается — поверила), то у нее не было причин таить на меня обиду. Да и вообще, что могло быть между нами? Даже если я был бы один, без Тани, я бы не осмелился переступить крохотный порожек, что разделял нас. И не потому что боялся последствий — кто думает о них в такие моменты? А потому что всем своим существом отвергал то, что осуждалось большинством людей. С детства мне внушалось, что можно делать, а что нельзя. И я хорошо понимал: если хочешь остаться человеком, надо держать себя в узде. А то не успеешь оглянуться и превратишься в подонка...

Мы спустились по лестнице и прошли мимо битюга. Он дружелюбно покосился на нас, но своего тяжелого, устойчивого, неподвижного положения не переменил.

Двор нас встретил ярким весенним солнцем, заполошным кудахтаньем кур и радостными возгласами хозяйки. Нашлась, наконец, слава Иисусу!..

12

Я влетел в санчасть и увидел Таню и капитана Бахарева. Он стоял, закинув руку на голову, и Таня старательно обрабатывала у него под мышкой знакомый мне карбункул.

— А... доктор! — протянул замполит.— Видите, мы не зеваем...

— Нашлась девочка? — спросила Таня.
— Нашлась,— ответил я.— Спряталась в конюшне. Пришлось перерыть все три сарая, пока не нашел.
— А что это за девочка? — поинтересовался Бахарев.
— Хозяйская дочка... Поссорилась с родителями...
— Это хорошо, что помогли искать. Надо противопоставить бандеровской пропаганде реальный гуманизм нашей армии,— тут же сделал вывод из случившегося замполит.
— Ты весь в сене,— сказала мне Таня.
— Ах ты черт! — ругнулся я и вышел на крыльцо.
Там я тщательно почистил рукой китель и галифе.
Интересно, догадывается ли замполит о наших отношениях? Конечно, если он прочел мою записку, то сообразить насчет остального пара пустяков. Да и вряд ли мне удастся скрыть от кого бы то ни было два чудесных дня, которые пробудет у меня Таня. Кстати, откуда я взял этот срок — два дня? Смешно, но я впервые почему-то не решался спросить Таню, надолго ли она. Что-то удерживало меня. Ах да, когда мы топтались на свежепрополотых грядках, она сама сказала: «...до вечера». Но означало ли это, что останется до утра, зная характер Тани, я бы не поручился. Говорить же о двух днях, о двух сутках, было более чем рискованно. Прервать наше свидание могла любая случайность, от неожиданного дежурства по части, вызванного необходимостью подменить другого офицера, до Таниного настроения, которое иногда портилось с поразительной быстротой. Увы, наша любовь несла в себе не только радость, но и разного рода огорчения. Больше всего Таня боялась, как она говорила, «попасться». Ее нисколько не прельщало вернуться домой с фронта в положении. Она хорошо знала, какие разговоры и сплетни ожидали ее в этом случае. Однажды она даже разыграла передо мной целую сценку, изображая злоязычных кумушек: «Неплохо повоевала девка, а?» — «Ишь ты, не зря, видать, ордена ей понавесили?» — «Так-то можно воевать, а, Пантелеевна?» А то еще песенку споют: «На позицию девушка, а с позиции...»
Она хохотала, но смех был горький.
И с насмешливым недоверием слушала, когда я говорил, что не оставлю ее, женюсь...
«Лучше не надо»,— обычно отвечала она.
Но что «лучше не надо», жениться или родить ребенка, она никогда не договаривала.
Когда я вернулся в хату, Таня уже заканчивала перевязку. По выражению лица замполита — довольному, умиротворенному — я понял, что он бы не возражал, чтобы Таня и впредь занималась его карбункулом.
— Золотые руки,— сказал капитан.
Он буквально млел и таял, когда она дотрагивалась до него.
Не скажу, что это было мне приятно, но и беспокойства тоже не вызывало. Я знал, что мужчины такого типа, как Бахарев, с ранней лысиной и светлыми ресницами, с веснушками на руках, были не в ее вкусе. Как-то в шутливом тоне она призналась, что ей больше нравятся брюнеты. «Это не самый большой порок, не правда ли?» — сказала она. «Не самый,— охотно согласился я.— Тем более, что среди брюнетов попадаются и неплохие ребята».— «Хвастун»,— заявила она.
К сожалению, капитан этого не знал и не мог знать. Смущаясь того, что нижняя рубаха у него была далеко не первой свежести, он отвернулся от нас и с неожиданным проворством натянул ее на себя. Так же быстро, превозмогая остаточную боль, надел он и китель. Однако вместо того, чтобы поблагодарить Таню и тут же уйти, он крепко пожал ей руку и... остался. Его внимание привлекли книги, валявшиеся в беспорядке на кровати. Я не заметил, чтобы он проявил особый интерес к Пушкину, Шевченко и Шеллеру-Михайлову. Прочел названия на переплетах и положил обратно. «Жития святых» он подержал в руках дольше. Посмотрел на меня, на Таню и, не увидев на наших лицах смущения, присоединил книгу к первым трем. Зато история Ивана Грозного вызвала у него сильное желание высказаться.
— Выдающаяся личность,— заметил он.

— Палач и садист,— мгновенно отреагировала Таня.
— Ну зачем так? — спокойно возразил он.— Многие ведущие историки считают, что крутые меры, к которым он прибегал, исторически оправданы. Нужно было преодолеть политическую разобщенность страны, дать ей сильную централизованную власть.
— А для этого сажать людей на кол и вспарывать животы? — в упор спросила Таня.
— Ничего не поделаешь,— развел руками капитан.— Таковы тогдашние нравы.
— А Гитлер?
— Что, Гитлер?
— Он, думаете, далеко ушел как личность, как человек от Ивана Грозного?
— Я вам советую почитать товарища Сталина. У него на этот счет есть классическое определение. Немецкая армия, сказал он, это армия средневекового мракобесия, средневековой реакции. Чувствуете разницу?
— Естественно. Здесь средневековая реакция, там средневековый прогресс. Но и здесь, и там тысячами летят головы!
— Разговор, конечно, между нами,— многозначительно подчеркнул замполит.— Но я бы вам не советовал к историческим явлениям подходить с позиций абстрактного гуманизма.
— То есть общечеловеческого, внеклассового, вы хотите сказать? — спросила Таня.
— Да, такова марксистская формулировка,— подтвердил Бахарев.
— А разве нет вечных ценностей, существующих вне идеологии? — настойчиво допытывалась Таня.
Я видел, что разговор принимал все более рискованный оборот, и украдкой делал знаки Тане, чтобы она прекратила эту полемику. Но остановить ее было уже невозможно. Я понял, что она высказывала не только свои мысли, но и мысли отца — историка, которые были ей дороги и от которых, мне кажется, она не отказалась бы даже под пытками Ивана Грозного.
— Это что-то новое,— удивленно заметил Бахарев.— Я бы с интересом послушал, что это за вечные ценности, существующие вне идеологии?
— Хорошо. Начинаю загибать пальцы. Жизнь человека, как таковая — раз. Материнская любовь — два. Право человека на счастье — три. На свободу — четыре. На уважение — пять. Смотрите, пальцев не хватит. Просто любовь, наконец,— шесть...
Когда Таня произнесла о любви, я попробовал поймать ее взгляд, но она смотрела мимо меня на изготовившегося продолжать спор замполита.
— Всегда осуждались жестокость — семь, трусость — восемь, вероломство — девять, зависть — десять... У меня уже все пальцы кончились. Давайте ваши.
— Валяйте уж до кучи и христианские заповеди,— усмехнулся Бахарев.
— А что? Сколько существует человечество, всегда порицались убийство, воровство, клятвопреступление, прелюбодеяние и тому подобное,— устало добавила она.
— Ну вот, все эти ваши вечные ценности,— вдруг вскочил со стула замполит,— ни во что... слышите, ни во что не ставят гитлеровцы... наши классовые и идейные противники...
— Так же, как и Иван Грозный,— спокойно прокомментировала Таня.
— Да дался же вам этот Иван Грозный! — бросил Бахарев.
— Ведь танцевать мы начали от него? — заметила она.
— Так что вы этим хотите сказать?
— Что не вижу большой разницы между ним и Гитлером. Оба являются человеконенавистниками. Масштабы, правда, разные.
— Кстати, как вы относитесь к тому, что мы тоже убиваем? Я имею в виду фашистов?
— Весьма положительно. Я сама убила двух фрицев. И убила бы, если бы это было мне под силу, в сто раз больше!
— Вот видите!

— Но я бы, не задумываясь, ухлопала и Ивана Грозного!

— И нанесли бы тем самым,— капитан даже поднял указательный палец,— колоссальнейший вред идее объединения и централизации России!

Я давно сидел как на иголках. А теперь, когда Бахарев подвел такую базу, спорить с ним мне показалось и вовсе небезопасно. Кто знает, какой вывод он сделает из этого острого разговора? Возьмет да и припишет Тане политическую близорукость, чуждые нашему обществу взгляды? Человек в нашем батальоне он был новый, воевал всего вторую операцию, и я, честно говоря, не составил о нем еще определенного мнения. Что-то в нем мне нравилось, а что-то и нет. И хотя я целиком и полностью был согласен с Таней, с ее меткими и убедительными ответами, и открыто любовался ею, такой умной, такой красивой, такой родной, я мучительно ломал голову над тем, как бы незаметно перевести разговор на другую, менее острую тему. Но никто из спорщиков не обращал внимания на мои робкие и неуверенные попытки заговорить о чем-нибудь ином. Так было и сейчас, когда я вдруг ни с того ни с сего принялся нахваливать нашего командующего...

— Да, талантливый полководец,— бросил мне замполит и продолжал, обращаясь к Тане: — Я вижу, вы опять не согласны?

— Нет,— подтвердила она.— Я вполне допускаю, что вместо Ивана Грозного мог быть другой деятель, более человечный и разумный. Человечные и разумные деятели были во все времена и во все эпохи...

— Так, если следовать вашей логике,— усмехнулся замполит,— не будь Гитлера, и немецкий фашизм в других руках мог изменить свой характер?

Таня сердито посмотрела на Бахарева. Сердце у меня екнуло. Я вдруг испугался, как бы в полемическом задоре Таня не брякнула что-нибудь лишнее.

Я только собрался броситься ей на выручку со спасительной цитатой о природе германского фашизма, как она сама неплохо постояла за себя.

— Вы, я вижу, товарищ гвардии капитан,— заявила она,— принимаете меня за абсолютную дурочку. Вы что хотели бы услышать от меня? Что Геринг лучше Гитлера, а Геббельс лучше Геринга? Но среди немцев, я уверена, есть немало деятелей, которым так же, как и нам, не терпится скорее покончить с фашизмом.

— Вот это — верная мысль,— опять поднял палец Бахарев.— Еще Сталин, товарищ Сталин, сказал: «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается...» — и вдруг неожиданно спросил Таню: — Вы член партии?

— Нет. Я еще комсомолка.

— Пора — как вы считаете? — подумать и о вступлении в партию?

— Мне уже предлагали.

— Ну и что же?

— Собираюсь с мыслями...

Ответила бы просто: «Собираюсь...», а то «...с мыслями...»

Но Бахарев, очевидно, этого и не заметил и опять заговорил о своем карбункуле, который, как оказалось, не первый в его жизни. Раз в два-три года под мышкой, то справа, то слева, у него вырастает «сучье вымя».

Потом он вспомнил свою бывшую жену, которая тоже была медиком, судебно-медицинским экспертом, и сошлась, когда он по заданию райкома партии поднимал отстающие колхозы, с каким-то следователем из Москвы. Сейчас она работала чуть ли не в союзной прокуратуре и даже защитила кандидатскую диссертацию.

После того, как разговор перешел с Ивана Грозного на обычные житейские темы, он потерял остроту и медленно и скучно угасал...

13

Мы с Таней томились, но Бахарев, похоже, не собирался уходить. Ему было хорошо, интересно с нами. То есть не с нами, если быть точным, а с Таней, которая теперь на все его вопросы отвечала односложно «да», «нет». Правда, отвечала с улыбкой — добродушно-уклончивой, сдержанно-учтивой, необидной.

Иногда мы с Таней украдкой жалобно переглядывались: долго ли он еще будет сидеть? Неужели до него не доходит, что является третьим лишним? Даже если он считает, что между нами ничего нет, должен же он, наконец, понять, что Таня приехала ко мне, а не к нему. Мало ли о чем нам хотелось бы поговорить наедине? Раз, по существующей версии, мы с ней старые фронтовые друзья, то у нас могут быть какие-то общие воспоминания, свои разговоры, свои тайны. Будь он трижды замполит, но и ему знать все необязательно. Нет такой установки. Прежде всего он должен поднимать боевой и моральный дух личного состава, заниматься идейно-воспитательной работой среди разведчиков. Даже спор Бахарева с Таней об Иване Грозном я принял как должное. В конце концов это входило в его обязанности — наставлять тех, кто ошибается, на правильный путь.

А вот сидеть и травить баланду было, как говорится, уже из другой оперы. Просто ему хотелось, я понимал, пообщаться с красивой, умной девушкой — не частая возможность для батальонного замполита. Только при чем мы?

Я тяжело вздохнул и спросил Таню:

— Слушай, а не затопить ли нам печку?

Бахарев с удивлением посмотрел на меня: топить печку, когда уже отцвели яблони и окна распахнуты настежь? Затем он перевел вопрошающий взгляд на Таню, чтобы, надо думать, свериться впечатлениями от моего сумасбродного предложения.

Таня плутовато улыбнулась. Уж она-то знала, что я имел в виду.

Как-то поздней осенью у нас вот так же засиделся начбой. Размягченный Таниным очарованием, он принес откуда-то гитару и долго, очень долго пел старинные русские романсы. У него был приятный, с хрипотцой голос. В другое время, возможно, мы бы слушали его и слушали. Но тогда мы не чаяли, как от него избавиться. До окончания Таниной увольнительной оставалось каких-нибудь жалких пять часов. И это без учета дороги — сорока или пятидесяти километров. Причем километров не простых (сел да поехал по накатанному шоссе на своей машине), а уводящих куда-то в непроглядную, тревожную фронтовую ночь, где на каждом шагу подстерегали опасности, где часами можно провести в ожидании попутки и в конечном счете, отчаявшись, пойти пешком, где, не успев оглянуться, рискуешь оказаться в руках немецких разведчиков, которые временами просачивались в наши тылы.

Так что нам было не до старинных романсов под гитару, и мы с Таней, вздыхая, тоскливо поглядывали на часы.

В хате было тепло, весело потрескивал в печурке хворост, который я время от времени подбрасывал в ненасытную топку.

И когда мы уже смирились с тем, что наше дело дрянь, меня вдруг озарила простая и гениальная мысль. Я встал и незаметно для начбоя задвинул печную заслонку. Вскоре вся хата наполнилась дымом. Нас одолел сильный кашель, обильно полились из глаз слезы. Первым не выдержал ничего не подозревавший начбой. Как только он, подхватив гитару с бантиком, скрылся за дверью, я выдвинул заслонку, и дым устремился в трубу. Мы с Таней покатывались со смеху. Потом я широко распахнул дверь и окончательно проветрил помещение. Так мы остались вдвоем...

Сейчас же это было невозможно: уже с месяц как кончили топить. В последний раз печку по нашей просьбе протопили вчера, когда настоятельно требовалось просушить многострадальные Славкины кальсоны.

И все же, несмотря на то, что простые и гениальные мысли приходят чрезвычайно редко, я лихорадочно стал думать, как бы спровадить и Бахарева. К сожалению, время шло, а в голове было хоть шаром покати. Вот разве только разбить бутыль с нашатырным спиртом. Но она стояла у стены на столе, заставленная пузырьками, а капитан Бахарев не спускал с меня глаз, словно догадываясь, что я задумал какую-то каверзу.

И вдруг я взглянул в окно и увидел проходившего мимо Славку Нилина. По тому, как он шел, оглядываясь на хату, я видел, что он помнил о моем предупреждении и не собирался обременять нас своим посещением. Наверно это стоило ему немалых усилий, потому что, как и всякий поэт, он жаждал все новых и новых слушателей. А Таня, он знал, любила стихи и однажды даже,

внимательно и терпеливо выслушав одну из его поэм, отметила немало удачных строк.

Хотя в том, что я замыслил, был определенный риск, но у меня не было другого выхода: сейчас нас выручить мог только Славка. Возможно, сама судьба посылала нам его на помощь.

— Славка! — крикнул я в распахнутое окно.— Подожди минутку!.. Товарищ гвардии капитан, я сейчас... Отдам только Нилину порошки от головной боли!

Схватив со стола первый попавшийся пакетик (потом выяснилось, что это был салициловый натрий — от ревматизма), я выбежал из хаты.

Но Славка оказался проворнее меня. Очевидно, решив, что нам с Таней для полного счастья не хватает его стихов, он, не дожидаясь моего появления, в одно мгновение очутился на крыльце. Как ему это удалось, я совершенно не представлял. Хотя, наверно, все дело было в опыте и сноровке танкиста. Уметь пулей забираться в танк и пулей выскакивать из него!

Я давно не видел на Славкином лице такого откровенно-разочарованного, кислого выражения, когда здесь же, на ступеньках, шепотом объяснил ему всю ситуацию и взмолился, чтобы он под каким-нибудь предлогом увел капитана Бахарева. Вместо вечера поэзии, который рисовался его воображению, ему предстояло ломать голову над тем, как бы создать мне условия для уединения с возлюбленной.

— Хорошо, попробую,— нехотя согласился Славка.

— Ты что ему скажешь? — опасливо спросил я.

— А это уж не твоя забота...

Мне стало не по себе, потому что я не знал, что выкинет мой лучший друг. Как и в каждом разведчике, в нем довольно сильна была авантюристская жилка.

— Не дрейфь! — бросил мне Славка и первым вошел в санчасть.

Капитан Бахарев в это время уже расписывал Тане, как на занятиях по историческому материализму он забыл назвать одну из главных задач диктатуры пролетариата, хотя знал все назубок. Ночью разбуди — ответил бы. А тут прямо как отшибло.

Славка не перебивал, дал Бахареву договорить.

Таня выжидательно переводила взгляд с меня на Нилина. Она догадывалась, что роль дымящей печки на этот раз предназначалась моему другу.

Когда замполит кончил, Славка вдруг возвестил каким-то не своим, радостно-смущенным голосом:

— Товарищ гвардии капитан, а я вас всюду ищу...

— Что, что-нибудь случилось? — встрепенулся тот.

— У меня к вам большая личная просьба,— уперся в него затуманенным взглядом Славка.

— Я слушаю вас... если...— Бахарев посмотрел на нас с Таней.

— Мне хотелось бы поговорить с вами наедине,— отрезал Славка.

— Ну что ж,— помедлив, проговорил замполит.— Пойдемте!

Он встал и сказал Тане:

— Я надеюсь, что мы еще встретимся...

— Я тоже,— лукаво улыбнулась Таня.

— Гора с горой не сходится, а человек с человеком сходятся,— подытожил замполит и вышел вслед за Славкой из хаты...

— Наконец-то! — облегченно вздохнул я.

Но Таня почему-то никак не отреагировала на мой радостный возглас, промолчала. Лишь вытянула занемевшие в одном положении ноги. И посмотрела на меня вопросительным усталым взглядом...

14

Дождавшись, когда замполит и Славка покинут двор, я взял Танины руки, лежавшие у нее на коленях, и прижал их к своему пылавшему лицу.

— Что, дружочек? — спросила Таня.

Вместо ответа я поцеловал сперва одну ее ладошку, потом другую. Они как

всегда были шершавые и теплые. И от них восхитительно пахло травой, которую она недавно выпалывала.

Я нежился в ее ладошках, не отпускал их.

Но краем уха я раздраженно прислушивался к звукам, доносившимся с хозяйской половины. Там кто-то все время ходил, бубнил, гремел посудой. То и дело по комнате пробегала Ганна и громко хлопала дверью. Этот бесенок, похоже, никак не хотел примириться с тем, что его отвергли. Выпороть бы ее за эти шутки.

— Слушай, давай устроим праздничный ужин? — предложил я.

— Праздничный? Из чего? — улыбнулась она, открывая свои прелестные неровные зубы.— Насколько мне известно, у вас на ужин сегодня пшенка.

— К черту пшенку! — воскликнул я.— Мы организуем что-нибудь получше!

Я решительными шагами направился на хозяйскую половину. На ходу обернулся, ответил на недоуменный взгляд Тани:

— Ты что, не заработала у них на жареную картошку? Прополола почти весь огород!

— Ты думаешь? — неуверенно спросила она.

— А чего тут думать? Хозяйка сама как-то предлагала...

Я постучал и вошел к хозяевам. Увидев меня, Ганна вскочила и выбежала, сердито хлопнув дверью. Хозяйка осуждающе посмотрела ей вслед, но ничего не сказала. Да, если так будет продолжаться, придется подыскать новое жилье. Узнав, что пан ликар и пани ликарша не прочь поужинать жареной картошкой, хозяйка захлопотала, засуетилась. На мои слова, что мы и сами можем поджарить, она только замахала руками.

— Ну что? — спросила Таня, когда я вернулся.

— Полный порядок. Сейчас поджарит.

— Знаешь, я пойду ей помогу? — Таня вопросительно посмотрела на меня.

— Справится сама,— категорическим тоном заявил я.— Подумаешь, почистить с десяток картофелин...

— А! — махнула рукой Таня, соглашаясь со мной. И вдруг насмешливо спросила: — А ты картошку когда-нибудь чистил?

— Конечно. Помогал маме.

— И тебе не попадало?

— За что?

— Что много срезаешь?

— Нет, я старался.

— А мне попадало. У меня не хватало терпения. Я вечно куда-то спешила. То на речку с ребятами, то в лес. Наверно, мне лучше было бы родиться мальчишкой...

— Я бы этого не сказал,— заметил я, открыто любуясь Таней, ее строгой, неназойливой красотой.

— Не смотри так,— она мотнула головой, как бы стряхивая мой взгляд. И добавила, улыбнувшись: — Сглазишь.

Несмотря на шутливый тон, с каким это было сказано, я сразу насторожился. Недоуменно пожал плечами:

— До сих пор же я тебя не сглазил?

Таня скользнула по моему лицу каким-то странным, мне даже показалось, вопросительно-жалостливым взглядом и ничего не сказала. Она явно что-то скрывала от меня, не договаривала. Спросить бы прямо, что с ней? Но ответит ли? Когда днем при встрече я попытался узнать, почему она так долго не ехала и не писала, Таня ловко перевела разговор на другое. Переведет, я уверен, и сейчас. Я слишком хорошо ее знаю, чтобы заблуждаться на сей счет. Нет, я не думаю, что в наших отношениях что-нибудь круто переменилось: в этом случае она бы вообще не приехала и, тем более, не осталась бы на ночь. Здесь было что-то другое, давно и упрямо скрываемое от меня. Возможно, какие-нибудь большие неприятности по службе, о которых ей не хотелось говорить. Повысилась смертность в отделении, поругалась с начальством, получила взыскание, обошли наградой? Да мало ли какие могли быть причины! Честно

говоря, я надеюсь, что она сама скажет все... только потом... после того, как нас по обыкновению захлестнет благодарность друг к другу. Но сейчас лучше промолчать...

— Ты о чем, дружочек, задумался? — Таня легонько дотронулась до моей руки.

— О картошке, о чем же еще?

— Что бы мы делали, если бы не картошка? — мягко упрекнула она.

И опять в ее словах мне послышался вызов, этакое легкое подталкивание к ссоре, которая ей зачем-то была нужна — только зачем?

Я подошел к окну и проводил взглядом какого-то старика, пробиравшегося между лужами.

— Кто там? Новые гости? — спросила Таня.

— К счастью, нет... Я думаю, пора завешивать окна. Смотри, как стемнело...

— Тебе помочь?

— Не надо... С этим я справлюсь сам,— я зацепил за гвозди плащ-палатку и опустил ее на подоконник.— Видишь, раз — и все!

— Талант! — шутливо прокомментировала она.

— А то нет? — я направился ко второму окну.— Приготовь лучше лампу. Она под столом. А спички в тумбочке, на верхней полке.

Пока Таня доставала гильзу и спички, я завесил остальные два окна. Сразу в комнате стало темно. Было слышно, как Таня тщетно пытается зажечь немецкие бумажные спички с хилыми серными головками.

— Что за дрянь! — не выдержала она.

— Дай я...

— Подожди,— ответила она и продолжала упрямо крошить головки.

— Учти, это последние,— предупредил я.

— На,— в голосе Тани все еще звучали сердитые нотки.

Я взял плоский коробок. В нем оставались всего три мятые спички. Я оторвал одну из них, осторожным и быстрым движением высек огонь. Слабое пламя зацепилось за бумажный столбик и весело побежало по нему.

— Я уже приспособился,— объяснил я.

Фитиль в самое время перехватил догорающий огонек и, разгораясь, осветил нас с Таней. У нас были чертовски напряженные лица. Словно от того, загорится ли лампа, зависела наша судьба.

Мы встретились взглядами и одновременно понимающе улыбнулись.

— Теперь я знаю,— произнесла Таня,— никто лучше тебя не завешивает окна, никто лучше тебя не зажигает спички...

Нет, все-таки чем я досадил ей, что она никак не может оставить меня в покое? И тут я заметил, что улыбку давно стерло с моего лица и я стою, ничем не защищенный перед ее насмешливо-сочувственным взглядом.

Я заставил себя улыбнуться и продолжать непринужденным тоном:

— И никто лучше меня не умеет выслушивать твои бесконечные подначки...

— Да, наверно,— согласилась она.— Но ты, дружочек, можешь не обращать на них внимания...

Вот как, не обращать внимания? Всего только! Как будто мы чужие люди, и меня не может, не должно волновать, что она думает и говорит обо мне... Да и ей, выходит, все равно, что я думаю о ней?

На языке у меня вертелись резкие слова, но я сдержался и произнес упавшим голосом:

— Легко сказать...

15

Вот уже добрых четверть часа как по всей хате разносился умопомрачительный запах жареной картошки.

Таня вздохнула:

— Хорошо бы она подала прямо на сковородке. Я люблю прямо со сковородки...

— Я скажу ей.

— Скажи.

Я прошел на кухню. У раскаленной плиты, закатав по локоть рукава, возилась хозяйка. Она разрумянилась ничуть не меньше, чем картошка.

— Та вже кинчаю, пане ликар,— сообщила она, переворачивая улежавшиеся румяные ломтики.— Хиба ще посолыты?

Она наколола на кончик ножа несколько ломтиков и подала мне. Я попробовал: картошка божественно похрустывала на зубах. Дальше жарить — только портить.

— Готова,— сказал я.

— А можэ добавыты соли?

— Нет, в самый раз. Спасибо.

— Пане ликар, идить до жинки. Я зараз подам.

— Не надо, я сам... Не надо, не надо. Мы будем есть прямо со сковородки. Дайте какую-нибудь тряпку... Спасибо!

Я подхватил тряпками огромную деревенскую сковородку и понес к себе. За мной с чугунной подставкой следовала хозяйка.

Я открыл локтем дверь и вошел с высоко поднятой сковородкой:

— Папи докторша, вас приветствует пища богов!

— Ой, как много! — воскликнула Таня.

Хозяйка быстро поставила на край стола подставку и, широко улыбаясь, удалилась.

— Спасибо! — крикнул я ей вдогонку.

— И от меня спасибо! — подхватила Таня.— Давай сервировать стол! Она накрыла стул куском марли, там же поместила подставку.

— Ставь!

Я опустил сковородку.

— А стул придвинем к кровати! — продолжала распоряжаться Таня.— Теперь, кажется, все?

— Где твоя ложка? — спросил я, вынимая свою из полевой сумки.

Она села на кровать и сказала:

— А тебе не кажется кощунством есть жареную картошку ложками?

— Меня больше волнует другой вопрос,— ответил я и достал из-под кровати флакон.— Вот этот.

— Спирт?

— Чистейший... Не пугайся, мы его сильно разбавим. До крепости законных наркомовских ста граммов.

— Мне чуть-чуть...

— Столько или больше?

— Спасибо, хватит...

— Я принесу воды.

— И вилки! — напомнила Таня.

Хозяйка словно ждала моего возвращения. Поигрывая всепонимающей, всепрощающей улыбкой, она достала из комода две серебряные, с монограммами, вилки, наполнила графин прозрачной колодезной водой из эмалированного ведра и тщательно протерла вышитым полотенцем два высоких фужера.

И тут в комнату как-то боком вошла Ганна. Не глядя на меня, она схватила метлу и принялась подметать и без того чистый пол. Мела она порывисто и сердито, точно выговаривалась без слов — одними взмахами метлы.

Когда я вернулся к Тане, Ганна еще долго и шумно возилась у общей двери.

— Знаешь, а эта девочка в тебя влюблена,— тихо сказала Таня.— Она ревнует тебя ко мне.

— Хоть переезжай на другую квартиру,— проворчал я, разбавляя спирт водой.

— А... ты уже в курсе...

— Так я же не слепой,— пожал я плечами и сел рядом с Таней на кровать.— Ну давай выпьем!

— Давай.

— За что?

— За твое счастье, Гриша!
— Почему только за мое? — удивился я.
— А ты — пей за мое.
— За тебя, Таня!
— За тебя, дружочек!
Мы выпили. Таня замахала рукой и вся сморщилась. Я же не повел и бровью. Во всяком случае так мне казалось.
— Чудо,— сказала Таня, распробовав после первых секунд водочно-спиртового ожога жареную картошку.
Я был полностью с ней согласен. Такой фантастической вкуснятины, к тому же по-домашнему обильной и сытной, я не ел года три, еще с довоенных маминых времен.
— Когда кончится война, если останусь жив, буду каждый день есть жареную картошку,— помечтал я.
— Ты останешься жив,— сказала Таня.
— А ты откуда знаешь?
— Знаю...
— Налить еще?
— Налей...
— За что? — поднял я фужер.
— За наш сегодняшний день,— аккуратно чокнулась Таня.
И опять мы выпили как в первый раз — она с отвращением, я даже не поморщившись. Меня смутил ее тост. С одной стороны, он открыто и волнующе обещал желанную близость, а с другой стороны — я чувствовал — скрывал в себе второй смысл, пока еще не распознанный и не разгаданный мною. Но то, что он был, я не сомневался...
Мы снова нажали на картошку, и она стала довольно быстро убывать.
— Ну и обжора я! — сказала Таня.
— Куда тебе до меня! — самокритично заметил я.— Я давно опередил тебя по всем показателям — вилкозахвату и вилкооборачиваемости...
— Тебе и положено, милый. Ты мужчина.
— Мне по традиции положено больше заниматься этим,— я потянулся за флаконом.
— Знаешь, а мы с тобой здорово... здорово окосеем,— весело смирившись со своей участью, предупредила Таня.
— Тогда отставить! — сказал я и отправил флакон под кровать.
— Туда ее... с глаз долой! — одобрила Таня.
— Бог ты мой, ты и вправду окосела...
— Нет... Чуть-чуть...
— Ешь! — я придвинул к ней сковородку.— Где твоя вилка?
— Вот,— показала она.— Смотри, какая изящная монограмма. Две... нет, три перевитые буквы... Б... Т... Э... Эва Бандровска-Турска...
— Кто-кто?
— Эва Бандровска-Турска... Тебе, ленинградцу, стыдно не знать это имя...
— Я не знаю еще сотни миллионов имен... Целых два миллиарда имен!
— Это известная польская певица. Одна — и ты заруби это на своем длинном носу — из лучших в мире.
— Бедный мой нос. Чего только я не должен зарубить на нем,— вздохнул я и обнял Таню. Она не противилась.— Ты думаешь, что это ее вилки?
— Не знаю. Может быть, это вилки английской королевы...
— Или какого-нибудь зажиточного местечкового еврея...
— Или русского белоэмигранта...
— Или...
— Или...

16

— Тебе хорошо, милый?
— Ты еще спрашиваешь,— ответил я, устало целуя ее в подбородок.
Я ощутил на щеке легкое прикосновение губ.

— Сейчас спать? — тихо сказала Таня.
— Я уже вижу сон,— признался я.— Нет, в самом деле. Будто я забыл запереть дверь. А во дворе ходят какие-то люди. Один из них все время в окно заглядывает...
— Спи, дружочек. Ничего не забыто. И двери заперты, и окна завешаны...
— Тань, ты любишь меня?
— Спи, дурачок... Спи, утро вечера мудренее,— сказала она и чмокнула меня в плечо.
Под поцелуем мгновенно угасло недоумение: почему утро вечера мудренее? Не вообще, конечно, а применительно ко мне?
Я обнял Таню и незаметно погрузился в сон...
Проснулся я от того, что вдруг обнаружил, что могу свободно поворачиваться в постели. Тани рядом не было. Я рывком присел на пружинящей сетке с жиденьким тюфячком и увидел в полумраке Таню. Она сидела на стуле и, подперев кулачком голову, смотрела на меня напряженным изучающим взглядом. Она была почти одета, в гимнастерке, в юбке, но еще без сапог — в одних чулках. В комнату через сдвинутую в одном месте светомаскировку проникали первые слабые лучи...
— Таня, ты чего? Ты чего встала?
— Пора ехать,— вздохнула она.
— Послушай,— я опустил ноги на пол,— еще только...— я взял часы,— пять часов... У тебя до которого часа увольнительная?
— Все равно.
— Что все равно?
— Все равно: перед смертью не надышишься.
— Какой смертью? О чем ты говоришь?
— Это я так, ради красного словца... Нет, правда,— добавила она жалобным голосом,— мне надо ехать... Так будет лучше.
— Почему? — я ничего не понимал.— У тебя неприятности по службе?
— Спи, Гриша... По службе у меня все в порядке...
— Ты так и не ответила, когда должна вернуться в госпиталь?
— Хорошо. В тринадцать ноль-ноль.
— В тринадцать ноль-ноль? — оторопело повторил я. В прямоте, с которой был назван срок возвращения, мне послышался вызов, но я от растерянности пропустил его мимо ушей.— Ни черта не понимаю, у тебя столько времени, а ты поднялась в такую рань?
— Дружочек, ты прости меня, но я пойду,— она подошла ко мне и поцеловала в лоб.
— Тань, брось,— я схватил ее за руку, прижался щекой.— Иди ко мне, у нас до утра еще целых три часа...
— Нет, все,— она убрала руку.— Все.
— Что все? — я, наверно, был смешон в своих длинных семейных трусиках и застиранной майке.
— С этим все...
— С чем — с этим?.. Ты что-то не договариваешь. Я давно заметил, что с тобой что-то произошло. Что с тобой?
— Ты непременно хочешь знать?
— Да,— сдавленным голосом произнес я.
— Ты не сердись, пожалуйста, но я больше к тебе не приеду...
— У тебя кто-то есть? — как во сне спросил я.
— Да,— ответила она.
— Кто он?
— Врач. Хирург.
— И вы...
— Нет. Еще нет. Смешно, но я не могла.
— Хотелось сперва со мной покончить?
— В общем, да...
— На редкость трогательно, тебе не кажется? — с трудом мои губы сложились в ироническую улыбку.
— Потом мне надо было разобраться в своих чувствах...



— И разобралась?
— Не очень... Но у меня нет другого выхода...
— Ты хочешь сказать, что он всегда рядом, а до меня всегда далеко?
— Нет. И он пока не рядом, и ты еще не далеко.
— Как прикажешь тебя понимать?
— Не так просто зачеркнуть год, что мы были вместе.
— А ты зачеркни! — крикнул я, наверно, разбудив всех в хате.— У многих это получается ох как легко — раз, и нет!
— Неужели ты не понимаешь, что я не могу иначе.
— Как иначе?
— Сразу быть с двумя.
— А почему бы и нет?
— Ты здорово облегчаешь мое положение...
— То есть?
— Я все меньше вижу смысла в нашем теперешнем разговоре. Кончать так кончать,— она потянулась за сапогами.

И тут во мне словно что-то сломалось. Я бросился перед Таней на колени. Мысль о том, что через несколько минут мы, возможно, расстанемся навсегда, одновременно оглушила меня и отрезвила.

Она пыталась вырваться, но я держал ее руки мертвой хваткой. Я погружался лицом в ее родное — чужое тело и хрипел, надрывая голос:

— Танька, ну что ты со мной делаешь?.. Ты хочешь, чтобы я пустил себе пулю в лоб?.. Тань, я люблю тебя... Поверь, никто тебя так никогда не будет любить... Слышишь, давай подадим завтра рапорт на имя командующего с просьбой разрешить нам пожениться?.. Он разрешит... Мы напишем, что любим друг друга и что наши отношения никак не отразятся на служебных обязанностях... Я слышал, что он иногда разрешает... особенно если служат в разных частях... Считает, что так реже будут встречаться... Вот как мы сейчас...

И вдруг я обнаружил, что сижу на полу у Таниных ног, и она почти невесомым движением руки гладит меня по голове.

— Танюша, почему ты молчишь?
— Хорошо, я буду говорить очень банальные вещи,— все больше сжимаясь, слышал я ее дружески-рассудительный голос,— а ты наберись терпения и не перебивай... Я еще люблю тебя, но не так, как раньше,— она мягко отобрала руку, которую я украдкой осыпал поцелуями.— Это уже остатки, понимаешь, остатки чувства. Я могу целыми днями не думать о тебе, не вспоминать. Ты не думай, что в этом что-то обидное для тебя. И ты мог полюбить другую,— я замычал и замотал головой,— и так же взывать к моему рассудку. Я вижу, как тебе тяжело. Но очень редкие люди не проходят через это. Поверь, пройдет какое-то время и ты забудешь меня... Если хочешь, мы можем остаться хорошими и добрыми друзьями?
— И будем играть в пятнашки?
— Ты думаешь, мне легко?
— Нет, почему же? Чтобы сообщить мне, что больше не любишь, ты проделала такой путь. И пешком, и на машинах. Даже с риском для жизни...
— Какого ответа ты от меня ждешь? — спросила она.
— Кто он?
— Я же сказала, врач, хирург.
— В каком он звании? Полковник? Подполковник?
— Нет, капитан медицинской службы. Это тебя больше устраивает?
— Конечно, не так обидно. Все-таки свой брат — средний офицерский состав.
— Я очень довольна, что хоть этим угодила тебе.
— Так угодила, что дальше некуда!
— Все, иди спать! — раздраженно бросила Таня и принялась искать свою полевую сумку. Наконец увидела ее. Она стояла как раз за моей спиной, прислоненная к стене.
— Таня, я его знаю?
— Возможно,— ответила она, надевая через голову сумку.

— Кто он?
— Зачем тебе?
— Что, я его съем?
— Хорошо. Марат Ибрагимович Габиев.
— Татарин?
— Нет, осетин.
— Хоть в этом ты постоянна,— горько заметил я.
— В чем? — она подозрительно посмотрела на меня.
— Одного нацмена сменила на другого.
— Гм... до сих пор мне это как-то не приходило в голову,— оживилась она.
— Может, скажешь по-дружески, чем он взял верх надо мной? Раз между вами ничего не было, то, надеюсь, этот вопрос не покажется нескромным?
— Ого, мы начинаем говорить пакости!
— Прости, у меня это получилось нечаянно.
— Хорошо. Он намного старше тебя. Намного. Ему, в общем, за тридцать.
— Вот как? Старик.
— Да, пожилой. Но я с некоторых пор, понимаешь, перестала обращать внимание на его возраст. Что еще? Внешность у него самая обычная. Ты по сравнению с ним красавец...
— Не надо,— оборвал я.
— Но когда он оперирует,— просветленно продолжала она,— он бог. За пять месяцев работы в госпитале у него не было ни одного летального случая. Позавчера он оперировал двенадцать часов. Сам Бурденко похвалил его в одной из своих статей...
— Ясно. Прекрасный хирург, будущее светило. А дальше?
— Что дальше?
— Он любит тебя?
— Не знаю. Нравлюсь, наверно.
— И тебе этого достаточно?
Она вдруг покраснела:
— Прости, но это уже не твоя забота.
— Значит, все впереди?
— Да, впереди,— резко подтвердила она и, не глядя на меня, сказала: — Будь счастлив, я пошла!..
— Подожди! — я вскочил с пола и загородил собой дверь.— Одну я тебя не пущу!
— Ах вот, что тебя пугает!.. Иди ложись спать: ничего со мной не случится.
— Ты думаешь, они с тобой в пятнашки играть будут? — зарычал я.— Да за каждый из твоих орденов они тебя всем скопом...
— Чудак,— неожиданно мягко отозвалась Таня,— неужели ты думаешь, что я им живой дамся?
Она легким движением руки поправила полевую сумку. Там, в одном из отделений, лежали трофейный «вальтер» — подарок иптаповцев — и две лимонки.
— Послушай,— твердо заявил я,— я провожу тебя только до первой попутной машины с солдатами. Все. Если ты против, чтобы я провожал, я пойду следом...
— Хорошо. Я подожду во дворе,— примирительно сказала она.
— Где угодно! — буркнул я и стал одеваться. Через несколько минут я был готов. Взял автомат, вышел во двор.
Таня стояла у калитки и внимательно следила за какой-то букашкой, которая беспечно путешествовала по ее рукаву... Не ушла, ждала. Знала, что я все равно пойду следом.
— Ты уже? — удивилась она.
— Долго ли умеючи,— неожиданно для себя ответил я пошлейшей дежурной фразой.— Я сейчас. Только сбегаю предупрежу дежурного по части...

17

Оставив позади село с его хатками, садами, огородами, мы двинулись вдоль узкоколейки. Последний состав прошел по ней, наверно, еще до войны. Во всяком случае я не заметил каких-либо свежих следов деятельности человека. Запустение было полное: рельсы заржавели, шпалы прогнили, полотно заросло травой.
Километра через три перед нами появился такой же запущенный и забытый разъезд. Будка путевого обходчика зияла черными провалами окон с выбитыми стеклами.
Вскоре мы свернули в лес. По примеру разведчиков я перевесил автомат на правое плечо стволом вперед. Из такого положения я мог в любую минуту открыть огонь.
Таня шла позади по другую сторону дороги. Двигались молча, потому что все было сказано и никакие слова уже ничего не могли изменить. Точнее, почти молча: изредка мы все-таки переговаривались. О чем?.. То она, видя, как я утопаю в грязи, говорила: «Иди сюда, здесь суше!», то я. Но как ни трудно было шагать, каждый старался держаться своей обочины и только, когда грязь становилась неодолимой, переходил на противоположную сторону.
По меньшей мере прошел час, как мы были в пути, а еще не появилась ни одна машина. И не только попутная, но и встречная. Над дорогой висела глухая давящая лесная тишина, которую нарушало лишь чавканье наших сапог.
После того, как мы вошли в лес, Таня не раз предлагала мне, чтобы я вернулся. Но я лишь отмахивался, хотя тоже понимал, что бандеровцы вряд ли устроят здесь засаду. В их распоряжении было несчетное количество удобопроходимых, просохших, нераскисших лесных и проселочных дорог. И едва ли найдется одна из них, на которую в течение дня не ступила бы нога какого-нибудь бедолаги — солдата и офицера. Так что выбор у них был большой. И необязательно, чтобы вершить свои подлые дела, лезть в грязь...
Да и лес был редкий, с частыми прогалинами и вырубками. И если моя близорукость мешала мне проникнуть взглядом дальше, чем за сто метров, то у Тани зрение было, как у снайпера. Она разглядела даже маленькую пичужку, откуковавшую не то мне, не то ей великое множество лет.
Сейчас Таня тоже первой увидела стоявшую впереди грузовую автомашину.
— Вот и попутка! — воскликнула она.
Мы прибавили шаг, насколько можно было прибавить его в этой осклизлой размазне.
— Только бы из-под носа не ушла! — сказала Таня.
Я понимал: она думала не столько о себе, сколько обо мне. Ей ни при каких обстоятельствах не хотелось быть виновником моей гибели, если я, не дай бог, напорюсь на бандеровцев. Поэтому главным сейчас для нее было как можно быстрее спровадить меня.
Наконец я тоже разглядел заляпанную грязью полуторку. Она стояла, накренившись на правый борт, чуть ли не по самый кузов увязнув в густой жиже. Водителя нигде не было видно. То ли ушел, бросив машину, то ли сидел в кабине.
— Я вижу водителя! — сообщила Таня.— Он сидит в кабине... Эй! — крикнула она звонким голосом шоферу и помахала рукой.
Дверца распахнулась, и на подножку выбрался широкоплечий солдат с автоматом в руке.
Увидев нас, он положил свой ППШ на сиденье.
— Теперь подождет,— сказала Таня.— Я думаю, ты можешь возвращаться,— добавила она, останавливаясь перед огромной рытвиной, заполненной грязью.
— Ты боишься, что мне не осилить этой лужи? — насмешливо спросил я.
— Наоборот, я уверена, что нет такой лужи, перед которой дрогнули бы твои кирзачи! — Таня охотно поддержала взятый мною иронический тон.
Но мне тут же расхотелось продолжать дружескую пикировку. На душе у меня было так пакостно, так мерзко, что, если бы не эти сволочные банде-

ровцы, я бы давно повернул назад. А там бы надрался как сапожник. Один или со Славкой. И пусть бы меня потом разжаловали или отправили в штрафной. Останусь жив — хорошо, а убьют — еще лучше. Вот только маму жалко. Страшно подумать, как она будет переживать...

Таня, конечно, тоже всплакнет. Незаметно для всех. И в первую очередь для своего расчудесного хирурга...

Перебравшись с немалыми ухищрениями через лужу, мы наконец правой обочиной дотащились до машины.

— Вон там проходите, под деревьями,— показал водитель.

Это был плотный коренастый парень с широким восточным лицом — не то казах, не то бурят. Но по-русски он говорил чисто, без малейшего акцента.

Совершив небольшой крюк под деревьями, мы вышли к кабине. Отломанными ветками и тряпкой, которую нам кинул водитель, тщательно соскребли с сапог верхний, самый толстый слой грязи.

Длинный-длинный шаг (Тане пришлось даже приподнять юбку), и мы по одному забрались в кабину.

— Как у вас здесь хорошо,— сказала Таня шоферу. И, положив свою тонкую руку на мою, шепнула мне: — Сейчас можешь идти...

— Подожди,— ответил я.— Сержант, какие планы на будущее?

— Какие планы на будущее? — повторил он.— Жду, может, кто возьмет на буксир.

— А что с машиной?

— Полетел карданный вал.

— Фиють! — присвистнул я.— Так можно просидеть до второго пришествия!

— А чего мне? — пожал плечами шофер.— Тушенка есть... Хлеб есть... Концентраты есть... Махра есть... Газетка тоже,— он показал на ящичек, где среди всякого хлама лежала сложенная гармошкой газета.

— Свежая? — поинтересовался я.

— Была когда-то. Но для самокруток сгодится.

— Вижу, все есть... Не хватает только бандеровцев.

— А для них у меня тоже есть,— он взял с сиденья автомат.— Останутся довольны... С этим — четыре диска!

— Видишь, я в полной безопасности,— повернулась ко мне Таня.— Иди!

Она пробовала хитрить со мной, но ее хитрость была ши́та белыми нитками.

— Давно стоишь? — спросил я водителя.

— Часа три будет...

— И сколько за это время прошло попуток?

— Да ни одной,— откровенно признался он.— Я тоже удивлен, куда они все подевались?

— Вот так-то,— сказал я Тане.

Чтобы понять друг друга, нам не надо было лишних слов. Я видел, что она ждет не дождется, чтобы я ушел, а сама тут же потихоньку потопает дальше: ведь в тринадцать ноль-ноль у нее кончается увольнительная. Она же поняла, что я раскусил ее и теперь, хоть режь меня на куски, не отступлюсь...

— Нет, все-таки иди,— сказала она в четвертый или пятый раз.

— Никуда я не пойду, пока не посажу тебя на попутку,— ответил я.

— Уже посадил, иди,— все еще противилась она.

— Сержант, мы пойдем,— сказал я и спрыгнул на землю.— Пошли!

— Ну и тип же вы, товарищ Литвин,— вздохнула она и последовала за мной.

— Сержант, мы не прощаемся с тобой,— сказал я шоферу.— Может, еще догонишь нас и подвезешь!

— А вы куда?

— До Рогаток. Там армейский госпиталь.

— Так вам лучше до перекрестка, а там повернуть направо. Дадите небольшого кругаля, зато дорога, как в цэпэкэо имени Горького. Уйдет столько же времени.

— А может, ее за ночь тоже так — в смятку? — недоверчиво спросил я.

— Нет,— замотал он головой.— Я тут перед самым вашим приходом все кругом облазил. Дорога что надо!

— А отсюда далеко до перекрестка? — спросила Таня.

— Да с километра три будет!

— Всего только?

— Ну, может, чуток поболе...

— Счастливо оставаться! — сказала водителю Таня.

— Всего наилучшего, сержант! — попрощался я.

— А вам счастливого пути! — в свою очередь пожелал нам водитель.

18

До перекрестка мы шли лесом. Не самим лесом, конечно, а его краем, который прилегал непосредственно к дороге. Здесь также все было разбито и перепахано машинами, объезжавшими главную грязь. Но кое-где попадались сухие места, и мы с Таней, прыгая с кочки на кочку, с валежника на валежник, с пня на пень, за час добрались до поворота. Водитель не обманул нас: дорога, что вела вправо, действительно осталась в стороне от ночных передвижений. Она была почти не тронута машинами: редко-редко где виднелись отпечатки колес и гусениц. Впрочем, танк только сунулся сюда и повернул обратно.

Хотя шагать по такой дороге было одно удовольствие, в целом она производила гнетущее впечатление. Сразу стало темно. Куда-то исчезли просветы, через которые с воли могли проникнуть утренние лучи. Высоко над головой плотно смыкались и тихо шумели кроны деревьев. У самой дороги буйно разросся и близко подступал к колее густой кустарник.

Таня прошла еще немного и остановилась.

— Я считаю, что ты должен вернуться,— категорическим тоном заявила она.

— Это еще почему?

— Потому что машин нет и не будет. Ты что, собираешься провожать меня до госпиталя?

— А почему бы и нет? — ответил я.— Но не беспокойся, я доведу тебя только до начала села и тут же поверну обратно.

— Свалилась я на твою голову...

— Еще недолго терпеть...

— Это ты прав... Пошли!

Чтобы не идти рядом, я все время вырывался вперед. Но Таня, если и отставала от меня, то самое большее на пять-шесть шагов. Иногда ее легкие шаги я слышал совсем близко.

Помню, как на одном из поворотов она вдруг отчаянно вскрикнула:

— Осторожно!

— Где? Что? — я отскочил в сторону, нащупал спусковой крючок. Тревожно зашарил взглядом по кустам.

— Задавишь!

Из-под моих ног выскочил крохотный лягушонок и, ловко орудуя лапками, запрыгал к кювету.

— Фу ты черт! Я уж думал...

— Ты посмотри, как улепетывает!

— И правильно делает!

— Ты думаешь, мы ему позавидуем?

— Я нет. У меня есть кому завидовать.

— Ах вот ты что имеешь в виду... Нет, дружочек, еще неизвестно, кто кому должен завидовать...

— Слабое утешение.

— Хочешь, я тебя поцелую? — вдруг спросила Таня.

— Хочу,— ответил я мгновенно пересохшими губами.

— Нет, нет, всего один раз,— сказала она, встретив мой засиявший взгляд.

Я шагнул к ней.

— Руки, руки назад,— приказала она.— Губы тоже...

— Губы тоже назад? — не удержался я от улыбки.

В эти короткие секунды я позабыл обо всем. Опустив мешавший мне ствол автомата к бедру, я рывком обнял Таню и осыпал ее лицо радостными поцелуями... Глаза... лоб... щеки... не то ямочка, не то складка... Может быть, она еще останется со мной, передумает уходить к другому?

— Пусти!.. Пусти!.. — Таня уперлась мне кулаками в грудь и смотрела злыми глазами.

Я отпустил ее. Вот и вернулся с неба на землю.

— Ну все, пошли! — сказала она, поправив ремень на своей узкой талии.

— Это уж утешение посильнее,— насмешливо заметил я.

Она на ходу метнула на меня сердитый взгляд, но ничего не ответила.

«Нашла блажь,— искал я объяснение случившемуся.— Последний поцелуй. В благодарность за то, что, рискуя жизнью, провожаю ее. А может быть, как она сама говорила, остатки чувства?..»

На этот раз я вырвался далеко вперед и потому первым увидел идущих нам навстречу двух солдат. На груди у них висели автоматы. Оба шли неторопливой, разболтанной, ленивой походкой и о чем-то разговаривали между собой по-украински. У меня мгновенно вспотели руки, ослабли ноги...

Я быстро оглянулся, Тани еще не было...

Теперь все решали секунды. Но не зная, что это за люди, наши ли солдаты или переодетые бандеровцы, я не имел права даже шевельнуть рукой. Заприметив враждебность с моей стороны, они тоже могли заподозрить в нас кого угодно: наши — бандеровцев, а бандеровцы — наших. И изрешетить обоих очередями.

Они заметили меня как только я вышел из-за поворота. Но я не видел, чтобы их как-то обеспокоило или заинтересовало мое появление; как будто они находились на прогулке и на каждом шагу им встречались люди. Не требовалось большой сообразительности, чтобы понять, в чем дело. Уж очень были неравны силы: два автомата против одного, к тому же, по моей непростительной беспечности, болтавшегося где-то у бедра...

Только бы Таня подольше оставалась за поворотом! Если между мной и неизвестными завяжется перестрелка, результаты которой нетрудно предвидеть, она сможет где-нибудь затаиться и дождаться, когда бандиты уйдут...

Я прошел на виду у неизвестных несколько шагов, но уже знал, что должен делать...

Первое — предупредить Таню...

Второе — как можно быстрее установить, кто они.

Но как?

Я не знаю, сколько еще прошло времени, может быть, секунды две или три, как вдруг меня озарило.

— Эй, хлопцы! — я громко крикнул издалека, чтобы услышала Таня.— Вы не видели коня?

— Ни, не бачылы,— откликнулся краснощекий крепыш, шагавший слева.

Кажется, наши...

— Не бачыв коняку? — обратился он к приятелю, криворотому солдату с медалью «За отвагу».

— Не бачыв,— ответил тот.

В его ответе мне послышалась усмешка. Сердце мое сжалось. И хотя шагавший слева крепыш по-прежнему улыбался мне открытой и широкой улыбкой, я в нее уже тоже не верил...

Господи, только бы Таня вняла моему предупреждению, не вышла раньше, чем я узнаю, что это за люди...

И тут мне пришла в голову отчаянная мысль: а что, если спросить их об этом в открытую?

Я крикнул:

— Хлопцы, а вы случаем не бандеровцы?

— Ни, мы жиды из Бердычева! — глумливо ответил криворотый, направив на меня автомат.

Бандиты!

Я остановился, ноги мои налились свинцом...

Только бы сейчас не вышла Таня. От них уж пощады не дождешься...

— А ну, ходы до нас! — поманил меня по-прежнему улыбавшийся крепыш.

Теперь за каждым моим движением неотрывно следили оба вражеских автомата.

Нет, не успеть... Бандеровцы изрешетят меня очередями раньше, чем я вскину свой ППШ...

— Кинь автомат! — приказал мне косоротый...

Нет, не успеть... Неужели все, конец? И тут в нескольких метрах, у самой дороги, я увидел широкую кряжистую ель. А что если?..

Чужие жестокие лица бандеровцев не выражали ничего, кроме предвкушения волнующей и острой забавы...

До ели оставалось еще три шага...

Я слегка оступился на скользкой колее, и тотчас же один за другим грянули три пистолетных выстрела.

Улыбка на краснощекой физиономии крепыша сменилась удивлением. Не понимая, откуда и кто стрелял, он рухнул на землю. За те мгновения, что Тане удалось застрелить одного бандита и на какую-то долю секунды отвлечь от меня внимание другого, я успел залечь за елью и вскинуть автомат. Но успел залечь и криворотый. Сперва он полоснул короткой очередью по Тане, продолжавшей бить из пистолета откуда-то из-за кустов на повороте, а потом по мне. Пули прошли совсем рядом со мной.

И тут я срезал его.

Нет, он был не убит, а тяжело ранен. Во всяком случае я видел, как он, не выпуская из рук автомата, пополз к обочине, но не дополз.

Я осторожно приподнялся. Краснощекий лежал там, где его настигли пули Тани. Криворотый тоже был неподвижен. За ним через дорогу тянулась лента крови.

В этот момент до меня долетел тихий стон Тани.

Неужели он все-таки ее ранил, сволочь?!

— Танюшка, я сейчас! — крикнул я, поднимаясь.

Я подобрал автоматы обоих бандитов, вытащил у криворотого из кармана пистолет. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из них, если остался в живых, выстрелил нам в спину.

Затем бросился к Тане. Она сидела за кустами на земле, держась перепачканными кровью и грязью руками за живот, и черное пятно на юбке разрасталось с каждой секундой.

Я упал на колени.

— Танюш... ну что ты?.. ну что ты?.. ну что ты?

Меня всего трясло, и я видел, как быстро белело и заострялось ее прекрасное лицо. Еще больше становились и без того огромные темные глаза. Она смотрела на меня близким, беспомощным и виноватым взглядом.

— Как там? — тихо спросила она, показывая глазами на дорогу.

— Полный порядок. Одного ты ухлопала, одного я,— я никак не мог унять дрожь в руках, роясь в полевой сумке.— Я не знал, что ты так метко стреляешь...

Наконец я нашел индивидуальный пакет и содрал с него вощанку.

— Дай я,— потянулась Таня.

— Ты что? — не понял я.

— Тогда сверху...

— На юбку?

— Нет,— с трудом проговорила она.— Расстегни юбку сверху... Пояс... И приспусти ее чуть-чуть...

— Ну да, я так и хотел,— сказал я, расстегивая на боку юбку.— Таня, ты здорово сообразила, что лучше до поры до времени не открывать своего присутствия. Честное слово, ты вела себя как бывалый разведчик...

Таня слабо упиралась руками в землю, чтобы мне легче было делать перевязку. Я спустил ей юбку до бедер. Сбившаяся впереди комом рубашка —

обыкновенная солдатская нижняя рубаха с тесемками на груди — до талии почти вся была пропитана кровью, которая уже подсыхала.

— Тампон наложи,— тихим голосом подсказала Таня.

Приподняв окровавленный комок рубашки, я увидел два входных пулевых отверстия... На этот раз все, конец. Теперь спасти Таню могло только чудо, которое неоткуда было ждать.

Вот бы когда пригодился мой далекий соперник, счастливчик, так и не узнавший о своем счастье, хирург «золотые руки».

Не поднимая глаз, в которых предательски плескались отчаяние и растерянность, я плотно затягивал бинт, стараясь, чтобы — не дай бог! — не съехала повязка.

Я делал перевязку, хотя понимал, что с таким же успехом мог бы и вовсе ничего не делать. Таня еще жила, дышала, смотрела на меня тоскливым измученным взглядом, придерживала пальцами, помогая мне, повязку, но смерть уже начала свое страшное дело...

Таня словно прочла мои мысли:

— Видишь, Гриша, как все просто решилось...

— О чем ты? — я сделал вид, что не понял ее.

— Хоть мы с тобой еще те медики,— проговорила она,— но все-таки понимаем, что это хана...

— Для кого-то, может, хана, а для нас — ни хрена! — я даже не заметил, что заговорил в рифму.— Отсюда до госпиталя всего несколько километров. Если не найду машину или на худой конец — подводу, я тебя на руках донесу!

— Я на днях взвешивалась. Пятьдесят два килограмма. Без сапог и полевой сумки.

— Что ж, приплюсуем еще три килограмма!

Я говорил бодрым, уверенным голосом, а глаза мои — будь они неладны! — выдавали меня с потрохами: я смотрел на Таню взглядом затравленного зверька.

— Но сперва,— продолжал я,— попробую найти машину!.. Слышишь?

Я врал самым безбожным образом. Никогда в лесу еще не было тихо, как сейчас.

— Я побегу ловить, хорошо?

— Хорошо, дружочек...

Я поднял с земли автомат и тут заметил, что Таня украдкой водила правой рукой по траве. В нескольких сантиметрах от этого места поблескивал «вальтер».

Я перехватил пистолет и сунул его в карман.

— Ну и зря! — криво усмехнулась Таня.

— А вот я не убежден! — воскликнул я.— Будешь стреляться потом... после того, как не поладишь со своим расчудесным хирургом... как теперь со мной...

— Он ничего не должен знать...

— То есть как ничего?

— Кроме этого, конечно,— чуть заметным кивком головы уточнила она.— Остальное уже не имеет значения...

Вот так ты и вернулась ко мне, моя родная, моя единственная...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Поначалу я собирался подробнейшим образом рассказать, как метался по лесным дорогам в поисках машины или подводы и как, не найдя их, сделал волокушу из прогнившего немецкого брезента, найденного мною в лесу. Затем я перенес Таню на этот самый брезент, подложив под нее охапку мохнатых и пышных еловых веток. Осторожно, чтобы ненароком не зашибить, я выбирал ровные места и шел, шел, шел, время от времени устраивая короткие — на одну-две минуты — привалы. Таня давно потеряла сознание, и когда я, наконец, вышел на проселок и увидел первую машину — «студебеккер» из СПАМа, ей осталось жить всего полчаса, ровно столько, сколько потребовалось, чтобы довезти ее до госпиталя. Когда прибежали санитары с носилками, Таня уже была мертва.

Я никого не хотел видеть, ни с кем не хотел встречаться и прямо из госпиталя пешком поплелся домой. Но с дороги — я еще не дошел до околицы — меня вернули армейские смершевцы. Они доставили меня в отдел и заставили подробно описать все, как было. Потом меня усадили в грузовик и в сопровождении вооруженных бойцов отправили на место недавней схватки. Там смершевцы осмотрели каждый кустик, каждый след. И, опять-таки не отпуская меня, погрузили убитых бандеровцев на машину и вернулись в село. И снова я вынужден был писать о том, как мы с Таней брели по лесу, как навстречу нам вышли двое вооруженных военных, и как мы, заподозрив в них бандитов, первыми открыли по ним огонь. Я должен был записать также все, о чем я с ними перекрикивался и в какой последовательности.

Из штаба армии я выбрался только к вечеру. Меня до нашего села подвез на бронетранспортере зампотех соседней бригады, который когда-то лежал со мной в госпитале. И впрямь земля слухами полнится. Он, оказалось, уже слышал, что девушка-санинструктор застрелила двух матерых бандитов. И теперь всю дорогу требовал от меня все новых и новых подробностей.

Только я сошел с машины, как меня вызвал комбат. Еще утром предупредив дежурного по части, что отлучусь на часок, я отсутствовал в батальоне целый день. Я смотрел на комбата отрешенным взглядом и ни слова не произнес в свое оправдание. Мне было безразлично, что со мной будет. Трудно сказать, чем бы все кончилось, если бы не капитан Бахарев, узнавший от нашего смершевца о гибели Тани. Но налицо был факт серьезного нарушения воинской дисциплины, и мне вкатили пятнадцать суток домашнего ареста. И предупредили, что в случае повторения я загремлю в штрафной батальон.

Не знаю, что со мной было бы, если бы на следующую ночь нас не подняли по боевой тревоге и не перебросили на другой участок фронта. Это было перед началом Львовско-Сандомирской операции. Вот и все, что я хотел рассказать о последних днях своего короткого счастья.




Наталия КАРПОВА

◻ ◻ ◻

Наговорились, столько ран
Сумев разбередить,
Что стал еще страшней обман,
Нам помогавший жить.

И надо что-то предпринять,
Всех идолов круша.
Но не приобретать — терять
Приучена душа.

И так связали крылья ей,
Что не спешит в полет.
А рядом ловкий прохиндей
О перестройке врет.

Но перестройка — не аврал,
Глубинный сложный путь
К основам нравственных начал,
В которых жизни суть.

НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

Толпятся туристы, глазеют... Дворцовая площадь —
Объект исторический, наведены объективы.
Полно иностранцев. Мне к ним относиться бы проще,
Да разве к чужому бываем вполне объективны?
Отсюда, от площади их увезут в рестораны,
А вечером — русский балет, мюзик-холл, пантомима...
Их город легко разбросает, как мелочь в карманы,
Прикрыв наши раны для всех, проносящихся мимо.
Уже опустела Дворцовая площадь и хлещет
С Невы разгулявшийся ветер, прохожих сметая.
Тогда и возьмет меня память в железные клещи
И дома опять передумаю жизнь до утра я.
Навалится город — не вынесу тяжести этой,
Начну задыхаться, тогда ненадолго отпустит.
О нет, нашей жизни не очень-то просто отведать,
Вкусить вековой нашей мудрости, глупости, грусти.

1950 ГОД

Приметы времени были конкретны:
Слоники на буфетах, вышитые подушки,
Коврики на стенах, фантики
конфетные —
Их коллекционировали подружки.

Коврики часто изображали русалок,
Уплывающих в неоглядные дали,
Или сердца, инициалы
И стрелы, которые сердца пронзали.

В одном жилище полуподвальном
Шумного дома в старом районе
Бывала и я в раю коммунальном
Среди голубков на цветном картоне.

Жили подружки и не тужили,
А моя семья была вне закона.

И стрелы, которые сердца пронзили,
С самого детства мне были знакомы.

Проплывали русалки, даря улыбкой,
Розовели, краснели цветы герани...
В пятьдесят шестом назовут ошибкой
То, что долго переходило грани.

В шумном полуподвальном жилище
Я себе не казалась на свете лишней,
Хотя и выросла на пепелище,
Позднее названным культом личности.

Словно бумажный цветок к одежде,
Приметы к времени прирастают.
Меняемся мы, и ветры свежие
Нас обнадеживают и спасают.

◻ ◻ ◻

Глебу Семенову

Задую чужие стихи, как свечу,
Не страшно обжечься, помедлить хочу...
Я в эти стихи чуть позднее вернусь,
В сады человека, которого нет,
В жилище его, в беспросветную грусть

Последнего года его бытия.
Я знала его, понимала,— поэт.
Но только сегодня, в строку за строкой
Входя, и его пробираясь тропой,
Его открывать, понимать стала я.

Вадим ХАЛУПОВИЧ

◻ ◻ ◻

Мы сироты годов тридцатых,
Фанатики — сороковых,
Прозревшие в пятидесятых,
Призревшие надежды их.
Живем, оставив за спиною
Семидесятые года...

Но разве мы тому виною,
Что нам от века — никуда?
Уставшие смыкаем вежды,
Когда ночной приходит час.
Не камень, а птенец надежды
Живой за пазухой у нас.

◻ ◻ ◻

Мне было пять неполных лет.
И вот я — «сын врага народа».
Нам с мамой выдали билет
К тебе, о русская природа!
Я ничего не понимал.
Текли медлительные реки,
И русый Север принимал

Меня, признав своим навеки.
Меня, в мои неполных пять,
Его просторы покорили...
О, Русь! Я мог спокойно спать:
Меня к тебе п р и г о в о р и л и.
1963

◻ ◻ ◻

Маме

На Севере рассветы серые.
На Севере закаты красные.
А мы с тобой живем на Севере.
Живем, мы — личности опасные.
Живем, мы — личности опальные.
Даем подписку по субботам,
Что ни в какие дали дальние
Не убежим мы по болотам.
В амбарной книге всё фамилии.
А книгу в сейфе запирают

Две девушки, такие милые,
Не ведают во что играют.
Спокойно дома ночью спят они,
Их не дивит, что днем увидели —
С чего вдруг матери с ребятами
«Враги народа» и «вредители»?
И где тогда берется вера их,
Чтоб письма слать в Москву напрасные?..
На севере рассветы серые.
На севере закаты красные...

ТЫ ПИШЕШЬ...

...А жить еще как хочется, Аня, дружок,
и передать не могу...
11.04.41. Колыма. Прииск Нижний Ат-Юрях

Ты для меня, как свет звезды потухшей,
Мильоны лет прошли, а ты еще живой.
Ты держишь карандаш в своей руке опухшей —
Тебе разрешено одно письмо домой.
Одно письмо в году. Клочок бумаги серой.
Колымская весна тебе в лицо глядит.
Ты пишешь: «...Я живу неистребимой верой,
А речка Колыма у ног моих гудит...»
Ты пишешь: «Вы — со мной и завтра, и сегодня...»
Со стоном распрямишь на нарах бревна ног.
Ты пишешь: «...Я сдаю экзамены на годность,
Чтоб в наше время жить. И я не одинок...»
Ты пишешь: «...Как забыть, что мне — тридцать четыре?
Прощай! Уж в рельсу бьет неистовый звонарь...»
Ты пишешь: «...Наш барак — последний мамонт в мире.
И не звезда над ним, а лагерный фонарь.
И хочется дожить до утренней поверки,
Неживую звезду узреть над головой...
А сыну расскажи, как с нас снимали мерки,
Как нас через века невинных вел конвой...»

В. Ф. ХОДАСЕВИЧ



Рис. Ю. Шабанова

VII

Рухнуло все, чем была одушевлена жизнь Державина целых двадцать лет. Теперь предстояло жить без веры в Екатерину и без Плениры. Сама судьба ясно подсказывала, что одновременно со второю женитьбой пора перестроить на новый лад и всю жизнь, и самую лиру. Пора было наконец, если не вовсе «оставить отечество», как иногда помышлял он в отчаянии, но хотя бы оставить службу. Державин не раз просился в отставку. Конечно, по существу, такая отставка значила бы, что певцу *Фелицы* нет места возле *Екатерины*. Державин с великою горечью сознавал это. Но душа человеческая извилиста: он втайне мечтал, что, утратив *надежды*, вдали от государственных дел может еще сохранить *иллюзии*.

К несчастию, Екатерина и теперь не понимала его, как не понимала прежде. Державин в ее глазах был чиновник, в свободное время пишущий стихи, полезные ее славе, одобряемые знатоками и любезные ей самой, когда они выходят *вроде «Фелицы»*. О служебной его неуживчивости она была наслышана, а затем и лично в том убедилась. Казалось бы, надлежит дать чиновнику отставку, вполне почетную,— и тем самым избавить поэта от неприятностей, сохранив его выгодное расположение. Но беда была в том, что, не догадываясь об истинной связи между поэзией Державина и его службой, Екатерина все же их связывала (меж тем, как он сам был не прочь теперь эту связь нарушить). Она считала, что звание поэта и даже «ее собственного автора» само по себе очень не велико и должно быть подкреплено положением в службе, орденами, чинами. «Пусть пишет стихи»: это была бы величайшая милость, которую, в нынешних обстоятельствах, она могла бы оказать Державину с величайшей выгодой для себя. Но это она говорила, когда бывала в сердцах. Когда же хотела Державина поощрить, то «on peut lui trouver une place». Мысль о том, что теперь он без поощрений вернее сохранит остатки поэтического благоволения к ней, не приходила ей в голову, потому что вообще не вязалась с ее представлением о людях. Отставка Державина означала бы в ее глазах разрыв, ссору. Она же по обычаю своему избегала ссоры, поэтому и не отпускала его, медлила, оттягивала, надеясь, что рано или поздно Державин перебесится и смирится.

Он же, напротив, ожесточался — и было с чего. Крылья его все равно уже были подрезаны. Уже ведь и раньше он, как алхимик, подкидывал золота в свои колбы; уже и раньше, осторожно вводя поучения в свои оды, пел он Екатерину лучшею, нежели она была: все надеялся, что оригинал захочет походить на портрет. Теперь он, поклонник прямоты, шел на величайшую жертву: просил, чтоб ему было дозволено, удалясь от дел, еще раз, последний, обмануть самого себя: не видя действительности, петь мечту, вернее — остатки мечты, которую сам он звал суетною, напрасной. Уже это была бы ложь. Но он шел на это — ради былой любви, ради живущего в его душе идеала, наконец — ради гордости и упрямства, чтобы не показать себя побежденным, а веру свою смешной. Но от него требовали лжи полной, грубой, придворной: чтоб он неизменно видел одно — и все-таки пел другое. Чтоб он пел богиню, не сводя глаз с императрицы, которая изо дня в день, нарочно, упорно показывает ему, что она не богиня и быть богиней не хочет — разве только в его стихах.

Не получая отставки добром, он постепенно пришел к тому, что не прочь был ее добыть, разгневав Екатерину. Но она себя сдерживала. Это раздражало его еще более. Однако и ему должно было действовать с умом, так, чтобы гнев государыни вышел как бы и незаслуженным,— иначе сочувствие публики будет на стороне Екатерины, он же хотел поймать ее на несправедливости. Злоба сделала его осторожным.

24 октября 1794 года Суворов взял Варшаву. Державин по этому случаю написал четверостишие, которое затем развернул в оду, гиперболическую до крайности, с самыми редкостными словами, с умопомрачительными перестановками, с превеликим «лирическим беспорядком», который по правилам одописания должен был выражать бурный прилив чувств, но, кажется, чаще выражал обратное. Екатерина просмотрела рукопись, ничего не поняла, но, полагая, что все обстоит как должно и клонится к ее славе, велела оду отпечатать, чтобы затем продавать в пользу каких-то вдов. Когда печатание было кончено, она призвала Попова и велела прочитать стихи вслух,— должно быть, надеясь, что с голоса они будут понятнее. Но Попов тоже ничего не понял. А как не смыслил он и в поэтике, то, читая, неумышленно перевирал. Вместо:

> Безсмертная Екатерина!
> Куда? и что еще? Уже полна
> Великих наших дел вселенна,—

прочитал он:

> Безсмертная Екатерина!
> Куда? и что еще? Уж пóлно!

Это не понравилось, императрица насторожилась.

Дойдя до обращения к Суворову:

> Троя под тобой, корова у ног,
> Царь в полону!—

решили общими силами, что это уж чистое якобинство. Все 3000 отпечатанных экземпляров были «заперты в кабинете», так что и автор не получил ни одного. Екатерина была недовольна. Державин знал обстоятельства дела и мог без труда оправдаться, но оправдываться не стал: досада Екатерины, пусть даже не основательная, входила в его расчеты. Вскоре к этой досаде прибавилась новая.

Еще когда Державин в бытность кабинетским секретарем огорчался своим бессилием писать в честь Екатерины, покойная жена ему присоветовала поднести государыне просто собрание лучших его стихов, отчасти ей неизвестных. Державину эта мысль понравилась. Предположено было кстати, что подносимая тетрадь затем будет издана и положит начало печатному собранию державинских стихов. Державин принялся выбирать и исправлять пьесы, причем совещался с друзьями. Совещания были бурные. Львов, Капнист, Дмитриев наперебой предлагали свои поправки, Державин то соглашался, то упрямился. К каждой пьесе, в начале и в конце, решено было сделать рисунки, по большей части аллегорические, прекрасно придуманные Олениным (исполнены они были плохо). В общем, работа оказалась громоздкой, и на нее ушло много времени. Началась она еще в 1793 году, а кончилась только в октябре 1795-го. Державин приступил к ней в самую пору разочарования в Екатерине (чем, в сущности, она и была вызвана). Но раздражения и злобы в нем тогда еще не было. Во всяком случае, обозревая старые стихи, он еще нашел в душе силу воскресить прежний образ Фелицы, с твердостию признать, что обязан ему лучшими вдохновениями, и с грустию, но без досады проститься с ним. Движимый уже не чувством, но воспоминанием о чувстве, он написал посвящение, или, по-тогдашнему, «Приношение Монархине»:

> Что смелая рука Поэзии писала,
> Как Бога, истину, Фелицу во плоти
> И добродетели твои изображала,
> Дерзаю к твоему престолу принести,
> Не по достоянству изящнейшего слога,
> Но по усердию к тебе души моей.
> Как жертву чистую, возженную для Бога,
> Прими с небесною улыбкою твоей,
> Прими и освети твоим благоволеньем,
> И Музе будь моей подпорой я щитом,
> Как мне была и есть ты от клевет спасеньем.
> Да веселись она и с бодрственным челом
> Пройдет сквозь тьму времен
> и станет средь потомков,
> Суда их не страшась, твои хвалы вещать;
> И алчный червь когда меж гробовых
> обломков,
> Оставшій будет прах моих костей глодать:
> Забудется во мне последний род Багрима,
> Мой вросший в землю дом никто не посетит;
> Но лира коль моя в пыли где будет зрима
> И древних струн ея где голос прозвенит,
> Под именем твоим громка она пребудет;
> Ты *славою*,— твоим я *эхом* буду жить.
> Героев и певцов вселенна не забудет:
> В могиле буду я, но буду говорить.

После этих стихов прошло больше года. За это время Державин еще раз просился в отставку или даже хотя бы в продолжительный отпуск, но вновь получил отказ. Когда изготовление тетради подходило к концу, певец Фелицы уже почти ненавидел прежний свой идеал. От поднесения рукописи он не отказался, но, под влиянием ядовитых чувств, включил в нее не

Окончание. Начало см.: «Нева», 1988, № 6, 7.

только «Властителям и судиям», но и недавно конченного «Вельможу», в котором были прямые колкости по адресу императрицы и даже стихи о Суворове, только что вызвавшие неудовольствие.

6 ноября 1795 года тетрадь, переплетенная в красный сафьян, была, наконец, представлена. По словам камердинера Тюльпина, государыня читала стихи «двое сутки». Но и две недели прошло — молчание. Приезжая по воскресениям на выходы, Державин «приметил в императрице к себе холодность, а окружающие ее бегали его, как бы боясь с ним встретиться, не токмо говорить». В числе последних был и недавний друг — Безбородко. Наконец, все объяснилось: Екатерина прочла впервые «Властителям и судиям». Один приятель спросил Державина: «Что ты, братец, пишешь за якобинские стихи?» — «Какие?» — «Ты переложил псалом 81-й, который не может быть двору приятен».— «Царь Давид,— сказал Державин,— не был якобинцем, следовательно песни его не могут быть никому противными».

Чтобы оправдаться перед Екатериной, Державину было достаточно развить это бесспорное положение и самое большее — объяснить отступления от библейского текста причинами поэтическими. Он же не только не спрятался за псалмопевца, но и представил Екатерине *«Анекдот»*, в котором неприкровенно высказал, что в стихах действительно подразумевается она и ее правление. «Спросили некоего стихотворца,— писал Державин,— как он смеет и с каким намерением пишет в стихах своих толь разительные истины, которые вельможам и двору не могут быть приятны. Он ответствовал: Александр Великий, будучи болен, получил известие, что придворный доктор отравить его намерен. В то же время вступил к нему медик, принесший кубок, наполненный крепкого зелия. Придворные от ужаса побледнели. Но великодушный монарх, презря низкие чувствования ласкателей, бросил проницательный свой взор на очи врача и, увидев в них непорочность души его, без робости выпил питие, ему принесенное, и получил здравие. Так и мои стихи, промолвил пиит, ежели кому кажутся крепкими, как полынковое вино, то они однако так же здравы и спасительны... Истина одна только творит героев бессмертными, и зеркало красавице не может быть противно».

Державин явно старался вызвать Екатерину на резкие действия. Она находилась в той поре жизни и царствования, когда зеркало ни в коем смысле не могло быть ей приятно. Но она держала себя в руках, отчасти, может быть, потому, что проникла в замыслы Державина и не хотела сделать его жертвою в глазах общества. Именно с этой целью она иногда давала ему поручения, с виду почетные, на деле же маловажные.

Но вскоре Державин и тут сумел показать себя. Сама судьба помогла ему уязвить Екатерину глубоко и чувствительно.

Открылись мошенничества в Заемном банке. Комиссия для расследования этого дела была образована под председательством Петра Васильевича Завадовского, главного директора банка. Императрица назначила в нее и Державина, благо дело было пустячное: предполагалось только установить виновность кассира и нескольких служащих, которые, впрочем, не думали отпираться. Но Державину повезло. Вскрыв дело глубже, он с удовольствием обнаружил, что главный мошенник — сам Завадовский, один из приближеннейших к Екатерине людей, ее бывший фаворит. Комиссии волей-неволей пришлось доложить об этом императрице, а вельможа занемог с горя. На сей раз коварное усердие Державина едва не достигло цели: поручив Зубову с Безбородкой пересмотреть следствие и замять дело, Екатерина с негодованием назвала Державина «следователем жестокосердым» и пребывала по отношению к нему «нарочито в неблагоприятном расположении». Державин со своей стороны не собирался уступать. Предвидя решительный бой, он его жаждал, но втайне, может быть, и страшился. Иногда воспаленное воображение нечувствительно уводило его далеко от действительности, грядущее падение рисовалось ему в самых трагикоиронических образах, и он, как на театре, умилялся пред зрелищем благородной, но горестной своей участи. Однажды, в задумчивости, на обороте полученного письма, начертал он себе эпитафию:

Здесь лежит Державин,
который поддерживал правосудие;
но, подавленный неправдою,
пал, защищая законы.

Между тем, хотя обе стороны были раздражены до крайности, силою вещей решительное сражение все откладывалось. Ему и вовсе не суждено было состояться. Заботы и потрясения несравненно более важные поглотили Екатерину и подкосили ее здоровье. Ей было не до Державина. Со своей стороны и Державин почти не бывал при дворе, и к нему избегали ездить. Случилось так, что об ударе апоплексическом, поразившем императрицу утром 5 ноября 1796 года, узнал он лишь вечером на другой день — и поспешил во дворец. Екатерина только что отошла. Пораженный Державин нашел ее труп посреди спальни, под белою простыней, и, «облобызав по обычаю тело, простился с нею, с пролитием источников слез». Но то не были еще слезы примирения.

* * *

За тридцать четыре года, протекшие со дня петергофского переворота, успел сложиться тот особый уклад, который отчасти зовется веком Екатерины. Чем ближе к особе императрицы (следовательно — при дворе, в гвардии, в высшем чиновничестве), тем он был ощутительней, крепче, привычнее. С ним сжились, его полюбили. Однако ж, по силе многих причин наиболее чужд и прямо враждебен ему был сорокадвухлетний сын и преемник императрицы. Она никогда не любила Павла, но постепенно этот костистый, угловатый человек, в плохо сидящем мундире, с коротким носом на сером, скуластом, широкоротом лице, порывистый плотью и духом, становился ей все несноснее. Он возбуждал в ней тонкую злобу, презрение и брезгливость. Она же в его глазах была убийцею человека, которого он не успел узнать, но которого (искренне или нет) почитал своим отцом. Еще полагал он, что она насильственно завладела его короной, и (справедливо ли, нет ли) привык от нее и ее приближенных ждать себе заточения, а то и смерти. Он ненавидел ее и едва ли не всех и все, что с ней было связано,— может быть, даже включая двух старших своих сыновей, которыми она завладела. В своей мрачной Гатчине жил он особым двором, с собственными своими войсками, как бы в мире, который не был и не должен был быть ни в чем схож с миром Екатерины. Люди екатерининского мира редко заглядывали в мир Павла, и он им чудился как бы потусторонним, как бы *тем светом*, в котором среди солдат витает окровавленный призрак солдата — Петра Третьего. И не успели еще вписать в камерфурьерский журнал, что императрица Екатерина Алексеевна к сетованию всея России в сей временной жизни скончалась,— как вместе с новым царем существа *того* света ворвались в *этот*. «Настал иной век, иная жизнь, иное бытие,— говорит современник.— Перемена сия была так велика, что не иначе показалась мне, как бы неприятельским нашествием». С ним не сговариваясь, Державин пишет: «Тотчас во дворце прияло все другой вид, загремели шпоры, ботфорты, тесаки, и, будто по завоевании города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом». Дипломат-иностранец вторит обоим: «Le palais eut un moment l'apparence d'une place enlevée d'assaut par des troupes étrangères».

Глубокие преобразования еще только предносились воображению нового императора. Но их предшественники и предвестники — новые порядки — вводимые круто, «по-гатчински», тотчас появились всюду: в войсках, при дворе и просто на улице. Екатерина скончалась 6-го, а утром 8 ноября уже человек двести полицейских и солдат «срывали с проходящих круглые шляпы и истребляли их до основания; у фраков обрезывали отложные воротники, жилеты рвали по произволу и благоусмотрению начальника партии... В двенадцать часов утром не видали уже на улицах круглых шляп, фраки и жилеты приведены в несостояние действовать, и тысяча жителей Петрополя брели в дома их жительства с непокровенными головами и в раздранном одеянии». Не то, чтобы крутость этих мероприятий исходила прямо от императора: усердствовала полиция. Но действительно во всем, от причесок до умов и от воинской команды до основных законов, новый царь готовился повытрясти и повыколотить из России екатерининский дух, как пыль и моль выколачивают из лежалой одежды. В его глазах то был дух своеволия, изнеженности и всяческого разврата. Гвардия, от солдат до фельдмаршалов, ужаснулась суровым новшествам гатчинской экзерциции, и самый дворец, казалось, преобразился. «Знаменитейшие особы, первостепеннейшие чиновники, управляющие государственными делами, стояли, как бы лишенные должностей своих и званий, с поникнутою головой, не приметны в толпе народной. Люди малых чинов, о которых день тому назад никто не помышлял, никто почти не знал их,— бегали, повелевали, учреждали».

Ломка началась. Люди, связанные с минувшим царствованием, ждали решения своей участи. «Сия минута для них всех была тем, что страшный суд для грешных». Одни (в том числе Платон Зубов) были застигнуты ужасом и отчаянием, другие (как Безбородко), оживленные надеждою и расчетом, спешили застраховать себя услугами новому повелителю; третьи впали в оцепенение.

Набальзамированное тело Екатерины долго оставалось без погребения. Несколько раз стоя подле него на почетном дежурстве, в числе прочих особ первых четырех классов, Державин с неодолимой холодностию взирал на лица, которому, говорят, вернулась улыбка. И религия, и разум ему подсказывали, что теперь надобно душой примириться с покойницею. Но это не удавалось. Мало того, что судьба разлучила его с государыней слишком внезапно, в минуту взаимного гнева и раздражения; из всех обид сердце человеческое труднее всего прощает разуверение. Поэтому как ни старался Державин, живого, сердечного примирения с Екатериной он в те дни не обрел. Правда, он заставил себя написать ей «Надгробную» и «Эпитафию». Но хотя в «Надгробной» после каждой строфы повторялось:

Се в гробе образец царей!
Рыдай... рыдай... рыдай о ней —

именно рыдания-то и не получилось. Сти-

хи вышли холодны. Лишь тогда вдохновение посетило его, когда, сознавая, что вместе с Екатериной закончилась великая часть его собственной жизни, он стал подводить итоги и самому себе искать права на бессмертие. Вослед Горацию, он написал себе «Памятник»: воспоминание не об Екатерине, а лишь о своей поэтической связи с ней:

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.

* * *

За последние месяцы его гражданское одушевление с болью оторвалось от образа Екатерины и жило уже собственною, отдельною и — надо прямо сказать — ослабленной жизнью. Не то, чтобы разочарование в Екатерине повлекло за собой разочарование в идее; но все же идея утратила часть своего сияния; она не помрачилась сама в себе, но прозрачная тень разочарования как бы пала и на нее. Прежней горячности в Державине больше не было, прямое рвение становилось привычкою к рвению (упрямство, гордость и сознание долга ее поддерживали). Уж если напрасною оказалась вера в Фелицу, то, разумеется, ни в какого идеального царя нельзя верить. Идеальным царем не будет и Павел. Но где доказательства, что он будет хуже Екатерины? Обольщаться не надо, как и прежде не следовало, но кое-какие упования можно на него возлагать. Что он уймет распущенность, подрежет крылья корысти, пособьет спеси дворянской, не станет во всем потакать своим царедворцам — можно быть уверенным. И то уже благо. Что он кое-чему обучит невежд — надо надеяться: ведь вон как военных-то принялся обучать! Что он подтянет бездельников — это наверняка: неутомимую заботливость в отправлении дел проявляет сам, и недаром уже теперь в департаментах и канцеляриях с пяти часов утра горят свечи. Правда, крутоват: однако ж, оно и к лучшему — Екатерина была слабовата. А что прям — это и по всему видать. Прямоту Державин ценил в особенности; Екатерина была уклончива.

В понедельник, 17 ноября, под утро, придворный лакей привез Державину повеление тотчас ехать во дворец. Было еще темно, когда Державин явился и дал знать о себе камердинеру Ивану Павловичу Кутайсову, которого горбоносое, смуглое лицо в пудреном парике сияло пронырливою веселостию: Кутайсов ног под собою не чуял от радости по случаю воцарения своего благодетеля. На рассвете Кутайсов ввел Державина в кабинет государя.

Мужа покойной молочной сестры своей Павел принял с нарочитым радушием. «Наговорив множество похвал, сказал, что он знает его со стороны честного, умного, безынтересного и дельного человека, то и хочет его сделать правителем своего Верховного Совета, дозволив ему вход к себе во всякое время». Державин остался верен себе: «поблагодаря его, отозвался, что он рад ему служить со всею ревностию, ежели его величеству угодно будет любить правду, как любил ее Петр Великий». Павлу это понравилось чрезвычайно: вот слуга, который ему впрямь необходим. Он взглянул на Державина *пламенным взором* и весьма милостиво раскланялся.

В великой радости вернулся домой Державин. Шутка ли стать правителем Верховного Совета? В нем заседали граф К. Г. Разумовский, граф Румянцов-Задунайский, граф Чернышев, граф Н. И. Салтыков, враг Державина Завадовский и другие. Павел сюда прибавил двоих князей Куракиных, Соймонова, Васильева, графа Сиверса. И надо всеми ними Державин будет поставлен *правителем*, как генерал-прокурор над сенаторами. Должности такой до сих пор еще не было — он первый ее займет. Вот когда признана его добродетель! Вот когда заскрежещет порок в лице врагов его!

Все это было чистейшее заблуждение. Во вторник вышел указ об определении Державина, но не в правители *Совета*, а в правители *канцелярии Совета:* разница превеликая, а для сенатора, каковым был Державин, и унижение. Обескураженный, он решился просить у государя инструкции, то есть разъяснения, в чем должна состоять его должность. Во вторник и в среду он делал визиты членам Совета и не скрыл от них своего смущения. Его весьма поддержали — кажется, не без злого умысла.

Настал четверг, день советский. Не имея права сесть за стол членов, Державин не сел и за стол правителя канцелярии: так и слушал дела, стоя или ходя вокруг присутствующих. Все эти дни (те самые, когда было извлечено из гроба тело Петра III и Павел с семьей каждодневно ездил в Лавру на панихиды) Державин обедал и ужинал во дворце. Но аудиенцию у государя удалось ему получить лишь в субботу, 22 числа. Император, занятый мрачными мыслями, все же встретил его довольно ласково и спросил, что надобно.

— По воле вашей, государь, был в Совете, но не знаю, что мне делать.

— Как не знаете? Делайте, что Самойлов делал.



(Самойлов был при Екатерине правителем канцелярии Совета.)

— Я не знаю, делал ли что он: в Совете никаких его бумаг нет, а сказывают, что он носил только государыне протоколы Совета, почему осмеливаюсь просить инструкции.

— Хорошо, предоставьте мне.

На этом следовало бы кончить. Но Державин не вовремя вспомнил свободу, которую имел при докладах у покойной императрицы, и прибавил, что в Совете не может он сидеть с членами оного, ибо к тому не назначен, а сидеть за столом канцелярским ему невместно. Так вот — не стоять ли ему между столами?

«С сим словом вспыхнул император; глаза его, как молнья, засверкали». В бешенстве подбежал он к дверям, распахнул их — пред кабинетом стояли люди: Трощинский, Архаров и прочие.

— Слушайте,— закричал Павел,— он почитает быть в Совете себя лишним!

И оборотясь к Державину:

— Поди назад в Сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу.

Тогда, свету не взвидев, и Державин в свою очередь обратился к слушателям, указуя на государя:

— Ждите, будет от этого ... толк!

Как в беспамятстве, выбежал он из дворца, и дико смеялся, и дома «не мог удержаться от горестного смеха, рассказывая жене с ним случившееся».

Слухи полетели по городу. Слова Державина пересказывались на все лады и даже приукрашались, хотя довольно было и правды. Для Державина ждали великих бед, вспоминали пословицу: погибла птичка от своего язычка. Все однако же ограничилось кратким указом: «Тайный советник Гаврило Державин, определенный правителем канцелярии Совета Нашего, за непристойный ответ, им пред Нами учиненный, отсылается к прежнему его месту. 22 ноября 1796».

Фавор, начавшийся в понедельник, в субботу кончился. Павел оказался пожестче Екатерины. Но на сей раз Державин и дома почувствовал, что Дарья Алексеевна — не Пленира. Она с ним не стала смеяться, а учинила ему нагоняй и немедленно созвала семейный совет из Капнистов и Львовых, благо все три поэта были женаты теперь на трех сестрах. Капнист опять жил в Петербурге, вел трудную тяжбу с соседом своим Тарновским и дописывал комедию; с какой стороны ни взгляни — ему нужны были покровители; державинская беда приходилась ему некстати. Львов и при новых порядках чувствовал себя как рыба в воде, и не понимал, чего еще надобно Гавриле. Словом, «осыпав его со всех сторон журьбою, что он бранится с царями и не может ни с кем ужиться, принудили его искать средств преклонить на милость монарха».

Державин сунулся было туда-сюда, но нигде помощи не нашел. Он бы и бросил все это дело, стал бы писать стихи. Его тянуло к перу. Он дописал «Бессмертие души», начатое одиннадцать лет тому назад вслед за «Богом»:

Отколе, чувств по насыщенье,
Объемлет душу пустота?
Не оттого ль, что наслажденье
Для ней благ здешних — суета,
Что есть для нас другой мир, краше,
Есть вечных радостей чертог?
Безсмертие — стихия наша,
Покой и верх желаний — Бог!

Но верх желаний Дарьи Алексеевны не в том заключался, ее стихией были дела житейские. Женою полуопального сановника она никак не желала быть. Покою Державину не стало. «По ропоту домашних был в крайнем огорчении и наконец вздумал он, без всякой посторонней помощи, возвратить к себе благоволение монарха посредством своего таланта». Явилась «Ода на новый 1797 год» — в сущности на воцарение Павла I. За нее Державина ославили льстецом,— обвинение незаслуженное. Державин видел еще лишь начало царствования, ознаменованное, при всех резкостях, рядом великодушных поступков и благих начинаний. Правда, суровые кары тотчас обрушились на некоторых приближенных Екатерины, особенно на причастных к перевороту 1762 года. Зато другие были обласканы с исключительной щедростью. Зато Костюшко, Потоцкий и Немцевич выпущены на волю и даровано прощение всем вообще полякам, «подпавшим под наказание, заточение и ссылку по случаю бывших в Польше замешательств». Из Илимска был возвращен Радищев, из Шлиссельбурга освобожден Новиков; масон Лопухин вызван в Петербург и обласкан; по его ходатайству выпущены все заключенные в тайной канцелярии, кроме повредившихся в уме. С первых дней царствования Павел повел борьбу с судебной и канцелярской волокитой — Капнист недаром посвятил ему «Ябеду». Далее император выразил твердое намерение прекратить войны: рекрут, набранных по указу Екатерины, он распустил по домам; хлеб, забранный для провиантского департамента в казну, приказал вернуть — и так далее. Все это и было отмечено Державиным. Поэт следовал только истине и давнему воспитательному правилу своей поэзии — по возможности не бичевать порок, но поощрять добродетель, возбуждая ее к новым подвигам. Он и теперь считал, что чем прекраснее портрет, тем более оригиналу захочется быть на него похожим. Наконец, не мог он не сознавать великодушия, проявленного императором к нему лично: за оскорбление неслыханное и незаслуженное (в котором должно бы извиниться, будь даже Павел не император, а простой смертный), поплатился он всего только отчислением к прежней должности.

Можно сказать, однако, что не подчинившись голосу лести, лира Державина все же была на сей раз унижена подчинением домашнему натиску. И она за себя отомстила: ода вышла холодная, натянутая, бескрылая. Эти поэтические недостатки не помешали ей, впрочем, возыметь свое действие: Павел велел генерал-адъютанту представить Державина и обошелся с ним милостиво. Тем самым был восстановлен и мир семейный в доме Державина.

* * *

Обвинять Державина в лести не только несправедливо, но и непроницательно. Льстить государю как раз не входило в его расчеты. Помириться он был не прочь, но искать близости, домогаться новых благ или должностей ему уже не хотелось (на это обстоятельство он едва осмелился бы намекнуть Даше, и то разве только обиняками). В возможность ужиться с Павлом так, чтобы действительно влиять на дела, он больше не верил, а без того служба грозила лишь новыми неприятностями. Конечно, сидеть сложа руки он не умел. В нем не остыла еще потребность или привычка действовать, кипятиться, рыться в законах. Но эта привычка находила себе утоление и помимо службы. Слава строптивого чиновника и плохого царедворца постепенно создавала ему в обществе славу особо честного и беспристрастного человека. Все чаще к нему обращались с просьбами быть третейским судьей в разных делах, когда стороны не хотели довериться казенному правосудию; сверх того многие люди, дела которых были расстроены, просили Державина о принятии опеки над их имуществом. Эти суды, которых он провел около сотни, и опеки, которых при Павле он имел в своем управлении целых восемь, требовали немалых трудов и создавали ему почетное общественное положение. Поэтому, примирившись с царем и тем сняв с себя тень опалы, Державин отнюдь не просил новой должности; рад был остаться всего лишь сенатором. Да и в Сенате приучал он себя относиться к делам спокойнее: понял, что плетью обуха не перешибешь. Когда возникали шумные прения, он не без яду повторял слова государя:

— Мне велено сидеть смирно, то делайте вы как хотите, а я сказал уже мою резолюцию.

К мечтаниям об отстранении от службы подготовлял он Дарью Алексеевну осторожно, под покровом поэзии, даже легонько льстя ей:

К богам земным сближаться
Ничуть я не ищу
И больше возвышаться
Никак я не хочу.

Душе моей покою
Желаю только я:
Лишь будь всегда со мною
Ты, Дашенька моя!

Это желание все более укреплялось. Новое царствование едва ли не каждый день давало к тому поводы. Опала, постигшая Суворова, была одним из наиболее разительных.

Будучи вполне убежденный противник войны, «проповедуя мир миру» и в том почитая одну из своих заслуг, Державин по чувству патриотическому с великим уважением относился к екатерининским полководцам. Недавно умершего Румянцова, которого не довольно знал, он прямо идеализировал; Суворову прощал человеческие слабости, высоко чтил в нем набожность и сумел понять тонкий смысл его символических чудачеств. Со своей стороны и Суворов, питавший слабость к поэзии, оценил автора «Бога» и «Фелицы». В толпе екатерининских вельмож прямой и ни с кем не схожий Державин не без оснований казался ему чем-то вроде того, что Суворов был сам среди полководцев. Он звал Державина Аристидом. В свое время ода на взятие Измаила не могла ему не польстить. Вслед за тем Державин прислал ему первое четверостишие на взятие Варшавы. Полководец был покорен вполне и отвстил поэту стихами, довольно витиеватыми, о коих, впрочем, писал, что они сложены «в простоте солдатского сердца»:

Царица, севером владея,
Предписывает всем закон:
В деснице жезл судьбы имея,
Вращает сферу без препон —
и прочее.

В конце 1795 года Суворов приехал в Петербург. Екатерина ему отвела дом князя Таврического, где он спал на соломе и ходил почти нагишом. На второй день его там пребывания многие знатные особы с утра устремились к нему с визитами, но не были приняты. Первого принял он Державина в своей спальне, долго беседовал и не отпускал. В 10 часов приехал Платон Зубов. Суворов с ним говорил стоя и не впуская дальше порога; немного спустя он его спровадил, Державина же оставил обедать. Во время обеда приехал вице-канцлер граф Остерман. Суворов, вскочив из-за стола, выбежал на подъезд; гайдуки открывают для Остермана карету, но тот не успел и привстать, как Суворов скакнул к нему, сел рядом, поздоровался, поблагодарил за посещение и выпрыгнул обратно. Остерман уехал, Суворов вернулся в столовую и со смехом сказал Державину:

— Этот контр-визит самый скорый, лучший и взаимно неотяготительный.

С той поры они подружились. Когда в феврале 1797 года Павел грубо отставил Суворова, а затем сослал в Боровицкую глушь, под присмотр земской полиции, Державин столько был поражен, что слов у него не нашлось. Между тем успел уже пострадать и Валериан Зубов. Конечно, военные заслуги Зубова никак не сравнимы с суворовскими, но его опала была еще более незаслуженна. Суворов хоть прогневил императора язвительными речами: Зубов пал жертвою необузданного павловского миролюбия. Он командовал армией, которую Екатерина отправила против Персии. Войска были отозваны вдруг, без ведома Зубова, сам же он брошен на произвол судьбы в краю неприятеля. Державин некогда поэтически сравнивал его прежние победы над персами с подвигом Александра Великого. По этому поводу князь С. Ф. Голицын, встретив Державина при дворе, заметил, что в нынешних обстоятельствах он уже не посмеет писать в честь Зубова. «Вы увидите», отвечал Державин, и приехав домой, написал оду «На возвращение графа Зубова из Персии», которую не мог, разумеется, напечатать, но в списках пустил по городу. Намекая на прежние свои стихи, он в ней говорит:

По быстром Персов покореньи
В тебе я Александра чтил!
О! вспомни, как в том восхищеньи,
Пророча, я тебя хвалил:
Смотри,— я рек: — триумф минуту,
А добродетель век живет.
Сбылось! — Игру днесь Счастья люту
И как оно к тебе хребет
Свой с грозным смехом повернуло,
Ты видишь; видишь, как мечты
Сиянье вкруг тебя заснуло,
Прошло,— остался только ты.

Он с каждым днем убеждался, что на место екатерининских зол являются новые, павловские, а старые блага, уничтожаясь, новыми не замещаются. Понемногу он научился вздыхать о прошлом. Он посетил Царское Село — оно показалось ему горестными *развалинами*. Он понял, что екатерининская слава умерла, павловской же не будет. Житейским отсюда выводом было желание стать в стороне от государственных дел, во всяком случае — подалее от кормила, а выводы поэтические изложил он в стихотворении «К лире»:

Петь Румянцова сбирался,
Петь Суворова хотел;
Гром от лиры раздавался
И со струн огонь летел.

Но завистливой судьбою
Задунайский кончил век,
А Рымникский скрылся тмою,
Как неславный человек.

Что ж? Приятна ли им будет
Лира, днесь твоя хвала?

Мир без нас не позабудет
Их бессмертныя дела.

Так не надо звучных строев:
Переладим струны вновь;
Петь откажемся героев,
А начнем мы петь любовь.

* * *

Начнем — сказано не совсем точно: любовная лирика присутствовала в поэзии Державина и раньше; эта поэзия с нее даже и началась — в ту казарменную пору, когда юный поэт еще не решался «гнаться за Пиндаром». Но постепенно она была и количественно, и качественно заслонена музой гражданской и историографической (то же, но в меньшей степени случилось с религиозной поэзией Державина). Кроме общественных, были тому и другие немаловажные причины, личные и литературные: даже именно сочетание личных с литературными.

Державин во всем начинал с подражаний, исходил из готовых форм, вместе с ними заимствуя у других поэтов оттенки мыслей и чувств. Для его поэзии то был неизменный ход развития. Так началась и его любовная лирика, и все шло гладко, пока для его солдатских шашней и офицерских интриг хватало сердечного и стихотворного опыта, черпаемого из условной и легковесной эротической поэзии, которая была ему открыта. Но этого опыта сразу оказалось недостаточно, лишь только Державин охвачен был подлинным и глубоким чувством к Екатерине Яковлевне. Образцы, которым он мог бы следовать, выражали нечто вовсе пустое в сравнении с его любовью. Перед этой любовью очутился он столь беспомощен, что когда, по законам ухаживания, понадобилось ему посвятить невесте стихи, он ничего не мог написать и поднес старую, вовсе не к Катеньке обращенную пьеску, которую кое-как докончил. Прибегнуть к маленькому обману ему было легче, нежели говорить о предмете своей любви суетным и жеманным языком тогдашней поэзии.

Этому несоответствию чувства и способов выражения суждено было не сглаживаться, а углубляться по мере того, как любовь к Пленире становилась полней и строже. Как раз в то время, когда в иных областях поэзия Державина созидалась, то есть когда он все более обретал силу высвобождать, выращивать свое из чужого,— именно в области любовной лирики он ничего не мог сделать, ибо ему не с чего было начать. Правда, читая Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Эмина (бывшего своего подчиненного и спутника по олонецкому путешествию), обращаясь к немецким поэтам и особенно — беседуя с Львовым, весьма оценил он прелесть Анакреона, точнее — того своеобразного сплава, который к XVIII столетию образовался из подлинных песен античного лирика и многовековых подделок, переводов и подражаний. Но рассудительное сладострастие анакреонтической поэзии ничего не имело общего с любовью к Пленире. Рано усвоив анакреонтические образы и приемы, Державин все же не применял их для изображения своей любви. В конце концов она так и осталась невоспетой, неизъяснимой. У Державина есть несколько трогательных, нежнейших упоминаний о Пленире, но прямо любовных стихов, всецело ей посвященных, нет.

На Плениру Державин истратил всю любовную силу души своей. После нее он уже никого по-настоящему не любил. «Половина души», опустевшая со смертью Плениры, Миленою не была заполнена. Именно поэтому Державин, который при жизни Екатерины Яковлевны не смотрел на других женщин, женившись на Дарье Алексеевне, стал на них даже очень заглядываться. У Плениры не было поводов к ревности — у Милены их было вполне достаточно. Начиная примерно с 1797 года старость Державина овеяна любовными помыслами и исканиями. Особы, внушавшие ему нежные чувства, чаще всего сокрыты под условными поэтическими прозвищами или вовсе не названы. История сохранила лишь небольшую часть имен достоверных. Среди них в разные годы встречаем мы Варю и Парашу Бакуниных (двоюродных сестер Дарьи Алексеевны, сирот, которых она у себя приютила); молоденькую плясунью Люси Штернберг, воспитанницу графини Стейнбок; юную и проказливую графиню Соллогуб; семнадцатилетнюю Дуню Жегулину. Были и другие — мы еще с ними встретимся.

Совсем молоденькие девушки привлекали Державина в особенности. Он между ними почти не делал различия — все были хороши; вот каково было его «Шуточное желание»:

Если б милыя девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках:
Я желал бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девочкам
На моих сидеть ветвях.
Пусть сидели бы и пели,
Вили гнезда и свистели,
Выводили и птенцов;
Никогда б я не сгибался,
Вечно б ими любовался,
Был счастливей всех сучков.

О каждом отдельном случае невозможно сказать, как далеко заходили ухаживания Державина, всегда, однако же, деятельные. Иногда, вероятно, приходилось довольствоваться полунасильно сорванным поцелуем. Впрочем, девические обычаи той поры были довольно свободны.

Предание рисует Анакреона беззаботным старцем в кругу юных граций. Анакреонтическая личина как нельзя лучше подошла стареющему Державину. Памятником его неизъяснимой любви к Пленире осталось молчание. Его нынешние увлечения было легко и кстати выразить в вольных переводах и подражаниях теосскому певцу. Державин в анакреонтических своих песнях кажет себя веселым, находчивым стариком, окруженным девушками. Он ими любуется, нашептывает им нежности, порою слегка бесстыдные, радуется любовным удачам, а в случае неудачи не унывает и сам не прочь пошутить насчет своей старости.

Совмещение остатков античности с наслоениями последующих столетий (особенно XVII и XVIII) составляет не только признак того анакреонтического сплава, о коем уже говорено, но и его своеобразную прелесть. Анакреон беседует с Хлоями и Калистами, в которых приятно узнавать милых модниц на французских остреньких каблучках; эллинские Эроты и латинские Купидоны целят своими стрелами в их сердца; сатиры и фавны пляшут средь выцветающих декораций пастушеского балета. Державин еще усложнил эти изящные несоответствия, придав им неожиданный третий слой: Анакреона он несколько обрусил, но с тончайшим вкусом, не во всем и не сплошь, но как раз настолько, чтобы все три слоя слегка просвечивали.

Это вышло само собою. На деньги, полученные в приданое, Дарья Алексеевна купила в 1797 году сельцо Званку, на берегу Волхова, в 55 верстах от Новгорода. Там чаще всего и протекали романтические истории Гавриила Романовича; крестьянские и дворовые красавицы играли в них, может быть, еще более важную роль, чем приезжие барышни. И вот — пейзаж Званки ворвался в чужеземную поэзию, зазвучала не книжная, но селянская речь, русские дали раскинулись под искусственным небом Анакреона, засвистала пеночка, славянский Лель порхнул меж Амурами, Лада соперничает с Венерой, охотнички подстреливают дичину, скрипят жернова на мельницах — для Державина только тот мир прекрасен, который похож на Россию. И вот — среди эллинских нимф и французских пастушек, развевая одежды античными складками, заплясали в кокошниках крепкие русские девушки, «сребророзовые лицом» Варюши, Параши, Любушки: для Державина девушка не прекрасна, если она не русская. И он с гордостью вопрошает Анакреона:

Зрел ли ты, певец тииский,
Как в лугу весной бычка
Пляшут девушки российски
Под свирелью пастушка;
Как, силонясь главами, ходят,
Башмачками в лад стучат,
Тихо руки, взор поводят
И плечами говорят;
Как их лентами златыми
Чела белыя блестят,
Под жемчугами драгими
Груди нежныя дышат;
Как сквозь жилки голубыя
Льется розовая кровь,
На ланитах огневыя
Ямки врезала любовь;
Как их брови соболины,
Полный искр соколий взгляд,
Их усмешка — души львины
И сердца орлов разят?
Коль бы видел дев сих красных,
Ты б Гречанок позабыл
И на крыльях сладострастных
Твой Эрот прикован был.

Обдумывая рисунки для будущей книги, Державин сочинил к этим стихам концовку: «многокрылатый Эрот привязан к простой русской пряслице, на коей видна кудель». В этом смешении стилей не должно видеть ни наивности, ни нечаянности. Смысл и прелесть своего русского анакреонтизма Державин понимал и его создание ставил себе в заслугу. Изображая самого Анакреона (и намеренно придавая ему собственные свои черты), он говорит:

Цари к себе его просили
Поесть, попить и погостить;
Таланты злата подносили,—
Хотели с ним друзьями быть.

Но он покой, любовь, свободу
Чинам, богатству предпочел;
Средь игр, веселий, хороводу
С красавицами век провел.

Беседовал, резвился с ними,
Шутил, пел песни и вздыхал,
И шутками себе такими
Венец безсмертия снискал.

Посмейтесь, красоты российски,
Что я в мороз, у камелька,
Так вами, как певец тииский,
Дерзнул себе искать венка.

Певец Северной Минервы мечтал теперь стать Северным Анакреоном. Но удалиться от царей ему еще не было суждено.

* * *

Почти два с половиною года Державину удавалось сидеть в Сенате, словно в норе. Наконец интрига довольно сложная выманила его оттуда. Зоричу, бывшему своему любимцу, Екатерина пожаловала огромное, так называемое Шкловское, имение в Могилевской губернии. Там Зорич и жил почти что на положении феодальном, как вдруг весной 1799 года поступила от шкловских евреев жалоба на утеснения, им чинимые. Еврейские горести особенно близко принял к сердцу Кутайсов (возможно, что самая жалоба была подана не без его участия). Он рассчитывал, что

в случае изобличения Зорича великолепное имение может быть взято в казну, а затем куплено им, Кутайсовым, за дешевую цену. Надобно было произвести в Шклове следствие, и Кутайсов старался придумать, кого бы туда послать. Меж тем, в Сенате должно было решиться старое, двенадцатилетнее дело о взыскании в казну 300 000 рублей с тамбовского купца Бородина, того самого, из-за которого Державин лишился своего губернаторства. Дело возникло еще по жалобе Державина. Чтоб решить его в пользу ответчика, покровители Бородина Гудович, Завадовский и Васильев (ныне уже барон) мечтали на это время удалить Державина из столицы. Они-то и присоветовали Кутайсову отправить его в Белоруссию: Завадовский по личному опыту знал, что Державин — «следователь жестокосердый». Словом, в июне месяце государь, по просьбе Кутайсова, послал Державина в Шклов. Но Державин, прибыв на место (и кстати сказать — дорогою заведя небольшой роман), установил, что и Зорич имеет столько же оснований жаловаться на евреев, как они на него. Такой исход следствия Кутайсову оказался не на руку. Последовало высочайшее повеление Державину вернуться в Петербург.

На судьбу Державина эта командировка сама по себе не оказала влияния. Она примечательна лишь как первая попытка вывести его вновь на сцену из-за кулис. Вскоре последовала вторая — хотели послать его на ревизию в Вятку. Ему, однако же, удалось отвертеться, и до поры он снова обрел покой. Как раз в это время произошли события, о которых должно сказать, хотя к службе Державина они прямого касательства не имели.

Еще за несколько месяцев до поездки Державина в Белоруссию сбылось его предсказание, что звезде Суворова суждено взойти вновь. В конце февраля, полководец, прощенный Павлом по настоянию венского двора, отправился в знаменитый итальянский поход. Когда появились известия о первых его успехах — о переходе через Аббу и о вступлении в Милан — Державин написал оду «На победы в Италии». Едва упомянув имя императора, назвал он Суворова «лучом, воссиявшим из-под спуда». Затем, уже после возвращения из Белоруссии, в самом начале следующей зимы, за первой одой последовала вторая — «На переход Альпийских гор», одна из самых мощных в мощной историографической лирике Державина. Великою для него радостью было вновь воспеть славу русских полков, предводимых к тому же не павловским, а екатерининским вождем. Впрочем, самое главное, может быть, было то, что в торжестве Суворова воспевал он и торжество справедливости. Правда, он сделал два-три комплимента Павлу, но были тому основания: во-первых, стихи, посвященные русской славе перед лицом Европы, не кстати было бы омрачать отголосками грустных российских дел; во-вторых, Державин искренно был уверен, что на ссоре Павла с Суворовым ныне поставлен крест, и не хотел бередить старые раны. Но ода писана была в октябре 1799 года, при первом известии о суворовском подвиге, издана же в начале 1800-го, когда престарелый полководец, уже больной, вернулся в Россию — и вновь было замечено тайное к нему недоброжелательство государя. Тогда-то на обороте заглавного листа Державин велел припечатать лестный по внешности, но внутренне очень колкий эпиграф: «Великий дух чтит похвалы достоинствам, ревнуя к подобным; малая душа, не видя их в себе, помрачается завистию. Ты, Павел! равняешься солнцу в Суворове; уделяя ему свой блеск, великолепнее сияешь». Из этих слов «Павел познал, что примечено публикою его недоброжелательство к Суворову из зависти». Естественно, что после такого познания ода была принята им *холодно*.

Между тем самому Суворову суждено было кончать свои дни и болезни. Державин не раз посещал его. Свидания были исполнены той простоты, которая приличествовала обоим. Суворов перед Державиным оставлял чудачества, Державин в присутствии умирающего Суворова становился спокойнее, учился чувствовать приближение старости, мудрее вспоминать прошлое, судить о нем снисходительней и любовней. Им было что вспомнить — от пугачевских степей до янтарных теремов Царского Села. Казалось — история и Фелица незримо присутствовали среди их беседы. Суворов спросил однажды:

— Какую же ты мне напишешь эпитафию?

— По-моему, много слов не нужно, — ответил Державин. — Довольно сказать: *здесь лежит Суворов*.

6 мая Суворов при нем скончался. Державин, вернувшись домой, прошел в кабинет. Ученый снегирь трепыхнулся в клетке и по привычке тотчас пропел все, что знал: одно колено военного марша. Державин плотней прикрыл дверь, подошел к конторке, провел рукой по глазам, взял перо:

Что ты заводишь песню военну,
Флейте подобно, милый Снигирь?
С кем мы пойдем войной на гиену?
Кто теперь вождь наш? кто богатырь?..

* * *

«Сидя смирно» в Сенате, Державин только однажды вызвал неудовольствие государя, когда, вступаясь за мелких

шляхтичей и ксендзов, обвиняемых в государственной измене, высказал мысли, по тому времени замечательные. «Придет время, — сказал он, — узнаете: чтобы сделать истинно верноподданным завоеванный народ, надобно его привлечь прежде сердце правосудием и благодеяниями, а тогда уже и наказывать его за преступления, как и коренных подданных, по национальным законам». На другой день ему передали, что государь приказал не умничать.

Зато стихами, исполненными то язвительных намеков, то неприятных нравоучений, вызывал он гнев Павла довольно часто. За одой на возвращение Зубова следовала двусмысленная ода «На новый 1798 год», за нею стихи «К самому себе», после которых Павел, увидев Державина при дворе, «с иростным взором, по обыкновению его, раздув ноздри, так фыркнул, что многие то приметили и думали, что верно отошлет Державина в ссылку или, по крайней мере, вышлет из города в деревню». Ссылку пророчили и за колкости в оде на рождение великого князя Михаила Павловича. Правда, государь вместо ссылки прислал Державину табакерку, но это был лишь минутный жест — один из бесчисленных жестов той постоянной драматической импровизации, которая давно заменила Павлу действительность, была его отрадою и мучением и решила его судьбу. В общем, Державин был ему неприятен. Он прямо жаловался генерал-прокурору Лопухину, что Державин *все колкие какие-то пишет стихи*. Эпиграф к альпийской оде тоже, конечно, ему запомнился.

Казалось бы, если Павел не любит Державина, а Державин не хочет служить при Павле, то им встретиться вовсе не суждено. Однако в придворных делах (а в те времена все дела государственные силою вещей становились придворными) имелась особая, своя логика. Вернее, логика была обычная: следствия, как всегда, вызывались причинами. Но сами причины, попадая в придворный мир, вызывали совсем не те следствия, которые оне вызывали бы в иной сфере. Державин и Павел встретились — и как раз потому, что избегали друг друга. И даже именно при Павле, неожиданно для обеих сторон, вопреки их желаниям и характерам, Державину было суждено служебное возвышение почти стремительное.

В былые годы Державин судил людей строго, и как дурных встречалось более, чем хороших, то и было у него при дворе и в правительстве более врагов, чем друзей. Среди сильных людей нового царствования не было у него ни тех, ни других, потому что на всех он взирал с одинаковою холодностью. Прежде он очертя голову кидался на борьбу с беззаконием, плутовством, пронырством. Ныне довольствовался тем, что сам поступал по закону и совести, а выводить на чистую воду, обличать и карать ему более не хотелось. Теперь с ним уживались те, кому ранее от него житья не было бы.

При Екатерине он ставил себе высокие цели и ради них искал власти. Теперь, когда он решил, что борьба бесполезна, уже и самая власть была ему не нужна. Ничего он не проповедовал, ни за чем не гнался. По законам придворной логики это тем более открывало ему карьеру, ибо никто уже не страшился ни его мыслей, ни его соперничества.

Без друзей, без врагов, без целей очутился он и вне партий — то есть как если бы и во всех партиях сразу, потому что теперь люди всех партий равно могли искать у него содействия. В то же время никто не боялся, что он слишком возвысится: его личные отношения с государем заранее ставили возвышению такому известный предел. Никто не боялся, что Павел слишком полюбит Державина, да и Державин никак не годился во временщики.

Итак, ни перед кем не заискивая, но и не проявляя слишком открыто свой нрав, единственно благодаря сложнейшему ходу придворных дел, для себя самого неожиданно, Державин стал возвышаться. Летом 1800 года снова послали его в Белоруссию. Цель была вроде той, что и при первой командировке: надеялись, что он изобличит временных владельцев казенных земель в жестоком обращении с крестьянами, и тогда земли будут отобраны в казну, чтобы попасть в руки Кутайсова и других. Державин опять не исполнил того, что от него требовалось, но в его отсутствие хитрые придворные обстоятельства так сложились, что он вдруг был пожалован действительным тайным советником, получил почетный командорский крест Мальтийского ордена и был заочно назначен президентом восстановленной коммерц-коллегии. Примечательно, что, узнав об этом, он писал жене: «Ты радуешься, но я не очень». Со своей стороны государь, когда Державин приехал в Петербург, не пожелал принять его и сказал генерал-прокурору Обольянинову:

— Он горяч, да и я: так мы, пожалуй, опять поссоримся: пусть доклады его идут ко мне через тебя.

Не прошло и трех месяцев, как Державин, никаких подвигов не сверша, пошел в гору еще быстрее: повелено ему «быть вторым министром при государственном казначействе и управлять делами обще с государственным казначеем». Это повеление состоялось 21 ноября, а 22-го государственный казначей барон Васильев смещен вовсе, и Державин назначен на его место. 23 числа он уже сделан членом того самого Верховного Совета, из-за ко-

торого некогда поссорился с государем, 25-го переведен из межевого департамента Сената в 1-й, а 27-го пожаловано ему 6 000 рублей столовых ежегодно. Тогда же назначен он заседать в советах Смольного монастыря и Екатерининского института.

Человек слаб. Легкие служебные успехи, которых Державин не знавал раньше, начинали ему нравиться. Приятно было, что ордена сами собою сыплются на грудь, а деньги в карман. Порой ему даже казалось, что государь научился его ценить. Но государь хмурился по-прежнему. В самое Крещение 1801 года он было рассвирепел, узнав, что Державин обедал у Платона Зубова. Призвал к себе в кабинет, сам сел на софу, а Державину велел сесть напротив. Говорил, прилежно глядя ему в глаза, и отпустил с грозным видом.

Стремительное возвышение Державина с самого начала объяснялось не благоволением государя, а происками Кутайсова и генерал-прокурора Обольянинова. Кутайсов хотел погубить Васильева — у них были старые счеты; генерал-прокурор подольщался к Кутайсову. Вот и спихнули они Васильева и посадили на его место безопасного Державина, которого старались задобрить и задарить, внушая, чтоб он, при вступлении в должность, настойчивей проверял денежную отчетность. Кутайсов надеялся, что удастся представить Васильева вором.

Но Державин был непослушным орудием; он стал действовать добросовестно и не спеша. Кутайсов и Обольянинов на него ворчали, так что Державин побаивался, как бы, «снисходя к Васильеву, самого себя вместо его не упрятать в крепость». Наконец, уже в марте 1801 года он представил рапорт, из коего следовало, что в отчетности казначейства имеются недостатки, но в общем счеты между собой согласны. Этот рапорт рассматривался в Совете 11 марта, в присутствии великого князя Александра Павловича, недавно туда назначенного. Обольянинов нападал на Васильева, обвиняя его в преступлениях; наследник, напротив, с горячностию вступался, отрицая даже и неисправности; Державин «балансировал на ту и другую сторону», подтверждая наличность ошибок со стороны Васильева, но отрицая злой умысел. На другой день ему предстояло докладывать императору для окончательного решения. Вечер провел он у генерал-прокурора, трактуя о соляных подрядах. Около полуночи поехал домой. Стояло ненастье. Луна бежала в громоздких, быстролетящих тучах. Резкий ветер, всегда подавлявший душу и родящий тревогу, налетал с сиповатым ревом, напоминающим голос императора. Завтрашний доклад беспокоил Державина: обманувшись в расчетах, Кутайсов, наверно, успел нажаловаться. Укладываясь в постель, Державин прислушивался, как за окном шумит буря.

За ночь, однако же, ветер упал. Солнце, вступая в знак Овна, сияло поутру среди голубого неба, началась оттепель; то был первый день первой весны девятнадцатого столетия. Часов в восемь вбежала Параша Бакунина (теперь уже, впрочем, госпожа Нилова) и объявила, что государь убит. Из Зимнего дворца привезли повестку: «Его Императорское Величество Государь Император Александр Павлович указать соизволил сего марта 12 в 9 часов по утру иметь приезд во дворец Его Императорского Величества для принесения присяги на верность Его Императорскому Величеству».

VIII

Если некогда воцарение Павла I показалось вторжением неприятеля в завоеванный город, то его смерти радовались, как изгнанию супостата. При дворе, в канцеляриях, в частных домах, на улицах люди поздравляли друг друга, обнимались, спешили облечься во фраки, жилеты и круглые шляпы; панталоны и сапоги с отворотами появились всюду; все головы причесались а ля Титюс, косички были уничтожены и букли обрезаны. Дамы, не теряя времени, переменили моду. Экипажи с французскою и немецкою упряжью исчезли, и появилась вновь русская упряжь, кучера и форейторы. Общество предавалось ребяческой радости. Сам молодой император поспешил снять с себя знаки мальтийского ордена. Словом, восторг, по выражению свидетеля, «выходил даже из пределов благопристойности». Правда, его изъявляло преимущественно дворянство; прочие сословия приняли весть о перевороте молчаливо. Быть может, за этим молчанием скрывалось и неодобрение.

Державин считал, что у Павла были добрые свойства ума и сердца, но они слишком скоро «обратились в ничто», были вконец изуродованы необузданным и фантастическим своеволием. Недаром он сторонился покойного императора и, глядя на Павла, учился вздыхать о Екатерине. Грядущее было еще неясно, но избавление от Павла казалось уже несомненным счастием для России. На восшествие Александра I написал Державин стихи, в которых сильнейшие строки были посвящены не столько ожиданию будущих благ, сколько изображению минувших зол. Ода на воцарение нового императора обернулась одою на свержение тирана.

> Умолк рев Норда сиповатый,
> Закрылся грозный, страшный взгляд...

В этих стихах видели портрет убитого государя. Александр поступил двусмысленно и, если угодно, в духе покойной бабушки: Державину он прислал бриллиантовый перстень, а стихи запретил — то ли из уважения к горю вдовствующей императрицы, то ли по другим причинам, которых не хотел высказать. Впрочем, уже было поздно: ода, как водится, распространилась в публике, ее заучивали.

Между тем служебные обстоятельства Державина очутились неблагоприятны. В ночь цареубийства Кутайсов бежал из дворца и спрятался. Он дрожал напрасно: все обошлось для него отставкой, которую вместе с Обольяниновым получил он в первый же день нового царствования. То были первые жертвы, которые Александр принес общественному негодованию и собственному презрению. Дело Васильева в этой опале сыграло роль незначительную, но сам Васильев забыт не был. Его безупречность Александр Павлович отстаивал в Совете всего лишь за несколько часов до своего воцарения. Восстановление Васильева в прежней должности не заставило себя ждать. Тем самым Державин, следственно, отстранялся. Место государственного казначея пришлось возвратить Васильеву. Положение было не из приятных, но Державин чувствовал, что роптать он не вправе. Хоть и не поступился он ради Кутайсова справедливостью; хоть и перед Васильевым его совесть была чиста (он искренно считал, что в государственные казначеи Васильев не годился и запустил дела чрезвычайно); хоть сам Васильев недавно приезжал к нему и со слезами благодарил за кое-какие поблажки,— все же он сознавал, что последние ордена свои, чины, должности и награды получил через самые грязные руки им же осужденного царствования — через руки Кутайсова. Самое приспособление Державина к обиходу павловского двора было слабостию, падением, за которое теперь наступила расплата, сравнительно еще не тяжелая: Державин мог ожидать, что взамен казначейства получит иную должность. Нерасположение государя он прямо почувствовал только через две недели. 26 марта был упразднен Верховный Совет, а 30-го последовал высочайший указ об учреждении Совета Непременного, составленного из двенадцати лиц, «доверенностью Нашею и общею почтенных»: в число этих двенадцати Державин не был включен. Недруги по обычаю злорадствовали. Самого Державина занимали мысли и чувства гораздо более сложные, чем простая обида.

* * *

Еще в молодые годы пришла ему первая мысль о том, что внутреннее неблагополучие российского государства как-то связано с формой правления. Увлечение Наказом и дух эпохи привели к тому, что, не затрагивая вопроса об объеме самодержавной власти, Державин отважился на нечто большее (казавшееся ему, вероятно, меньшим): он усомнился в ее божественном происхождении. Так родилась мысль о том, что единственное основание царской власти — не рождение и не помазание, а народная любовь, даруемая смотря по заслугам и добродетелям, которых отсутствие превращает помазанника в тирана; тиран же может быть свергнут по воле народа.

Таким образом, первоначально избегая судить самодержавие, Державин отнюдь не отказывал себе в праве судить каждого данного самодержца. Тогда же он определил главные признаки добродетельного монарха: такой монарх должен быть, во-первых, страж и слуга закона; второй, столь же необходимой его добродетелью Державин признал способность к добровольному и постоянному излиянию свобод и милостей. Именно эти свободы и милости, не что иное, называл он *щедротами*. В пору наибольшего восхищения Фелицей вложил он в уста сей воображаемой идеальной монархини многозначительные слова:

> Самодержавства скиптр железный
> Своей щедротой позлащу.

В этих немногих основных положениях державинского монархизма слишком нетрудно найти великое множество слабых мест и противоречий: в какой, так сказать, мере скипетр самодержавия может оставаться *железным* и до какой степени самодержец обязан его *позлащать?* Каков наименьший объем *щедрот,* без которого самодержец объявляется *тираном?* С какого момента становится позволительным его свергнуть? Кто и в какой форме полномочен судить о заслугах монарха и выражать мнение и волю народа? В каких пределах и почему самодержец обязан чтить и блюсти законы, если ему же дана верховная власть оные учреждать и отменять? Что выше: щедрота или закон? Может ли закон стеснять добродетельного монарха в его щедроте? Не обязан ли сам блюститель законов порою преступать их ради щедролюбия?..

Число этих простых, но неразрешимых вопросов можно весьма увеличить. Как, например, разрешил бы Державин вопрос о замещении престола? Известно лишь то, что даже после павловского закона о престолонаследии он остался верен традиции Петра Первого и жалел, что Екатерина не успела передать власть Александру, минуя Павла. Как частный случай это было бы допустимо и с точки зрения Державина. Но чтобы быть вполне последовательным, Державину, при его системе свободных тираносвержений, должно бы вообще отрицать наследственный переход

императорской власти и остановиться на выборном начале. Меж тем, если бы ему предложили нечто подобное, он ужаснулся бы.

Все эти несообразности были, конечно, видны самому Державину. Если не сразу, то постепенно они ему уяснялись. Не мог он не понимать, что идеальный самодержец, созданный его воображением, есть, в сущности, *самоограничивающийся;* что идеал этот недостижим, ибо никаких личных доблестей не хватит монарху на то, чтобы возместить ими пороки самой системы; наконец — что судя самодержцев вместо того, чтоб судить самодержавие, он не решает вопроса, а лишь обходит или оттягивает решение.

Однако ж и этот суд совершился уже давно, сам собой; в сердце Державина даже отчетливей и быстрей, чем в уме. И в нерадостной своей юности, и потом, созерцая жизнь, принимая ее удары, пререкаясь с вельможами и царями, прислушиваясь к голосу совести («поелику же дух Державина склонен был всегда к морали»), приучился он ощущать самодержавие как непомерную тяжесть, налегшую на жизнь, волю и самую мысль России. Постепенно чувство это окрепло. В 1797 году, когда Храповицкий в стихотворном послании назвал Державина орлом,— он не выдержал и ответил:

Страха скованным цепями
И рожденным под ярмом,
Можно ль орлими крылами
К солнцу нам парить умом?
А когда б и возлетали —
Чувствуем ярмо свое.

Эти стихи он впоследствии напечатал, но вообще избегал высказывать подобные мысли. Не корысть и не страх заставляли его таиться. Причина была иная. Поклонение закону потому так остро, едва ли не болезненно развилось в Державине, что вокруг себя видел он постоянно неуважение к закону, иногда как бы даже незнание о нем. Быть может, несколько преувеличивая, Державин считал, что в понятиях русских людей власть и произвол суть одно и то же. Власть государственная в таких обстоятельствах становилась как бы огромным вместилищем произвола, сосудом яда. Всю жизнь, будучи свидетелем дворянских поползновений разделить власть с самодержцами, Державин приходил в ужас при мысли о том, что дворянское засилье, какое он видел при Екатерине, может подняться до степени узаконенного раздела власти. Именно поэтому он считал неизбежным охранять полноту и неприкосновенность самодержавия. В руках надсословного и просвещенного монарха железный скипетр в счастливом случае мог быть позлащен, тяжесть самодержавия могла равномерно ложиться на всех, как жертва, приносимая благополучию государства. Сделавшись достоянием дворянства, власть, по мнению Державина, превратилась бы в нестерпимое и бесправственное угнетение всех прочих сословий, и государство было бы приведено к гибели.

Самодержавие, таким образом, оказывалось наименьшим злом. Мысль Державина, описав круг, возвращалась к добродетельному монарху, существу высшему, бытие которого опровергалось умом и опытом, но в которое еще оставалось верить, как в чудо. Жизни Державина суждено было протекать в упованиях, обольщениях и разочарованиях. Голос музы его становился то мягок, то грозен, то вкрадчив, то дерзок; Державин то воспевал щедрость царей, то грозил им судом народа: стихи его полны на сей счет угроз и предостережений. Не уставая «уроки для владык греметь», он шел на уступки, обличал, просил, требовал, умолял, льстил,— можно сказать, вызывал добродетельного монарха, как вызывают духа.

«Блаженству общему радея», охраняя то самодержавие от дворянства, то, в ряду прочих сословий, дворянство от самодержавия, Державин неизменно ставил себя в положение трудное. Выступая на той стороне, которая в каждую данную минуту и по каждому данному поводу была угрожаема, он то и дело сознательно менял одну невыгодную позицию на другую. В конце концов оказывался он всякий раз между двух огней. Благоговея перед Екатериной за вольности, ею провозглашенные и дарованные, он с ней поссорился потому, что она «угождала своим окружающим», «против которых явно восставать, может быть, и опасалась»; иными словами — потому, что она потворствовала дворянскому засилию. К досаде вельмож, он приветствовал первые шаги Павла, уповая, что будут исправлены ошибки Екатерины. Но Павел довел охрану самодержавия до тиранства — и Державин прославил цареубийство, несмотря на то, что оно было совершено дворянами. Он видел в нем суд народа:

Народны вздохи, слезны токи,
Молитвы огорченных душ,
Как пар возносятся высокий
И зарождают гром средь туч:
Он вержется, падет незапно
На горды зданиев главы.
Внемлите правде сей стократно,
О власти сильныя, и вы!
Внемлите — и теснить блюдитесь
Вам данный управлять народ.

Державин не знал о заговоре. Но если бы знал — вероятно, сочувствовал бы ему, хотя предвидел бы, что на другой день после переворота вступит в борьбу со своими вчерашними единомышленниками.

— Батюшка скончался апоплексическим ударом; все при мне будет, как при бабушке.

Таковы были первые, чуть слышным голосом, сквозь слезы сказанные слова молодого императора, когда, шатаясь от горя и страха, вышел он к караулам семеновцев и преображенцев. И хотя первая половина этой фразы, предназначенная для солдат, была заведомой ложью,— второй, предназначенной для дворян-офицеров, Державин имел основание верить вместе со всеми прочими. Поскольку Россия избавлялась от Павла, Державин встречал первый день Александрова царствования как «день спасенья и утех». Но Александр обещал стать дворянским царем — и Державин насторожился.

Многие екатерининские сановники были тотчас призваны к власти; некоторые из них вернулись из деревень, куда сосланы были Павлом. Кидаясь в объятия Трощинского, Александр воскликнул: «Будь моим руководителем!» Трощинский написал манифест о восшествии на престол и был назначен состоять при особе Его Величества у исправления дел, по особой доверенности государя на него возложенных. С ним вместе явились и окружили трон Васильев, Александр Воронцов, Беклешов (в должности генерал-прокурора), Завадский; все — более или менее недруги Державина. Удаление Державина из Совета было не только следствием их вражды, но и знамением того, что впрямь воскресает екатерининская пора; правление Павла словно бы выпало из чреды времен; Державин вновь очутился в том самом положении, в каком был 6 ноября 1796 года,— не у дел. Пока что — ему оставалось наблюдать. Но вскоре события развернулись причудливо, как причудлива была вся судьба Державина.

* * *

В России давно уже повелось так, что каждый новый император вступал на престол либо в порядке открытой дворцовой революции, либо питая столь глубокую неприязнь к личности и правлению своего предшественника, что всякое воцарение становилось похоже на революцию. При появлении нового самодержца всякий раз трепетали не только придворные, но, казалось, и сами законы. Они словно бы повисали в воздухе и ждали себе подтверждения либо отмены. (Отчасти потому общество их и не уважало.)

Не удивительно, что и царствование Александра, возведенного на трон убийцами его отца, началось резкой сменой лиц и порядков. Наступление новой государственной эпохи молодой государь спешил возвестить в указах и манифестах, чуть ли не ежедневных. Они затрагивали самые различные стороны жизни, поражая воображение современников своим либеральным духом. В гуманных мероприятиях Александра Павловича видели отражение его образа мыслей, что, разумеется, вполне справедливо. Однако не трудно заметить в них и неизбежное следствие очередного переворота: чем круче был Павел, тем его преемник должен был выказать себя мягче (хотя бы на первых порах).

Тем не менее, щедроты оставались щедротами. Сердцу Державина они говорили многое. Общее восхищение государем передалось и ему. Александр некогда был воспет им еще «в пеленах». Двадцать лет назад, предрекая *порфирородному отроку* царствование, Державин ему завещал высокое правило:

Будь на троне человек!

Теперь эти слова припомнили; многим они казались пророческими. В первых шагах Александра Державин и сам был склонен узнать того царевича Хлора, которому богоподобная Фелица с младенчества указала путь:

Взойти на ту высоку гору,
Где роза без шипов растет,
Где добродетель обитает.

Лично для Державина новое царствование начиналось, как предыдущее, полуотставкой. Но на сей раз он уже не хотел и не мог «сидеть смирно». В нем слишком были возбуждены и надежды, и опасения. И те, и другие одинаково влекли к действию.

Екатерина начала, а Павел довершил ослабление Сената путем усиления власти генерал-прокуроров. Беклешов, назначенный Александром Павловичем, мог уже править по своей воле, решая дела единолично и не останавливаясь перед нарушением закона. Сенаторы не смели ему перечить, его же целью было лишь угодить государю. А как последний желал на каждом шагу означить различие между собой и своим предшественником, то «охуждая правление императора Павла, зачали без разбора, так сказать, все коверкать, что им ни сделано».

Дошло до того, что Беклешов принудил Сенат отменить соляные контракты, заключенные с откупщиками Перетцом и Штиглицем. Правда, контракты были невыгодны для казны; но Павел незадолго до кончины утвердил их. Во имя закона Державин настаивал на их выполнении. Он поднес государю записку, в которой напоминал, что при вступлении на престол Александр обещал строго держаться законов. Но Александр, как и следовало ожидать, стал на сторону Беклешова. Первая стычка кончилась не в пользу Державина. За нею последовала вторая, со всех сторон более любопытная.

Еще при покойном государе молоденькая красавица Наталья Алексеевна Кол-

товская (ей было всего лет двадцать) разошлась с мужем. Павел подписал указ об учреждении опеки по ее делам. Но опекуны явно держали сторону мужа. Тогда государь, будучи неравнодушен к Колтовской, по ее просьбе назначил опекуном Державина. Этот приказ был отдан словесно, и теперь Беклешов потребовал восстановления прежней опеки, ссылаясь на то, что письменный указ действительнее словесного. Державин возражал, что действительность словесного указа подтверждена самим Сенатом, однажды принявшим его к исполнению; что указ, принятый к исполнению, отменен быть не может; что, наконец, исполнение письменного указа было бы равносильно передаче имущества в руки мужа, то есть лишило бы Колтовскую всего состояния даже без рассмотрения дела в низших судебных местах. Державин действовал тут по совести: он отстаивал справедливость, закон и достоинство Сената. Но *горячности* придавали ему два обстоятельства посторонних: Беклешова считал он одним из виновников своего устранения из Совета, а голубые глаза Колтовской заронили огонь и в его сердце.

По закону голос каждого отдельного сенатора должен был доходить до государя наравне со всеми прочими. Но через несколько дней Державину вдруг показали конфирмованный Александром доклад, в котором не только было сокрыто мнение, заявленное Державиным, но даже имя его не упоминалось. Тогда явился он к государю и прямо спросил, на каком основании его величеству угодно оставить Сенат. «Ежели,— прибавил он,— генерал-прокурор будет так самовластно поступать, то нечего сенаторам делать, и всеподданнейше прошу меня из службы уволить».

Этими словами Державин выразил чувства не только свои. Трощинский, недавний друг Беклешова, уже читал государю записку о властолюбивых видах лиц, чрез которых Сенат представляет свои дела. Теперь Державин подал сигнал к новому натиску. Александру напомнили о его обещаниях. Вопрос стал уже не о личности Беклешова, но глубже и откровенней: о пределах самой генерал-прокурорской власти и о порабощении Сената. Государь был вынужден уступить, и 5 июня был дан высочайший указ, в котором значилось: «Уважая всегда Правительствующий Сенат, яко верховное место правосудия и исполнения законов, и знан, сколь много права и преимущества, от государей предков моих ему присвоенныя, по времени и различным обстоятельствам подвергалися перемене к ослаблению и самой силы закона, всем управлять долженствующего, я желаю возставить оный на прежнюю степень ему приличную и для управления мест, ему подвластных, толико нужную; и на сей конец требую от Сената, чтобы он, собрав, представил мне докладом все то, что составляет существенную должность, права и обязанность его, с отвержением всего того, что в отмену или ослабление оных доселе введено было»...

С этого дня начались работы по установлению прав Сената. Неразрывно связанные с необходимостью пересмотреть всю систему управления, они повлекли за собой ряд важных преобразований, всколыхнули общество и с новою остротой поставили вопрос о взаимоотношениях дворянства и короны. Голубые глаза оказались не без влияния на ход истории.

* * *

После обеда, встав от стола, государь недолго беседовал с приглашенными, после чего удалялся. Между тем, пока разъезжались прочие гости, четверо молодых друзей императора — граф П. В. Кочубей, граф П. А. Строгонов, Н. Н. Новосильцов и князь Адам Чарторыйский — направлялись особым ходом во внутренние покои. Там, в небольшой туалетной комнате, за чашкою кофе обсуждались проекты благодетельных и просвещенных реформ. Одушевленные самыми передовыми европейскими идеями (кроме Строгонова, все они только что прибыли из-за границы), эти молодые люди весьма были бы удивлены и даже оскорблены, если бы им сказали, что образованный ими неофициальный или негласный комитет как раз и есть настоящее детище ненавистного деспотичества, ибо создая единственно по произволу монарха и намерен вершить судьбы России неофициально, негласно, то есть безответственно, чрез голову высших государственных учреждений. Вполне характерно, что, по признанию Строгонова, возражения и идеи, которые высказывал государь в комитете, не всегда были основательны, но противоречить ему не решались. Чарторыйский писал впоследствии, что Александр «охотно даровал бы свободу всему миру, при условии, чтобы все согласились подчиниться единственно его воле».

Воспитанный в либеральнейшем духе, Александр искренно мечтал «обуздать деспотизм нашего правительства», как он выражался. Где-то в прекрасном отдалении ему мерещилась конституция. Но наряду с этой затверженной мыслию действовал в нем и глубокий наследственный инстинкт — инстинкт сохранения самодержавия. Негласный комитет ему очень нравился. Здесь люди все были свои: молодые, мечтательные, либеральные — и, в сущности, послушные. В Сенате сидели бабушкины вельможи: спорщики и дельцы. Все эти Воронцовы, Завадовские, Зубовы, Трощинские уже начали надоедать Александру. Конституция, о которой красноречиво мечтали в комитете, была делом отдаленного будущего, а бабушкины сенаторы требовали себе власти тотчас.

Сенат действительно закипел. Там составлялись проекты — один другого решительнее. Иные прямо носили название конституций. Платон Зубов требовал превращения Сената в законодательное собрание. Александр был озабочен до чрезвычайности, порой падал духом и бывал близок к тому, чтобы подписать один из этих проектов: по крайней мере все разом кончится. Лишь в неофициальном комитете он находил утешение и поддержку. Там Новосильцев с горячностию доказывал, что, руководствуясь началами Петра Великого, не следует обращать Сенат а законодательное учреждение — достаточно предоставить ему власть судебную. Вскоре приехал Лагарп. Старый воспитатель Александра Павловича теперь уже был не тот якобин, что прежде Гельветическая республика не прошла для него даром. Царя стал он удерживать от всего, чему некогда обучал великого князя. Он предостерегал от опасностей призрачной свободы, от либеральных увлечений — в частности, от расширения прав Сената. Что могло быть приятнее? Александр приободрился.

Комитет был, однако же, прав, намереваясь связать реформу Сената с реформой отдельных частей управления. Александру Павловичу досталось хаотическое наследство. Власть коллегий, учрежденных Петром Великим, при Екатерине почти целиком перешла к палатам и губернским правлениям. Коллегии были парализованы, Екатерина начала постепенно их упразднять. Теперь надлежало в той или иной форме усилить действие центрального правительства. Но возникал вопрос: восстановить ли петровские коллегии или заменить их министерствами, придав управлению характер единоличный? Уже Павел, стремясь непосредственно подчинить отдельные части правительства своей воле, стал назначать министров — наряду с директорами коллегий, что создавало путаницу и двоевластие. Неофициальный комитет настаивал на окончательной замене коллегий министерствами, что более соответствовало европейской политической моде и считалось более либеральным. В русских условиях оно, впрочем, становилось вовсе не либерально. Там, где верховная неограниченная власть находится в одних руках и где народ, не имея своих представителей, бессилен влиять на действия главных правительственных лиц, власть этих лиц (и в конечном счете власть самодержца, который их назначает и пред которым только они ответственны) хоть отчасти может быть умеряема лишь совещательными при них органами. Верный сословный инстинкт восстанавливал большинство старых деятелей против министерств и на деле оказывался более либеральным, чем словесный либерализм негласного комитета. Трощинский написал трактат в защиту коллегий. Но столь же верный инстинкт самодержца побуждал Александра Павловича в особенности настаивать на создании министерств. Лагарп и в этом его поддерживал.

Таковы были обстоятельства, при которых Державин составил проект, получивший имя державинских кортесов.

«Состав сей организации был самый простой», говорит Державин. Пожалуй, вернее было бы назвать его со всех сторон хитрым. В основе проекта лежали два стремления, отчасти друг другу противоречащие: охранить полноту царской власти и ослабить власть царем назначаемых министров. (Державин, как и пристало ему, был сторонником коллегий, но он знал, что создание министерских должностей предрешено и от этой затеи государь не отступится.) Психологическая окраска этих стремлений также была различна: осуществить первое казалось Державину совершенно необходимым, но его тайному убеждению оно не соответствовало; зато второе было им глубоко выстрадано — однако ж он чувствовал, что осуществлением первого уже затрудняется достижение второго.

Напомнив о замысле Екатерины образовать Сенат согласно ее положению о губерниях, Державин предлагал разбить Сенат на отделы и департаменты, соответствующие средним и низшим местам губернским. Самое это разделение было довольно путано и основано на идеях ложных, но суть не в том. Сенату предоставлялась власть административная и судебная — отнюдь не законодательная. Что же касается министров, то Державин их ставил лишь во главе соответствующих департаментов, с тем, чтобы они «не иначе были, как опекуны только и надзиратели за успешным течением дел и понудители оных, имеющие власть предлагать только [1] своему департаменту и по утверждении его входить с докладом к Императорскому Величеству и ничего сами собою вновь постановляющего или решительного не делать».

Отказывая Сенату во власти законодательной, Державин вручал ему охрану законов самую деятельную. (Характерно, что в замещение сенаторских мест отчасти вводилось начало выборное, через что и надзор за министрами получал некоторый оттенок общественности.) Важное значение приобретали не только департаменты, но и мнения отдельных сенаторов:

[1] «Только» относится здесь к слову «предлагать», а не «своему».— *В. Х.*

в случае разногласия они всякий раз должны были доводиться до сведения государя наравне с голосами большинства.

Таким образом, сохраняя за государем всю полноту законодательной власти, Державин всю исполнительную передавал Сенату, чем и осуществлялся, по его мнению, «гармонический состав в управлении Империи». На деле все гармонизирующее начало было заключено в усмотрении монарха, который являлся центром всех властей и арбитром во всех разногласиях как внутри Сената, так и между Сенатом и министрами.

Согласно проекту, министры были не только ответственны пред Сенатом, но как будто работали под прямым надзором его. Однако Сенат был бессилен подчинить министра закону, ибо министр всегда мог апеллировать к государю, который, уважая в нем свой собственный выбор или действуя через него, мог изменить или отменить закон. Итак, единственным залогом действительного уважения к закону и Сенату оказывались все то же самоограничение и личная добродетель монарха — безвыходная мечта Державина. Недаром старался он в ту же пору увлечь Александра идеальным портретом Царевича Хлора, как некогда соблазнял Екатерину изображением Фелицы:

Так: шепчут, будто саму власть,
В твоих руках самодержавну,
Господства безпредельну страсть,
Ты чтишь за власть самоуправну;
Что будто мудрая та блажь
Нередко в ум тебе приходит,
Что царь — законов только страж,
Что он лишь в действо их приводит
И ставит в том в пример себя;
Что ты живешь лишь для народов,
А не народы для тебя,
И что не свыше ты законов.

Голосом увещательной лиры старался он обеспечить то, чего не обеспечивала его конституция.

Против добродетели Александр ничего не имел. Он любил всю полноту своих прав — право на самоограничение, может быть, даже в особенности. Способность относиться к себе самому со спартанской суровостию порой умиляла его до сладких слез. Проект Державина, в числе прочих, был брошен в общий котел негласного комитета, где и подвергся суровой, во многом справедливой критике. Но Александр запомнил его с признательностию и в совещаниях не раз заставлял к нему возвращаться. При случившейся вскоре коронации награды вообще были немногочисленны. Тем более примечательно, что Державин получил Александра Невского.

* * *

Своим проектом снискал он благоволение государя, за что вскоре и поплатился. Александр поручил ему ревизовать действия калужского губернатора Лопухина, рядом с которым Гудович и Тутолмин показались бы ангелами: одних *уголовных* дел за ним тотчас набралось целых тридцать четыре, а *шалостей* больше ста. Но Лопухин умел защищаться, и у него были сильные покровители. Ревизия обернулась великими неприятностями для самого Державина и испортила ему много крови. В конце концов он восторжествовал, но перед тем месяцев пять жил в возбуждении неописуемом и оказался лишен всякого хладнокровия как раз к той поре, когда оно всего более понадобилось.

8 сентября 1802 года, после долгих обсуждений и споров, Александр подписал наконец указ о правах и обязанностях Сената и манифест об учреждении министерств. В этот же день вечером, когда у Державина были гости, Новосильцов приехал с предложением от государя — занять пост министра юстиции и генерал-прокурора. Согласно указу, Сенату предоставлялась лишь административная и судебная власть; министры должны были пред ним отчитываться. Державину, таким образом, не было оснований отказываться — он предложение принял. (Воронцов и Завадовский, взявшие министерства иностранных дел и народного просвещения, проявили в сем случае менее последовательности и больше приспособляемости.) Прочие министерские посты были заняты Вязмитиновым, Мордвиновым, Кочубеем, Васильевым и Румянцовым. Кроме Кочубея, все это были старые деятели. Молодежь, в лице Чарторыйского и Строгонова, была к ним приставлена на правах *товарищей* — то ли ради учения, то ли ради надзора; вероятно, и для того, и для другого зараз. Александр старался пред нею затушевать предпочтение, оказанное старикам.

Державин переселился в генерал-прокурорский дом на Малой Садовой. Двадцать пять лет тому назад он здесь впервые явился к Вяземскому — неопытным стихотворцем и скромным коллежским советником, ищущим покровительства. Теперь он сам был генерал-прокурором, одним из высших сановников Империи Российской, и признанным ее бардом. Какой предмет для раздумия и стихов! Но у Державина не было на то времени.

Очень скоро обнаружилось то, о чем недовольно подумал он, соглашаясь на предложение государя: в комитете министров он был окружен старыми врагами и молодыми недоброжелателями. Вместо того, чтобы облегчить положение, он обострил его тотчас: не потому, что хотел сводить старые счеты (этим занялись другие), но потому, что немедленно и умышленно завел новые. Своим призванием почитал он борьбу с самоуправством и превышением власти — врожденными пороками вельмож, которых вздумал он теперь звать странным, полупрезрительным именем *возвышенцев*. В лице министров он заранее видел превышателей власти — и этого мнения не скрывал.

Права и обязанности министров не были точно означены в манифесте; было сказано, что на сей счет последуют особые инструкции. До составления инструкций течению дел оставалось покоиться на обычаях, на личном благоразумии каждого министра и на его чувстве законности. Основание шаткое — особенно в глазах Державина. Заседания комитета министров происходили по вторникам и пятницам под председательством самого государя. Державин в первом же заседании потребовал составления инструкций. Вероятно, не стали бы с ним и спорить — юридически он был прав. Но свое требование он облек в столь резкую форму и так явственно выказал недоверие к товарищам, что вызвал общие возражения. Из этого он заключил, что попал всем не в бровь, а в глаз, и решил быть особо бдительным.

С того дня, каждый вторник и каждую пятницу, одного за другим изобличал он министров перед лицом государя: в самовольном распоряжении казенными миллионами, в заключении контрактов без торгов и публикаций, в поблажках откупщикам, в раздаче наград и чинов «по прихотливой воле каждого министра» и так далее. Правда бывала на его стороне, но сконфуженный государь выгораживал и покрывал своих ставленников. Это лишь подзадоривало Державина. Он настоял на том, чтобы министры представили свои отчеты Сенату за первый же год. Из этого вышла «одна проформа», ибо и сам Сенат не был подготовлен к принятию отчетов. Зато Державин окончательно восстановил против себя всех. Уже через три-четыре месяца он стал «приходить час от часу у Императора в остуду, а у министров во вражду». Французский агент (как водится — путая верные сведения со вздором) доносил о Державине Талейрану: «C'est un dogue de Themis qu'on garde pour lâcher contre le premier venu, qui déplait à la bande ministérielle, mais peu dressé au manège il mord souvent ses camarades mêmes qui donneraient beaucoup pour le perdre».

Давно развращаемый собственным бесправием, Сенат в большинстве, в толще своей, состоял из людей невысокого уровня. Уважая идею Сената, Державин не уважал сенаторов. Сам он работал не покладая рук, его память и знание законов были исключительны, честность он доводил до педантизма. Сенаторы этими качествами не обладали, потому что доселе с них спрашивалось одно послушание. Теперь, когда положение Сената было как будто поднято, Державин сразу потребовал от сенаторов труда, ума, знания, всевозможных гражданских доблестей. Всего этого надобно было добиваться упорным, медленным перевоспитанием. Но Державин как раз в воспитатели не годился: он не воспитывал, а обличал. «Сенат благоволит давать откупщикам миллионы, а народу ничего!» — кричал он. Такими фразами он вскоре добился того, что сенаторы хоть и не стали лучше, но самолюбие в них пробудилось: Державина возненавидели и в Сенате, и это вполне обозначилось как раз к тому времени, когда поддержка Сената была бы всего нужнее.

Согласно грамоте о вольности дворянства и жалованной грамоте 1785 года дворяне, вступившие в военную службу солдатами и не выслужившие офицерского чина, не могли выходить в отставку до истечения двенадцатилетнего срока. Правило это постепенно забылось, и унтер-офицеры, особенно из поляков, едва поступив в полк, уже просились в отставку. Военный министр Вязмитинов счел нужным восстановить прежний порядок. Его доклад уже был утвержден государем и принят Сенатом к исполнению без всякого замечания, как вдруг граф Северин Потоцкий, еще не обрусевший поляк, объявил, что этим указом унижено российское дворянство. Державину как генерал-прокурору препроводил он весьма патетическую записку, в которой предлагал Сенату войти к его величеству со всеподданнейшим докладом: «не благоугодно ли будет повелеть министрам рассмотреть вновь столь важное решение?».

Действительно, указом 8 сентября Сенату дано было право представлять императору о неудобоисполнимости того или иного указа. Но в данном случае дело шло не о новом узаконении, а лишь об исполнении старого; сверх того, вопрос уже был разрешен в общем собрании и вторичному обсуждению не подлежал. Державин поэтому усомнился, вносить ли мнение Потоцкого в Сенат, и решил спросить государя. (Записка Потоцкого не нравилась Державину и по существу: он подозревал в ней умысел поляка ослабить русскую армию.) Пересмотр конфирмованного доклада, разумеется, Александру не улыбался. Но государь окружен был поляками и членами негласного комитета; самая бумага Потоцкого, видимо, была писана с его разрешения, которое дал он, разумеется, скрепя сердце. Теперь со стороны Державина являлась ему поддержка, но уже было поздно. Поэтому он ответил с досадой:

— Что же? Мне не запретить мыслить, кто как хочет: пусть его подает, а Сенат пусть рассуждает.

Державин пробовал возразить, но государь повторил:

— Сенат это и рассудит, а я не мешаюсь. Прикажите доложить.

Александр все-таки надеялся, что Сенат не захочет вернуться к вопросу, уже решенному, и Потоцкого ждет провал. Вышло иначе: сенаторы, за исключением двух, стали на сторону Потоцкого. Одни поняли, что можно создать прецедент, клонящийся к усилению Сената и умалению царской власти; другие — попросту — обрадовались досадить Державину. По тем же причинам и министры, в комитете своем одобрившие предложение Вязмитинова, теперь ни словом за него не вступились.

Дело потребовало в Сенате сложной процедуры и целых трех заседаний. После первого Державин доложил государю, что весь Сенат против него. Александр «побледнел и не знал, что сказать». У самого Державина «от чрезвычайной чувствительности и потрясения всех нерв» разлилась желчь, и на втором заседании он не присутствовал. Во время третьего, самого бурного, сенаторы повскакали с мест, и Державин пустил в ход деревянный молоток, служивший Петру Великому вместо колокольчика; он хранился в особом ящике на генерал-прокурорском столе, и со смерти Петра никто не смел к нему прикоснуться. Державин ударил им по столу — «сие как громом поразило сенаторов: побледнели, бросились на свои места, и сделалась чрезвычайная тишина... Не показалось ли им, что Петр Великий встал из мертвых и ударил своим молотком?» Однако же наслаждение сей поэтической и несколько горделивой минутой было непродолжительно: голосование состоялось против Державина.

От имени большинства к государю явилась депутация: старик Строгонов (тот, что некогда занимался алхимией) и Трощинский. Державин один представлял противное мнение. Александр, не сказав никому ни слова, велел Трощинскому читать бумаги. По выслушании встал, весьма сухо сказал, что он даст указ, и откланялся. Действительно, 21 марта 1803 года указ последовал. В нем пояснялось, что дарованное Сенату право входить с представлениями против того или другого указа не касается вновь издаваемых или подтверждаемых верховною властью законов. Таким образом, по сравнению с указом 8 сентября права Сената урезывались. Мнение Потоцкого оставлено без последствий.

Державин мог торжествовать победу, но она не принесла ему мира. Напротив, ею открылся ряд самых ожесточенных боев. Различествуя в подробностях, порой весьма сложных, сводились они примерно к одному и тому же.

Александр находился как бы в сердечном плену у людей, которые то открыто, то хитростью, из побуждений то вовсе низких, то более возвышенных, стремились ослабить единодержавную его власть. Он сам тяготился этим пленением, но еще не смел обнаружить истинных своих мнений. Державина он назначил министром против воли этих людей и как раз потому, что Державин был их врагом. Но Державин был слишком негибок и неподатлив — в степени даже удивительной со стороны человека, прожившего четверть века в делах политических и придворных. Александр хотел лавировать — Державин на каждом шагу понуждал его сбросить маску, действовать напрямик.

Двоедушие вообще утомительно. Александру не так легко давалось притворство перед друзьями. Когда же выяснилось, что надо еще уметь предавать их Державину, а Державина им,— Александр очень скоро начал терять терпение. Однажды он сказал с гневом:

— Ты меня всегда хочешь учить. Я самодержавный государь и так хочу.

В том-то и было их общее с Державиным горе, что самодержавным решался он быть только наедине с Державиным. Во многих чертах повторялась теперь история кабинетского секретарства при Екатерине. Между прочим, как и тогда, Державина могла спасти лесть. Он же, по нетерпению и досаде, день ото дня становился откровеннее. Когда государь, уступая чарам Нарышкиной, пожелал совершить незаконный поступок, Державин не только наотрез отказался ему содействовать, но и объявил с укоризною (почти слово в слово, как некогда Екатерине), что оберегает «не токмо Его закон, но и Его славу». В Сенате он вслух критиковал указ о вольных хлебопашцах, говоря, что «в нынешнем состоянии народного просвещения не выдет из того никакого блага» и что указ, сверх того, неисполним (что позже и было подтверждено событиями).

Положение Державина ухудшалось быстро. Для положительной работы оставалось у него мало времени. Окруженный врагами, подвохами, клеветой и насмешкой, силы свои растрачивал он на борьбу. В пылу этих схваток порой помрачались иль искажались его высокие качества; в мелочах жизни мельчал и он; рвение переходило в злобу, точность — в придирчивость, законолюбие — в формализм. Молва, в свою очередь, все это преувеличивала.

В первое октябрьское воскресенье государь не принял его с докладом и прислал на дом рескрипт, прося очистить пост министра юстиции, но остаться в Совете и Сенате. Вскоре призошло личное объяснение, «пространное и довольно горячее со стороны Державина». Александр ничего не мог сказать к его обвинению, как только:

— Ты очень ревностно служишь.

— А когда так, государь,— отвечал Державин,— то я иначе служить не могу. Простите.

— Оставайся в Совете и Сенате.

— Мне нечего там делать.

Державин уехал к себе. Повторное предложение остаться в Совете и Сенате делалось с тонким умыслом, по наущению врагов его. Они побаивались мнения публики. Для них было бы наилучшим оправданием, если б Державин просил освободить его лишь от должности министра: тем самым признал бы он, что вообще служить хочет, но министерский пост ему не по силам. Подсылали людей и к жене его. Зная честолюбие Дарьи Алексеевны и ее любовь к деньгам, обещали Державину в виде пенсии полное министерское жалованье (16 000 рублей в год) и Андреевскую ленту — только бы он написал такое прошение. Но он подал краткую просьбу об увольнении от службы вовсе. За это убавили ему пенсии и лишили ордена.

Высочайший указ был дан 8 октября 1803 года, ровно через тринадцать месяцев после манифеста об учреждении министерств.

* * *

Отставка сделала большой шум. «Мнение графа Потоцкого дошло в Москву, которое там знатное и, можно сказать, глупое дворянство приняло с восхищением, так что в многолюдных собраниях клали его на голову и пили за здоровье графа Потоцкого, почитая его покровителем российского дворянства и защитником от угнетения; а глупейшие или подлейшие души не устыдились бюсты Державина и Вязмитинова, яко злодеев, выставить на перекрестках, замарав их дермом для поругания». В обеих столицах остряки каламбурили, дамы ахали, канцелярские рифмачи сочиняли пасквили на Державина, а кстати уж и на всех министров. Чем менее знали, как было дело, тем увереннее рассказывали. Провинциальные летописцы на листах календарей записывали *для потомства* историю, окончательно переврапную. В Орле сочинили оду в честь Потоцкого и Державина вместе.

К таким вещам Державин был нечувствителен. Торжество сильных врагов волновало его сильнее, но на сей счет были у него лукавые надежды. Кто знает будущее? На своем веку он не раз понижался — и возвышался вновь. Игра Фортуны всегда занимала его и по-своему окрыляла. Перебравшись опять на Фонтанку, занялся он устройством дома, собирался писать трагедии, отдыхал и копил силы для будущего. 21 декабря в Москве, проездом из Крыма, умер Николай Александрович Львов. Державин и к этой вести отнесся философически (она, впрочем, была не совсем неожиданна: Львов болел уже года три).

В самом начале 1804 года Державин писал Капнисту: «Благодарю, любезный мой друг Василий Васильевич, за письмо твое от 14 декабря, которое я чрез Анну Петровну получил, и сие чрез нее посылаю, уповая избегнуть чрез то любопытства, что нередко с моими письмами, кажется мне, бывает. Скажу вам о себе: я очень доволен, что сложил с себя иго должности, которое меня так угнетало, что н был три раза очень болен; а теперь, слава Богу, очень здоров, делаю, что хочу, при дворе мне кажут довольно уважения, зовут на обеды, на балы, и вчерась был у вдовствующей Императрицы, а сегодня к Императору зван на ужин, да и каждую неделю удостоиваюсь сей чести от Государыни. Словом, пью, ем да гуляю, а также приволачиваюсь иногда за кем-нибудь... Вы угадали мои мысли. Мы сами собираемся вояжировать: ежели в Крым не поедем, то верно хочется посмотреть Малороссии и заехать к тебе, о чем впредь перепишемся... Кратко сказать, мы хотим проехаться; только по сию пору боюсь, чтобы опять не запрягли».

Тут немножко он рисовался: вовсе уж он не так был доволен сложить *иго должности* и весьма был не прочь, чтоб его *опять запрягли*. Может быть, потому не отправлялся он и в задуманный вояж, что хотел быть на всякий случай поближе к двору. В ту пору написал он стихи о мире — волшебном фонаре, в котором нам суждено

Мечтами быть иль зреть мечты.

Ибо все мы — только переменные тени, что появляются и исчезают на полотне, по воле чудотворного, непостижимого мага:

Велит — я возвышаюсь,
Речет — я понижаюсь...

IX

Возле Литейной улицы, в Фурштатском переулке, насупротив лютеранской кирки, стоял весьма скромной наружности двухэтажный домик зеленоватого цвета. Въехав в ворота и со двора поднявшись по темной, узкой и нечистой лестнице, попадал посетитель в квартиру домовладельца — вице-адмирала, члена адмиралтейского совета и Российской Академии Александра Семеновича Шишкова. Если затем пройти из прихожей в столовую и, остановившись у запертых дверей, заглянуть в замочную скважину (как иногда и делали, чтоб узнать, дома ли Александр Семенович) — то можно было увидеть маленький, пыльный, с немытыми окнами, заваленный книгами и бумагами кабинет — и почти всегда застать в нем самого хозяина.

Было ему лет за пятьдесят; росту он был среднего, сложения сухощавого; его седые с желтизной волосы торчали клочьями. Сухое, холодное лицо с нависшими черными бровями было поразительно бледно. Дома ходил он в шелковом полосатом шлафроке, с голою грудью, в истасканных комнатных сапогах — ичигах. При выездах надевал мундир, довольно поношенный.

В нем тотчас виден был человек, одержимый идеей. Рассеянность его была легендарна, его бескорыстие, трудолюбие и беспомощность в житейских делах — безграничны. Жена была ему нянькой и командиром. Звали ее Дарья Алексеевна, как жену Державина, а родом она была голландка, из простых, дочь корабельного мастера, выписанного Петром в Россию. Александр Семенович очень ее побаивался, хотя, кроме рассеянности, грехов за ним не водилось. Страстей же было у него три: сухое киевское варенье, катание шаров и шариков из воска, снимаемого со свеч, и славянское корнесловие. Он и предавался обычно всем трем одновременно у себя в кабинете.

Корнесловие имело прямое отношение к идее. Шишков был фанатик того, что начинали звать *русским направлением*. По всему складу Шишкова ему бы следовало ненавидеть всю послепетровскую эпоху. Но до этого он не додумывался и даже век Екатерины почитал исконно русскою, благодатною стариной. Вся сила ненависти его падала на галломанию последних десяти — много, если пятнадцати лет. Он негодовал на политический дух, заносимый из Франции, ворчал на молодых администраторов нерусского воспитания, восставал против французских мод и обычаев, особенно — против повального употребления французского языка в разговорах. Действительно, было противно уму и чувству то, что русские люди зачастую вовсе разучивались не только писать, но и говорить по-русски; иные в том видели даже лоск и тонкую образованность.

Но в полнейшее отчаяние приходил Шишков не от употребления французского языка, а от порчи русского. Он не мог примириться с тем, что молодые писатели стали вводить иностранные слова и обороты. До известной степени он и тут был прав, но на беду свою был такой же плохой филолог, как историк: развитие языка не умел отличить от засорения, рост — от порчи. Корень же всех его заблуждений лежал в печальной уверенности, будто церковнославянский язык — то же, что русский, а разница между ними лишь та, что на церковнославянском пишутся духовные книги, а на русском — светские.

Если не источником, то средоточием всех зол словесных (да уж кстати и нравственных, и общественных) вообразил он Карамзина. Приятный, скромный, но твердый молодой человек, явившийся некогда за столом Державина, теперь был уже знаменитым писателем. Московская молодежь клялась его именем. Державин сорвал печати с глаз и ушей русской Музы. Карамзин осторожно снял печать с ее сердца. Пусть его дарование было меньше — велико было дело, им совершенное. Через Карамзина русская словесность научилась исторгать слезы. Впрочем, он сам уже покинул художество и обратился к истории.

Государь ему покровительствовал, и это усиливало страдания Шишкова. Старый служивый, он твердо верил, что словесностью можно и должно управлять сверху: голоса генералов и сенаторов почитал не последними в делах литературы. Каково ж ему было видеть, что сам государь поощряет разврат и крамолу? В 1803 году он метнул во врага «Рассуждением о старом и новом слоге», потом «Прибавлением» к «Рассуждению». Главный враг молчал, но уже несколько выстрелов донеслось из Москвы, его цитадели. Шишков решил укрепиться на берегах Невы. У важных сановников он имел некоторый успех, это его ободряло. Но где взять гарнизон? Когда-то он преподавал тактику в морском кадетском корпусе, теперь мечтал учредить академию для подготовки молодых писателей, не зараженных французским духом. Из этого ничего не вышло. Оставалось просто искать сочувствующих, составлять партию. Авторитета литературного у него не было. Он сделал несколько осторожных намеков Державину — и получил отказ.

Было наивно ждать, что Державин ввяжется в борьбу партий. Считая, что «похвалы современников ненадежны и на хулу их смотреть много не для чего», он не слишком уважал критику — даже свою собственную. Если авторы добивались его мнения об их писаниях, он старался или хвалить или высказывать мнение вполоткрыто. В журнальной полемике он не видел пользы и, написав несколько эпиграмм, их все-таки не печатал. Следуя Иисусу Сираху, держался он того взгляда, что добро есть добро, а зло скорее само заглохнет, если не обращать на него внимания. Авторитетом своим не хотел он ни поощрять, ни давить никого, ибо «науки, а паче стихотворство — республика». Словом, его литературное миролюбие равнялось служебному и политическому задору. К тому же Карамзина он любил как писателя и уважал как человека. Еще в 1791 году, вскоре после знакомства, он воскликнул:

Пой, Карамзин! И в прозе
Глас слышен соловьин —

и с той поры не переставал Карамзину сочувствовать. Не мудрено, что после разговора с Шишковым он писал Дмитриеву в Москву: «Я желаю Николаю Михайловичу такого же успеха в истории, как в изданных им творениях»...

* * *

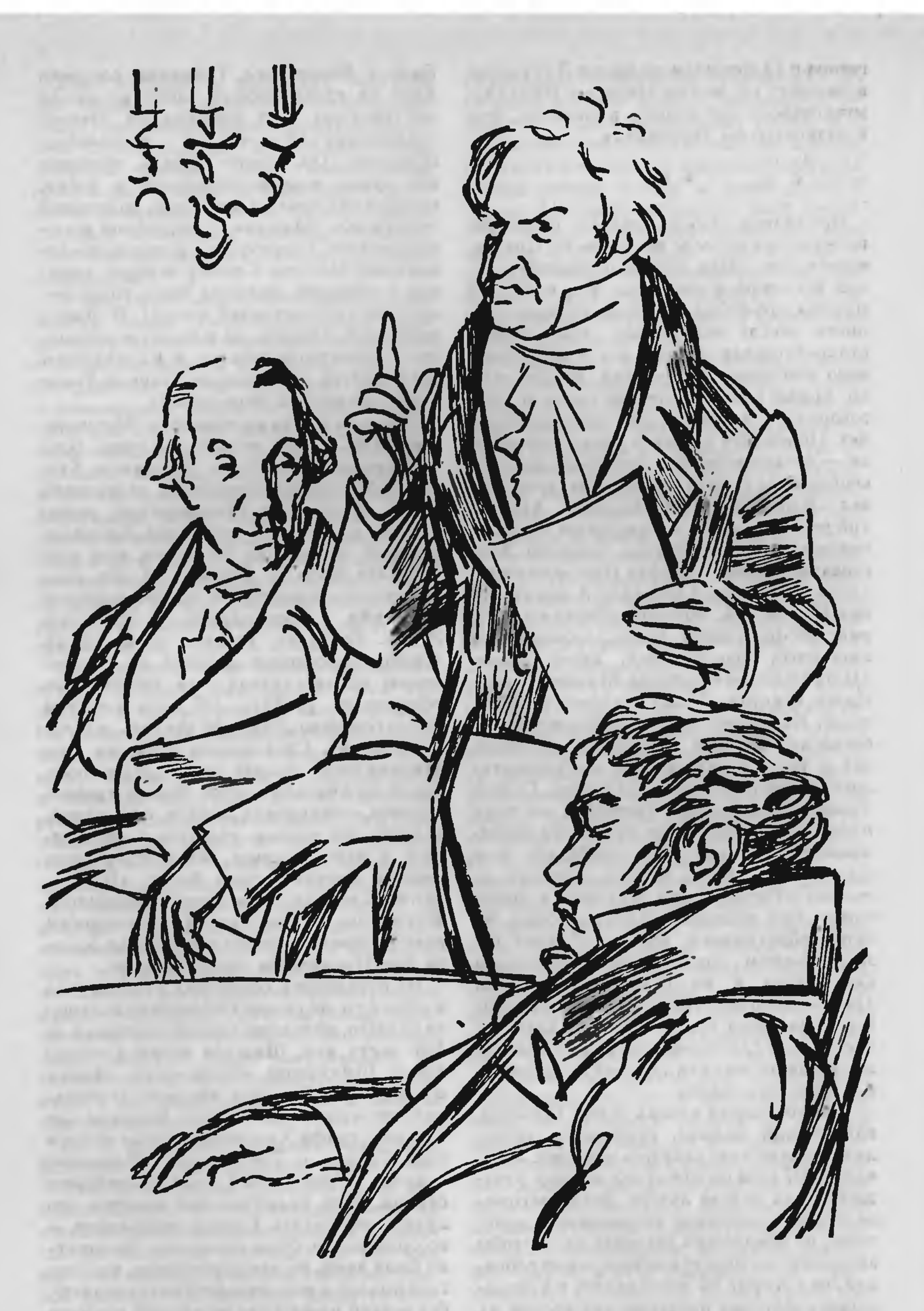
Время шло. Оно не принесло Шишкову победы, но принесло известность. Правда, известность была скорей отрицательная: над Шишковым смеялись. Его идеи, его манеры, его филологические изобретения, почти всегда несуразные, даже неаристократическая супруга его — все одинаково возбуждало насмешки. Но все-таки он привлек внимание, заставил о себе говорить,— и это был уже некоторый успех. Понемногу нашлись у него сторонники — большею частию немолодые авторы, обойденные славой: сенатор Захаров, Павел Львов, Дмитрий Иванович Хвостов (по родству своему с Суворовым ставший графом); Павел Кутузов, товарищ Хвостова по изданию «Друга Просвещения»; драматург князь Александр Александровичи Шаховской; молодой поэт князь Ширинский-Шихматов, моряк, дилетант, не лишенный способностей, автор поэмы «Петр Великий», которой Шишков восхищался неистово. Были и просто молодые люди: Казначеев, чиновник Комиссии составления законов (племянник Шишкова) и там же служивший шестнадцатилетний юноша, родом волжанин, Сергей Тимофеевич Аксаков (впрочем, он тоже писал стихи, хотя более увлекался декламацией). К ним надо прибавить еще флигель-адъютанта Кикина, который до выхода «Рассуждения о старом и новом слоге» был модным французолюбцем, но затем образумился, обратился, стал самым рьяным поклонником Александра Семеновича и на книге его написал (увы — по-французски!): «Mon Evangile». Таков был состав главных славяноРоссов, или славянофилов, как их называли, когда не честили попросту староверами и гасильниками.

Простодушный в иных делах, Шишков, как всякий маниак, становился хитер, лишь только дело касалось его идеи. К началу 1807 года он придумал маневр, удавшийся как нельзя лучше. Зная благожелательное отношение Державина к молодежи, он предложил устроить не то чтобы академию, но просто еженедельные собрания, на которые бы допускались и приглашались молодые писатели для чтения их произведений. Эта цель восхитила Державина, он поддержал Шишкова, за ним потянулись другие. Стали устраивать чтения каждую субботу, попеременно то у Шишкова, то у Державина, у Захарова, у Хвостова. Шишков влился в эти собрания со всем кружком своим — и что ж получилось? Представителей карамзинского направления не было — их вообще не было в Петербурге. Собрания состояли либо из славяноРоссов, либо из людей нейтральных. Это придало им оттенок славяноРоссийский — что и требовалось Шишкову. Он, можно сказать, поставил под ружье мирное население, и война, которая разгоралась медленно, но которой он жаждал, стала как будто войной шишковистского Петербурга против карамзинистской Москвы. Свежий человек, попадая в собрания, выносил такое впечатление, что «из москвичей один И. И. Дмитриев здесь в почете, да и то разве потому, что он сенатор и кавалер, а Карамзиным восхищается один только Гаврила Романович и стоит за него горою».

Первая суббота состоялась у Шишкова. Собралось народу человек двадцать. Кроме славянофилов, были: Державин, Хвостов (Александр Семенович, давнишний друг), переводчик Галинковский, женатый на племяннице покойной Плениры, молодой переводчик Корсаков, еще кое-кто. Это было 2 февраля. В тот день получилось известие о кровопролитном сражении с Бонапартом у Прейсиш-Эйлау. Бенигсен, недавно назначенный главнокомандующим, доносил, по обыкновению преувеличивая, что «неприятель совершенно разбит». Об этом событии много говорено. Наконец, уселись, и началось чтение. Стихотворец Жихарев продекламировал старые стихи Державина. После того читали другие. Между прочим, Крылов, сочинитель стихов и комедий, человек лет сорока, толстый и неопрятный, с неподвижным лицом и лукавым взором, прочитал свою басню «Крестьянин и Смерть». На поприще баснописца вступил он недавно. Читая с притаорным равнодушием, он зорко поглядывал, каково впечатление, им произведенное.

На следующих собраниях происходило в общем то же самое. Оживления большого не было, молодежь читала не много и не Бог весть что. Шишков огласил новую поэму Шихматова «Пожарский, Минин и Гермоген», божился, что вещь гениальная, но ему не поверили. Впрочем, на вечере у графа Хвостова впервые явился поэт Гнедич с 7-й песнию «Илиады», отлично переведенной александрийским стихом. Хотя Галинковский заметил, что лучше переводить Гомера экзаметром,— все, однако же, были в восторге. Неприятно было лишь то, что переводчик, на один глаз кривой и весь какой-то нахохленный, без всякой нужды напрягал свой голос до крику. Казалось, того и гляди, начитает себе чахотку.

Само собою, Шишков то и дело принимался громить москвичей, но никто, в том числе и он сам, не знал толком, что делается в Москве. Там нарождались новые поэты: Мерзляков, Жуковский, князь Вяземский (юный шурин Карамзина). Здесь о них едва слышали и ими не любопыт-



ствовали. Порою Шишков заводил любимые разговоры о слоге, высказывая суждения мелочные, придирчивые, безвкусные. Крылов, слушая, ухмылялся. Державин ворчал:

— Переливают из пустого в порожнее.

В высшем обществе прослышали о собраниях. Сенаторы, обер-прокуроры, губернаторы, генералы и камергеры стали их посещать. Шишков и Захаров радовались поощрительному сему вниманию, не замечая, что вечера утрачивают литературный характер. Державин, завидя «вельмож», не упускал говорить им резкости.

Все это время он хмурился. Затаенная мечта вновь «подняться» не покидала его три года, до самых недавних пор. В конце прошлого года и в начале нынешнего он подал государю две записки о мерах, необходимых, по его мнению, для обороны Империи от Наполеона. К действительным заботам о благе отечества здесь примешивалось желание о себе напомнить. Но государь мало обратил внимания на представления своего бывшего министра. Надежда рушилась, и Державин понял, что больше ему к делам не вернуться.

Бездействие, между прочим, и потому тяготило его, что Державину была ясна связь его лиры с гражданским поприщем. С самой отставки ему сдавалось, что на покой он уволен вместе с Пегасом. Лет десять тому назад, когда, после ссоры с Павлом, он временно удалился от дел, ему удалось перестроить лиру на анакреонтический лад. Но Анакреонтические песни, хоть он и продолжал их, в сущности, были уже написаны, даже изданы, принесли свою долю славы — что делать дальше? к чему обратиться? Трагедии? В глубине души он сознавал, что они ему не даются. Несколько раз он пробовал обращаться к поэзии сельской, но находил трудным под старость *занять себя сими упражнениями*. Все же 4 мая, на последнем в ту весну литературном собрании, он сказал Жихареву:

— Лира мне больше не по силам, хочу приняться за цевницу.

Обещал на досуге описать сельскую свою жизнь.

Через несколько дней Жихарев записал в дневнике: «Г. Р. уезжает завтра и что-то очень не весел...»

* * *

Берега Волхова плоски, низменны. Лишь в одном месте, верстах в пятидесяти пяти от Новгорода, левый берег внезапно приподымается. Высоко на холме, глядясь в реку, стоит двухэтажный господский дом. Крыша над мезонином подъемлется круглым куполом — от этого дом похож на обсерваторию. Передний его фасад украшен балконом о четырех столпах. Фонтан бьет на площадке пред каменной лестницею балкона. Отсюда идет к реке плавный спуск, посыпанный желтым песком. По обеим его сторонам вьются розы.

Вкруг дома по склону холма раскинут сад с богатыми цветниками. За садом — службы, сараи, птичники, скотни. За службами начинаются крестьянские избы, а дальше — поля и леса обширного поместья.

Это и есть Званка. На самой заре, когда заиграет пастух, замычат вдалеке коровы и заржут кони, Державин выходит в сад. Неспешно гуляет он по дорожкам. Порой остановится и в задумчивости чертит палкою на песке рисунки воображаемых зданий.

Восстав от сна, взвожу на небо скромный взор:
Мой утренюет дух Правителю вселенной;
Благодарю, что вновь чудес, красот позор
Открыл мне в жизни толь блаженной.

Пройдя минувшую и не нашедши в ней,
Чтоб черная змея мне сердце угрызала,
О! коль доволен я, оставил что людей
И честолюбия избег от жала.

Дыша невинностью, пью воздух, влагу рос,
Зрю на багрянец зарь, на солнце восходяще,
Ищу красивых мест между лилей и роз,
Средь сада храм жезлом чертяще.

В идиллических этих стихах Державин представил себя таким, каким он хотел бы быть, но каким быть ему не вполне удавалось. Что змея совести не угрызала его — это сущая правда. Правда и то, что он рад был оставить людей,— но как раз потому, что жало честолюбия не вполне было им избегнуто. Боль обиды таилась на дне души; он старательно прятал ее от себя самого.

До отставки он любил Званку за то, что она была красивее и богаче его собственных деревень; за то, что она лежала всего в ста семидесяти верстах от Петербурга, у большой московской дороги: было легко, нехлопотно убегать сюда из столицы. Но после отставки она стала ему дорога в особенности: вынужденное бездействие само собой превращалось здесь в добровольное, отставка — в отдых. Душевная боль от этого утихала.

Хозяйство на Званке было обширное и передовое. Первоначально имение было не велико, но за десять лет хозяйничанья Дарья Алексеевна исподволь скупила прилегающие земли, так что ее владения протянулись по Волхову на девять верст и даже перешагнули на другой берег. Число душ доходило до четырехсот. На Званке возделывались поля, растились леса. Помимо водяной лесопилки, имелась диковина — паровая мельница. Паром же поднималась вода из Волхова и приводились в движение две небольшие фабрики: ткацкая и суконная. Шерсть для суконной поставлялась имениями Державина, где разводились овцы. На ткацкой выделывались холсты, полотна, салфетки, скатерти, кружева, ковры. При ней имелась своя красильня. Из Англии была выписана прядильная машина, «на которой один человек более нежели на ста веретенах может прясть». Для подготовки работников посылали крестьянских мальчиков и баб в учение на мануфактурные фабрики.

Вместе с разными огородами, пчельниками, скотнями, птичниками все это требовало забот и трудов. Но Званка принадлежала Дарье Алексеевне. Когда по утрам, после чаепития, в сопровождении старосты, являлся к ней толстый управляющий Иван Архипович Обалихин, Державин присутствовал в сих совещаниях

лишь для виду. Он почти ни во что не вмешивался и, радуясь, что находится здесь не у дел хозяйственных, легче сносил пребывание не у дел государственных. Живя почти гостем на Званке, он привыкал к положению частного человека и как бы гостя в самой России. Он звал себя *отставным служивым* — яд обиды старался растворить в шутке.

Горький осадок все же отстаивался на дне души. Научившись читать по-французски (говорить он не выучился), Державин часто теперь повторял стих Вольтера: «Il est grand, il est beau de faire des ingrats». Эти слова ему полюбились — втайне он применял их к себе, разумея под *неблагодарными* прежде всего трех царей, которым служил на своем веку. Быть может, он кое в чем упрекал и само отечество.

В войне с Наполеоном, конечно, желал он России победы, но чрезвычайно тревожился ходом событий и политике правительства не сочувствовал: сожалел, что Александр Павлович «заведен был окружающими его в весьма неприятные военные дела». В званской кузнице изготовлялось холодное оружие для милиции; крестьяне державинские вступали в отряды. Державин считал однако, что народу и войску приходится расхлебывать кашу, заваренную правителями бездарными иль нечестными. Свое раздражение он порою готов был переносить на правителей и вельмож всех времен и народов. В его кабинете стоял массивный красный диван, против которого на стене висела историческая карта: «Река времен, или эмблематическое изображение всемирной истории». Часто, сидя пред ней, Державин неодобрительно качал головой: мир прекрасен, но история отвратительна. Отвратительны дела тех, в чьих руках была и есть судьба человечества.

Другое дело — люди обыкновенные, маленькие. Средней руки помещик, купец, мелкий чиновник, солдат, крестьянин — равно представлялись Державину жертвами исторических великанов, пушечным мясом истории. Для этих людей все более обретал он в себе участия, снисхождения, благости. Ворча на сильных, все более любил слабых. Благотворил без улыбки, пожалуй — без ласки, даже без добрых (и лишних) слов — зато деятельно. Дарья Алексеана почла за благо все деньги прибрать к рукам, а Державину лишь выдавать на карманные расходы, ибо он все щедрее одарял нищих, дворовых, слуг, все легче давал взаймы — без отдачи. Она же стала управлять и личными его землями, потому что он *утешал* оплошных приказчиков, когда полагалось с них взыскивать. Он завел на Званке больницу для крестьян, и врач каждодневно являлся к нему с отчетом. Бедным мужикам покупал он коров, лошадей, давал хлеба, ставил новые избы.

Полевые работы занимали его только со стороны живописной. При нем не боялись лениться. (Зато стоило вдали показаться Дарье Алексеевне, как самые ленивые принимались за дело.) По праздникам из своих рук потчевал он мужичков водкою, бабам и девушкам раздавал платки, ленты, сласти. Любил их песни и хороводы. Каждое утро человек тридцать ребятишек сбегались к нему. Он учил их молитвам, потом оделял баранками, кренделями. Потом бывший министр юстиции разбирал ребячьи тяжбы и при себе заставлял мириться. Случалось — идиллия принимала иной оттенок: в жаркий день, прячась между деревьями, «от солнца, от людей под скромным осененьем», Российский Анакреон любовался «плесканьем дев» в кристальных водах реки.

Три Кондратия было на Званке: камердинер, садовник и музыкант. Однажды Державин написал комедийку для детей: «Кутерьма от Кондратьев». В ней шутливо представлена званская жизнь и о самом Державине говорится: «Старик любит все попышнее, пожирнее и пошумнее».

Дарья Алексеевна была оборотиста, но не скупа. Она очень любила своих родных, людей большею частию небогатых. Дом постоянно был ими полон. Сестры Бакунины по-прежнему жили у Державиных, хотя Параша была уже замужем. Марья Алексеевна Львова, овдовев, каждое лето гостила с детьми на Званке. В 1807 году она умерла, и три ее девочки — Лиза, Вера и Параша — тоже остались на руках у тетки. Старшей было девятнадцать лет, младшей четырнадцать. Наставницею при них жила г-жа Леблер-Лебеф, француженка-эмигрантка.

Вместе с Державиным это женское общество было, так сказать, основным населением барского дома. Впрочем, надо прибавить еще двоих: доктора и письмоводителя Евстафия Михайловича Абрамова, давно ставшего членом семьи. Круг занятий его был обширен. Он ведал архивы и рукописи Державина, перебелял письма, а иногда и стихи. В случае надобности исправлял он должность домашнего архитектора, живописца и пиротехника. Тесная, хоть не бескорыстная дружба связывала его с Анисьей Сидоровной, барской барыней. Шестидесятилетняя сия дева была в свое время получена Дарьею Алексеевною в приданое. День Евстафия Михайловича начинался с того, что Анисья Сидоровна угощала его кофеем и подносила первую рюмочку, за которою с перерывами следовали другие. Когда, ровно в полдень, за круглым столом в просторной званской столовой собирались к завтраку, от Евстафия Михайловича уже крепко пахло вином. Дарья Алексеевна просила мужа не пускать его за стол при гостях, но Державин не соглашался:

— Ничего, душенька: делай, как будто ничего не замечаешь.

Он сам вина почти не пил, зато поесть любил плотно. К столу подавался «припас домашний, свежий, здравый» — но тяжелый и жирный. Аппетит Гавриила Романовича доходил даже до неумеренности. Желудком он начинал прихварывать. Уха, куры с шампиньонами и арбузы были его любимые кушанья. Из-за ухи возникали у него ссоры с домашними. Случалось, что он, встав шумно из-за стола, уходил к себе. Впрочем, разгневать его на Званке было нелегко. Будучи недоволен, он разворчится, с укоризною буркнет: «Спасибо, милостивые государыни, поддоброхотали» — и, уйдя в кабинет, погрузится в пасьянсы. Придут к нему, станут уговаривать не сердиться,— а он уж и позабыл, в чем дело: поднимает лысую голову (только с висков разлетаются длинные, редкие седины) и спрашивает: «За что?»

Кроме родных, которые жили при ней постоянно, бесчисленные племянники и племянницы, кузены и кузины Дарьи Алексеевны то приезжали, то уезжали. Гости на Званке не переводились. Съезжались и просто знакомые петербургские, и соседи-помещики — иной раз целыми семьями. Когда не хватало мест в доме, часть гостей размещалась в бане. Только с одним соседом были Державины не в ладу — с графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым. Заречная часть Званки граничила с аракчеевским Грузиным. Отсюда возникла пустячная, но многолетняя тяжба, которую легко было кончить миром. По правде сказать, Аракчеев первый делал к тому шаги. Но Державину нравилось препираться с вельможами. Ведение тяжбы он взял на себя и длил ее из года в год с упрямством и удовольствием.

Каждый год 3 июля справлялся день его рождения, а 13-го, еще пышней, именины. Державин сиял радушием, выказывая себя благосклонным и хлебосольным сановником, слегка, может быть, сибаритом и расточителем.

Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут;
Идет за трапезу гостей хозяйка с хором.
Я озреваю стол — и вижу разных блюд
    Цветник, поставленный узором:

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль янтарь-икра, и с голубым пером
    Там щука пестрая — прекрасны!

Обычно к столу подает служанка Федосья. Но на сей раз сам Кондратий Тимофеевич, камердинер, стоя за креслом хозяина, всем распоряжается. (Кондратий Тимофеевич — любимец и даже наперсник Державина; после смерти барина ему обещана вольная и пятьсот рублей денег.) Обедают долго. От мира, по слухам только что заключенного государем в Тильзите, нечувствительно переходит беседа ко всякой всячине. Разговор, важный вначале, делается живей.

Когда же мы донских и крымских кубки вин,
И липца, воронка и чернопенна пива
Запустим несколько в румяный лоб хмелин,—
    Беседа за сластьми шумлива.

Наконец подается мороженое в виде многобашенного замка иль древнего храма. Его жаль рушить — так затейливы его линии, с такой красотою подобраны в нем цвета: воображение самого Гавриила Романовича тут действовало. Все в восхищении. Французских вин по случаю войны нет. Кондратий наполняет бокалы березовым или яблочным соком, приготовленным в виде шампанского:

Но молча вдруг встаем: бьет, искрами горя,
    Древ русских сладкий сок до подвенечных бревен:
За здравье с громом пьем любезного царя,
    Цариц, царевичей, царевен.

Шесть чугунных небольших пушек гремят с балкона салют, и чудное званское эхо, известное всей округе, много раз его повторяет, перекатываясь за Волхов.

На Званке приятно было гостить подолгу. Каждый день сулил новые удовольствия. Устраивались прогулки — пешком, на дрожках и в лодках. Надев белый пикейный сюртук, Державин водил гостей осматривать фабрики, полевые работы, птичники, где водились лебеди и павлины. Утомясь, пили чай под сенью скирдов или на берегу реки. Бывали охоты и рыбные ловли. Под вечер, в гостиной, при звуках арфы и *тихогрома*, детьми разыгрывались комедийки, пасторали с пением и танцами. Вились хороводы амурчиков и харит. После ужина вдруг в саду зажигалась иллюминация, сочиненная Евстафием Михайловичем. Огненные гирлянды повисали между деревьями. Сияли солнца и звезды из разноцветных шкаликов. Транспаранты светились изображениями Фелицы, иль Аполлона, иль монограммой Милены. Крепостной оркестр (мальчиков для него посылали учиться к харьковскому помещику Хлопову, знаменитому меломану) под управлением музыканта Кондратия гремел марш Безбородки. Кончалось все фейерверком, который с дымом и треском сжигался внизу, над черной водою Волхова. Всех счастливей при этом бывал сам Державин.

Когда разъезжались гости, он писал много. Часов, особо назначенных для ра-

боты, у него не было. Непоседливый и нетерпеливый, он всегда трудился зараз над несколькими предметами и в течение дня то удалялся в свой кабинет, то выходил оттуда на всякий шум и по всякому поводу. Так, отрывками, написал он и «Жизнь Званскую» — последнее из своих лучших творений. Она стройна, как ода на смерть Мещерского, задушевна, как «Бог», и как «Водопад» громка. В расточительных образах и скупых словах званская жизнь здесь запечатлена с ее тишиной и шумом, вся, полностью, от счастливых пустяков, вроде вечерней игры «в ерошки, в фараон по грошу в долг и без отдачи», до горьких раздумий полуопального государственного мужа. Слагалась «Жизнь Званская» то по утрам в саду, то на птичнике за кормлением голубей, то за пасьянсом, то в часы вечернего уединения, когда, сев на перилах балкона, Державин следил, как тихо идут по реке парусные суда и опускается на тот берег багряное солнце; когда горели заревом стекла дома и бесчисленные комары толкли мак в сыроватом воздухе; когда Анисья Сидоровна удила на плоту рыбу, а Дарья Алексеевна кричала ей сверху: «Девчонка! Девчонка!» — и старуха ей откликалась: «Сейчас, сударыня!»; когда из дому доносилось девичье пение под звуки арфы; когда с грустью думалось, что неизъяснимо прекрасно все это, но все пройдет,

Разрушится сей дом, засохнет бор и сад,
Не вспомнится нигде и имя Званки;

когда старое сердце преисполнялось восторга, благоволения, мира, но в потаенной его глубине кипела обида и жгло, как пламя, сознание бессилия пред клеветой и завистью; когда этот пламень усмирялся лишь двумя мыслями: о Боге и о суде истории.

* * *

Державин давно мечтал о собрании своих сочинений, но дело по разным причинам не ладилось. Теперь, на покое, он решил за него приняться как следует. Хотелось собрать воедино то, что было разбросано по журналам, брошюрам, хранилось в рукописях. Все чаще ему приходила мысль подводить итоги.

Для начала предполагалось издать четыре тома, которые содержали бы основную часть лирики и несколько драматических сочинений. Державин занялся исправлением и отделкой стихов.

Вообще писал он не медленно и не мало, но большею частью первоначально только набрасывал пьесу, а потом вновь (и не раз) возвращался к ней — продолжал, заканчивал, переделывал. Нередко работа над стихотворением длилась несколько лет. Таким образом целый ряд пьес одновременно бывал у него в работе.

На сей раз, когда дело шло о целых четырех томах, поправки, за редкими исключениями, свелись к просодическим и грамматическим частностям. Державину смолоду указывали на его погрешности. Когда-то Дмитриев, Капнист, Львов исправляли его стихи. Теперь Дмитриев был в Москве, Львов в могиле, а с Капнистами у Державина года четыре тому назад вышла ссора. С тех пор они не видались и не писали друг другу. (Причина ссоры осталась семейною тайной; кажется, тут замешаны были сразу дела сердечные и денежные.)

В годы поэтической молодости Державин принимал поправки и переделки довольно охотно, потому что верил в просодию и грамматику и признавал свою неосведомленность. Это в особенности касалось стихосложения. Тут он по большей части безропотно подчинялся учителям, они же действовали решительно. Державин написал «Ласточку»:

О домовитая ласточка!
О милосизая птичка!
Грудь краснобела, касаточка,
Летняя гостья, певичка!
Ты часто по кровлям щебечешь;
Над гнездышком сидя, поешь;
Крылышками движешь, трепещешь,
Колокольчиком в горлышке бьешь...

Капнист пришел в ужас от совершенных здесь беззаконий и пренаивно переложил всю пьесу *правильным* четырехстопным ямбом, *исправив* рифмы. К счастью, Державин внезапно уперся и этим спас одно из лучших своих созданий. Вообще же старался он усвоить правила, выработанные не для одной русской поэзии, освященные временем и авторитетами. Всю жизнь относился он почтительно к просодическому канону и не смел на него посягать. Только органические особенности русского языка дали ему простор и возможность осуществить некоторые ритмические и фонетические вольности. Таковы обильные пиррихии и спондеи среди хореев и ямбов, введение рифмоидов, квазикакофоническая инструментовка: все, с чем при жизни Державина и после него боролись более или менее успешно и к чему в конце концов все-таки обратились: иногда лет через сто и больше.

Не так было с языком. Тут подчинялся он лишь сперва, по ученической робости; потом — только в тех случаях, когда доводы ему нравились. Постепенно он становился все менее уступчив; пожалуй, делался осмотрительней, но зато и упрямей. Понял, что учителя сами бродят в потемках. Не видел, чему и у кого можно учиться по-настоящему — и в значительной мере был прав, потому что застал русский язык в один из самых бурных и сложных периодов его вечного становления. Грамматика, всегда заметно отстающая от жизни самого языка, не успела еще понять и закрепить его навыки, отчасти неисследованные, отчасти меняющиеся. Тогдашней филологии русской это было и не по силам. У Державина не было оснований верить в существование прочной и обоснованной грамматики.

Не видя установленного закона, чувствовал он себя вправе поступать вольно, подчиняясь лишь внутреннему чутью и обычаю, но более — свободной филологической морали. Своих законов он никому не навязывал, признавая за всеми право на ту же вольность, какою сам пользовался. Потому-то он защищал и Карамзина.

По отношению к современной ему грамматике он стал анархистом. Но нельзя поручиться, что он не стал бы таким же по отношению ко всякой другой. Слишком еще была глубока его связь с той первобытной, почвенною, народною толщей, где происходит само зарождение и образование языка, и куда грамматист принужден спускаться для своих исследований, как геолог спускается в глубину вулкана.

Для грамматиста благо есть то, что правильно, то есть учтено и зарегистрировано. Для Державина правильно все, что выгодно и удобно, что способствует его единственной цели — выразить мысль и чувство. Его эстетика полностью подчинена выразительности. В русский язык, не смущаясь, заносит он германизмы, как первобытный пастух тащит к себе овец из чужого стада. (Здесь опять же причина его сочувствия Карамзину, хотя психология Карамзина, разумеется, не совпадала с его психологией.)

Он любил все «попышнее, поживее и пошумнее». Таков и язык его — пышный, жирный и шумный. Он хотел выразить себя полностью — и того достиг даже в языке. Однажды, когда Дмитриев и Капнист слишком пристали к нему со своими поправками, он вышел из себя и воскликнул:

— Что ж, вы хотите, чтобы я стал переживать свою жизнь по-вашему?

В слове видел он материал, принадлежащий ему всецело. Нетерпеливый, упрямый и порой грубый, он и со словом обращался так же: *гнул его на колено*, по выражению Аксакова. Не мудрено, что плоть русского языка в языке державинском нередко надломлена или вывихнута. Но дух дышит мощно и глубоко. Это язык первобытный, творческий. В нем — абсолютная творческая свобода, удел дикарей и гениев.

* * *

В августе месяце рукопись всех четырех томов была сдана в типографию Шнора, что на Невском проспекте, в доме лютеранской Петропавловской церкви, а в феврале 1808 года «Сочинения Державина» появились в продаже. Зима, таким образом, ушла на возню с корректурами, переговоры с книгопродавцем и прочие хлопоты, сопряженные с выходом книг. Державин немало суетился и волновался, но далеко не одно это дело занимало его в ту зиму. Переживал он тревогу вовсе иного рода. В его доме все чаще стали встречать Наталию Алексеевну Колтовскую, ту самую, которой Российская Империя отчасти была обязана преобразованием Сената и учреждением министерств.

Державин был очень привязан к Даше, она к нему. Но победить ее врожденное бесстрастие ему так и не удалось. Однажды к ее портрету написал он четверостишие, в котором слышно разочарование, если не досада:

Минервы и Церес, Дианы и Юноны
Ей нравились законы;
Но в дружестве с одной Цитерой не жила,
Хоть недурна была.

Что измены Державина ее все-таки мучили — в этом нет ничего удивительного. Понятно и то, что самому Державину семейные нелады становились с годами в тягость.

Довольство, здравие, согласие с женой,
Покой мне нужен — дней в останке.

Однако же, как ни старался он не колебать семейного мира,— сердечная рана, давно уже нанесенная, теперь-то вдруг и заныла сильнее.

Колтовской было лет тридцать. Красавица, модница и богачка, разойдясь с мужем, она не упускала пользоваться свободой. Будь Державин моложе, роман мог бы разыграться беззаботно и весело. Но Державину было шестьдесят четыре года, он старел и несколько робел перед нею (раньше с ним этого не случалось). Голубоглазая красавица вызывала в нем чувства мечтательные и нежные, почти молитвенные, которых она не стоила и которыми ей, быть может, забавно было играть. От этого она казалась ему еще более идеальной.

Летом она приезжала гостить на Званку. Державин не смел перед нею явиться Анакреоном. Он смотрел на нее снизу вверх и прелагал для нее сонеты Петрарки, те, в которых было наиболее меланхолии. В конце концов, во время уединенных прогулок, его воздыхания были вознаграждены: Колтовская не собиралась походить на Диану. Но чем сладостней и внезапнее было счастие, тем более мук оно в себе заключало. Державин каждый миг чувствовал всю его случайность и непрочность. Колтовская, наконец, уехала. Державин затосковал, кинулся следом за ней в Петербург, но здесь она не в пример была холоднее. Что было летом, то ни к чему не обязывало ее зимой. Державин мучился и с прощальною не-

жностью вспоминал блаженные те места, где

Воздух свежестью своею
Ей спешил благоухать;
Травки, смятыя под нею,
Не хотели возставать;
Где я очи голубыя
Небесам подобно зрел,
С коих стрелы огневыя
В грудь бросал мне злобный Лель.
О места, места священны!
Хоть лишен я вас судьбой;
Но прелестны вы, волшебны
И столь милы мне собой,
Что поднесь о вас вздыхаю
И забыть никак не мог;
С жалобой напоминаю:
Мой последний слышьте вздох.

* * *

Преосвященный Евгений (в миру — Евгений Болховитинов) учился некогда в Московском университете и в ранней юности близок был к Новикову. Потеряв жену и детей, в 1800 году он постригся в монахи, состоял префектом Петербургской духовной академии, затем был назначен епископом старорусским и новгородским викарием. Поселившись в Хутынском монастыре, на Волхове, верстах в сорока от Званки, он не оставлял любимых трудов по истории литературы и, в частности, составлял словарь русских писателей. Летом 1805 года дошел он до буквы «Д» и обратился к Державину за сведениями касательно его биографии. В августе он посетил Званку, где «препроводил с отменным удовольствием время, целые сутки. Начитался, наговорился и получил еще надежду впредь пользоваться знакомством нашего Горация; слышал собственными ушами тысячи эх, около его живущих, и теперь только понял, что такое в его сочинениях значит *грохочет эхо*». Они подружились, несмотря на разницу лет (Евгению было всего тридцать восемь, Державину за шестьдесят). Державин не раз принимал Евгения у себя, не раз ездил к нему в Хутынь. Ему же он посвятил «Жизнь Званскую», для него же составил краткую свою биографию и тетрадь примечаний к стихам. С тех пор мысль изложить и то, и другое более обстоятельно уже не покидала его. Однако ж он медлил: с примечаниями — потому, что и самые стихи были еще не собраны и не изданы, а с биографией — потому, может быть, что в ту пору еще не считал ее завершенной: втайне мечтал вернуться к делам государственным. Потом он этой мечты лишился, потом были изданы первые четыре тома стихов — пора было приступать к работе.

На Званке, несколько в стороне от дома, над самой рекой, высился крутой холмик; в народе звали его курганом; по преданию, под ним тлели кости древнего колдуна, оборотня, злого гения этих мест; еще называли того колдуна волхвом, от чего, будто бы, и сама река получила свое прозвание.

На холме стояла беседка. В летние месяцы 1809-го и 1810 годов Державин стал ходить сюда каждый день со старшей племянницей Лизой Львовой. Он диктовал ей свои Объяснения в том порядке, как шли стихи в книгах. Лиза писала на больших листах синей грубоватой бумаги, которую после сшивала тетрадями. О каждой пьесе Державин рассказывал, с какими событиями и людьми она связана, из чего или ради чего возникла, какие имела следствия. Часто он этим не ограничивался и начинал объяснять отдельные строфы, стихи, даже слова. Таких примечаний порой набиралось до пятидесяти и больше к одному стихотворению. Некоторые были совсем короткие (строка, две), другие растягивались на много страниц. Они пестрели историческими и просто житейскими анекдотами, в них раскрывались имена и намеки, воскресали подробности, мелочи, которые тем любовнее сохранялись памятью, что им не нашлось места в самой поэзии.

Эти мелкие примечания Державин писал с особенным удовольствием еще потому, что восстановлял в них не только поводы к творчеству, но отчасти и самый ход творчества — лишь в обратном порядке. Ему нравилось разоблачать бесчисленные аллегории, метафоры и другие приемы своей поэзии, в которых было заключено ее «двойное знаменование». Нередко он делал это с очаровательным простодушием, быть может — несколько и лукавым. Например, дойдя до стихов:

На сребророзовых конях,
На златозарном фаэтоне —

он пояснял: «У князя Потемкина был славный цуг сребророзовых или рыжесоловых лошадей, на которых он в раззолоченном фаэтоне езжал в армии».

К величественным словам:

Не заключит меня гробница,
Средь звезд не превращусь я в прах —

он спешил приписать: «Средь звезд, или орденов совсем не сгнию так, как другие».

Вероятно, ему и впрямь хотелось блеснуть реальною обоснованностью своих гипербол и аллегорий. Но главное наслаждение заключалось не в том. Предметы реального мира некогда возносились его парящей поэзией на страшные высоты, где уж переставали быть только тем, чем были в действительности. Теперь Державину было любо возвращать их на землю, облекать прежней плотью. Для поэта былая действительность спит в его поэзии чудным сном — как бы в ледяном гробе. Державин будил ее грубовато и весело. Превращая поэзию в действительность (как некогда превращал действительность в поэзию), он совершал прежний творческий путь, лишь в обратном порядке, и как бы сызнова переживал счастье творчества. Если взглянуть со стороны — это грустный путь, и радости его горьковаты. Но он всегда греет сердце поэта, уже хладеющее.

Так, разрозненными отрывками, оживлялось перед Державиным его поэтическое и житейское прошлое. Когда работа уже подходила к концу, настала очередь стихотворению «Признание». Оно было написано два года тому назад. Державин его перечел, подумал и велел Лизе отметить его, как «объяснение на все свои сочинения»:

Не умел я притворяться,
На святого походить,
Важным саном надуваться
И философа брать вид;
Я любил чистосердечье,
Думал нравиться лишь им;
Ум и сердце человечье
Были гением моим.
Если я блистал восторгом,
С струн моих огонь летел,—
Не собой блистал я, Богом:
Вне себя я Бога пел.
Если звуки посвящались
Лиры моея царям,—
Добродетельми казались
Мне они равны богам.
Если за победы громки
Я венцы сплетал вождям,—
Думал перелить в потомки
Души их и их детям.
Если ж где вельможам властным
Смел я правду брякнуть вслух,—
Мнил быть сердцем беспристрастным
Им, царю, отчизне друг.
Если ж я и суетою
Сам был света обольщен,—
Признаюся, красотою
Быв плененным, пел и жен.
Словом: жег любви коль пламень,
Падал я, вставал в мой век,—
Брось, мудрец, на гроб мой камень,
Если ты не человек.

* * *

Просторный квадратный двор державинского владения на Фонтанке был обнесен колоннадой. За колоннами справа и слева двухэтажные флигеля шли в глубину двора, где примыкали они к двухэтажному дому с аллегорическими фигурами на фронтоне. Со двора и с улицы казался дом невелик, да таков он и был, когда купили его, лет двадцать тому назад, при жизни Екатерины Яковлевны. В ту пору высился он довольно одиноко на обширном участке принадлежащей к нему земли. Однако ж на этой земле Даша сумела хозяйничать не хуже, чем хозяйничала в деревне. Ее заботами и трудами воздвиглись сначала упомянутые два флигеля, а после и самый дом разросся в несколько раз. Два узких, длинных его крыла раскинулись вправо и влево, образуя за флигелями два боковых двора, где опять-таки появились строения, занятые людскими и службами. Затратить сразу большую сумму никак было невозможно. Поэтому делалось все без плана, в разное время, по мере возможности и смотря по надобности. Только в 1809 году постройки были закончены и оказались немного разбросаны. Зато представляли собой целую усадьбу. Тут были конюшни, коровник, птичник, каретные и другие сараи, навесы для дров, сеновалы, ледники, кухни, прачечные и даже, наконец, небольшая бойня.

Не считая кухонь, сеней, передних, лестниц, коридоров и тому подобного, в доме и флигелях имелось до шестидесяти жилых комнат, так что часть флигелей (небольшую впрочем) Даша сдавала внаймы. В большей же части жили ее многочисленные родственники.

В левом крыле барского дома, внизу, помещалась очень большая столовая; рядом с нею — буфет и три запасные комнаты для гостей. Правое крыло было занято двусветною залою, миновав которую попадали в домашний театр с несколькими рядами кресел и ложами по бокам. Еще несколько комнат было расположено позади сцены. В средней же части дома, той, что существовала уже при Пленире, находились только швейцарская, официантская, диванная, аванзала, прежде служившая залой, ныне же примыкавшая к новой, двусветной зале, а также круглая гостиная. Здесь висел огромный портрет Державина, жестко, но выразительно писанный итальянцем Тончи, художником, музыкантом, поэтом, безбожником и красавцем, одним из тех фантастических иностранцев, которых немало в XVIII веке заносили в Россию судьба и любовь к приключениям. Поэт был изображен во весь рост, в медвежьей шубе и меховой шапке, среди снегов, освещенных северною зарей; сзади, со снежных скал, низвергается водопад. Внизу латинская подпись, сочиненная самим живописцем:

Justicia in scopulo,
rutilo mens delphica in ortu
Fingitur, in alba corque fidesque nive.

Три стеклянные двери вели из гостиной на широкую полукруглую лестницу, по которой спускались в сад, раскинутый позади всего дома. Он украшен был лишь недавно — на деньги, вырученные от продажи «Анакреонтических песен».

В верхнем этаже сохранился от прежних времен серпяный *диванчик*, где некогда тень Плениры явилась Державину, где и поныне стоял ее бюст, рядом с бюстом Державина. Справа к диванчику примыкала гостиная, слева столовая, тоже в том виде, как при Екатерине Яковлевне. Далее шли: буфетная, кафешенк-

ская, девичья. Еще в средней части верхнего этажа помещались: биллиардная (как раз над нижнею аванзалой), спальня, маленький Дашин кабинет и кабинет Державина — с венецианским окном, приходившимся в середине фасада, прямо против ворот. Посреди кабинета стоял большой письменный стол, в стороне — конторка, за которою Державин большею частию и работал. У стены высился диван, гораздо выше и шире обыкновенных, со ступеньками от полу, с полкою наверху и с двумя шкапиками по бокам. В шкапиках были ящики для хранения рукописей. На диване валялась аспидная доска с привязанным грифелем. Порою Державин ей пользовался, набрасывая стихи.

Верхний этаж правого крыла был занят вторыми светами залы и театра. За ними шли комнаты для прислуги. Камердинер Кондратий жил здесь. Из кабинетика Даши полукруглый коридор вел в верхний этаж бокового флигеля, в комнаты доктора, управляющего, секретаря Аврамова и в квартиры родственников. Население этих квартир все время менялось. В разные годы тут жили Бакунины, Ниловы, Львовы, Дьяковы, Ярцовы. Отсюда выходили замуж, женились, разлетались по свету и вновь сюда возвращались. Здесь всегда было шумно и весело. Шум и веселье заносились и в большой дом.

Содержание такого громоздкого хозяйства обходилось не дешево. Державины тратили в год тысяч до семидесяти, которые Даша умела выколотить из имений. Но Державину был по душе усадебный уклад жизни, который и в Петербурге напоминал ему Званку. Зиму и лето он вставал часов в пять или в шесть утра. По утрам пил чай (кофею не любил), часа в два обедал, а в десять ужинал. Его здоровие портилось. На людях он держался бодро, даже несколько суетливо, увлекался в беседах до чрезвычайности, но возбуждение проходило — и Даше с доктором наступал черед действовать. Он нередко прихварывал — животом в особенности. По-прежнему любил поесть, но после плотных обедов случались припадки, во время которых он жаловался на одышку, раскаивался, давал зарок быть вперед воздержней.

Выезжал он не слишком много, являясь на публике в парике с мешком, в коричневом фраке при коротких панталонах и гусарских сапожках, над которыми были видны чулки. При случае он играл в карты, но уж без прежнего увлечения и без прежней удачи; тысячи полторы в год полагалось от Даши на проигрыш. Но вечера, провожаемые дома, в *диванчике*, нравились ему все более. Даша играла на арфе, племянницы пели. Белый пудель Милорд, потомок Фелицына пуделя, погребенного в царскосельском парке под пирамидою, иногда не выдерживал — подвывал, задрав голову. Тише пуделя вел себя кот, которому, слушая музыку, Державин тихонько чесал усы. Тем временем кто-нибудь из девочек почесывал за ухом свмому *мурге*, и *мурза*, наконец, дремал.

Раз в неделю сзывались гости к обеду, который по этому случаю начинался часа в четыре, затягивался до вечера и кончался концертом. Вообще музыка в доме не переводилась. Державин больше всего любил Баха. Заслушавшись, иногда он вскакивал и ходил по комнате; потом шаги его ускорялись, он размахивал руками и исчезал в кабинет. Тогда ждали новых стихов. После концерта молодежь затевала танцы до самой полуночи, а то и позже. Державин не долго на них любовался: если не было слишком важных гостей, Дарья Алексеевна часов в одиннадцать уводила его наверх, укладывала в постель, а сама возвращалась к танцующим.

* * *

Война Петербурга с Москвой разгоралась медленно. Москва как будто не принимала славяноросов всерьез. Карамзин по-прежнему не снисходил до боя с Шишковым, предоставляя мелким своим партизанам постреливать эпиграммами. Главным застрельщиком оказался некто Василий Львович Пушкин, пухленький человечек на жидких ножках, балагур, пустоватый автор, вовсе не молодой, но донельзя преданный всему молодому. Над ним трунили в собственном лагере. Пожалуй, всего обиднее для шишковистов было то, что против них выпустили именно Пушкина.

Субботние собрания литераторов продолжались уже четвертую зиму — все такие же скучноватые. Осенью 1810 года явилась мысль сделать их публичными (все равно не одни литераторы в них бывали). Шишкову это понравилось. Он надеялся, что публичные собрания помогут распространиться его идее. В сущности, его цели всегда были общественные, а не литературные. При посредстве литературы он только хотел укрепить в публике чувства патриотические. Поелику же сама литература его не слушалась, он был не прочь начать с другого конца: через общество воздействовать на литературу. (Может быть, для того, чтобы затем опять же воздействовать на общество через литературу: он сам как-то не мог разобраться, что чему должно здесь предшествовать.)

Державин увлекся не менее, чем Шишков. Конечно, искал он не славы. Слава у него была — полная, прочная, не поколебленная ни отставкой, ни сплетнями, ни влюбной холодностью Александра, ни даже обилием врагов при дворе. От соседства с Шишковым она скорее могла пострадать — по крайней мере в глазах некоторых литераторов. Но Державин знал, что в конечном счете его не смешают с Шишковым, которого, впрочем, он уважал, как человека и патриота. Затея прельщала его потому, что оживление суббот могло бы способствовать оживлению словесности. Можно было даже рассчитывать, вопреки расчетам Шишкова, что появление новых людей ослабит засилие славяноросов. Наконец, манила Державина и сама новизна публичных собраний, их более пышный обряд, блеск, шум. Ему нетерпелось. Он тотчас пожертвовал для библиотеки будущего общества на три с половиною тысячи книг, объявил, что предоставляет залу свою для собраний, и вообще взял на себя все расходы.

В декабре начали обсуждать устав общества. Решено устраивать собрания раз в месяц и к участию в чтениях допускать посторонних лиц, не иначе однако же, как рассмотрев предварительно их произведения. Для удобства в соблюдении очередей и внутреннего распорядка весь состав членов был разбит на четыре разряда, с председателем и пятью *членами* в каждом. Эти двадцать четыре члена-учредителя должны были составить основное ядро общества. Помимо них каждый разряд избирал *сотрудников* из литературной молодежи.

Вопрос о том, кому быть членом, а кому только сотрудником, в иных случаях решить было не легко. Считаться пришлось не только с литературными заслугами, но и со служебным положением, и даже с происхождением. А как возрастом, титулами и чинами шишковисты в общем превосходили прочих, то и образовался на их стороне перевес. Нашлись и обиженные. Гнедичу (кажется, не без уловки со стороны Шишкова) предложили быть всего лишь сотрудником. В ответ на это прислал он письмо Державину, объявляя, что согласен вступить в общество только под именем члена, но не сотрудника: «если ж на это или не дадут согласия г. г. Члены, или не буду я в праве по моему чину; то в обоих случаях мне ничего не остается, кроме заслуживать еще и лучшее о себе мнение и больший чин».

В первом разряде, под председательством Шишкова, членами оказались: Оленин, Кикин, Крылов, Шихматов и князь Дмитрий Петрович Горчаков, сатирик и ловкий автор весьма нецензурных стихотворений. Во втором разряде председателем был Державин, а членами граф Хвостов, умный и просвещенный Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, Лабзин (масон, историограф Мальтийского ордена), поэт Дмитрий Осипович Баранов (сенатор) и Федор Львов, тоже поэт, приятель Державина. В третьем разряде (под председательством А. С. Хвостова) сколько-нибудь выделялся один Шаховской, если не считать Петра Ивановича Соколова; то был непременный секретарь Российской Академии, человек великого трудолюбия и скромнейших намерений; его мечты не шли дальше эпистолярного и делового слога. «Вся эта поэзия, говаривал он, все эти трагедии и поэмы одна только роскошь в литературе; а нам не до роскоши». Четвертый разряд, где председательствовал неизбежный и безнадежный Захаров, сплошь состоял из людей, еще менее примечательных.

Бесцветные сотрудники дополняли этот бесцветный список, в котором чувствовалась рука Шишкова. Так и должно было выйти при упорстве Александра Семеновича и критическом благодушии Державина. Впрочем, при литературной бедности тогдашнего Петербурга, шишковскому натиску некого было противопоставить.

Список почетных членов открывался более блестящими именами Капниста, Озерова, молодого драматурга, уже загубленного завистью и безумием, и, наконец — Карамзина. Все трое, к несчастию, значились лишь по имени: Озеров был безнадежно болен, а Карамзин и Капнист не жили в Петербурге.

Избрание Карамзина было большой, но едва ли не единственной победой Державина. Однако Шишков тут же и отыгрался: в почетные члены провел он целую плеяду державинских недругов из числа вельмож: Строгонова, Ростопчина, Козодавлева и даже Сперанского и Магницкого. Последние два были так же неприятны самому Шишкову, как и Державину. Но Сперанский был в силе — Шишков не осмелился обойти его. Магницкий шел за Сперанским, как за иголкой нитка.

Еще четыре лица попали в число почетных литераторов. Прежде всего, должно быть, за принадлежность к прекрасному полу,— три девицы: княжна Урусова, та, которую тридцать три года тому назад сватали за Державина, Анна Петровна Бунина, болезненная особа лет тридцати шести, довольно бесталанная стихотворица, и некая Анна Волкова, немного моложе Буниной, но писавшая еще хуже. Четвертым был Николев, пятидесятидвухлетний поэт. За слепоту звали его русским Мильтоном, а также l'aveugle clairvoyant (по выражению императора Павла, который с чего-то ему покровительствовал). Мелкие чиновники долго еще зачитывались его стишками; двадцать пять лет спустя, титулярный советник Аксентий Иванович Поприщин в любопытных записках своих восхищался сердцещипательным четверостишием Николева:

Душеньки часок не видя,
Думал, век уж не видал;
Жизнь мою возненавидя,
Льзя ли жить мне? — я сказал.

* * *

2 января 1811 года уязвленный Гнедич, поздравляя Капниста с новым годом, писал ему: «У нас заводится названное сначала Ликей, потом Афиней, и наконец Беседа — или общество любителей Российской словесности. Это старая Российская Академия, переходящая в новое строение; оно есть истинно прекрасная зала, выстроенная Гаврилом Ром. при доме. Уже куплен им и орган и поставлен на хорах, уже и стулья расставлены где кому сидеть, и для вас есть стул; только вы не будете сначала понимать языка г. г. Членов. Чтобы в случае приезда вашего и посещения Беседы не прийти вам в конфузию, предуведомляю вас, что слово проза называется у них: *говор*, Билет *значок*, Номер *число*, Швейцар — *вестник*; других слов еще не вытвердил, ибо и сам новичок. В зале Беседы будут публичные чтения, где будут *совокупляться знатные особы обоего пола* — подлинное выражение одной статьи Устава Беседы»...

Наконец устав был утвержден, новорожденному обществу объявлено высочайшее благоволение за «полезное намерение», и 14 марта состоялось первое собрание Беседы. Из аванзалы, отделенной колоннами желтого мрамора, гости вступали в высокую, освещенную ярко залу. Стол, покрытый зеленым сукном, стоял посредине, окруженный креслами членов. Кресла поменьше, для публики, расставлены были вдоль стен уступами. Ждали государя, Державин даже сочинил приветственный хор (сам Бортнянский его положил на музыку), но государь не приехал.

Билеты заранее были разосланы. Съехалось до двухсот человек — мужчин в мундирах, при лентах и орденах, дамы же в бальных платьях. Явился цвет сановного Петербурга. Шишков к нему обратился с речью. «Каким средством может процветать и возвышаться словесность?» — спрашивал он. И отвечал: «Единственным: когда все вообще люди любят свой язык, говорят им, читают на нем книги; тогда только рождается в писателях ревность посвящать жизнь свою трудам и учению». Словом, он призывал общество воодушевить словесников.

Сама по себе эта речь не была, конечно, причиной литературного окостенения, которое охватило Беседу тотчас и навсегда. Но главная причина окостенения как раз в этой речи выразилась. Справедливо, что без сочувствия публики нет словесности. Но это сочувствие — отнюдь не *единственное* и даже не первое условие литературного процветания. Литература одушевляется прежде всего идеями литературными, которые в ней самой должны зарождаться. У Шишкова были идеи политические, общественные и даже филологические, литературных же не было. Нападки на карамзинское направление, в общественном смысле вовсе не основательные, филологически — пусть даже отчасти справедливые, не возмещали отсутствия положительных литературных стремлений. Людям, имеющим такие стремления, возле Шишкова было бы нечего делать. Беседа оказалась так же мертва, как субботние собрания, из которых она возникла. Как на субботах (без публики), так и в Беседе (при публике) могли заседать либо люди, никогда не имевшие собственных литературных идей, либо же люди, идеи которых уже были осуществлены в свое время. Таких оказалось в Беседе трое. Во-первых — Державин. Во-вторых — Дмитриев; назначенный министром юстиции и живший в Петербурге уже больше года, он состоял одним из четырех *попечителей* четырех беседных разрядов; прямого участия в делах эти попечители не принимали — их звание было только почетное; все четверо (Завадовский, Мордвинов, Разумовский и Дмитриев) были министры — в настоящем или в прошлом; Дмитриев попал в попечители именно в качестве министра, а не поэта: таков был дух Беседы. Третьим, наконец, был Крылов — талант огромный и лишь недавно сказавшийся; но и он не был движущею литературной силой, ибо ему было суждено лишь блестящее завершение давней басенной традиции: она с ним и умерла.

Не то в публицистике. Тильзитская политика Александра, многими осуждаемая, доживала последние дни. Уже с весны 1811 года отношения между Парижем и Петербургом стали весьма натянуты; осенью сделалось более или менее очевидно, что война вспыхнет. Поведение раздраженного Бонапарта было вызывающее; русское общество чувствовало себя оскорбленным. Тогда-то шишковская ненависть к Франции дождалась своего часа и торжества. Хоть и побаиваясь «без воли правительства возбуждать гордость народную», Шишков, однако, решился: он прочитал в Беседе «Рассуждение о любви к отечеству». Впечатление было разительное. Мертвым собраниям сообщилось одушевление, которого не могла в них вызвать славянороссская литература. Беседа сделалась первою вестницей, а на время и средоточием патриотического подъема.

Двенадцатый год настал. Но прежде, чем началась война, должно было совершиться падение Сперанского. 17 марта оно совершилось, и вскоре Шишков был назначен государственным секретарем. Конечно, самый объем его мыслей был вовсе не тот, что был у Сперанского. Но именно за этот объем пал Сперанский. Шишков был призван не заменить его, но лишь занять его должность.

В должности этой, как составитель рескриптов и манифестов, старик оказался вдруг даже величествен. Его первой работой был первый манифест о рекрутском наборе. Его писания, порой неуклюжие, неотесанные, порой даже опрометчивые, почти как стихи Хвостова, были исполнены странной силы. «Они действовали электрически на целую Русь», Шишков «двигал духом России». Иные слова его сделались лозунгами Отечественной войны и остались памятниками ее. Их повторяли тогда и еще сто лет после, уже не зная, кем они были сказаны. Это и есть народная слава.

* * *

Меж тем, как Россия вступала в полосу бурь и все ее помыслы были устремлены в будущее, мысль Державина обращалась к прошлому. Осенью 1811 года он приступил к писанию своей биографии. Замысловатым, с обильными завитушками почерком, почерком восемнадцатого столетия, слегка дрожащей уже рукой он вывел на первом листе тетради: «Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина».

Объяснения, диктованные Лизе Львовой, уже содержали немало воспоминаний. То были однако ж воспоминания отрывочные, в составе своем ограниченные (ибо так иль иначе связанные с поэзией), подчиненные не хронологии, но порядку стихотворений и потому разрозненные. Записки Державин повел в форме повествования связного, плавного и последовательного. Он начал с поры своего младенчества, но его главною целью был рассказ о гражданской деятельности на разных поприщах.

Лиза Львова с год тому назад вышла замуж. Диктовать теперь было некому, да это вышло бы и громоздко. Чтобы не замедлять работы, Державин писал, положившись на память, не обращаясь за справками к своему архиву и только изредка прибегая к помощи Аврамова. Впрочем, нашелся у него род дневника, веденного во времена пугачевщины; этот дневник он просто подшил в надлежащем месте. Обдумав наперед фразу, он заносил ее на бумагу и делал не слишком много помарок. От этого своевольный и грубый слог его стал еще своевольнее и грубее. Порою фраза давалась ему с трудом, и самый смысл затемнялся. Но Державин спешил, быть может, намереваясь исправить слог в будущем, а вероятнее — не замечая его недостатков. Иные места Записок силой и меткостью удивительны; в иных не сразу добьешься толку.

Свои Объяснения Державин намерен был напечатать вскоре (хотя цензура, конечно, не пропустила бы в них очень многого). Записки писал он для будущего. Перед лицом потомства он хотел быть правдивым, и в отношении внешней стороны событий это ему удавалось. Но если он надеялся сохранить беспристрастие в их внутреннем изъяснении, то это не удалось ему вовсе.

«Бывший статс-секретарь при Императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-колегии президент, потом при Императоре Павле член верховного совета и государственный казначей, а при Императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер, Гавриил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей, в 1743 году июля 3 числа»... Подобно Цезарю, Державин писал о себе в третьем лице. Этот эпический прием довольно долго способствовал спокойной важности изложения. Впрочем, была и другая причина, по которой действительный тайный советник и разных орденов кавалер спокойно, даже и с удовольствием вспоминал страдания, унижения, бедность, некогда выпавшие на долю казанского гимназиста, а затем преображенского солдата. Всю жизнь он гордился тем, что дошел до высоких степеней «из ничтожества». Чем ничтожество выходило очевиднее, тем контраст получался резче. Историю своего шулерства Державин изложил безжалостно и подробно. Он в сущности был благодарен людям и обстоятельствам, доведшим бедного, неопытного молодого человека до такого падения.

Вообще несправедливости и обиды, наносимые ему лично, он прощал и в Записках так же легко, как в жизни, оттого что был очень добр и очень самолюбив. Его обманывали, обкрадывали, на него клеветали, — он не помнил зла, делал нередко вид, что не замечает его, и ни разу в жизни не отомстил никому. Но препон, поставленных его деятельности, служебной иль государственной, но обид, наносимых в его лице возлюбленному Закону, он не прощал и прощать не считал себя вправе. Первые столкновения такого рода произошли у него во время пугачевщины. Начиная с обороны Саратова, он и в Записках стал увлекаться изображением борьбы, в которой позже прошла его жизнь. Так как по существу он отстаивал дело правое, то и в Записках, как в жизни, пришел к уверенности в неизменной и постоянной своей правоте. Так как причина столкновения всегда лежала не в нем, то он и вообразил себя в жизни и представил в Записках чрезвычайно миролюбивым, хотя на самом деле случалось ему открывать враждебные действия и затем идти уже напролом. Единственным недостатком своим признавал он горячность, но в глубине души почитал и ее достоинством и относился к ней с любовной, как бы отеческой мягкостью. При таких обстоятельствах эпический лад Записок до-

вольно скоро перестал отвечать их внутреннему лиризму.

Настала весна 1812 года. В предстоящей войне никто уж не сомневался. 9 апреля, взяв с собой Шишкова, государь выехал в Вильну. Державин лишь краем уха прислушивался к надвигающейся грозе. Он погружен был в свои Записки — воевал с Вяземским, с Тутолминым, с Гудовичем. Перебрался на Званку — и там продолжал писание. Бонапарт перешел через Неман и вторгся в пределы России — Державин был занят Екатериной.

Всю тщетность своей многолетней борьбы он познал глубоко, но знания этого не принял. Обернись время вспять, начнись завтра всё сызнова, старик действовал бы во всем точно так же, как действовал в молодости. По-прежнему был бы он резок и неуступчив, по-прежнему отвергал бы возможное ради должного, был бы готов сломиться, но не согнуться и с гордостью повторил бы жизненные свои ошибки — все как одну, с первой и до последней.

Не приняв житейского опыта для себя, он не принял его и для Екатерины. Составительница Наказа знала, какова должна быть Фелица, идеальная монархиня, — следовательно и должна была стать ею, хотя бы не только люди, но и самые небеса были против. Если не стала — ее вина. Правда, за последние годы Державин много думал о ней и пришел к выводу, что в ее обстоятельствах ничего не оставалось, как или погибнуть, или стать такой, какою она была. Рассудив так, он по человечеству, снисходя к слабости человеческой, даже простил ее, но это прощение ощущал в себе тоже как слабость и как уступку. Перед лицом же *священной справедливости* он считал, что «сия мудрая и сильная Государыня в суждении строгого потомства не удержит на вечность имя Великой». Таково было его последнее заключение.

Между тем события шли своим чередом. 7 июля русские войска стали отходить из укрепленного лагеря на Дриссе. Покинув армию, государь явился в Москву. В Успенском соборе, осажденном народными толпами, зараз ликующими и плачущими от всеобщего воспламенения чувств и сердец, епископ Антонин приветствовал Александра достопамятными словами: «Царю! Господь с тобою: Он гласом твоим повелит бури, и станет в тишину, и умолкнут волны потопныя. — С нами Бог! разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!».

Но армия отступала. Простодушный Захаров, препровождая в подарок третье, вновь исправленное издание своего застарелого «Телемака», над которым трудился более тридцати лет, сообщал о растерянности властей и тревоге жителей: «Вся Россия накануне всеобщего троура. У кого сын, у кого брат, у кого муж: все под опасностию смерти — но важней и того — в опасности повергнуться в рабство. — Боже! Спаси!» По делам рекрутского набора Державин ездил во Псков, где «наехал довольно суматохи от близкого военного театра», потом в Новгород, уже охваченный паникой. Военные бюллетени и известия «Северной Почты» не вселяли бодрости. Настал август месяц. Многие жители покидали Петербург, вывозя имущество. Державин по этому поводу получил письмо от Леонида Львова, брата Лизы, Параши и Веры, и отвечал ему: «По неприятному от вас полученному известию ежели обстоятельствы так же дурны, как вы пишете, и прочие укладываются, то должно согласиться с давшими вам совет, чтоб и нам что-либо спасти, коли можно. И для того мы пришлем к вам с лошадями фуры, на коих и привезть к нам сюды: 1) два сундука, которые в кабинете моем, покрытые коверными чахлами; 2) сундучок плоский, который под моим бюром с бумагами; 3) сундук в новом кабинете Дарьи Алексеевны, покрытый красною кожею; 4) большой сундук в Онисьиной комнате; 5) Другие вещи, как то: трое бронзовых часов в нижних комнатах, мраморные в кабинете Дарьи Алексеевны, резную серебряную филейную фигуру, которая стоит в нижних комнатах, буфетное серебро сложить в один ящик и отправить сюды. 7) Прикажите Павлу, чтоб положил также в один сундук все штофные занавесы и отправьте сюды же; за прочими же вещами, как то: за столовыми люстрами и мебелями, когда обстоятельствы позволят, пришлем еще лошадей, или ранжируем другим образом. Мы пришлем также Евстафия Михайловича для разобрания моих бумаг, из которых по данной ему записке он возьмет сюды. Впрочем, ежели слухи и обстоятельствы переменились, дай Боже, к лучшему, что спокойнее в городе стало и перестали суетиться к отправлению вещей, то и вам поостановиться, кажется, должно, — и нас уведомить... Теперь явно видно, что Барклай не честный человек и неверпый или глупый вождь, что впустил столь далеко врага внутрь России, дает укрепляться в Могилеве, Витебске, Бабиновичах, в Орше и далее, не действует и не сражается».

Это письмо Державин писал 12 августа, еще не зная ни о потере Смоленска, ни о том, что как раз накануне новый главнокомандующий Кутузов выехал из Петербурга к армии.

Второй, трагический период Отечественной войны начался. В тяжелые дни Бородина (где полковник Преображенского полка Воейков, жених Веры Львовой, командовал бригадой, защищавшей Шевардино), в дни отступления на Москву, Державин вернулся к Запискам.

Теперь он рассказывал о душевных ранах, еще не заживших — о временах Павла и Александра, о людях, которые «привели государство в такое бедственное состояние, в котором оно ныне, то есть в 1812 году, находится». Ни высокого гнева, ни простой злобы сдержать он уже не мог. Припомнил все, действительно бывшее — и даже не вполне бывшее. То, что он только подозревал, о чем только слышал, теперь казалось ему непреложной истиной. Екатерине и ее сподвижникам он был готов простить многое — было за что. *Нынешним* он не только не прощал ничего, но даже и справедливости их не удостоивал. Одним преступлением больше, одним меньше — не все ли равно, стоит ли проверять? Вряд ли он, например, верил сам, что Сперанский был взяточник, — однако же написал и это. Желчь в нем разлилась. Забывая эпический слог, он все чаще сбивался с третьего лица на первое и почти с наслаждением перечислял подвохи, подкопы, *шиканы*, поставленные его деятельности, и обиды, нанесенные ему лично. Не вытерпев, он составил особый реестр пятнадцати главным своим заслугам, «за которые имел бы право быть вознагражденным, но напротив того претерпел разные несправедливости и гонения».

Он писал и на Званке, и позже, переехавши в Петербург. Здесь каждое утро приходил к нему Платон Зубов. Наклонясь над большою картой, следили они движение неприятеля и страдали вместе, и растравляли друг другу сердечные раны, и распаляли друг в друге злобу. Он писал и в те дни, когда горела Москва, и казалось — Россия гибла. Горе и страх терзали его, изливаясь в Записках яростью. Отпылала Москва; супостат, «таинственных числ Зверь», бежал из нее, оставляя кровавый след на раннем снегу чудотворной зимы; с каждым днем приходили вести о наших победах над его расстроенными полками; молодой стихотворец Жуковский (тот самый, что в детстве присутствовал на потемкинском празднике), на время оставив задумчивые элегии и романтические баллады о мертвецах, в лагере при Тарутине написал «Кубок воина», иначе — «Певца в стане русских воинов», патриотическую песнь, которую все теперь повторяли. Русская слава воскресала в победах. Жуковский взывал к Державину:

> О старец! да услышим твой
> Днесь голос лебединый —

но Державин дописывал самые желчные страницы своих Записок. Когда надежды брезжили над Россией, его уделом были воспоминания. Перед Россией открывалась новая эпоха — он выводил на последней, 564-й странице рукописи: «Сие кончается 1812 годом».

Судьба Бонапарта была им предсказана совершенно точно четырнадцать лет тому назад в пророчески-косноязычных стихах:

> Кто весть, что галльский витязь, Риму
> Словами только вольность дав,
> Надеть боялся диадиму;
> Но что, гордыней обуяв,
> Еще на шаг решится смелый
> И как Самсон, столпы дебелы
> Сломив, падет под ними сам?

Теперь, когда судьба эта совершилась, Державин среди всеобщего ликования оставался почти равнодушен, как если бы и нынешнее торжество было им пережито уже в прошлом. Он написал пространный, тяжелый, пышный «Гимн лиро-эпический на прогнание Французов», но парения прежнего в нем уже не было. Все сердца были окрылены — на душе Державина лежал камень. Тайком от людей, для себя самого, на каком-то черновике, сбоку, набросал он четверостишие:

> Тебе в наследие, Жуковский,
> Я ветху лиру отдаю;
> А я над бездной гроба скользкой
> Уж преклоня чело стою.

* * *

А все-таки было что-то необычайно прекрасное в русской весне 1813 года — что-то похожее на начало выздоровления или на утро после грозы. Ее теплое дуновение коснулось и дома Державиных. Справили свадьбу Веры с Воейковым, перебрались на Званку и стали готовиться к приятному путешествию.

Тому назад почти уже год пришло письмо от Капниста: «Любезный друг, Гаврила Романович! Я уверен, что мы друг друга любим: зачем же слишком долго представлять противные сердечным чувствам роли? — Вы стары; я весьма стареюсь; не пора ли кончить, так как начали? — У меня мало столь истинно любимых друзей, как вы: есть ли у вас хоть один, так прямо вас любящий, как я? — По совести скажу: сумневаюсь: — в столице есть много, — но столичных же друзей. — Не лучше ли опять присвоить одного, не престававшего любить вас чистосердечно? — Если я был в чем нибудь виноват перед вами, то прошу прощения. — Всяк человек есть ложь: я мог погрешить, только не против дружества: оно было, есть и будет истинною стихиею моего сердца; оно заставляет меня к примирению нашему зделать еще новый — и не первый шаг. — Обнимем мысленно друг друга, и позабудем все прошлое, кроме чувства, более тридцати лет соединявшего наши души. — Да соединит оно их опять, прежде чем зароется в землю!..»

По получении письма решено было помириться и ознаменовать мир поездкою

в Малороссию,— если только, Бог даст, все будет к хорошему концу. Дарья Алексеевна, кстати, тогда же дала обет в случае благоприятного окончания войны съездить в Киев на богомолье. Все таким образом складывалось одно к одному, и 15 июня, взяв с собой доктора и Парашу Львову, Державины выехали со Званки. Двигались медленно и только 24 числа прибыли в Москву. Белокаменную застали в прискорбном виде. Проворный Василий Львович Пушкин, как любитель сенсаций, тотчас сделался при Державине *чичероном*. Некогда, воротясь из Парижа, усердно показывал он друзьям привезенные жилеты и фраки и давал дамам обнюхивать свою голову, умащенную модной помадой; с тою же приятностью показал он Державину разоренный Кремль и Голицынскую больницу. Из Москвы тронулись дальше — на Мценск и Орел. Здесь, в доме знакомого помещика, отпраздновали день рождения Гаврилы Романовича. Путешествие совершалось все так же медленно. На остановках являлись к Державину то почитатели таланта его, то чиновники в полной форме, воображавшие, что он едет не иначе, как в качестве тайного ревизора. Наконец, добрались до Обуховки.

Державины давно известили Капнистов о том, что к ним будут, но срока нарочно не обозначили. 7 июля, после обеда, Александра Алексеевна Капнист отдыхала. Вдруг ей сказали, что какая-то бедно одетая женщина желает ее увидеть. Александра Алексеевна вышла к женщине, усадила ее и стала спрашивать, откуда она и что ей надобно. Та отвечала, что из Москвы, что лишилась всего имущества, просит помощи — и вдруг рассмеялась. Александра Алексеевна подумала, что перед ней сумасшедшая, и, испугавшись, хотела уже уйти, как вдруг гостья откинула капюшон салопа. От радости с Александрой Алексеевной сделалось дурно: перед ней была Даша. Сестры не виделись двадцать лет. Слезы, объятия, поцелуи, весь дом сбежался, все кинулись на гору, где ждал в экипаже Державин с Пашей и доктором. Их привели в дом — и объятия возобновились. Сердца размягчились донельзя. Сюрприз удался на славу — однако тотчас обернулся и несколько затруднительной стороною: как раз в эти дни гостил у Капнистов сосед — Трощинский! Вот где Бог привел встретиться! Дмитрий Прокофьевич постарел изрядно, однако же сохранил осанку красавца и сердцееда. Молодежи забавно было и поучительно видеть, с каким ледяным уважением старые недруги встретились, как раскланивались по-старинному, как величали друг друга «ваше высокопревосходительство» и ни за что не хотели сесть один прежде другого. Но под июльским небом Украйны лед понемногу стал таять, и, прожив несколько дней под одною кровлей, враги чуть ли не подружились. Воспоминаниям и рассказам конца не было.

Державины прогостили в Обуховке дней двенадцать, предаваясь всем удовольствиям дружества и природы. Державин был весел, даже и напевал, и насвистывал, и сочинял стишки, обращаясь к птичкам, которыми дом Капнистов был полон. Как он любил все крылатое! Недаром воспел не только орла, соловья, лебедя и павлина, но и ласточку, ястреба, сокола, голубя, аиста, пеночку, зяблика, снегиря, синичку, желну, чечетку, тетерева, бекаса и, наконец, даже комара... С Капнистом он вел беседы хозяйственные, политические, литературные. С двумя барышнями-красавицами, блондинкою и брюнеткою, что в ту пору тоже гостили в Обуховке, гулял под руку и шутил.

26 июля прибыли в Киев, провели там три дня, помолились в Лавре, осмотрели достопримечательности и поехали под Белую Церковь, в имение графини Браницкой, той самой племянницы Потемкина, на руках у которой он умер дорогою в Николаев. Перед памятью дяди графиня благоговела; в его честь был воздвигнут ею род пантеона, где бюст Державина высился среди прочих. Графа Ксаверия Петровича не случилось дома. Зато Элиза, кокетливая и быстроглазая дочка графини, в любезности не отставала от матери. Державину был оказан прием зараз торжественный и сердечный — как автору «Водопада» и старому другу. На другой день пустились в обратный путь. Москва на сей раз удивила быстрою переменою. Близилась осень, богатые жители собирались вернуться из подмосковных на старые пепелища. Везде кипела работа, стучал молоток, топор погромыхивал, неслись песни каменщиков и маляров.

26 августа, в годовщину Бородина, усталые, но довольные, Державины возвратились на Званку.

Ближайшим следствием поездки было то, что Державин определил на службу двух сыновей Капниста, Ивана и Семена. В конце года они приехали в Петербург и, разумеется, поселились в державинском доме. Им отвели во флигеле те покойчики, где ранее жили сестры Львовы. (После замужества Лизы и Веры, Параша осталась одна — ее перевели в большой дом, поближе к дяде и тетке.) Один из молодых Капнистов, Семен Васильевич, пописывавший стихи, тотчас сделался любимцем Державина и отчасти секретарем — насколько ему позволяла служба.

Приток молодежи в доме не прекращался — и слава Богу: старик без нее не мог обходиться. Но окружать себя молодежью заставляла его не просто любовь к суматохе и не одна только живость характера (которая, кстати сказать, все более умерялась болезнью, упадком сил и растущей сонливостью). Была причина более важная, имевшая прямое отношение к его поэтическому самочувствию.

Отражение эпохи не есть задача поэзии, но жив только тот поэт, который дышит воздухом своего века, слышит музыку своего времени. Пусть эта музыка не отвечает его понятиям о гармонии, пусть она даже ему отвратительна — его слух должен быть ею заполнен, как легкие воздухом. Таков закон поэтической биологии. В поэзии гражданской он действует не сильнее, чем во всякой иной, и лишь очевиднее проявляется.

Отойдя от дел государственных, Державин стал как бы глохнуть — и сразу это почувствовал, чем дальше, тем явственней. События перестали в нем вызывать тот быстрый и резкий отзвук, которым была сильна его лира. Правда, сперва можно было допустить, что эпоха невдохновительна сама по себе. Державин недаром был не в ладу с нею. Но настали двенадцатый, тринадцатый, наконец — четырнадцатый год. Казалось — кому воспеть их, как не Державину? Жуковский прямо его вызывал на это. Но за тяжеловесным лиро-эпическим гимном последовали холодные, словно вынужденные стихи на сражение под Люценом. Можно себе представить, что было бы, если б не Александр, а Екатерина выиграла Кульмский бой! Но Державин на это событие даже и не откликнулся, а на торжество небывалое, неслыханное, перед которым все Очаковы и Измаилы ничто, на вступление русских войск в Париж, написал стихи не замечательней люценских. Все величие времени он сознавал, но его музыки не улавливал. Писал по долгу патриота и поэта-историографа, потому что в его положении нельзя было не писать,— и только. Публика принимала его стихи восторженно — он сам вовсе был не в восторге.

Так было и в иных отраслях поэзии. Державин пробовал новые темы и развивал старые, искал новых приемов и прибегал к испытанным; делал это с умением, может быть, даже большим, чем прежде, но без прежнего одушевления. То был не упадок таланта, но упадок вдохновения.

Вероятно, играли тут свою роль и старость, и нездоровье, но главное — все в новом времени, и хорошее, и дурное, было Державину как-то чуждо. Все чаще среди величавых событий он испытывал неодолимую скуку. Но как, засыпая среди разговора и вдруг просыпаясь, любил он видеть вокруг молодые лица, так и в поэзии все искал молодежи, льнул к ней.

Он потрудился много, любил историю и Россию, сам стал историей и Россией — хотел теперь видеть и слышать тех, кто будет трудиться впредь. Быть может, хотелось ему кого-то усыновить, как бездетный богач усыновляет приемыша. Свой дом с любовию наполнял племянниками, а в поэзии все искал преемника, *нового Державина*, не второго, не подражателя своего, но именно нового, который в своем времени расслышит то, что Державин некогда расслышал в своем, найдет новое содержание и новую форму, принесет ту творческую новизну, которую Державин принес сорок лет тому назад.

Он когда-то мечтал, что Беседа будет способствовать появлению молодых дарований. Мечта оказалась несбыточной. Беседа все более походила на казенное учреждение. На место умершего Завадовского попечителем избрали Попова; тому назад двадцать лет не умел он грамотно прочитать Екатерине стихи Державина; с тех пор его знания вперед не подвинулись. Среди почетных членов Сперанского заменил Новосильцов и явился архимандрит Фотий. Сам Шишков охладел к своему детищу. В 1813 году государь назначил его президентом Российской Академии. Вернувшись из-за границы, он предлагал просто слить Академию с Беседой, чтобы уж разом заседать там и здесь. Из домика на Фурштатской переселился он в роскошную казенную квартиру напротив дворца, оставил филологические упражнения и мало интересовался литературой. Беседчики читали друг другу свои сочинения и друг друга не уважали. Хвостов Александр Семенович изводил шутками и эпиграммами Хвостова Дмитрия Ивановича — и был прав, потому что Дмитрий Иванович писал совершенную чепуху: то, завидев издали тучу, убеждался он, подошед поближе, что это всего лишь куча; то голубь зубами перегрызал у него узелки; то осел лез на рябину, цепляясь лапами; то уж становился на колени — и прочее в том же роде. Со своей стороны Дмитрий Иванович возмущался тем, что Александр Семенович председательствует в своем разряде,— и тоже был прав, ибо Александр Семенович уже лет тридцать, как перестал писать вовсе. Их фигуры могли бы отчасти служить олицетворением всей Беседы: один не писал ничего, другой писал слишком много и слишком плохо. Крылов потешался равно надо всеми: на четыре разряда Беседы написал басню «Квартет», а потом и еще обидней — «Парнас»:

> Когда из Греции вон выгнали богов
> И по мирянам их делить поместья стали,
> Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
> Хозяин новый стал пасти на нем ослов...

Дмитрий Иванович в отместку сочинял пасквили на Крылова, называя его Обжоркиным. Державин ради приличия старался водворить мир, хотя Хвостов и его выводил из себя.

Последние года два все были поглощены войной и писали сплошь о войне. Но

после взятия Парижа патриотический пыл начал ослабевать, а литературные бои разгораться. Чудак-Шишков как раз в это время вздумал прекратить полемику; его непонимание литературных дел было поразительно; он, кажется, думал, что после падения Наполеона Карамзин падет уже сам собой. Теперь он молчал — зато из противного лагеря насмешки и резкости посыпались на Беседу. К Державину они никогда не относились: враги чтили в нем великого русского поэта и считали себя учениками его. Державин иногда позволял себе роскошь обижаться за своих сочленов, но втайне противники Беседы были ему любопытнее и милей, чем она сама. По привычке и потому, что всю жизнь делал все истово и не любил бросать однажды начатое, он еще занимался делами Беседы. Но она сама мало ими занималась. К началу пятнадцатого года она была почти уже в летаргии.

* * *

Большой четырехэтажный флигель царскосельского дворца, тот, что высокою аркой соединяется с хорами пятиглавой придворной церкви, был отведен учреждению, иногда составлявшему предмет особых и нежных забот императора. То был Лицей, основанный с целью «образования юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной и составленного из отличнейших воспитанников знатных фамилий». Еще с осени 1811 года тридцать мальчиков вступили в Лицей, готовясь безвыездно прожить в нем шесть лет и пройти обучение, разделенное на два трехлетия или курса. Ныне меньшой курс был окончен, и лицеисты держали экзамены при переходе в старший.

Лицей оказался на деле довольно далек от того, каким он когда-то мерещился Александру Павловичу. Учение шло беспорядочно. Однако, высокая лихорадка умов и сердец, вызванная грозными и чудесными событиями Отечественной войны, передалась царскосельским затворникам. История была их воспитательницей, и не имея глубоких знаний, они развивались быстро. Нашлись между ними такие, что еще из дому занесли охоту к литературным упражнениям, и поэзия вскоре сделалась настоящею страстью многих. Из рукописных лицейских журналов произведения неопытных перьев перенеслись в печатные. На важных страницах «Вестника Европы», «Российского Музеума», «Сына Отечества», «Северного Наблюдателя» являлись стихи пятнадцатилетних поэтов. (Шишков был бы весьма опечален, когда бы узнал, что сия юная поросль чуть не сплошь состоит из завзятых карамзинистов.)

Начальство лицейское сперва поощряло авторство, потом запрещало, потом стало поощрять сызнова. Поэтому-то в программе публичного испытания из российского языка пунктом 4-м значилось: «Чтение собственных сочинений». Экзамен назначен был на 8 января, а накануне разнеслась весть, что Державин будет в числе гостей. Поэты лицейские взволновались, особенно Александр Пушкин. Он не был из числа первых учеников, но считался едва ли не первым среди тамошних стихотворцев: Илличевского, Кюхельбекера, Яковлева, барона Дельвига. Ему-то и предстояло читать стихи свои на экзамене и, следственно, пред самим ветераном российской поэзии.

Александр Пушкин (помянутому Василию Львовичу он приходился племянником) не был столь пламенным обожателем Державина, как, например, его друг барон Дельвиг. Но пьеса, им сочиненная для экзамена, посвящалась военной славе России под скиптром Екатерины и Александра; сообразуясь с высокостию предмета, Пушкин ее написал совершенно в духе Державина, который и сам был в ней торжественно именован. Много в ней было прямых отголосков державинской лиры — начиная с заглавия «Воспоминания в Царском Селе», напоминавшего «Прогулку в Царском Селе». Теперь все это приходилось как нельзя более кстати. Однако же, возникало и важное затруднение. Пьеса кончалась обращением к Жуковскому — автору «Певца в стане русских воинов»: признавая свое бессилие, Пушкин вызывал Жуковского, как самого громкого из поэтов новой поры, воспеть Александра. В присутствии Державина такое обращение могло стать неучтивостию. Как быть? Прокаэливый сочинитель решил слукавить: на один только раз, ради завтрашнего чтения, заменить Жуковского Державиным. Для этого лишь в одном стихе:

Как наших дней певец, Славянской Бард
дружины,—

явный намек на Жуковского надо было превратить в намек на Державина. Тогда и все прочее становилось обращением к нему же.

Дело оказалось не так просто. Всему мешала непременная рифма на *-ины*. Кончилось тем, что Пушкин, отчаявшись с честью выйти из затруднения, написал:

Как древних лет певец, как лебедь стран
Еллины.

Что значит Еллина, он сам не знал; ее никогда не существовало. Ежели даже счесть ее за Элладу, то почему же Державин — лебедь Эллады? Допустим, что намек на анакреонтические стихи. Но кстати ли обращаться к Державину-Анакреону, когда речь идет о военных подвигах? Но выхода не было, Пушкин решил, что сойдет и так. Вся строфа была вообще довольно туманна. Предстояло еще переписать стихи для поднесения Державину. Они были длинные, вышло восемь страниц, Пушкин над ними трудился весь вечер, писал старательно, следя больше за почерком,— и сделал много описок.

Тот вечер в доме Державина проходил как обычно. Дарья Алексеевна, должно быть, не доглядела, и Гавриил Романович за ужином опять съел лишнее. В 11 часов она проводила его наверх, уложила, ушла. Державин тотчас уснул, но спал беспокойно. В шестом часу утра, как всегда, он проснулся и кликнул Кондратия. Тот вошел со свечами и мундиром, приготовленным с вечера. Одевшись, Державин спустился в столовую, в ночном колпаке и мундире. Парика он терпеть не мог и надевал его лишь в последнюю минуту. В столовой горели канделябры. Семен Васильевич встретил дяденьку и пожелал доброго утра. Они сели пить чай. Дарья Алексеевна почивала.

На конюшне чистили лошадей, заложили, подали. Лицейский экзамен не очень был любопытен Державину, но ему всегда не сиделось, когда предстояло куда-нибудь ехать; он всюду являлся первым. Кондратий принес парик и красную ленту. Державин надел их пред зеркалом в круглой гостиной, среди обоев, расшитых рукой Плениры. В подъезде подали ему шубу и бобровую шапку.

Было еще темно. Выехав из ворот на Фонтанку, возок свернул влево, к Московской заставе, и хоть дорога в Царское была хорошо наезжена, после заставы Державина стало укачивать. Он жалел, что перед отъездом не разбудил Максима Фомича, доктора, и не принял рвотного. Когда, уже белым днем, миновали первые домы Царского и въехали под лицейскую арку, Державину сделалось невтерпеж.

Круглый, подслеповатый лицеист с белобрысой круглой головой, барон Дельвиг, заранее «вышел на лестницу, чтобы дождаться Державина и поцеловать ему руку, руку, написавшую „Водопад“. Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара:

— Где, братец, здесь нужник?

Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига. Он отменил свое намерение», возвратился в залу, и с простодушием и веселостию рассказал Пушкину свое приключение. Зала наполнилась царскосельской публикой, лицеистами, их родными, впрочем немногочисленными. Съехались и почетные гости: ректор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Филарет, министр народного просвещения граф Разумовский, попечитель учебного округа Сергей Семенович Уваров (почетный член Беседы), генерал Саблуков, которого покойный государь прогнал с караула в ночь на 12 марта. Средь них, в первом ряду кресел, усадили Державина. Начальство лицейское разместилось у стола сбоку.

Экзамен очень утомил Державина. В красном мундире, украшенном орденами, сияя бриллиантовою короной Мальтийского креста, сидел он, подперши рукою голову и расставив ноги в мягких плисовых сапогах. «Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы». Он дремал все время, пока лицеистов спрашивали из латинского языка, из французского, из математики и физики. Последним начался экзамен русской словесности. «Тут он оживился: глаза заблистали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной». Наконец, вызвали Пушкина.

Лицеист небольшого роста, в синем мундире с красным воротником, стоя в двух шагах от Державина, начал свои стихи. Никто никогда не мог бы описать состояние души его. Когда дошел он до стиха, где упоминал имя Державина, голос его отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом...

Безсмертны вы вовек, о Росски Исполины,
В боях воспитаны средь бранных непогод;
О вас, сподвижники, друзья Екатерины,
Пройдет молва из рода в род.

О громкий век военных споров,
Свидетель славы Россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцов и Суворов,
Потомки грозные Славян,
Перуном Зевсовым победу похищали.
Их смелым подвигам страшась дивился мир;
Державин и Петров Героям песнь брящали
Струнами громозвучных лир.

Сердце его было так полно, что самый обман, совершенный им, как бы исчез, растворился, и читая последнюю строфу, он уже воистину обращался к сидящему пред ним старцу:

О Скальд России вдохновенный,
Воспевший ратных грозный строй!
В кругу друзей твоих, с душой воспламененной
Взгреми на арфе золотой;
Да снова стройный глас Герою в честь
прольется,
И струны трепетны посыплют огнь в сердца,
И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца!

И Державин вдруг встал. На глазах его были слезы, руки его поднялись над кудрявою головою мальчика, он хотел обнять его — не успел: тот уже убежал, его не было. Под каким-то неведомым влиянием все молчали. Державин требовал Пушкина. Его искали, но не нашли.

После обеда у Разумовского, где много важного вздору было говорено, усталый Державин уже ввечеру приехал домой, достал из кармана тоненькую тетрадку,

писанную летучим и острым почерком, и для памяти надписал на ней: «Пушкин на лицейском экзамене».

* * *

Дела сердечные, не литературные, заставили Жуковского покинуть Москву. Весной 1815 года переехал он в Петербург и очутился бельмом на глазу Беседы. Осенью Шаховской непристойно и грубо вывел его в своей комедии. Несколько друзей из числа молодых литераторов и дилетантов — Александр Тургенев, Вигель, Дашков, Блудов (родня Державину) — сплотились вокруг Жуковского. Закипела полемика, или, лучше сказать, перебранка. Вигель, человек злой и умный, имея связи в обоих лагерях, усердно подливал масла в огонь. Уваров, которого не любили в Беседе, перекинулся на сторону врагов и сумел составить из них небольшое сообщество. Поэт Жихарев, беседный сотрудник, примкнул тоже. Так возник *Арзамас*. Жуковский был избран секретарем — председателя в Арзамасе не было. Собирались по четвергам у Блудова или Уварова.

Закончив восемь томов Истории, Карамзин повез рукопись в Петербург. Он прибыл 2 февраля 1816 года, захватив с собой шурина, князя Вяземского, поэта и остроумца, молодого человека с длиннейшими ногами и маленькой головой. Василий Пушкин, конечно же, увязался за ними — ему страх хотелось сделаться арзамасцем. В Арзамасе к этому времени прибавились еще члены — и Арзамас расцвел. Не было у него ни разрядов, ни попечителей, ни публичных заседаний, но слухи о нем посилились, самой замкнутостью он возбуждал любопытство, казался собранием избранных, посвященных в новейшие тайны литературы. Многие, кто, быть может, мечтал проникнуть в него, были бы очень разочарованы, узнав, что никаким откровением романтизма в Арзамасе не учат и вообще не разговаривают на важные темы. Арзамас был затеян в противовес Беседе и не мог быть представителем романтизма хотя бы уж потому, что сама Беседа была недостойна представлять классицизм. Она была ничто, и всерьез спорить с ней было не о чем. Арзамас и не снисходил до спора. В нем умнее всего было то, что шутку признал он самым сильным и подходящим оружием против Беседы. В его собраниях потешались над беседчиками не во имя нового направления, а просто во имя молодости, ума, вкуса, образования — во имя всего, что в свое время было у классицизма, но чего никогда не было у Беседы. Он стал пародией на Беседу. В каждом собрании отпевали кого-нибудь из ее живых покойников — и вышло так, что отпетою оказалась она сама, со всеми ее потугами начальствовать над словесностью, ничего не делая. Не насмехались только над Державиным и Крыловым.

Тотчас по приезде Карамзин сделал визит Гавриилу Романовичу. Жуковский и Вяземский поехали с ним, чтобы быть представленными. Им однако не повезло: Державин был нездоров, хмур и чем-то, видимо, озабочен. На Жуковского не обратил он особенного внимания, на Вяземского и подавно: его сердце уже было занято младшим Пушкиным. Кроме того, арзамасские погребения и другие шалости были ему, несомненно, ведомы, и он их не одобрял. Общество, занятое одной полемикой, не могло ему нравиться. Когда речь зашла о полемике Дашкова против Шишкова, старик, в свое время пожуривший и самого Дашкова, заметил многозначительно, что не следует раздувать огня. Расставаясь, просил он Карамзина в один из ближайших дней к обеду — кстати, уж и со спутниками. Приглашение в такой форме прозвучало небрежно.

На ту беду Карамзин в назначенный день был отозван к императрице Марии Федоровне и прислал извинение. Пришлось Вяземскому с Жуковским отправляться вдвоем. Державин встретил их в таком виде, как представил его живописец Васильевский на портрете, недавно выставленном в Академии художеств: в белом колпаке и в малиновом бархатном халате, опушенном соболями: белый шейный платок и палевая фуфайка виднелись из-под халата.

Обед прошел вяло. Других гостей не было, молодые люди робели, и храбрясь от смущения, слишком много говорили об Арзамасе. Державин, напротив, говорил мало, рассеянно и более, кажется, занят был беленькою собачкой, сидевшей у него за пазухой, чем гостями. После обеда он показал им рисунки к своим стихам и заметил, что такой оды, как «На Коварство», ему теперь уж не написать. Побыв недолго, поэты откланялись, не весьма очарованные приемом. Державин опять был не в духе.

У него были на то причины физические и нравственные. Чтобы их объяснить, надо вернуться месяца на полтора назад.

В типографии Плавильщикова печаталась пятая часть сочинений Державина: стихи, написанные в последние годы. Державин знал, что она слабее частей предыдущих, и тем тревожился. Но особливое беспокойство в нем возбуждали тома шестой и седьмой, которые должны были выйти будущей осенью. В них заключались сочинения драматические, а также мелочи: надписи, эпитафии, послания, мадригалы. Однажды Державин признался прямо, что в этих родах поэзии не силен. Теперь, когда выход книг уже был объявлен, Державин стал мучиться. Отказаться от замысла мешали упрямство и самолюбие, но он чувствовал, что искушает славу. То и дело он перелистывал рукописи, словно пытаясь угадать их грядущую судьбу. Ему хотелось бы прочитать их чужими глазами, чтобы узнать заранее, каково будет их действие на ценителей, на потомство. Обидно было ему явиться перед нынешней критикою не в полном блеске.

Тут-то он и прослышал, что существует замечательный чтец, тот молодой человек, что бывал запросто у Шишкова, некогда посещал субботние чтения, а потом и Беседу: Сергей Тимофеевич Аксаков. Случайно об эту пору не было его в Петербурге, но он должен был прибыть вскоре. Державину показалось, что само небо ему посылает Аксакова, что в чужом, но хорошем чтении он, наконец, услышит стихи свои как бы со стороны и сумеет их оценить тоже как бы со стороны. Каждый день он наведывался, не приехал ли уже Аксаков, и ждал его с болезненным нетерпением, не предвещавшим ничего доброго. Все это были признаки старости и упадка. Державину шел семьдесят третий год.

Однажды под вечер, в середине декабря, Аксаков приехал и «совершенно обезумел» от счастия, когда объявили ему, что Державин требует его тотчас. Но он решил отложить посещение до утра, потому что с мороза был красен, как рак, и голос у него сел. Поутру посланный от Державина уже явился за ним, и через час Аксаков входил, трепеща, в державинский кабинет. При его появлении хозяин вскочил с дивана, отбросил в сторону грифельную доску, на которой что-то писал, и протянул руку:

— Добро пожаловать, я давно вас жду...

Затем он быстро заговорил о стихах Аксакова, о молодых поэтах, о Пушкине. Ему хотелось, чтобы Аксаков начал читать сей же час, но он сдержался. Начал расспрашивать о Казани, об Оренбурге, называл Аксакова своим земляком,— все это с беспокойною торопливостью и не без желания польстить. Наконец, все-таки, попросил читать. Гость признался, что и сам того жаждет, только боится, «чтобы счастье читать Державину его стихи не захватило дыханья».

— Так успокойтесь,— сказал Державин, схватив его за руку и сам волнуясь
25 еще сильнее. Он принялся выдвигать ящики своего дивана, достал две толстых тетради с сафьянными корешками: в одной были трагедии, в другой мелкие стихотворения. Но Аксаков хотел начать с оды на смерть Мещерского, и Державину пришлось согласиться. Он слушал с большим вниманием, под конец обнял декламатора со слезами на глазах и сказал тихим, растроганным голосом:

— Я услышал себя в первый раз...

И вдруг принялся расхваливать громко, преувеличенно:

— Мастер, первый мастер! Куда Яковлеву! Вы его, батюшка, за пояс заткнете.

Хитреца промелькнула в глазах его, и он опять потянулся к тетради с трагедиями. Упоенный успехом, Аксаков согласился тут же прочесть «Ирода и Мариамну». Державин послал за Дарьей Алексеевной, Парашей и Семеном Капнистом. Чтение началось. Аксаков «был в таком лирическом настроении, что рад бы читать Державину что угодно, хоть поарабски. В какие бы то ни было звуки хотела вылиться вскипевшая душа! В такие минуты всякие стихи, всякие слова, пожалуй, неизвестного языка — будут полны чувства и произведут сочувствие». Он читал часа полтора. Его чтение было «мало сказать неверно, несообразно с характерами и словами действующих лиц, но даже нелепо и бессмысленно». Ему казалось, что оно происходит на каком-то неведомом языке, но тем не менее и на него, и на всех присутствующих оно произвело магическое действие. Державин «решительно был похож на человека, одержимого корчами... Он не мог сидеть, часто вскакивал, руки его делали беспрестанные жесты, голова, все тело были в движении. Восхищениям, восторженным похвалам, объятиям — не было конца», а счастию Аксакова не было меры. Державин ему написал тут же стихи, и он ушел, опьянев от восторга.

С того дня начались у них отношения странные, даже несколько фантастические. Сперва Аксаков являлся часто, потом стал ходить каждый день. «Хозяин готов был слушать с утра до вечера, а гость — читать и день и ночь». Ни трагедии, ни мелочи Аксакову не нравились; под всяческими предлогами он от них уклонялся, сворачивая на оды. Державин и оды выслушивал с удовольствием, но при первом удобном случае заставлял возвращаться именно к мелочам и трагедиям.

Аксаков был настоящий художник декламации. В «жаре и громе» его чтения (как он сам выражался), слабые трагедии и стихи приобретали те магические, непостижимые уму свойства, без которых нет великой поэзии, но которых как раз этим трагедиям и стихам недоставало. Державин слушал — и декламаторские достоинства чтения старался относить на счет литературных достоинств читаемого (хотя, конечно, отдавал должное и таланту Аксакова). Чем его более волновало чтение, тем он более утешался и успокаивался за судьбу неудачных своих творений. Он заставил Аксакова перечитать все трагедии, даже переводные, и все надписи, эпитафии, послания, басни и прочее. Если Аксаков, случалось, читал с мень-

шим жаром,— очарование пропадало, Державин сердился и говорил:

— У вас все оды в голове, вы способны только чувствовать лирические порывы, а драматическую поэзию не всегда и не всю понимаете.

С каждым днем эти чтения становились Державину все более необходимы. Он к ним привык, как к лекарству, утишающему боль. Он словно пьянел от них — и они его сладостно изнуряли. В начале чтений, на святках пятнадцатого года, дважды были у Державина гости. По обычаю танцевали. Державин не отходил от Колтовской — его нежное обхождение было даже замечено — и держался бодро. Но к середине января его уже нельзя было узнать. Он осунулся, ослабел и находился в непрестанном возбуждении.

Однажды Аксаков явился в обычный час, но швейцар попросил его, не заходя к Гавриилу Романовичу, пройти к Дарье Алексеевне. Дарья Алексеевна приняла его ласково, но сказала, что муж ее нездоров, что он провел дурно ночь, что у него «сильное раздражение нерв» и что доктор приписывает это тому волнению, с которым Гавриил Романович слушает чтение. Аксаков покраснел до ушей, принялся извиняться и вдруг объявил, что и сам давно болен и доктор требует, чтоб он недели две сидел дома. Вечером он зашел к Державину, чтобы с ним на время проститься. «Гаврила Романович чуть не заплакал... Он сам был очевидно нездоров. Глаза у него были мутные и пульс бился, как в лихорадочном жару; но сам он и слышать не хотел, что он болен, и жаловался, что с некоторых пор хотят уверить его, что он хворает, а он напротив давно не чувствовал себя так бодрым и крепким». Наконец они с болию разлучились.

В семейных кругах Державина и Аксакова вся эта история наделала много шуток и смеха. Говорили, что Аксаков *«зачитал* старика и сам *зачитался»*. Вскоре слухи пошли по городу — с обычными украшениями. Рассказывали, что «какой-то приезжий сумасшедший декламатор и сочинитель едва не уморил старика Державина чтением *своих* сочинений, и что наконец принуждены были через полицию вывести чтеца-сочинителя из дома Державина и отдать на излечение частному лекарю».

Для Державина начался двухнедельный карантин, которым он тяготился. Вот на эти-то дни, когда уже, впрочем, карантин подходил к концу, и пришлись посещения Вяземского с Жуковским. Потому-то и был так суров оказанный им прием.

Аксаков не лгал, говоря, что тоже нуждается в лечении. Но свое нездоровье он объяснял петербургским климатом — это была неправда. Он тоже был изнурен чтениями, если не так, как Державин, то лишь потому, что ему было двадцать четыре года. По-своему он переволновался не меньше Державина. В каждом художнике заключен мучитель. Терзать душу зрителя иль читателя для него наслаждение. Аксаков был упоен *корчами* Державина, как Державин — его декламацией. Другого такого слушателя у него не было ни прежде, ни после. Недаром лишь только положенный срок миновал, он тотчас явился к Державину. Сперва оба делали вид, что вовсе уж не так жаждут терзать друг друга, но сами только и ждали малейшего к тому повода. Повод представился очень скоро, и чтения возобновились,— правда, уж не столь частые и бурные: Даша теперь следила за ними. Но попрежнему странные друзья проводили долгие часы вместе. Аксаков читал, Державин слушал, привычно поглаживая головку собачки, торчащую у него из-за пазухи. Собачка была воспоминанием доброго дела: одна бедная женщина, которой он помогал, подарила ее Державину. Звали ее Горностайка, а уменьшительно Тайка. Державин с нею не разлучался. Иногда прерывала она декламацию звонким лаем, Державин ее унимал, нахлобучивал поплотнее колпак — и чтение возобновлялось.

Полемика между Беседой и Арзамасом была ему не по душе. Он находил в ней мало возвышенного и надеялся, что Карамзин с Шишковым придержат своих сторонников, если короче узнают друг друга. Едва оправившись от болезни, он позвал их обедать. Еще некоторые беседчики должны были присутствовать. Карамзин при всех обстоятельствах умел себя держать с любезностью и достоинством. Сидя подле хозяина (по другую руку которого сидел Шишков), он не без лукавства поглядывал на своих *смешных неприятелей*, как сам выражался, и был, пожалуй, не прочь их *шармировать*. Он их старался забавить грамматикой, синтаксисом, этимологией. Но они хмурились и дичились. Когда пили его здоровье, он сказал, что считает себя не врагом Шишкова, а учеником, и выразил Александру Семеновичу благодарность за умение писать, которым ему обязан. Это было, конечно, преувеличение, но Карамзин действительно находил долю правды в шишковских нападках. Шишков был смущен, насупился и, наклонясь над тарелкой, несколько раз повторял сквозь зубы: «Я ничего не сделал. Я ничего не сделал». Карамзину показался он честен, даже учтив, но туп. Как бы то ни было, Державин был очень доволен, что дело как будто идет на лад. Желая еще подвинуть его вперед, заметил он, что пора Николаю Михайловичу стать членом Российской Академии. Он сказал это в простоте сердца, но вышло весьма не кстати. В двенадцатом году, при отставке Сперанского,

Шишков перебил у Карамзина место государственного секретаря; в тринадцатом, по смерти Нартова, карамзинисты считали, что за отказом Державина Карамзину подобало бы стать президентом Российской Академии,— но опять Шишков, а не Карамзин был назначен. Теперь Державин предлагал Карамзину стать простым членом этой *шишковской* Академии, как звали ее в Арзамасе. Карамзин нашелся: ответил, что до конца своей жизни не назовется членом никакой академии,— но все же от державинского обеда остался у него неприятный осадок. Вяземскому он жаловался, что ничего есть не мог — горчица и та была невозможна. Впрочем, и в самом деле он постоянно заботился о своем здоровье, в еде и питии был крайне воздержан, вареный рис и печеные яблоки были его любимые кушанья, стол же Державина был тяжелый, старозаветный.

Карамзин понимал, что Державин действовал из побуждений чистейших, и не обиделся. Но месяц спустя отомстил жестоко, хоть неумышленно. Может быть, именно для того, чтобы показать, будто не почувствовал на обеде никакой неловкости, он сам вызвался прочитать в том же обществе отрывок из своей Истории. Сам же он и назначил быть чтению 10 марта, в семь часов вечера. Державин созвал гостей, кабинет его наполнился приглашенными. «Бьет семь часов — Карамзина нет; в Державине сейчас обнаружилось нетерпение... Проходит полчаса, и нетерпение его перешло в беспокойство и волнение. Несколько раз хотел он послать к Карамзину и спросить: будет он или нет, по Дарья Алексеевна его удерживала. Наконец, бьет восемь часов, и Державин в досаде садится писать записку... Он перемарывал слова, вычеркивал целые строки, рвал бумагу и начинал писать снова. В это самое время принесли письмо от Карамзина. Он извинялся, что его задержали, писал, что он все надеялся какнибудь приехать и потому промешкал, и что просит Гаврилу Романовича назначить день и час для чтения, когда ему угодно, хоть послезавтра». Записка была исполнена глубокого сожаления и деликатности. Но Державин остолбенел от полученного *афронта*. Потом стал он шагать по комнате и ни с кем не говорил ни слова, но таково было выражение лица его, что «все гости в несколько минут нашлись вынужденными разъехаться».

* * *

Високосные годы — несчастные, незадачливые. Видно, вышел таков и шестнадцатый. От всей его весны, с недомоганиями, с беспокойными аксаковскими чтениями, с обидой на Карамзина, с тревогой за пятый том вышла одна докука. Петербург сделался в тягость, хотелось скорей на Званку. Державин сердился, ворчал, и с самого понедельника Фоминой недели принялся за укладку рукописей и книг: собирался в путь. Наконец, они тронулись. Ехали, не считая слуг, вшестером: двое Державиных, Параша Львова, Александра Николаевна Дьякова (тоже племянница Дарьи Алексеевны), неизменный Аврамов и доктор Максим Фомич. Тайка была седьмая.

30 мая, в 5 часов утра, увидели милый дом на горе, вылезли из кареты и по лестнице поднялись в сад. Чудное было утро, Волхов синел внизу, пели птицы. Сирень под окнами кабинета всех поразила пышностью. Долго ей любовались, потом пошли в комнаты, а вернувшись — ахнули: целая туча жуков, откуда-то налетев, уничтожила весь пышный цвет; листья поблекли и приняли красноватый оттенок; сирень стояла, как опаленная. Державин сказал:

— Видно, сглазили!

Позавтракали. Державин с Дарьей Алексеевной пошли отдохнуть, слуги еще убирали со стола,— внезапно поднялся вихрь, Волхов вздулся и почернел, началась гроза, хлынул ливень. В пять часов управляющий пришел доложить, что у Верочкина вяза молния обожгла трех женщин, а четвертую убила. Ее внесли в дом, она вся была черная.

— Как нынешний год наш приезд несчастлив! — сказала Дарья Алексеевна.

Но уже небо расчистилось, солнце глянуло, ступени крыльца обсохли; Державин, севши на них, любовался, как парусные суда идут мимо, твердил:

— Как здесь хорошо! Не налюбуюсь на твою Званку, Дарья Алексеевна! Прекрасна, прекрасна!

И припевал вполголоса свой любимый марш Безбородки.

Жизнь Званская потекла привычным порядком, с утренними прогулками по саду, с отчетами управляющего, с раздачею кренделей ребятам. Порой приезжали соседи. Порой сами катались по Волхову. Флотилия державинская теперь состояла из старого бота и маленькой лодочки; ходили они всегда неразлучно; бот Державин назвал «Гавриилом», а лодочку «Тайкой».

Только для самых мелких шрифтов Державин употреблял лупу. Однако любил, чтобы ему читали вслух, особенно когда просто хотел убить время. Может быть, думал при этом совсем о другом — свою особую думу. Каждый день час поутру и часа два после обеда Параша читала вслух дяде. Ей шел двадцать третий год, она стала взрослою барышней; была хороша собой, тиха, рассудительна; сестры повыходили замуж — она с замужеством не спешила; лишившись отца десяти лет, а матери четырнадцати, к Дер-

жавиным была глубоко привязана и стала во многом походить на Дарью Алексеевну, только сердцем была помягче. Во время чтений Державин, сунув Тайку за пазуху, садился на красный диван пред «Рекой времен». Читали газеты, журналы, иногда — «Историю» Ролленя в переводе Тредьяковского; слушая это чтение, Державин посмеивался и пожимал плечами: подумать — сколько воды утекло! Когда-то знавал он Василья Кирилыча, а нынче вот — Карамзин что делает!.. После обеда для разнообразия принимались за «Бахариану» Хераскова — довольно нелепую смесь всякой всячины из русских и не русских сказок, с привидениями, превращениями, похищениями. «Экой бред! — говорил Державин.— Однако забавно...» Впрочем, больше одной песни в день не могли осилить. Когда вовсе другого чтения не было — делать нечего, выручал «Всемирный путешествователь» аббата Де ла Порта, благо было в нем двадцать семь томов.

Иногда вместо чтения Державин просто раскладывал свой пасьянс — «блокаду» иль «пирамиду». Иногда, расхаживая по комнате, объяснял тексты священного писания, сличал мнения толкователей. Тогда сияли глаза его и цвет лица оживлялся; говорил он красноречиво и ясно. Также любил вспоминать время Екатерины и то, как был ей представлен после «Фелицы», как она на него взглянула:

— Я век этого взгляда не забуду; я был молод; ее появление, величие, ее окружавшее, этот царственный взгляд — все так меня поразило, что она мне показалась существом сверхъестественным. Но теперь, когда все поразмыслю, должен сознаться, что она... мастерски играла свою роль и знала, как людям пыль в глаза бросать.

Вздумал он продолжать «Объяснения» к своим стихам, которые некогда диктовал Лизе.

Велел читать вслух пятый том, но скоро соскучился и сказал:

— Эта часть как-то скукой пахнет и напоминает то время, в которое она писана была, или, попросту сказать, оттого что я стар стал.

Часто, прельстись хорошей погодой, они прерывали занятия. Державин садился на ступенях крыльца. Параша приносила арфу, и они с Александрой Николаевной пели дуэтом его стихи: «Вошед в шалаш мой торопливо». Песню эту он написал в ту самую пору, когда умерла Пленира и он сватался к Даше. Далеко с высоты холма неслись звуки арфы и пения; славное званское эхо подхватывало конец куплета:

Тоскует сердце, дай мне руку;
Почувствуй пламень сей мечты.
Виновна ль я? Прерви мне муку:
Любезен, мил мне ты!

Однажды, гуляя по саду с Парашей, встретили у беседки Дарью Алексеевну. Она указала Державину, как все посаженные при них деревья хорошо принялись, так что даже и баню совсем закрыли.

— Все это хорошо, прекрасно,— отвечал он,— но все это меня что-то не веселит.

Когда же Дарья Алексеевна отошла, он прибавил:

— Я стар стал и кое-как остальные деньки дотаскиваю.

* * *

Ночью на 5 июля случились у него легкие спазмы в груди, после которых сделался жар и пульс участился. День прошел как обычно. Только уже под вечер, раскладывая пасьянс, Державин вдруг изменился в лице, лег на спину и стал тереть себе грудь. От боли он громко стонал, но затем успокоился и уснул. Вечером, за бостоном, стали его уговаривать ехать в Петербург, к известному доктору Роману Ивановичу Симпсону. Но он наотрез объявил, что ни в коем случае не поедет, а пошлет только подробное описание болезни с запросом, как поступать и что делать.

Он, однако ж, не написал и письма, потому что два дня чувствовал себя отменно, гулял, работал в кабинете, слушал Парашино чтение, жаловался, что понапрасну его морят голодом.

8 числа к ужину заказал он себе уху, ждал ее с нетерпением и съел две тарелки. Немного спустя ему сделалось дурно. Побежали за Максимом Фомичом. Державин прошел в кабинет, разделся и лег на диван. Призвав Аврамова, стал он ему диктовать письмо в Петербург, к молодому Капнисту:

«Пожалуй уведомь, братец Семен Васильевич, Романа Ивановича, что сегодня, то есть в субботу, часу по утру в седьмом, я принимал обыкновенное мое рвотное, которое подействовало очень хорошо... я думал, что болезнь моя совсем прошла, но после полудни часу в 6-м мне захотелось сильно есть. Я поел ухи... мне было очень хорошо; но через четверть часа опять поднялись пары... Когда поднимаются сии пары, то вступает жар в виски, сильно жилы бьются и я некоторое время как опьяневаю; но спасибо, все это бывает весьма коротко: я получаю прежнее положение,— кажется, здоров, но употреблять не могу пищу, и довольно строгий содержу диэт. Боюсь, чтоб как не усилилась эта болезнь, хотя не очень большая, но меня, а особливо домашних много беспокоющая. А теперь почувствовал лихорадку, то есть маленький озноб, и сделались сини ногти. Расскажи ему все подробно и попроси средства, что бы избавиться. Впрочем мы, слава Богу, находимся по прежнему в хорошем состоянии».

Далее собственною рукой приписал он: «Кланяйся всем. Покорнейший ваш Державин». И еще велел сделать постскриптум: «Пожалуй доставь немедленно приложенную записочку Петру Ивановичу Соколову».

После диктовки начались у него сильные боли. Он стонал и по временам приговаривал:

— Ох, тяжело! ох, тошно!.. Господи, помоги мне, грешному... Не знал, что будет так тяжело; так надо! Господи, помилуй меня, прости меня!.. Так надо, так надо!

Так он долго стонал и жаловался, порой с укоризною прибавляя еще одно слово, которое относилось, должно быть, к съеденной ухе:

— Не послушался!

Однако и эта боль миновалась, он перестал стонать, приободрился.

— Вы отужинали? — спросил он.— Больно мне, что всех вас так взбудоражил; без меня давно бы спали.

Тут опять поднялся разговор о поездке в Петербург. Державин противился, но потом уступил и часов в одиннадцать приказал Аврамову сделать второй постскриптум:

«После сего часу в десятом вечера я почувствовал настоящую лихорадку, а в постелю ложившись напьюсь бузины; завтра же тетенька думает, коль скоро лучше после того не будет, то ехать в Петербург».

В самом деле, напился он бузины и перешел из кабинета в спальню. Там вскоре страдания возобновились, и через несколько времени Аврамов уже продолжал письмо от своего имени:

«В постеле после бузины сделался жар и бред. Наконец Дарья Алексеевна приказала вам написать, что они решились завтрашний день ехать в Петербург; если ж Бог даст дяденьке облегчение, и они во вторник в Петербург не будут, то тетенька вас просит прислать нарочного сюды на Званку с подробным наставлением Романа Ивановича Симпсона. Ваш покорнейший слуга *Евстафий Аврамов*».

Но странному письму и на этом не суждено было кончиться. Державин лежал без памяти, Дарья Алексеевна велела сделать еще приписку:

«P. S. Тетенька еще приказала вам написать, что дяденьке нет лучше, и просит вас, чтобы вы или кто-нибудь из братцев ваших, по получении сего письма, поспешили приехать на Званку, как можно поскорее».

В исходе второго часа, когда Дарья Алексеевна удалилась на время и в спальне остались только Параша с доктором (который совсем растерялся и не знал, что делать), Державин вдруг захрипел, перестал стонать, и все смолкло. Параша долго прислушивалась, не издаст ли он еще вздоха. Действительно, вскоре он приподнялся и глубоко, протяжно вздохнул. Опять наступила тишина, и Параша спросила:

— Дышит ли он еще?

— Посмотрите сами,— ответил Максим Фомич и протянул ей руку Державина. Пульса не было. Параша приблизила губы к его губам и уже не почувствовала дыхания.

* * *

В три часа утра, когда солнце уже вставало, и пробуждались птицы, и легкий туман еще покрывал поля, и Волхов, казалось, остановился в своем течении, Дарья Алексеевна и Параша вошли в пустой кабинет Державина. Там, в дневном свете, горела еще свеча, его рукою зажженная, лежало платье, скинутое им с вечера. Молитвенник был раскрыт на той странице, где остановилось его чтение. Параша взяла аспидную доску — на ней было начало оды:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!

Только это и было написано. Восемь всего стихов, но все в них величественно и прочно, как в славнейших одах Державина, и в то же время так просто, как он не писывал еще никогда.

Жизнь со всеми ее утехами он всегда любил и того не стыдился. Хотел «устроить ее ко благу» — личному и общественному, ради чего и работал не покладая рук. Но еще в ту пору, когда при Читалагайской горе рождалась его поэзия, он был пронзен мыслию о непрочности жизни: «О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь!.. Лишь только ты родился, как уже рок дня того влечет тебя к разрушающей нощи... Нет на свете ничего надежного, даже и самые наивеличайшие царства суть игралище непостоянства... Терзаемся беспрестанно хотением и теряемся в ничтожестве! Сей есть предел нашей жизни». Его эпоха на каждом шагу давала поводы к размышлениям такого рода. От смерти Мещерского до падения Наполеона он не переставал твердить о минутности дел человеческих. Не было, следовательно, ничего нового в первом четверостишии его предсмертных стихов. Но было коечто новое во втором.

Он любил историю и поэзию, потому что в них видел победу над временем. В поэзии сам был отчасти историком. На

будущего историка своей жизни взирал с доверием:

Не зря на колесо веселых, мрачных дней,
На возвышение, на пониженье счастья,
Единой правдою меня в умах людей
Чрез Клии воскресишь согласья.

В бессмертие поэтическое верил он еще тверже и многократно высказывал эту веру, подчас даже с некоторым упрямством, не без задора:

Врагов моих червь кости сгложет,
А я пиит — и не умру...

В могиле буду я, но буду говорить...

Стихи о «Реке времен» писал он 6 июля и, вероятно, тогда не думал, что только два дня отделяют его от смерти. Но он знал, что «дотаскивает последние деньки». Время для него кончилось. Он задумался о том, что будет, когда оно вообще кончится, и Ангел, поклявшийся, что *времени больше не будет*, вырвет трубу из Клииных рук, и сам вострубит, и лирного голоса Мельпомены не станет слышно. История и поэзия способны побеждать время — но лишь во времени. Жерлом вечности пожрутся и они сами. Тут отказывался Державин от мечты, утешавшей его всю жизнь. Отсюда и обнаженная простота его предсмертной строфы: все прикрасы как бы совлечены с нее вместе с надеждою.

Стихи были только начаты, но их продолжение угадать не трудно. Отказываясь от исторического бессмертия, Державин должен был обратиться к мысли о личном бессмертии — в Боге. Он начал последнюю из своих религиозных од, но ее уже не закончил.

Бог было первое слово, произнесенное им в младенчестве — еще без мысли, без разумения. О Боге была его последняя мысль, для которой он уже не успел найти слов.

10 июля приехали из Петербурга племянники: Семен Капнист с Александром Николаевичем Львовым. Они-то и взяли на себя все заботы о похоронах. Замечательно, что неизменная твердость Дарьи Алексеевны на сей раз ее покинула. Кажется, она даже не имела мужества взглянуть на покойника. Во всяком случае, она не присутствовала ни на панихидах, ни при выносе. От потрясения она слегла, ее перевели во второй этаж. Племянницы находились при ней почти безотлучно.

Решено было хоронить Державина в Хутынском монастыре, который так ему нравился, куда он езжал к Евгению. 11 числа вечером привезли из Новгорода все необходимое. Тело было положено в гроб и тогда же отслужена последняя панихида.

Параша хотела проводить печальное шествие хоть до лодки, которая повезет тело в Хутынь, но Дарья Алексеевна взяла с нее обещание остаться в комнатах. Была уже полночь, когда Параша пришла с панихиды. Вдруг внизу раздалось похоронное пение. Гроб только что понесли, и это пение вполголоса походило скорее на протяжные стоны, которых, может быть, не было бы и слышно, если б не тишина, наступившая во всем доме. Параша бросилась запирать двери, чтоб Дарья Алексеевна ничего не услышала. Потом, подойдя к окну, она увидала внизу толпу людей с фонарями. Неся гроб на головах, они стали спускаться с горы. Ясно светились широкие серебряные галуны на гробе, который все удалялся и наконец донесен был до лодки. В черном Волхове отражались звезды июльского неба.

На носу поместились певчие, на корме пред налоем псаломщик читал молитвы. Малиновый гроб был поставлен на катафалке, воздвигнутом посередине лодки; черный балдахин колыхался над катафалком. По углам стояли четыре тяжелых свечи в церковных подсвечниках. Лодка шла бечевою, за ней следовала другая с провожатыми. Ночь была так тиха, что свечи горели во все время плавания.

—



Иван ЕЛАГИН

◘ ◘ ◘

Я помню чайку над заливом,
Почти припавшую к волне,
И дерево, зеленым взрывом
В глаза ударившее мне.

Года, вы с грохотом идете
И где-то падаете все,
А я — все там — на повороте
Того бессмертного шоссе

Стою, навеки удивленный,
А крымский берег подо мной
Все машет мне листвой зеленой,
Все машет синею волной.

В ГРИНВИЧ ВИЛИДЖ

Всю ночь музыкант на эстраде
Качался в слоистом дыму,
И тени, по-волчьему, сзади
На плечи кидались ему.

Себя самого растревожа,
Он несся в какой-то провал
И нежно во влажное ложе
Протяжные звуки вливал.

Здесь всякий приятель со всяким,
И всякий здесь всякому рад.
Артисты, пропойцы, гуляки.
Толкаются, пьют, говорят.

Над столиком тонкий светильник
Мелькает в зеленом стекле.
Привет тебе, мой собутыльник,
Еще ты со мной на земле.

Привет тебе, мой современник,
Еще ты такой же, как я,
Дневной неурядицы пленник
Над рюмкой ночного питья.

Какая-то тусклая жалость
Из труб серебристых текла,
Какая-то дрянь раздевалась
На сцене ночной догола.

Картины кострами сложите
И небо забейте доской!
Не надо уже Афродите
Рождаться из пены морской,

Не всплыть ей со дна мифологий,
И пена ее не родит,
Тут девка закинула ноги,
Тут кончился век афродит.

Я пальцами в такт барабаню,
Я в такт каблуками стучу,
Я тоже со всей этой дрянью
В какую-то иму лечу.

◘ ◘ ◘

Лиле

По-ученому не говори.
Пусть наивностью речь твоя дышит.
Будешь много читать словари —
О тебе в словарях не напишут.

Бойся благоустроенных слов,
Слов-чиновников, слов-бюрократов,
Слов без выступов, слов без углов,
Гладко выбритых, щеголеватых.

Чтобы стих по-степному был дик,
Как душа, был широких размахов —
Напусти в него слов-забулдыг,
Слов-отверженцев, слов-вертопрахов;

И в словах оставляй сквозняки.
Если схватит читатель простуду —
Значит, ветер качает стихи,
И стихи уподобились чуду.

Сочиняй с разумением в лад,
Никогда не гоняйся за звуком;
Сочиняй, как хозяйка салат:
Чтоб запахло укропом и луком.

Чтобы каждый предмет норовил
Озариться свеченьем глубинным,
Чтобы в листьях сквозил хлорофил,
Чтобы кровь была с гемоглобином.

И стихи за стихами пиши,
Сочиняй и некстати и кстати,
Для души или не для души,
Для печати и не для печати.

* * *

У вас в глазах то робость,
То озорство, то страсть.
У вас глаза как пропасть,
Где так легко пропасть.

Они у вас туманны,
И чуть блестят они.
У вас глаза — капканы,
Ловушки, западни.

Там вспыхивает шатко,
Там прячется, скользя,—
Решимость и оглядка,
И можно, и нельзя,

Открытость и рисовка,
Отчаянье и блажь —
Глаза, как маскировка,
Глаза, как камуфляж,

Как лунных два осколка,
Как дымных два цветка,
И целятся недолго,
И бьют наверняка.

Они у вас бездонней
Всех омутов и рек,
У вас в глазах — погоня,
У вас в глазах — побег.

И собственному сердцу
Я говорил не раз,
Что мне не отвертеться
От ваших дымных глаз.

В них темный ветер риска,
В них сам себе я снюсь.
Когда-нибудь я низко
Над ними наклонюсь.

* * *

Я сегодня прочитвл за завтраком:
«Все права сохранены за автором».

Я и отместку тоже буду щедрым —
Все права сохранены за ветром,

За звездой, за Ноевым ковчегом,
За дождем, за прошлогодним снегом.

Автор с общественным весом,
Что за права ты отстаивал?
Право на пулю Дантеса
Или веревку Цветаевой?

Право на общую яму
Было дано Мандельштаму.

Право быть чистым и смелым,
Не отступаться от слов,
Право стоять под расстрелом,
Как Николай Гумилев.

Авторов только хватило б,
Ну, а права — как песок.
Право на пулю в затылок,
Право нв пулю в висок.

Сколько тончайших оттенков!
Выбор отменный вполне:
Право на яму, на стенку,
Право на крюк на стене,

На приговор трибунала,
На эшафот, на тюрьму,
Право глядеть из подвала
Через решетки во тьму,

Право под стражей томиться,
Право испить клевету,
Прввo в особой больнице
Мучиться с кляпом во рту!

Вот они — все до единого —
Авторы, ваши права:
Право на пулю Мартынова,
На семичастных слова,

Право, как Блок, задохнуться,
Как Пастернак умереть.
Эти права нам даются
И сохраняются впредь.

...Все права сохранены за автором.
Будьте трижды прокляты слова!
Вот он, с подбородком к небу задранным,
По-есенинскн осуществил права!

Вот он, современниками съеденный,
У днвана расстелил газетины,
Револьвер рывком последним сгреб —
И пускает лежа пулю в лоб.

Вот он, удостоенный за книжку
Звания народиого врага,
Валится под лагерною вышкой
Доходягой на снега.

Господи, пошли нам долю лучшую,
Только я прошу тебя сперва:
Не забудь отнять у нас при случае
Авторские страшные права.

* * *

Мы далеки от трагичности:
Самая страшная бойня
Названа культом личности —
Скромно. Благопристойно.

Блекнут газетные вырезки.
Мертвые спят непробудно.
Только на сцене шекспировской
Кровь отмывается трудно.

* * *

Мне незиакома горечь ностальгии.
Мне нравится чужая сторона.
Из всей — давно оставленной — России
Мне не хватает русского окна.

Оно мне вспоминается доныне,
Когда в душе становится темно —
Окно с большим крестом посередине,
Вечернее горящее окно.

* * *

Не была моя жизнь неудачей,
Хоть не шел я по красным коврам,
А шагал, как шарманщик бродячий,
По чужим незнакомым дворам.

Только — что бы со мной ни случилось,
А над жизнью моей кочевой
Серафима стоит шестикрылость,
А не дача и свд под Москвой.

Как доходит до славы — мы слабы.
Часто слава бывает бедой.
Да, конечно, не худо бы славы,
Да не хочется славы худой.

Полетать мне по свету осколком,
Нагуляться мне по миру всласть,
Перед тем как на русскую полку
Мне когда-нибудь звездно упасть.

СЛОВО О ПОЭТЕ

Познакомился с Иваном Елагиным я в 1967 году в Нью-Йорке. Я отыскал его в телефонной книге, позвонил, и мы договорились встретиться в баре неподалеку от нашей гостиницы. Как он выглядит, я не знал, я вообще о нем почти ничего не знал, только его стихи знал. Он предупредил меня, что внешность его самая заурядная, примет особых нет, человек из толпы, он будет в сером пиджаке, синих брюках.

В баре было мало людей, я сразу определил его, как он вошел: по ищущему взгляду и еще по чему-то. Полноватый, округлый, на вид действительно неприметный клерк, отнюдь не преуспевающий, потрепанный жизнью, но не удрученный этим, тем не менее чем-то он выделялся. Живые быстрые глаза его, короткая улыбка, ярость внутренней жизни, притиснутая хмуростью, настороженностью.

Мы пили кофе, я рассказывал Ивану Венедиктовичу про то, как его стихи ходят в списках. Перепечатанные на машинке на тонкой папиросной бумаге, они появились в «самиздате» вместе со стихами Ходасевича, Мандельштама, Георгия Иванова. Не затерялись в свободном соперничестве, выстояли. «Самиздат» производил жесткий отбор. Стихи Елагина не отличались запретностью, публицистичностью. Из всей послевоенной эмигрантской поэзии они обратили на себя внимание отдельным, ни на кого не похожим поэтическим голосом. Хрипловатый, надтреснутый, ироничный, при этом бесстрашно искренний... В них была та родина, которую мы не знали, которая появляется от разлуки, от долгой тоски и невозможности вернуться.

Я разминулся с друзьями
во времени.
Где-то за окном, за деревьями,
За океаном, за всеми
закатами,
Где-то затеряны, где-то
запрятаны.

Сам Иван Венедиктович был с Дальнего Востока, родился он во Владивостоке в 1918 году. Дед его журналист, историк Владивостока — Николай Петрович Матвеев, отец — тоже литератор, поэт-футурист Венедикт Март. Был репрессирован, погиб в 1938 году в Киеве. Настоящая фамилия Елагина была Матвеев. Рассказывал о себе он мало, да и с какой стати

выкладываться перед незнакомым человеком. К тому же и я стеснялся расспрашивать. Понял, что он попал на Запад во время Великой Отечественной войны, вроде как из плена. В первые послевоенные годы жизнь его на чужбине была бесприютной, бедственной. Стихи в печати стали появляться в 1948—1950 годах, а сборник в Нью-Йорке вышел в 1953 году. Со смехом рассказал он мне, что учится на курсах маклеров или банковских служащих. На стихи-то не прожить. На прощание он подарил мне только что вышедшую тогда книгу «Косой полет». Вот еще что было: я предложил ему — почему бы ему не прислать свои стихи к нам. Для начала, допустим, в журнал «Родина», он вполне может печататься в Советском Союзе, чего ему перебиваться в эмигрантских изданиях.

Предложение это казалось мне смелым, весьма прогрессивным, он же в ответ ощетинился, усмехнулся жестко — если стихи подходят, то опубликуйте в нормальных литературных журналах, в том же «Новом мире» или в ваших ленинградских. Чистилищ ему не надо.

Это было справедливо, и я, помню, тогда подумал, насколько он свободней меня в своем достоинстве и непримиримости.

С тех пор я внимательно следил за новыми стихами Ивана Елагина, у него вышло еще несколько сборников, последний «Тяжелая звезда» был издан перед самой смертью поэта. В журналах «Диалог» и «Америка» я часто встречал его переводы американских поэтов. Переводил он блестяще. Он писал: «Искусство для меня не только самовыражение, но и в большой мере общение. Может быть, поэтому я много перевожу. Думаю, это и есть подлинный культурный обмен. Моя самая крупная работа — перевод эпической поэмы американского поэта Стивена Винсента Бена „Тело Джона Бредна", перевод, на который ушло около пяти лет».

Америка, в которой прошла большая часть его жизни, не стала для Елагина своей, он ощущал ее чужой, хотя и не враждебной, как он добавляет. О его смерти я узнал в декабре 1987 года в свой последний приезд в США. Мне сказали, что он недавно умер. И вот теперь «Нева» печатает его стихи. Он возвращается на родину, как хотел, через литературный журнал. К сожалению, посмертно, почему-то большей частию так бывает с хорошими поэтами.

Иван Елагин, несомненно, один из выдающихся поэтов русского зарубежья. Лучшее из его творчества так или иначе соединится с могучим потоком русской поэзии.

Пускай сегодня я не в счет,
Но завтра может статься,
Что и Россия зачерпнет
От моего богатства.

Я рад, что это завтра наступило и читатель «Невы» может ознакомиться со стихами Ивана Елагина, хотя б в этой первой скромной подборке.

Даниил ГРАНИН

Евгений ЮШКОВ

ЗАКАТ

Нева согласна с небесами.
Ей тесно между островами.
Шероховат гранит.
У дебаркадера под боком
Речной трамвайчик — одиноко —
Покачиваясь, спит.

Над парапетом — знак вопроса —
Фигурка юного матроса,
Невдалеке рыбак.
А там — другой. А там на воды
Упала тень моста Свободы,
А там густеет мрак.

А там заката зев зловеще,
Краями туч пылая, блещет,
И видно по всему,
Что уступает вечер ночи,
Что с каждым мигом свет короче.
Тоскую по нему.

⊡ ⊡ ⊡

Старый дом давно молчал...
Старый дом давно скучал,
Только пол вздыхал, скрипел,
Капал медный кран печально.
В кухне — горд необычайно —
Чайник поутру свистел
И синело за окном —
Так пространно и пустынно...
Кошка умывалась чинно
И прислушивалась в нем
К голосам, шагам и скрипам,
К вздохам, каплям, к дальним крикам
За окном в большом дворе,
Где среди деревьев сонных
Потемневших, обнаженных
Детвора снует в игре...
Дом устал. Осел местами.
Мы его чинили сами
Мыли, красили, мели
И спасали, как могли...
Постарел. Бесповоротно.
В землю врос. Глядит дремотно
Тусклым отблеском стекла.
Дом замшел и крышу горбит,
Но жильцов своих все помнит,
Столько в нем еще тепла...

⊡ ⊡ ⊡

Сумрак комнаты прозрачный,
Окна спящего двора,
Разговоры до утра
Под сирень и дым табачный...
Мгла осядет по углам,
В занавесках затаится,
Но неясно — то ли снится,
То ли кажется все нам...
И уже необъяснимо
Белой ночи колдовство.
И заря — неотвратимо —
Тихо правит торжество...

⊡ ⊡ ⊡

Она меня не понимает...
И вот — тревожится,
Вздыхает,
В глаза заглянет,
Отойдет,
Затеет разговор,
Замкнется,
Молчком и стекло окна уткнется
И видит — снег идет...

ПЕСЕНКА

Безденежье, неопытность и дурь...
Как ни тасуй их, брови как ни хмурь
Ведут к беде, уж коль характер слабый.
Как женщина, утешит чей-то дом
Монтень, Шекспир и Шпаликова том,
Но женщину точней сравнить со славой.

Она приходит, как внезапный свет!
А ты не знаешь — к счастью или — нет...
Ты ослеплен и так неосторожен.
Ты позволяешь справиться с собой,
И, увлекаясь древнею игрой,
В итоге, как бывало, безнадежен.

Безденежье, неопытность и дурь...
Как ни тасуй их, брови как ни хмурь
Ведут к беде. Будь сам себе державой!
Утешься, друг, и думай-ка о том,
О чем читаешь древний мудрый том,
Глядишь — и поумнеешь... боже
правый...



ТЬМА

7

Он стонал; ему снился первый арест; рука, свисающая с койки, дергалась в поисках рукава; он ждал удара; но пришедшие за ним почему-то медлили.

Его разбудил вспыхнувший свет. Кто-то стоял возле самой койки. Он спал каких-нибудь пятнадцать минут, но ему всегда требовалось время, чтоб собраться с мыслями после ночного кошмара. Он щурился от яркого электрического света, перебирая в уме знакомые возможности — тяжкий, хотя и привычный ритуал. Да, он арестован — но он ведь не за границей — значит, арест ему только приснился. Он свободен — и тогда над кроватью должна висеть литография Первого; он глянул вверх — литографии не было. Зато у стены виднелась параша. Рядом с кроватью стоял Иванов и дул ему в лицо папиросным дымом. Может, Иванов тоже ему снится? Нет, это был реальный Иванов, и параша была реальной парашей. Понятно: он в своей собственной стране, ставшей вражеской; Иванов — враг, хотя когда-то он был другом; и хныканье Арловой было реальным. Нет-нет, хныкала вовсе не Арлова, а Богров, «товарищ до скончания жизни» — его волокли по тюремному коридору, и он кричал: «Рубашов, Рубашо-о-о-в!» — это он помнит, это не сон. Арлова, та говорила другое: «Ты можешь сделать со мной что захочешь»...

— Ты заболел? — проговорил Иванов.

Рубашова слепил электрический свет.

— Дай мне халат,— сказал он, щурясь.

Иванов промолчал. Он смотрел на Рубашова — у того распухла правая щека. «Хочешь коньяка?» — спросил Иванов. Не дожидаясь ответа, он подошел к двери и что-то крикнул в смотровой глазок. Рубашов, щурясь, смотрел на Иванова. Ему не удавалось собраться с мыслями. Он проснулся, но в себя еще не пришел.

— Тебя тоже арестовали? — спросил он Иванова.

— Нет,— спокойно ответил Иванов.— Я пришел сам. По-моему, ты болен.

— Дай-ка папироску,— сказал Рубашов. Он затянулся, сознание прояснилось. Он лег на спину и посмотрел в потолок. Дверь открылась, вошел надзиратель; он принес бутылку коньяку и стакан. Нет, это был не надзиратель, а охранник — в форме и очках с металлической оправой, молодой и подтянутый. Он отдал честь, протянул Иванову стакан и бутылку, вышел из камеры и захлопнул дверь. Простучали, удаляясь, его шаги.

Иванов присел на рубашовскую койку и налил в стакан немного коньяка. «Выпей»,— сказал он. Рубашов выпил. Туман в голове почти рассеялся: первый арест, второй арест, сны, Арлова, Богров, Иванов — все уже встало на свои места.

— Так ты что — разболелся? — спросил Иванов.

— Да нет.— Рубашов теперь не понимал одного: почему Иванов сидит в его камере.

— Тебе здорово разнесло щеку. И я так думаю, что у тебя жар.

Рубашов поднялся, подошел к двери, глянул через смотровой глазок в коридор, нетороплив прошелся пару раз по камере — он хотел, чтобы голова прояснилась окончательно. Потом остановился напротив Иванова — тот по-прежнему сидел на койке, пуская в воздух колечки дыма.

— Чего тебе надо? — спросил Рубашов.

Окончание. Начало см.: «Нева», 1988, № 7.

— Поговорить с тобой,— ответил Иванов.— Ложись-ка и выпей немного коньячка.

Рубашов, все еще не снимая пенсне, иронически прищурился и глянул на Иванова.

— Знаешь, а я тебе было поверил,— сказал Рубашов размеренно и спокойно.— Теперь-то я вижу, что ты просто сволочь. Убирайся отсюда.

Иванов не пошевелился.

— Будь любезен,— проговорил он,— объясни, почему ты считаешь меня сволочью.

Рубашов прислонился спиной к стене, отделяющей его от Рип Ван Винкля, и сверху вниз посмотрел на Иванова. Тот бесстрастно попыхивал папиросой.

— Что ж, изволь,— сказал Рубашов.— Ты знал о нашей дружбе с Богровым. И вот по твоему указанию Богрова — или, если хочешь, его останки — волокут мимо рубашовской камеры полумертвым напоминанием о судьбе несговорчивых. Про богровский расстрел объявляют заранее — в расчете на подпольную связь заключенных; расчет оправдывается: мне передают, что нынешней ночью кого-то ликвидируют. Но этого мало: хитроумный режиссер объявляет через своих подручных Богрову — перед тем как его волокут расстреливать, что в одной из одиночек сидит Рубашов,— в расчете на желание несчастного Богрова... ну, хотя бы попрощаться с товарищем; оправдывается и этот тонкий расчет. Рубашову, конечно, становится не по себе. И тут является милосердный спаситель — товарищ Иванов с бутылкой под мышкой. Происходит трогательная сцена примирения, друзья вспоминают Гражданскую войну, а заодно составляют «небольшое признаньице». Потом умиротворенный преступник засыпает, следователь кладет «признаньице» в карман, тихонько, на цыпочках удаляется из камеры... и вскоре получает повышение по службе. А теперь, прошу тебя, убирайся отсюда.

Иванов не шевельнулся. Он попыхивал папиросой и улыбался, показывая золотые коронки.

— Ты считаешь, что я такой уж примитивный? — спросил он Рубашова.— Или скажем точнее: что я такой уж примитивный психолог?

— Мне опротивели твои подходцы,— пожав плечами, сказал Рубашов.— Я не могу тебя отсюда вышвырнуть. Когда-то ты был приличным человеком — вспомни об этом и оставь меня в покое. Черт, как же вы мне все опротивели!

— Давай договоримся. Ты меня слушаешь — только слушаешь внимательно и не перебиваешь — ровно пять минут. Если после этого ты будешь настаивать, чтобы я ушел, я сейчас же уйду.

— Хорошо, я слушаю,— сказал Рубашов и демонстративно посмотрел на часы. Он стоял, все так же привалившись к стене.

— Во-первых,— начал Иванов,— учти: Михаил Богров действительно расстрелян, не сомневайся и не тешь себя никакими иллюзиями. Во-вторых, он сидел здесь несколько месяцев, и последние дни его все время пытали. Если ты упомянешь об этом на Процессе или отстукаешь своим соседям, то мне, сам понимаешь, труба. Про Богрова я все объясню тебе позже. В-третьих, его провели мимо тебя и сказали ему, что ты тут, намеренно. В-четвертых, этот, как ты выразился, подходец придумал младший следователь Глеткин; воспользовался он им втайне от меня и вопреки моим строжайшим инструкциям.

Он умолк. Молчал и Рубашов, по-прежнему стоявший у кирпичной стены.

— Я бы не сделал подобной ошибки,— через несколько секунд заговорил Иванов,— и не потому, что я щажу твои чувства, а потому, что у меня другая тактика,— она диктуется твоей психологией. Последнее время, как я заметил, ты размышляешь о совести, о раскаянии — словом, тебя одолевает чувствительность. Совсем недавно ты пожертвовал Арловой — возможно, причина кроется в этом. Легко понять, что эпизод с Богровым мог лишь усилить твою угнетенность и толкнуть к дальнейшим морализаторским изыскам; однако Глеткин этого не понял: психология для него — дремучий лес. За последние десять или двенадцать дней он буквально прожужжал мне уши разговорами о действенности жестких методов. Видишь ли, он на тебя разозлился, потому что ты, нисколько не стесняясь, совал ему в нос драные носки; да он и отрабатывал-то только крестьян... Надеюсь, про Богрова тебе все ясно. Ну, а с коньяком и совсем просто: я хотел, чтобы ты подкрепился после встряски, устроенной тебе Глеткиным. Спаивать тебя мне вовсе невыгодно. Невыгодно потому, что пьяный человек ничем не защищен от нравственных потрясений. А нравственные потрясения — благодатнейшая почва для твоего возвышенного морализаторства. Нет, ты нужен мне трезвый и логичный. Мне выгодно, чтобы ты всесторонне обдумал то положение, в котором оказался. Я уверен: тогда — и только тогда — ты сделаешь вывод, что должен капитулировать.

Рубашов молча пожал плечами. Он не успел сформулировать ответ, потому что Иванов заговорил снова:

— Ты убежден, что не пойдешь на капитуляцию, знаю, но ответь мне на один вопрос: ты капитулируешь, если убедишься, что это объективно правильный шаг?

Рубашов не сразу нашелся с ответом. У него возникло смутное ощущение, что разговор принял недопустимый оборот. Назначенные пять минут истекли, а он про-

должал слушать Иванова. Уже одним этим он как бы предавал Арлову, и Богрова, и Рихарда, и Леви.

— Все это бесполезно,— сказал он Иванову.— Уходи.— Он только сейчас обнаружил, что шагает взад и вперед по камере.

Иванов неподвижно сидел на койке.

— Насколько я понимаю,— проговорил он,— ты поверил, что в эпизоде с Богровым я не принимал никакого участия. Почему же ты настаиваешь, чтоб я ушел? И почему не отвечаешь на мой вопрос? — Он с насмешкой оглядел Рубашова, а потом сказал, медленно и внятно: — Да просто потому, что ты боишься меня. Мой метод логических рассуждений и доказательств точно повторяет твой собственный метод, и твой рассудок это подтверждает. Тебе остается только возопить: «Изыди, Сатана!»

Рубашов не ответил. Он шагал по камере перед сидящим Ивановым. Ему не удавалось собраться с мыслями и привести доказательства своей правоты. То необъяснимое чувство вины, которое Иванов назвал морализаторством, не находило выражения в логических формулах: его насылал Немой Собеседник, а он существовал за пределами логики. И в то же время рассудок Рубашова действительно подтверждал ивановские доводы. Нельзя было участвовать в этом разговоре: он засасывал, как бездонная трясина.

— Apage, Satanas! — повторил Иванов и налил себе еще коньяка.— Когда-то человека искушала плоть. Теперь его искушает разум. Время идет, и ценности меняются. Создам-ка я себе мистерию о Страстях Господних, в которой за душу Святого Рубашова борется дьявол и Господь Бог. После долгой многогрешной жизни Рубашов возмечтал о царствии небесном, где процветает буржуазный либерализм и кормят похлебкой Армии Спасения. Всемогущий владыко этого рая — мягкотелый идеалист с двойным подбородком. А дьявол — поджарый и аскетичный прагматик. Он не признает ничего, кроме логики, читает Маккиавелли, Гегеля и Маркса, верит только в целесообразность и безжалостно издевается над мягкотелым идеализмом. Он обречен на вечное раздвоение: убивает, чтоб навсегда уничтожить убийства, прибегает к насилию, чтоб истребить насилие, сеет несчастья ради всеобщего счастья и принимает на себя ненависть людей из любви к человечеству. Apage, Satanas! Рубашов решает превратиться в ангела. Либеральная пресса, поносившая его, быстро присваивает ему сан святого. Он узнал, что существует совесть, а совесть губит революционера, как гуманизм и двойной подбородок. Совесть сжирает его рассудок, словно голодная гиена — падаль. Дьявол побежден; однако не думай, что он скрежещет от ярости зубами, высекая сернистые смрадные искры. Он логик и аскет, он пожимает плечами, его давно не удивляют дезертиры, прикрывающие слабость гуманизмом и совестью.

Иванов налил себе еще коньяка. Рубашов, все так же шагая по камере, спросил:

— За что вы расстреляли Богрова?

— За неправильный взгляд на подводные лодки. Спор о размерах подводных лодок начался у нас довольно давно. Богров утверждал, что нам надо строить подлодки с дальним радиусом действия. Партия склонялась к малым судам. Ведь вместо одной большой подлодки можно построить три небольших. Дискуссия велась на техническом уровне. Эксперты жонглировали научными данными, приводили доводы и за и против, но суть спора заключалась в другом. Строительство больших подлодок означало дальнейшее развитие Мировой Революции. А малые суда — береговая охрана — означали, что Мировая Революция откладывается и страна переходит к круговой обороне. За это выступил Первый — и Партия... Богрова поддерживала старая гвардия и Народный Комиссариат по морским делам. Убрать Богрова было бы недостаточно: его следовало дискредитировать перед массами. Открытый процесс показал бы стране, что Богров саботажник и враг народа. Мы уже добились от нескольких инженеров — его сторонников — твердого согласия признать все, что будет необходимо. Но Богров отказался с нами сотрудничать. Отстав от жизни на двадцать лет, он твердил до последнего дня о крупных подлодках и Мировой Революции. Ему оказалось не под силу понять, что время сейчас работает на реакцию, что Движение в Европе пошло на убыль и надо ждать следующей волны. На публичном Процессе его заявления внесли бы путаницу в сознание масс. Он ликвидирован решением Трибунала. Скажи, разве ты-то в подобном случае не поступил бы точно так же, как мы?

Рубашов не ответил. Он остановился и, снова привалившись спиной к стене, замер у параши. Из нее подымались ядовитые, вызывающие тошноту испарения. Он снял пенсне и глянул на Иванова, его близорукие затравленные глаза были обведены темными кругами.

— Ты ведь не слышал,— проговорил он,— его стенаний и младенческого хныканья.

Иванов прикурил новую папиросу от окурка догоревшей до бумаги старой; зловоние параши становилось нестерпимым.

— Нет, не слышал,— согласился он.— Но я, понимаешь ли, и видел и слышал много похожего. Ну так и что?

Рубашов промолчал. Он не мог объяснить. Хныканье и мрачно-торжественный рокот опять зазвучали в его ушах. Словами он этого передать не мог. Так же как не смог бы описать словами запах спокойного тела Арловой. В словах ничего нельзя было выразить. «Умрите молча»,— говорилось в записке, которую ему передал парикмахер.

— Ну и что? — снова спросил Иванов. Он вытянул ноги и подождал ответа. Рубашов молча стоял у стенки.

— Если бы у меня,— заговорил Иванов,— была к тебе хоть искорка жалости, я оставил бы тебя в покое. Но у меня, по счастью, жалости нет. Я пью, я покуривал анашу, ты знаешь, но жалости пока что не испытывал ни разу. Жалость неминуемо гробит человека. Муки совести и самобичевание — вот оно, наше национальное бедствие. Сколько наших великих писателей погубили себя этой страшной отравой! До сорока, до пятидесяти они бунтари, а потом их начинает сжигать жалость, и мир объявляет, что они святые. Ты заразился массовой болезнью, а считаешь себя первым и единственным! — Иванов почти выкрикнул последнюю фразу, вытолкнул с клубом табачного дыма.— Учти, исступление к добру не приводит. Хотя и в каждой бутылке спиртного есть отмеренная доза исступления. Да очень уж немногие наши соотечественники — и то в основном из мужиков — понимают, что исступленное смирение или там страдание такая же дешевка, как исступленное пьянство. Когда я очнулся после наркоза и увидел, что остался с одной ногой, меня тоже охватило исступленное отчаяние. Ты помнишь свои тогдашние доводы.— Иванов наполнил стакан и выпил.

— Короче говоря,— продолжал он,— мы не можем допустить, чтоб реальный мир превратился в притон для чувствительных мистиков. И это — наша основная заповедь. Сострадание, совесть, отчаяние, ненависть, покаяние или искупление вины — все это для нас непозволительная роскошь. Копаться в себе и подставлять свой затылок под глеткинскую пулю — легче всего. Да, я знаю, таких, как мы, постоянно преследует страшное искушение отказаться от нашей изнурительной борьбы, признать насилие запрещенным приемом, покаяться и обрести душевный покой. Большинство величайших мировых революционеров, от Спартака и Дантона до Федора Достоевского, не смогли справиться с этим искушением и, поддавшись ему, предали свое дело. Искушения Дьявола менее опасны, чем искушения всемогущего Господа Бога. Пока хаос преобладает в мире, Бога приходится считать анахронизмом, и любые уступки собственной совести приводят к измене великому делу. Когда проклятый внутренний голос начинает искушать тебя — заткни свои уши...

Иванов, не глядя, нащупал бутылку и плеснул себе в стакан еще коньяка. Бутылка была уже наполовину пустой. «А забыться тебе все-таки хочется, очень хочется»,— подумал Рубашов.

— Величайшими преступниками,— продолжал Иванов,— надо считать не Фуше и Нерона: величайшие преступники — это Ганди и Толстой. Пресловутый внутренний голос Ганди мешал индусам обрести свободу гораздо сильней, чем английские пушки. Тот, кто продает своего господина — ну, хотя бы за тридцать сребреников,— совершает обычную торговую сделку; а вот тот, кто предается собственной совести, предает весь человеческий род. История по существу своему аморальна; совесть никак не соотносится с Историей. Если ты попытаешься вершить Историю, не нарушая заповедей воскресной школы, ты просто пустишь ее на самотек. И тебе это известно не хуже, чем мне. Ты прекрасно знаешь правила игры, а туда же — толкуешь о стенаниях Богрова...

Иванов выпил еще коньяка.

—...Или совестишься по поводу Арловой.

Рубашову было не в диковинку наблюдать, как Иванов пьет, почти не пьянея: внешне он при этом совершенно не менялся и только говорил чуть взволнованней обычного. «А одурманивать себя тебе все же приходится,— с невольной иронией подумал Рубашов,— и, пожалуй, тебе это нужнее, чем мне». Он сел на табуретку, продолжая слушать; табуретка стояла напротив койки. Ивановские рассуждения не удивляли его: он всю жизнь защищал те же идеи — такими же, похожими словами. Однако раньше внутренний голос, о котором столь презрительно говорил Иванов, представлялся ему абстрактной условностью; а теперь он ощущал Немого Собеседника как реальную часть собственной личности. Впрочем, обитал-то он за пределами логики — поэтому стоило ли ему доверять? Не следует ли противиться мистическому дурману, даже если ты уже частично одурманен? Когда он пожертвовал жизнью Арловой, у него просто-напросто не хватило воображения, чтоб представить себе ее смерть в подробностях. Выходит, теперь он поступил бы иначе, потому что познакомился с этими подробностями? Но ведь важно другое: объективная правильность — или неправильность — принесенной жертвы, будь то Арлова, Леви или Рихард. То, что Арлова постоянно молчала, Рихард заикался, а Богров хныкал, никак не отменяет объективной правоты — или неправоты — совершенных действий.

Рубашов порывисто встал с табуретки и опять принялся шагать по камере. Он вдруг

осознал, что его переживания с самого первого дня в тюрьме были только началом пути, и однако же новый образ мыслей уже завел его в логический тупик — на порог «притона для чувствительных мистиков»; он понял, что надо вернуться к началу и обдумать все случившееся заново. Только вот осталось ли для этого время?.. Иванов внимательно смотрел на него. Он взял у Иванова стакан и выпил.

— Так-то лучше,— сказал Иванов, на его губах промелькнула ухмылка.— Диалог, даже и в форме монолога, иногда оказывается очень полезным. Надеюсь, я не посрамил Искусителя? Жаль, что молчал второй собеседник. Но это обычная его уловка — уклоняться от участия в логическом споре. Он предпочитает нападать на человека, когда тот почему-нибудь не может защищаться; он очень любит драматические мизансцены — подает голос в горящем лесу или на заоблачной горной вершине — и охотно терзает свою жертву во сне. Приемы борьбы у этого моралиста весьма эффектны и совершенно аморальны.

Но Рубашов уже не слушал Иванова. Он взволнованно расхаживал по камере и пытался решить для себя вопрос — смог бы он пожертвовать Арловой сегодня? Он чувствовал, что, ответив на этот вопрос, разрешит все свои новые затруднения. Остановившись перед койкой, он спросил Иванова:

— Послушай, ты хорошо помнишь Раскольникова?

Иванов посмотрел на него с ухмылкой.

— Ну вот, приехали. «Преступление и наказание»! Ты действительно одряхлел... или впал в детство.

— Подожди-ка. Подожди,— сказал Рубашов, возбужденно шагая взад-вперед по камере.— Разговоры разговорами, но сейчас, как мне кажется, мы подошли к существу дела. Насколько я помню, вопрос стоит так: был ли Раскольников объективно прав, когда убивал старуху-процентщицу? Молодой, талантливый, полный сил человек — и ничтожная, никому не нужная старуха. Логическое уравнение для начальной школы, и все же оказалось, что оно не решается. Во-первых, из-за трагически сложившихся обстоятельств Раскольников совершил второе убийство; это, положим, случайное следствие разумного и абсолютно логичного поступка. Но, во-вторых, уравнение не решалось изначально: Раскольников сразу после убийства понял, что дважды два не равняется четырем, когда вместо абстрактных логических символов в уравнение подставляют живых людей...

— А поэтому,— спокойно вставил Иванов,— каждый экземпляр этой вредной книги надо как можно скорее сжечь. Подумай сам, куда мы придем, если попытаемся принять до конца эту философию мягкотелых юродивых, если отдельно взятую личность нам придется объявить священной и если у нас отнимут право относиться к отдельным человеческим жизням в соответствии с правилами строгого счета. Ведь это значит, что командир полка не сможет пожертвовать ротой арьергарда, чтоб вывести из-под удара весь свой полк, а мы не сможем принести в жертву одного упрямого безумца Богрова, чтоб спасти прибрежные города от гибели.

Рубашов, не соглашаясь, покачал головой.

— Ты приводишь исключительно военные примеры, то есть берешь ненормальные условия.

— С тех пор как изобрели паровую машину,— ни на секунду не задумавшись ответил Иванов,— мир пребывает в ненормальных условиях, революции и войны подтверждают это. Твой Раскольников — дурак и преступник, но вовсе не потому, что убил старуху, а потому, что он совершил убийство только ради своей личной пользы. Закон «цель оправдывает средства» есть и останется во веки веков единственным законом политической этики; все остальное — дилетантская болтовня. Если бы твой малохольный Раскольников прикончил старуху по приказу Партии — для создания фонда помощи забастовщикам или для поддержки нелегальной прессы,— логическое уравнение было бы решено, а роман так и остался бы ненаписанным — к вящей пользе всего человечества.

Рубашов не ответил. Он пытался решить, послал бы он Арлову на смерть сейчас, обогащенный опытом последних дней. Однако он не находил решения. Логически Иванов был, конечно же, прав; Немой Собеседник упорно молчал, но мешал найти однозначное решение. Да, и тут Иванов был прав — нежелание вести логический спор и привычка нападать как бы из-за угла скверно характеризуют Немого Собеседника...

— Я не признаю смешения понятий,— продолжал развивать свою мысль Иванов.— На свете существуют две морали, и они диаметрально противоположны друг другу. Христианская, или гуманистическая, мораль объявляет каждую личность священной и утверждает, что законы арифметических действий никак нельзя применять к человеческим жизням. Революционная мораль однозначно доказывает, что общественная польза — коллективная цель — полностью оправдывает любые средства и не только допускает, но решительно требует, чтобы каждая отдельно взятая личность безоговорочно подчинилась всему обществу, а это значит, что, если понадобится, ее без колебаний принесут в жертву или даже сделают подопытным кроликом. Христианская

мораль запрещает вивисекцию, революционная — допускает и постоянно использует. Дилетанты и утописты во все времена пытались совместить эти две морали; реальность всегда разрушала их начинания. Правитель, отвечающий за благо подданных, с первых шагов встает перед выбором; и он обречен выбрать вивисекцию. Вот уже почти две тысячи лет правители большинства европейских стран официально исповедуют христианскую религию — а можешь ты назвать хоть одного правителя, который на протяжении всей своей жизни постоянно придерживался христианской морали? Не можешь ты назвать такого правителя. Потому что в особо острые периоды — а у политиков все периоды острые — он объявляет «чрезвычайное положение» и начинает использовать чрезвычайные меры. С тех пор, как появились нации и классы, они должны защищаться друг от друга, а это заставляет их вечно откладывать устройство жизни по христианским заветам...

Рубашов машинально посмотрел в окно. Подтаявший снег покрылся настом и неровно взблескивал желтоватыми искрами. По внешней стене марширован часовой, винтовка висела у него на плече. Небо расчистилось, но луны не было. Вверху, над зубцами сторожевой башни, серебристо струился Млечный Путь.

Рубашов повернулся к окну спиной.

— Согласен,— сказал он, пожав плечами,— уважение к личности и социальный прогресс, гуманизм и политика — несовместимые понятия. Согласен, Ганди — катастрофа для Индии, а добродетель сковывает руки правителю. Так что в отрицании мы единодушны. Но давай посмотрим, куда мы пришли, используя нашу революционную этику.

— Давай,— согласился Иванов.— Так куда?

Рубашов потер пенсне о рукав и, близоруко сощурившись, глянул на Иванова.

— В какое месиво,— проговорил он,— посмотри, в какое кровавое месиво мы превратили нашу страну.

— Возможно.— Иванов беззаботно улыбнулся.— Однако вспомни Сен Жюста и Гракхов, вспомни историю Парижской Коммуны. Раньше все без исключения революции неизменно совершали дилетанты-морализаторы. Дилетантская «честность» их и губила. А мы, профессионалы, абсолютно последовательны...

— Настолько последовательны,— перебил его Рубашов,— что во имя справедливого раздела земли сознательно обрекли на голодную смерть около пяти миллионов крестьян,— и это только за один год, когда обобществлялись крестьянские хозяйства. Настолько последовательны, что, освобождая трудящихся от оков современного индустриального гнета, заслали в глухоманные восточные леса и на страшные рудники арктического севера около десяти миллионов человек, причем создали им такие условия, по сравнению с которыми жизнь галерников показалась бы самым настоящим раем. Настолько последовательны, что в теоретических спорах конечным доводом у нас является смерть,— будь то разговор о подводных лодках, искусственных удобрениях или линии Партии, которая проводится в Индокитае. Наши инженеры никогда не забывают, что любая ошибка в технических расчетах грозит им тюрьмой или «высшей мерой»; администраторы обрекают подчиненных на смерть, потому что знают — малейший промах станет причиной их собственной гибели; поэты завершают дискуссии о стиле прямыми доносами в Политическую полицию, потому что того, кто окажется побежденным, непременно объявят врагом народа. В заботе о счастье грядущих поколений мы наваливаем на людей такие лишения, что сейчас у нас средняя продолжительность жизни сократилась уже приблизительно на четверть. Во имя защиты страны от врагов мы прибегаем к чрезвычайным мерам и вводим законы переходного периода, в которых решительно каждый пункт противоречит целям нашей Революции. Уровень жизни наших трудящихся скатился ниже дореволюционного, условия труда стали более тяжкими, нормы повысились, расценки понизились, а дисциплина сделалась воистину рабской; по нашему новому уголовному кодексу даже двенадцатилетних детей можно приговаривать к смертной казни, а с нашими законами о семье и браке по ханжеству не сравнятся даже британские. Вождей у нас почитают, как восточных владык, газеты и школы проповедуют шовинизм, постоянно раздувают военную истерию, насаждают мещанство, догматизм и невежество. Деспотическая власть Революционного Правительства достигла небывалых в истории размеров — она по существу ничем не ограничена. Свобода слова и свобода совести искореняются с такой беззастенчивой откровенностью, словно не было Декларации прав человека. У нас гигантская Политическая полиция с научно разработанной системой пыток, а всеобщее доносительство стало нормой. Мы гоним хрипящие от усталости массы — под дулами винтовок — к счастливой жизни, которой никто, кроме нас, не видит. Нынешнее поколение полностью обескровлено, оно — буквально — превратилось в массу обескровленной, немой, умирающей плоти. Таковы последствия нашей последовательности. Ты вот говорил о вивисекторской морали. И, знаешь, мне иногда представляется, что мы, ради нашего великого эксперимента, содрали с подопытных кроликов кожу и гоним их кнутами в светлое будущее...

— Ну и что? — беззаботно спросил Иванов.— Неужели тебе это не кажется прекрасным? Ведь ничего подобного еще не было в Истории. Мы сдираем с человечества старую шкуру, чтобы впоследствии дать ему новую. Занятие не для слабонервных, правильно,— но тебя-то оно в свое время вдохновляло. А теперь ты жеманишься, как старая дева,— интересно, что же тебя так изменило?

У Рубашова вертелся на языке ответ: «Фамилия, которую выкрикнул Богров»,— но он понимал, что это бессмыслица. Он сказал:

— Продолжим метафору: я вижу освежеванное нами поколение и не знаю, где взять новую кожу. Нам представлялось, что с человеческой историей можно экспериментировать, как с неживой природой. Физику дано повторять свой опыт хоть тысячу раз, не то с историей. Сен-Жюста или Дантона можно казнить, однако оживить их уже нельзя; и если окажется, что Богров прав, справедливость никогда не будет восстановлена.

— Ну так и что? — спросил Иванов.— По-твоему, нам надо сидеть сложа руки, потому что последствия наших поступков невозможно предвидеть во всей полноте? Выходит, всякий поступок — зло? Мы головой отвечаем за свои поступки — кто посмеет требовать большего? Наши противники не так щепетильны. Какой-нибудь выживший из ума генерал экспериментирует с тысячами живых людей, а что ему будет, если он ошибется? Выгонят в отставку, да и то вряд ли. Контрреволюционеров совесть не мучает. Возьми Суллу, Галифэ, Колчака — думали они о преступлении и наказании? Нет, это только революционным волкам приходит в голову блеять поовечьи. Их противники живут проще...

Иванов посмотрел на свои часы. Зимняя ночь подходила к концу. Прямоугольник окна стал мутно-серым, комок газеты в левом углу разбух и подрагивал от порывов ветра. Часовой маршировал взад и вперед.

— Для бойца с твоим прошлым,— продолжал Иванов,— страх перед экспериментированием — наивная чепуха. Ежегодно несколько миллионов человек бессмысленно умирает от массовых эпидемий, да столько же уносят стихийные бедствия. А мы, видите ли, не можем пожертвовать всего несколькими сотнями тысяч ради величайшего в Истории опыта! Я уж не говорю об умерших от голода, о смертниках ртутных и серных рудников, о рабах на рисовых и кофейных плантациях — а ведь им тоже «имя легион». Никто не обращает на них внимания, никому не интересно, почему и за что гибнут ни в чем не повинные люди... если же мы осмелимся расстрелять несколько сотен тысяч человек, гуманисты подымают истошный вой. Да, мы выслали крестьян-мироедов, которые эксплуатировали чужой труд; да, они умерли на востоке от голода. Это была хирургическая операция, мы вырезали мелкобуржуазный гнойник. До Революции у нас во время засух гибли сотни тысяч бедняков — бессмысленно и бесцельно,— но мир не рушился. Разливы Желтой реки в Китае губят сотни тысяч крестьян — и все считают, что так и надо. Природа щедра на слепые эксперименты, и материалом ей всегда служит человечество. Почему же человечество не имеет права ставить эксперименты на самом себе?

Он замолчал, но Рубашов не ответил и, подойдя к окну, глянул во двор.

— Ты когда-нибудь читал,— спросил Иванов,— брошюры Общества защиты животных? Вот уж душераздирающее чтение! Когда узнаешь про несчастную шавку, которая жалобно скулит от боли и лижет руку своего мучителя, а он-то, негодяй, и вырезал ей печень,— становится тошно... как тебе сегодня. Но, если б защитничкам дали власть, у человечества до сих пор не было бы вакцин от чумы, тифа, проказы, холеры...

Он плеснул в стакан остатки коньяка, выпил, потянулся и встал с койки. Потом, прихрамывая, подошел к окну.

— А ночь-то кончается,— проговорил он. И добавил: — Не будь дураком, Рубашов. Все, что я сказал, для тебя не ново. Я знаю, ты был в угнетенном состоянии, но когда-то надо же прийти в себя.— Он стоял у окна рядом с Рубашовым, дружески положив ему руку на плечо.— Давай-ка, старый бродяга, отоспись, и примемся за дело: срок-то кончился, сегодня надо сварганить заявление. Да не дергай ты плечами, я все равно знаю — рассудком ты понимаешь, что от этого не уйти. И если ты все-таки откажешься от признания, то это будет моральной трусостью. А моральная трусость, как тебе известно, приводит к очень унизительным мучениям.

За окном расстилалась рассветная муть. Часовой начинал очередной поворот. Вверху, над зубцами сторожевой башни, висело бледное сероватое небо; на востоке разливалась тусклая краснота. Немного помолчав, Рубашов сказал:

— Ладно, я обдумаю все это еще раз.

Дверь захлопнулась; он понимал, что его рассудок поддерживает Иванова. Он лег на койку; сил не было, но зато он чувствовал странное облегчение. Он был вымотан, опустошен и выжат, но с него свалился тяжелый груз. Камеру заполняла спокойная тишина, богровский голос почти заглох. Последовательная верность живым, а не мертвым — разве в этом заключается предательство?

Пока Рубашов спокойно спал — его не мучили ни зубы, ни сны,— Иванов зашел в кабинет Глеткина. Глеткин, одетый строго по форме, с пистолетной кобурой на поясном ремне, сидел за своим столом и работал. Три или четыре раза в неделю он работал круглые сутки. Когда Иванов вошел в кабинет, он встал и застыл по стойке «смирно».

— Сиди, сиди,— сказал Иванов.— Сегодня он подпишет все, что требуется. Но я попотел, исправляя твою глупость.

Глеткин стоял у стола и молчал. Иванов вспомнил грубый разнос, который он учинил своему подчиненному, когда услышал про случай с Богровым; он знал, что Глеткин ничего не прощает. Пожав плечами, он глубоко затянулся и дунул дымом ему в лицо.

— Не будь ослом,— сказал Иванов.— Всем вам мешают личные чувства. Я так думаю, что на его месте ты оказался бы еще упрямей.

— У меня есть опора, которой у него нет,— совершенно спокойно ответил Глеткин.

— Дурость у тебя есть,— сказал Иванов.— За такой ответ тебя следует расстрелять — и, может быть, даже раньше, чем его.

Он вышел из кабинета и хлопнул дверью.

Глеткин сел. Ему не верилось, что Иванов сумеет добиться успеха, и в то же время он боялся этого. Последняя фраза звучала угрожающе, а у Иванова никогда нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Возможно, он и сам этого не знал — как и все разъедаемые цинизмом интеллигенты.

Глеткин недоуменно пожал плечами, сунул пальцы под скрипучий ремень, согнал назад складки гимнастерки и снова склонился над папкой с протоколами.

ОЧНАЯ СТАВКА

Порою слова служат для сокрытия фактов. Но никто не должен знать об этой уловке, а на случай, если ее все же заметят, надобно иметь под рукой убедительные оправдания.

Маккиавелли, «Наставления»

Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого.

Мф. V, 37

1

Из дневника Н. З. Рубашова. Двенадцатый день заключения

...Инерция выбросила Михаила Богрова из жизни. Сто пятьдесят лет назад, в день штурма Бастилии, исторический маятник Европы снова сдвинулся с места. Оковы многовековой тирании были разбиты, и маятник, набирая скорость в революциях и войнах, пошел вниз, к разрушению прежнего общественного уклада, чтобы подняться потом до противоположной высшей точки, к либерализму и демократии. Около ста лет продолжалось это движение. Но скорость маятника постепенно уменьшалась, и вот, застыв на секунду, он опять двинулся вниз, к войнам и анархии, чтобы снова выйти на прежний уровень тирании. Тот, кто, подобно Богрову, не остановился вместе с потерявшим скорость маятником, был вышвырнут инерцией собственного сознания за пределы земного бытия.

Для того чтобы этого не случилось, надо знать законы исторического развития. Маятник истории постоянно движется от абсолютизма к демократии и обратно, набирая скорость в революциях и войнах, разрушающих социальные уклады.

Степень личной свободы индивида зависит от политической зрелости масс. А маятниковое движение Истории показывает, что политическая зрелость масс изменяется в зависимости от технического прогресса.

Политическая зрелость масс определяется их способностью осознавать собственные нужды. А для того, чтобы осознать свои нужды, массы должны разобраться в процессе производства и распределения материальных благ. Таким образом, чем яснее понимают массы социально-экономическую структуру общества, тем демократичнее оно может быть организовано.

Всякое техническое открытие приводит к изменениям в экономической системе, но массы далеко не сразу постигают сущность этих изменений. Каждый новый этап технического прогресса опережает сознание масс, а значит, их политическая зрелость неминуемо понижается. Очень часто новое состояние экономически осознается только следующим поколением, и, следовательно, только при нем достигается уровень демократии, предшествовавший открытию. Из вышеизложенного явствует, что политическая зрелость масс есть величина относительная и зависит она от исторического этапа, в котором находится данное общество.

Как только массы выходят на уровень понимания своей социально-экономической структуры, возникает демократическое правление. Оно существует до следующего этапа — скажем, до изобретения ткацкого станка, отбрасывающего массы к политической незрелости,— когда снова может или, точнее, должна возникнуть диктатура правителей.

Этот процесс можно уподобить поднятию корабля с одного уровня на другой в системе шлюзов. Сначала корабль находится на уровне, который ниже возможностей данного шлюза; он подымается до тех пор, пока не достигнет высшей точки. Однако понятие «высшая точка» является здесь условным: следующий шлюз расположен выше, и процесс повторяется снова. Стены шлюза — это степень контроля над силами природы, то есть состояние технической цивилизации; медленно повышающийся уровень — это степень политического сознания масс. Было бы бессмысленно сравнивать уровень воды в шлюзе с так называемым «уровнем моря»: в настоящем случае важно, насколько стены шлюза выше уровня воды в самом шлюзе.

Изобретение паровой машины открыло эпоху стремительного технического прогресса, за которым не поспевало политическое сознание масс, а поэтому диктатура властителей становилась все жестче. Промышленная революция — качественно новое явление в мировой истории, и современная экономическая система до сих пор недоступна пониманию широких масс. Ясно, что уровень массового политического сознания любой установившейся эпохи — феодализма, например,— был выше нынешнего, ибо тогда массы лучше, чем сейчас, разбирались в социально-экономической структуре своего общества.

До сих пор теоретики социализма ошибочно утверждали, что политическая зрелость масс повышается постоянно и равномерно; они не учитывали относительности этого процесса. Отсюда — их неумение объяснить сегодняшний ход маятника. Теоретики — и я в том числе — полагали, что адаптация масс к изменяющимся условиям происходит непрерывно, однако исторический опыт показывает, что процесс этот дискретен и исчисляется не годами, а столетиями. Народы Европы и доныне не осознали последствий изобретения паровой машины. Капиталистическая система рухнет, прежде чем массы поймут ее экономическую структуру.

Что касается Родины Революции, то сознание масс и здесь развивается по тем же законам. Мы вошли в очередной шлюз, но находимся на его самом низком уровне. Новая экономическая структура совершенно непонятна массам. Наш корабль только начинает подниматься в шлюзе, и подъем этот будет мучительно трудным. Весьма вероятно, что лишь третье или четвертое поколение поймет внутреннюю сущность тех невиданных изменений экономической структуры, которые произошли у нас в результате Революции, совершенной самими массами.

А пока что в нашей стране абсолютно невозможна демократическая форма правления — из-за крайней политической незрелости масс — и степень личной свободы индивида должна быть урезана до предела. Пока что наши руководители вынуждены править как самые жесткие диктаторы. Подобное правление, если судить его по классическим либеральным меркам, представляется чудовищным. И тем не менее все его ужасы являются лишь объективным отражением вышеописанных законов исторического развития. Эстеты и глупцы, которые видят только следствия, не желая разбираться в причинах, обречены на гибель. Но обречена на гибель и оппозиция, выступающая против диктатуры вождей в период политической незрелости масс.

Когда сознание масс достигает зрелости, оппозиция не только может — она должна апеллировать к народу. В другие периоды манипулирование так называемым «гласом народным» является чистейшей демагогией. Сейчас у оппозиционеров есть два пути: государственный переворот, который не будет поддержан массами, и уход во тьму небытия по инерции своего внеисторического сознания; это и значит «умереть молча».

Есть, однако, и третий, не менее последовательный, путь, который стал в нашей стране общепринятым: отказ от своих убеждений, если их нельзя реализовать. Поскольку мы руководствуемся единственным мерилом — общественной пользой — публичное отречение от собственных убеждений ради того, чтобы остаться в рядах Партии, гораздо честней идеалистического донкихотства.

Размышления об усталости и неприязнь к победителям, вызванные слабостью человеческой природы, или мысли об унижениях и позоре, продиктованные личной гордыней, должны быть с корнем вырваны из сознания революционера.

2

Рубашов начал писать о маятнике сразу же после сигнала побудки; Иванов ушел часа два назад. Когда одиночникам раздали завтрак, он отхлебнул тепловатого чая и даже не притронулся к пайке хлеба. Его почерк, потерявший былую четкость, теперь опять стал более твердым, буквы уменьшились и как бы окрепли, в них появилась прежняя угловатость. Он заметил это, перечитывая написанное.

В одиннадцать часов он прервал записи: его, как обычно, повели на прогулку. Но теперь ему дали нового напарника — изможденного крестьянина в рваных сапогах. Рип Ван Винкль куда-то исчез, и Рубашов вспомнил, что во время завтрака не раздалось привычного призыва «всавать». Очевидно, Рип Ван Винкля убрали... хорошо, если просто в другое место; этот мотылек с обтрепанными крыльями, пережив отмеренный ему Историей срок, вспорхнул, бессмысленно и слепо, еще раз, чтоб теперь уж навсегда быть втоптанным в прах.

Крестьянин шлепал оторванными подошвами и порой искоса посматривал на Рубашова. Потом уважительно прокашлялся и шепнул:

— Меня привезли из Д-го края. Ты там бывал, ваше благородие?

Рубашов ответил, что нет, не бывал. Он смутно помнил, что Д-ий край расположен где-то далеко на востоке.

— До наших краев дорога дальняя, туда по чугунке никак не доедешь. А ты за политику, ваше благородие?

Рубашов подтвердил, что да, за политику. У крестьянина из дырок в старых сапогах торчали синеватые голые пальцы. Он часто наклонял жилистую шею, словно отвешивая поклоны на молитве.

— Я и сам за политику,— шепнул крестьянин.— Я, значит, ваше благородие, риктинер. Нам сказали, что всех риктинеров будут высылать на десять годов. Как ты думаешь, ваше благородие, меня, значит, тоже будут высылать?

Он кивнул и покосился на охранников, которые зябко топали ногами, предоставив заключенных самим себе.

— А что вы сделали? — спросил Рубашов.

— Мы показали свою звериную сучность, когда у нас начали колоть ребятишек. А к нам, значит, ездили господа Комиссары. Запрошлый год они привезли газеты и свои нарисованные на бумагах личности. Прошлый год — молотильную машину и щетки, люди говорят, для зубов. А потом привезли такие трубки из стекла, с иголками, и стали колоть ребятишек. Там была такая женщина, Комиссарка, в портках, как мужик, и она нам сказала, что будет колоть всех ребят подряд. Ну и вот, и когда она пришла к нам домой, мы заперлись и показали свою звериную сучность. А потом мы всем миром сожгли газеты и личности на бумагах и молотильную машину, и нам сказали, что мы риктинеры. А потом они приехали, чтобы нас высылать.

Рубашов пробормотал нечто неразборчивое и принялся додумывать свою работу о политической зрелости народных масс. Он вспомнил, что где-то читал или слышал про коренных жителей Новой Гвинеи, напоминавших по развитию этого крестьянина, но создавших на редкость гармоническое общество с поразительно развитой системой демократии. Они достигли высшего уровня в низшем шлюзе бесконечного канала.

Крестьянин принял молчание Рубашова за знак неодобрения и тоже умолк. Его голые пальцы посинели от холода, на лице выражалась покорность судьбе, он шлепал полуоторванными подметками и через каждые несколько шагов вздыхал.

Как только Рубашова привели с прогулки, он снова принялся за свои записи. Ему не терпелось поскорее закончить разработку нового важного закона — «закона относительной зрелости масс» — и он трудился очень напряженно. К обеду работа была завершена. Он поел и удовлетворенно улегся на койку.

Он спал около часа, спокойно и без снов, а разбудил его вызов Четыреста второго — тому хотелось расспросить Рубашова, кто был сегодня его напарником. Однако Рубашов не стал отвечать. Улыбаясь, он отстукал дужкой пенсне:

капитулирую

и попытался угадать ответ.

Четыреста второй долго молчал; через минуту он ответил:

я бы лучше удавился

Рубашов засмеялся и отчетливо выстукал:

каждый поступает по своему разумению

Он ожидал, что Четыреста второй разразится яростным потоком ругани. Но ответ прозвучал глухо и тоскливо:

был склонен считать что вы исключение неужели вам совсем наплевать на честь

Рубашов неподвижно лежал на спине и рассматривал поднятое над головой пенсне. Ему было уютно, тепло и покойно. Он неторопливо отстукал в стенку:

у нас с вами разные взгляды на честь

Сосед ответил быстро и твердо:

честь это верность своим идеалам

Рубашов так же быстро и точно возразил:

честь это полезность делу без гордыни

Сосед простучал громко и резко:

честь это никакая не полезность а порядочность

объясните значение слова порядочность, неторопливо и со вкусом передал Руба-

шов. Чем спокойней становились рубашовские реплики, тем резче и беспорядочней отвечал поручик.

все равно не поймете, выстукал он.

Рубашов машинально пожал плечами и, устроившись на койке поудобней, отстучал:

мы заменили порядочность полезностью

Четыреста второй ничего не ответил.

Перед ужином Рубашов прочитал написанное. Он сделал одну или две поправки, а потом, вырвав из блокнота лист, придал своим мыслям форму заявления. Оно адресовалось Генеральному Прокурору. Рубашов подчеркнул последние абзацы, в которых говорилось о трех путях современной оппозиции, и твердо приписал:

Придя к этим выводам, нижеподписавшийся Н. З. Рубашов, бывший член Центрального Комитета Партии, бывший Народный Комиссар, бывший командир Второй бригады Народной Армии, награжденный Орденом Революции, решил полностью отказаться от своих прежних взглядов и публично признать свои ошибки.

3

Иванов, неизвестно почему, медлил: Рубашов ждал уже третий день. Он отправил заявление Прокурору точно в срок, назначенный Ивановым. Но тот явно теперь не торопился. Возможно, он изучал рубашовскую теорию об относительной политической зрелости масс, но, вернее всего, документ отослали в самые высшие партийные инстанции.

Рубашов с улыбкой думал о потрясении, которое вызовет его работа среди «теоретиков» Центрального Комитета. В годы предреволюционной борьбы и первое время после Революции, при жизни Старика с татарским прищуром, партийцы не делились на «теоретиков» и «политиков». Тактика момента в открытых дискуссиях выводилась непосредственно из революционной доктрины: вопросы стратегии на Гражданской войне, распределение земли, борьба с «мироедами», реквизиция зерна, перестройка промышленности, введение новых денежных знаков — словом, вся государственная политика была воплощаемой в жизнь теорией. Каждый участник Первого Съезда, запечатленный на старой групповой фотографии, разбирался в искусстве управления государством, политической экономии и философии права лучше, чем любой университетский профессор. Дискуссии в ЦК и на Съездах Партии достигали такой научной глубины, какая и не снилась ни одному Правительству за всю историю государственной власти: они напоминали теоретические споры узкоспециальных научных журналов — с той лишь разницей, что от их исхода зависела жизнь миллионов людей и судьба величайшей в мире Революции.

Но старая гвардия ушла из жизни. Революционная власть, по логике Истории, первоначально создав режим диктатуры, должна укреплять его все больше и больше, чтобы высвобожденные Революцией силы не обратились против самой Революции. Время философских Съездов миновало, групповые фотографии исчезли со стен, мятежную философию старых гвардейцев сменило верноподданничество новым вождям. Революционная теория, постепенно окаменев, обратилась в мертвый догматический культ с ясным, легко понятным катехизисом, а Первый сделался верховным жрецом. Его речи и по стилю напоминали катехизис: они состояли из вопросов и ответов, в которых события препарировались с простейшей, но совершенно неопровержимой для масс логичностью. Первый, как понял теперь Рубашов, инстинктивно опирался на неоткрытый закон относительной политической зрелости масс. Диктаторы-дилетанты во все времена принуждали своих подданных действовать по указке; подданные Первого по указке мыслили.

Рубашов с улыбкой представил себе, как отнесутся партийные «теоретики» к закону, изложенному в его заявлении. По нынешним условиям этот закон должен казаться весьма еретическим: Рубашов открыто говорил об ошибках давно канонизированных основоположников, называл вещи своими именами и даже священную личность Первого рассматривал с объективно-исторических позиций. Да, их скрючит, как чертей от ладана, этих несчастных современных теоретиков, которые только тем и занимаются, что объявляют постоянные зигзаги Первого новыми достижениями философской мысли.

Первый шутил с ними странные шутки. Однажды он поручил группе теоретиков, руководивших партийным экономическим журналом, провести анализ индустриального спада, охватившего Соединенные Штаты Америки. На это потребовалось несколько месяцев; наконец в специальном выпуске журнала, целиком посвященном Соединенным Штатам, теоретики доказали, что промышленный подъем, который якобы охватил

США, есть всего-навсего пропагандистский трюк, что страна находится в глубочайшем кризисе и что спасти ее может только Революция; теоретики развили тезисы Первого в докладе на очередном партийном Съезде. Едва появился специальный выпуск, Первый принял американских журналистов и, попыхивая трубкой, энергично сказал:

— Ваша страна справилась с кризисом; дела у американцев идут нормально.

Теоретики, ожидая отставки и ареста, в ту же ночь изготовили письма с признанием своих «чудовищных ошибок, которые привели к созданию теории, объективно играющей на руку врагам»; они просили дать им возможность публично осудить свои заблуждения. Только Исакович, сверстник Рубашова и единственный из экономистов соратник Старика, предпочел не писать писем, а застрелиться. Впоследствии знающие люди утверждали, что Первый затеял эту историю с тайным замыслом уничтожить Исаковича, который, возможно, примыкал к оппозиции.

Все это походило на гигантский фарс: разговоры о «мощной руке врага» велись, по существу, для усиления диктатуры, а она, несмотря на всю ее тяжесть, была сейчас объективно нужна. Что ж, тем хуже для тех глупцов, которые, участвуя в этом спектакле, не видят свойственных ему условностей. Раньше вопросы революционной тактики решались на открытой сцене Съездов, теперь решения принимают за кулисами — и это тоже объективно оправдано законом об относительной зрелости масс.

Рубашову представился зал читальни, спокойный свет зеленых абажуров — ему не терпелось привести свой закон в соответствие с общей революционной теорией. Продуктивней всего как теоретик он работал в ссылках, когда его вынуждали прервать активную политическую деятельность. Он размеренно шагал по камере, думая о ближайших двух-трех годах, в которые будет отлучен от политики,— публичное отречение от собственных взглядов даст ему давно необходимую передышку. Внешняя форма капитуляции — мелочь: он поклянется в верности Первому и возгласит традиционное mea culpa столько раз, сколько будет нужно, чтобы распечатать во всех газетах. При нынешней политической незрелости масс этот ритуал совершенно необходим: упрощенная и бесконечно повторяемая мысль легче укладывается в народном сознании — то, что объявлено на сегодня правильным, должно сиять ослепительной белизной, то, что признано сегодня неправильным, должно быть тускло-черным, как сажа; сейчас народу нужен лубок.

Четыреста второму этого не понять. Его архаическое понимание чести вынесено им из ушедшей эпохи. Порядочность — всего лишь традиционная условность, рожденная правилами рыцарских турниров. Сегодня честь определяется иначе: сегодня истинно честный человек служит общему делу без гордыни и идет по этому пути до конца.

«Любая смерть лучше бесчестья»,— наверняка сказал бы Четыреста второй, гордо подкручивая свои усишки. Вот она, слепая личная гордыня. Четыреста второй думал о себе; он, Рубашов,— об общем деле. Сейчас ему следовало во что бы то ни стало развить столь нужные Революции идеи — все остальное не имело значения. Ему потребуется несколько лет — ведь это будет фундаментальный труд — но зато история демократических систем впервые получит научное объяснение — сдвигами в политической зрелости масс; эти постоянные маятниковые сдвиги замечали многие правители-практики, но классическая теория классовой борьбы никак не объясняла, почему они происходят.

Рубашов, улыбаясь, расхаживал по камере. Главное — получить возможность работать, все остальное не имеет значения. Он чувствовал нетерпеливую ясность мысли и прилив сил; зуб не болел. После ночного разговора с Ивановым и отсылки заявления Генеральному Прокурору прошло два дня, но его не тревожили. Две недели ивановского срока пролетели для Рубашова, как один день, а теперь время словно бы замерло. Минуты тянулись подобно часам. Он пытался разрабатывать свои идеи, но ему не хватало исторических материалов. Он около получаса стоял у глазка в надежде увидеть наконец охранника, который отвел бы его к Иванову. Но залитый электричеством коридор был пуст.

А иногда он тешил себя надеждой, что Иванов сам придет к нему в камеру и тут же покончит со всеми формальностями,— это был бы наилучший вариант. Тогда он, пожалуй, выпьет и коньячка. Ему в деталях рисовался их разговор, напыщенные фразы покаянного признания, которое они будут придумывать вместе, и едкие остроты циника Иванова. Рубашов с улыбкой расхаживал по камере, но каждые десять минут останавливался и внимательно смотрел на свои часы. Разве Иванов не сказал в ту ночь, что днем он вызовет его к себе?

Нетерпение нарастало и становилось лихорадочным; в третью ночь после казни Богрова ему совсем не удалось уснуть. Он лежал на койке, смотрел во тьму, прислушивался к шаркающим шагам надзирателя и поминутно переворачивался с боку на бок; этой ночью ему впервые вспомнилось спокойное тепло женского тела. Он пытался дышать глубоко и ровно, чтобы поскорее себя усыпить, но нетерпение усиливалось с каждой минутой, ему очень хотелось постучать в стенку и завести разговор с Четыреста вторым, который после беседы о «чести» ни разу не подавал признаков жизни.

В полночь, проворочавшись без сна часа три, Рубашов не смог побороть искушения и костяшками пальцев постучал соседу. Потом прислушался. Поручик молчал. Он постучал еще раз и замер, ощущая тошную волну унижения. Четыреста второй продолжал молчать, хотя наверняка тоже не спал: он лежал за стеной с открытыми глазами, тоскливо пережевывая жвачку воспоминаний,— однажды в припадке откровенности он признался, что почти всегда засыпает под утро и не может справиться с мальчишеским пороком...

Рубашов бездумно смотрел во тьму. Тощий тюфяк был холодным и жестким, тонкое одеяло — тепловатым и волглым... Но, откинув его, он задрожал от озноба. Он докуривал седьмую или восьмую папиросу, пол камеры был усеян окурками. В корпусе не слышалось ни малейшего шороха, черная тишина поглотила время; Рубашов утомленно закрыл глаза; рядом с ним на койке лежала Арлова, темнота обрисовывала ее высокую грудь. Он забыл, что эта высокая грудь мертво свисала к каменному полу в тускло освещенном тюремном коридоре. Тишина давила на барабанные перепонки, как слитный рокот далеких барабанов. Сколько узников вмещали соты этого огромного каменного улья? Тысяч до двух, а может, и больше. Тишина набухала их неслышимым дыханием, неразличимыми снами, страхами и надеждами. Если История поддавалась расчетам, то чем исчислялись две тысячи кошмаров, помноженных на тысячи удушливых ночей, какую чашу весов они наполняли? Он дышал запахом арловского тела, покрывался испариной... Загрохотала дверь. Свет из коридора затопил камеру, болезненно надавил на опущенные веки.

Рубашов приподнялся и открыл глаза. Он увидел двух незнакомых охранников с пистолетными кобурами у поясных ремней. Один из охранников шагнул к койке. Он был высоким, жестколицым и хрипатым — его голос прозвучал неестественно громко. Он коротко приказал Рубашову встать; куда его поведут, он, разумеется, не сказал.

Рубашов нащупал под подушкой пенсне, надел его и медленно поднялся с койки. Когда его вывели в тюремный коридор, он почувствовал себя совершенно разбитым. Высокий охранник шел с ним рядом, он был на голову выше подконвойного; второй охранник шагал сзади.

Рубашов мимолетно глянул на часы: два; значит, он все же поспал. Они подошли к бетонной двери, отделяющей Одиночный корпус от Общего,— туда же уволокли и Михаила Богрова. Второй охранник приотстал шага на три. Рубашов вдруг ощутил холод в затылке; ему очень хотелось оглянуться назад, но он пересилил себя и не оглянулся. «Так не бывает,— подумалось ему,— какие-то формальности они должны соблюдать». Однако он не был в этом уверен. Его это, впрочем, не слишком и волновало — он хотел лишь, чтобы все поскорее закончилось. Он попытался понять, страшно ли ему, но не ощутил ничего, кроме физического неудобства от странно окостеневших шейных позвонков — он все время сдерживался, чтобы не оглянуться.

За парикмахерской показалась винтовая лестница, которая вела куда-то в подвал. Рубашов покосился на высокого охранника — не начнет ли тот замедлять шаги, чтобы оказаться у него за спиной. Он все еще совершенно не чувствовал страха — только любопытство и неестественную скованность; но, когда они спустились по винтовой лестнице, ноги у него вдруг сделались ватными, и он чуть не сел на каменный пол. Кроме того, он с удивлением обнаружил, что держит пенсне в правой руке и машинально потирает его о рукав — вероятно, он снял его, подходя к парикмахерской. «Себя не перехитришь,— подумалось ему.— Рассудку-то можно приказать не думать, но естество — так сказать, нутро — не обманешь. Если они начнут меня бить, я подпишу все, что им будет нужно, но завтра же отрекусь от своих показаний».

А потом ему вспомнился его новый закон и решение капитулировать; он облегченно вздохнул, пытаясь понять, как это случилось, что у него вдруг начисто отшибло память. Охранник, поравнявшись с одной из дверей, остановился, открыл ее и отступил в сторону. Рубашова ослепила яркая лампа; когда его глаза попривыкли к свету, он увидел кабинет, похожий на ивановский. Стол стоял у противоположной стены. За ним, лицом к двери, сидел Глеткин.

Дверь кабинета резко захлопнулась, и Глеткин поднял на Рубашова глаза. «Садитесь, пожалуйста»,— проговорил он. Этот ничего не выражающий голос запомнился Рубашову с их первой встречи так же, как и широкий розоватый шрам. Лицо Глеткина было в тени, потому что единственная, очень мощная лампа, напоминающая прожектор на железной ноге, стояла позади глеткинского кресла. Свет по-прежнему слепил Рубашова, и поэтому он лишь через несколько секунд разглядел третьего человека в кабинете — стенографистку, сидящую за маленьким столиком; она сидела справа от него, лицом к стене, отгороженная барьером. Рубашов медленно подошел к столу и опустился на высокую неудобную табуретку — только она и стояла перед столом.

— Мне поручено вести ваше дело,— объявил Глеткин,— так как следователь Иванов в настоящее время отсутствует.— Резкий свет лампы слепил Рубашова, но когда он отворачивал голову, в уголок глаза словно бы впивалась острая световая игла. Да и разговаривать, повернувшись к следователю в профиль, было глупо и унизительно.

— Я предпочел бы сделать заявление Иванову,— сказал он.

— Следователь по делу назначается компетентными органами,— ответил Глеткин.— А вы имеете право отказаться от дачи показаний. Это будет означать, что вы берете назад свое заявление, посланное два дня назад Генеральному Прокурору, и, таким образом, автоматически отпадает необходимость доследования. При такой ситуации я обязан отослать следственные материалы в Трибунал, который и вынесет заключение по вашему Делу.

Рубашов торопливо обдумывал услышанное. С Ивановым явно что-то случилось. Возможно, его срочно отправили в отпуск, или сняли с работы, или даже арестовали. Например, из-за прежней дружбы с подследственными или за его недюжинный ум и преданность Первому, основанную на логике, а не на слепой, безрассудной вере. Он был слишком логичен, слишком умен, он принадлежал к людям старого поколения — на смену ему уже пришли глеткины с их дубоватыми, но действенными методами... Что ж, мир праху твоему, Иванов. У Рубашова не было времени на жалость: ему следовало думать решительно и быстро. Слепящий свет мешал сосредоточиться. Он снял пенсне и на секунду зажмурился; он знал, что его близорукие глаза придают ему беспомощный и растерянный вид, а глеткинский ничего не выражающий взгляд обшаривал его оголенное лицо. Рубашов не находил путей к отступлению: упорство его неминуемо погубило бы. Глеткин внушал ему острую неприязнь — но глеткины сменили старую гвардию, с ними надо было договариваться или молча уходить во тьму, третьей возможности Рубашов не видел. Он вдруг почувствовал себя стариком — этого с ним никогда не случалось: он и не вспоминал, что ему за пятьдесят. Он надел пенсне и повернулся к Глеткину, стараясь посмотреть ему прямо в глаза; но свет слепил его, и он снял пенсне.

— Я готов сделать определенное заявление,— сказал Рубашов, отвернувшись от лампы; он надеялся, что не выдал своей неприязни.— Но с условием, что вы прекратите ваши штучки. Уберите этот дурацкий прожектор — применяйте свои устрашающие методы к жуликам, врагам и контрреволюционерам.

— Вы не правомочны ставить условия,— спокойно ответил Глеткин.— А я не могу подлаживаться под каждого преступника. Вы, видимо, до сих пор не осознали своего положения — и особенно того факта, что вас обвиняют в контрреволюционной деятельности. Вы уже два раза каялись, то есть публично подтверждали свою принадлежность к врагам народа и Партии. На этот раз вы так дешево не отделаетесь.

«Сволочь паршивая,— подумал Рубашов.— Боров с пистолетом». Он побагровел. Он знал, что его щеки наливаются кровью, и понимал, что следователь это видит. Сколько Глеткину могло быть лет? Вряд ли больше тридцати семи. Значит, на Гражданскую он пошел юнцом, а когда разразилась Великая Революция, он был просто сопливым мальчишкой. Он принадлежал к поколению людей, научившихся мыслить после Переворота. У них не могло быть ни памяти, ни традиций: они не знали ушедшего мира. Им не приходилось рвать пуповину, связывающую их с дореволюционной родиной. Но они, чистые в своей безродности, были сейчас объективно правы. И тот, кто родился с этой пуповиной — если он хотел служить Революции,— должен был не только ее оборвать: он должен был вытравить из своей памяти все представления старого мира с его пустопорожней сословной честью, тщеславной порядочностью и личной гордыней. Сегодня по-настоящему честный человек беззаветно служит общему делу и идет по этому пути до конца.

Злость Рубашова постепенно утихла. Все еще держа пенсне в руке, он опять повернулся лицом к Глеткину. Ему сразу же пришлось плотно зажмуриться — он словно бы до конца обнажился перед следователем — но это его сейчас не волновало. Свет яркой электрической лампы болезненно всплескивался в глаза сквозь веки. Рубашов до сих пор ни разу не испытывал такого всепоглощающего и полного одиночества.

— Я сделаю все,— проговорил он,— что может послужить на пользу Партии.— Его глаза были плотно закрыты, в голосе не слышалось злобной хрипоты.— Прошу зачитать обвинение в подробностях. Я еще не знаю, что мне инкриминируют.

Он не увидел, а скорее услышал, как схлынуло сковывавшее Глеткина напряжение. Тот явно расслабился: скрипнули ремни, спокойней и размеренней стало дыхание. Глеткин торжествовал серьезную победу. То, что сейчас заявил Рубашов, сулило следователю блестящую карьеру, а ведь он, конечно же, заранее не знал, как поведет себя с ним Рубашов,— но прекрасно знал судьбу Иванова.

И тут Рубашов впервые осознал, что Глеткин целиком зависит от него так же, как он зависит от Глеткина. «Я держу тебя за горло,— подумал Рубашов, с иронической ухмылкой глядя на следователя,— мы оба держим друг друга за горло, и если мне захочется уйти во тьму, то ты, голубчик, отправишься туда же». Глеткин, снова подтянутый и собранный, уже рылся в пачке документов на столе; Рубашов, потешившись несколько секунд тем, что он может угробить Глеткина, преодолел искушение и закрыл

глаза. Революционер должен отказаться от тщеславия, а разве попытка «умереть молча» — иными словами, совершить самоубийство — не есть изощренная форма тщеславия? Глеткин-то, разумеется, искренне уверен, что его штучки, а не доводы Иванова, вынудили Рубашова пойти на капитуляцию; возможно, он убедил в этом и начальство, изловчившись таким образом утопить Иванова.

«Сволочь ты с пистолетом,— подумал Рубашов, но сейчас он не чувствовал злости к Глеткину.— Монстр, вскормленный нашей же логикой, первобытное существо новейшей эры. Ты не понимаешь, что ты творишь, а если поймешь, то будешь уничтожен». Слепящий свет стал еще резче — Рубашов слышал, что следователь может усиливать и уменьшать яркость лампы. Ему пришлось совсем отвернуться и вытереть рукой слезящиеся глаза. «Монстр,— снова подумал он.— Но сейчас нам нужны именно монстры».

Глеткин начал читать обвинение. Его высокий монотонный голос стал особенно неприятным и резким; Рубашов слушал с закрытыми глазами. Он предполагал, что его «признание» — монолог из абсурдной, но полезной комедии — будет лишь формальностью, режиссерским приемом, но то, что сейчас читал ему Глеткин, звучало как горячечный, бессмысленный бред. Неужели Глеткин действительно верил, что он, Рубашов, впал в слабоумие? Что он на протяжении многих лет старался взорвать то самое здание, фундамент которого он и заложил? А старые гвардейцы с групповой фотографии, пришедшие в Революцию задолго до Глеткина,— неужели Глеткин действительно верил, что всех их скосило повальное слабоумие, и они, превратившись в продажных корыстолюбцев, годами мечтали только об одном — как бы поскорее похоронить Революцию, которая совершилась под их руководством? И эти искуснейшие в прошлом стратеги, судя по обвинению, использовали методы, почерпнутые из дешевых детективных романов...

Глеткин читал монотонно и медленно, тусклым, ничего не выражающим голосом, как человек, недавно одолевший грамоту. Рубашов услышал, что живя в Б., он продался силам международной реакции и замышлял контрреволюционный мятеж, чтобы реставрировать в стране капитализм. Упоминалось имя иностранного дипломата, с которым он якобы вел переговоры, а также место и время их встреч. Рубашов насторожился, напряг память. Да-да, был тогда один разговор с этим упомянутым в обвинении дипломатом, сразу же и забытый; он быстро прикинул, сходятся ли даты; даты сходились. Вот, значит, откуда тянется веревочка, которую захлестнут вокруг его шеи. Он вытер платком слезящиеся глаза.

Глеткин продолжал читать обвинение, выговаривая фразы с монотонной напряженностью. Неужели он действительно этому верил? Неужели не понимал, что все это бред? Теперь описывалась деятельность Рубашова, когда его «бросили» на легкие металлы. Глеткин зачитывал статистические данные, показывающие плохую организацию труда в этой новой области индустрии, которую развивали слишком поспешно: гибель рабочих из-за несчастных случаев, катастрофы при испытаниях опытных самолетов, сорванные сроки государственных заказов... И агент мировой буржуазии Рубашов искусно руководил этим дьявольским саботажем. Слово «дьявольский», среди цифр и сводок, звучало как-то особенно нелепо. Рубашов подумал, не рехнулся ли Глеткин,— эта смесь логики и горячечной фантазии напоминала навязчивый шизофренический бред. Однако обвинение-то составил не Глеткин — он лишь читал его, монотонно и спокойно, а значит, полагал, что все это правда или, по крайней мере, правдоподобно...

Рубашов повернул голову вправо и посмотрел на сидящую за барьером стенографистку — маленькую хрупкую женщину в очках. Она спокойно чинила карандаш и совершенно равнодушно слушала обвинение. Видимо, этот чудовищный бред казался и ей вполне убедительным. Ей было лет двадцать пять — двадцать шесть, она тоже выросла после Переворота. Фамилия Рубашова ни о чем не говорила этим неандертальцам новейшей эры. Сидит себе человек со слезящимися глазами, саботажник, продавшийся мировой буржуазии, а они монотонно читают обвинение и спокойно разглядывают его под прожектором — подопытного кролика на табуретке вивисекторов.

Обвинение, видимо, подходило к концу. Рубашов услышал, что он замышлял террористический акт — убийство Первого. Таинственный агент, упомянутый Ивановым на первом допросе, выплыл опять. Оказалось, что он был посудомойщиком в ресторане, где по будням готовили обеды для Первого. В этот «спартански скромный обед», постоянно прославляемый официальной пропагандой — по существу, это был не обед, а полдник, без горячих блюд,— агент Рубашова собирался якобы подмешать яд, чтобы отравить великого вождя. Чтение закончилось, Рубашов усмехнулся, открыл глаза и повернулся к Глеткину. Тот помолчал и, глядя на Рубашова, сказал по-обычному спокойным голосом:

— Итак, вы признаете себя виновным.— Это был не вопрос, а утверждение.

Рубашов попытался поймать его взгляд, но не выдержал ослепительно яркого света и зажмурился. Подавив злость, он сказал:

— Я признаю себя виновным в том, что я не понимал объективных законов, обусловивших нынешний партийный курс, а поэтому примыкал по взглядам к оппозиции. Я признаю себя виновным в том, что под влиянием абстрактно-гуманистических идеалов потерял представление об исторической реальности. За стенанием жертв классовой борьбы я не расслышал веских доказательств исторической неизбежности подобных жертв. Я признаю себя виновным в том, что вопрос о виновности и невиновности личности ставил выше интересов общества. И, наконец, я признаю себя виновным в том, что возносил человека над всем человечеством...

Рубашов замолчал и открыл глаза. Лампа заставила его отвернуться, и он перевел взгляд на стенографистку; наверно, он говорил необычайно тихо, потому что, когда он на нее посмотрел, она все еще продолжала напряженно вслушиваться и писала, совсем не глядя в блокнот; он видел только ее остренький профиль, но ему показалось, что она ухмыляется.

— Я знаю,— снова заговорил Рубашов,— что мои убеждения, воплоти я их в жизнь, были бы вредны для нашего дела. Оппозиция на крутых переломах Истории несет в себе зародыш партийного раскола, а значит, ведет к Гражданской войне. Мягкотелый гуманизм и либеральная демократия в периоды политической незрелости масс могут погубить завоевания Революции. Моя ошибка заключалась в том, что я стремился к гуманизму и демократии, не понимая вредности своих устремлений. Мне хотелось немного смягчить диктатуру, расширить демократические свободы для масс, свести на нет революционный террор и ослабить внутрипартийную дисциплину. Я признаю, что в настоящий момент такие устремления объективно вредны и носят контрреволюционный характер...

У него мучительно пересохло горло, голос стал сиплым, и он замолчал. В тишине слышался лишь шорох карандаша — стенографистка записывала его слова. Он немного приподнял голову и, по-прежнему не открывая глаз, закончил:

— В этом — и только в этом — смысле мое поведение контрреволюционно. А то, что вы мне тут сейчас читали, я категорически и решительно отвергаю.

— Выговорились? — спросил Глеткин.

Вопрос прозвучал так грубо, что Рубашов с удивлением посмотрел на следователя. Ослепительный свет четко очерчивал фигуру официально корректного чиновника — поведение Глеткина нисколько не изменилось. И сейчас Рубашов сформулировал наконец его краткую характеристику: «корректный монстр».

— Вы не первый раз это утверждаете,— сказал Глеткин резким, но невыразительным голосом.— В обоих ваших показаниях — два года и год назад — вы публично заявляли, что ваши взгляды «объективно контрреволюционны и противоречат интересам народа». Оба раза вы просили у Партии прощения и клялись поддерживать линию Руководства. В третий раз вам на этом выехать не удастся. Ваша сегодняшняя речь — очередная уловка. Вы признаете свои «контрреволюционные убеждения», но отрицаете преступные поступки, которые логически вытекают из ваших взглядов. Повторяю вам — больше этот номер у вас не пройдет.

Глеткин оборвал так же резко, как начал. Послышалось монотонное потрескивание лампы. Ослепительный свет стал еще ярче.

— Мои предыдущие заявления,— медленно выговорил Рубашов,— были продиктованы тактическими целями. Вы наверняка знаете, что тогда некоторых руководящих партийцев обязали выступить с публичным признанием своих ошибок — иначе их исключили бы из Партии. Сейчас я смотрю на это по-другому...

— То есть теперь вы раскаиваетесь непритворно? — быстро спросил Глеткин. В его голосе не было иронии.

— Да,— спокойно ответил Рубашов.

— А раньше притворялись — и, следовательно, лгали?

— Пусть будет так.

— Чтобы увильнуть от расстрела?

— Чтобы продолжить работу.

— После расстрела не поработаешь. Значит, чтобы увильнуть от расстрела?

— Пусть будет так.

В короткие промежутки между резкими вопросами Глеткина и своими ответами Рубашов слышал шорох карандаша — стенографистка вела протокол — и потрескивание лампы. Сноп слепящего света был удушливо теплым — Рубашов вынул платок и вытер вспотевший лоб. Он силился не закрывать слезящиеся глаза, но постоянно закрывал их, а открывал все реже и реже; ему неодолимо хотелось спать, и, когда Глеткин после серии отрывистых вопросов на несколько секунд умолк, он с равнодушным удивлением заметил, что его подбородок уперся в грудь. Следующий вопрос вырвал его уже из забытья — он не сумел определить, на сколько времени отключился.

— ...Повторяю еще раз,— донесся до него глеткинский голос,— значит, в ваших прежних заявлениях вы просто лгали, чтобы увильнуть от расстрела?

— Я ведь признал это,— сказал Рубашов.

— И значит, с той же целью вы публично отмежевались от Арловой?

Рубашов молча кивнул. Ему казалось, что жесткие лучики света, прожигая правое веко, дотягиваются по нервам до «глазного» зуба — зуб опять начинало дергать.

— Вам известно, что Арлова просила вызвать вас как свидетеля защиты?

— Да, мне сообщили об этом,— ответил Рубашов. Зуб дергало все сильней.

— И вам, конечно, известно, что ваши показания, которые вы сейчас сами назвали ложью, легли в основу ее смертного приговора?

— Мне сообщали об этом.

Рубашов чувствовал, что его правая щека наливается нарывной болью. В голове гудело, она свинцовела все тяжелее, он с трудом держал ее прямо. Голос Глеткина ввинчивался в уши:

— Значит, возможно, гражданка Арлова была ни в чем не виновна?

— Возможно,— коротко сказал Рубашов; саркастический ответ застрял у него в горле отрыжкой кровавой желчи.

— И, возможно, ее ликвидировали, потому что вы лгали, чтобы увильнуть от расстрела?

— Возможно,— повторил Рубашов. «Упырь проклятый,— добавил он мысленно с дряблой и бессильной злобой.— Разумеется, все так и было. Тогда кто же из нас упырь? Но ведь он-то вцепился мне в горло, а я должен ему поддакивать, потому что не имею права умереть молча. Если бы он дал мне поспать... А то я, кажется, сейчас действительно замолчу — и угроблю нас обоих».

— И после этого вы требуете к себе уважения? — «Корректный монстр» по-прежнему держал Рубашова за горло.— Отрицаете, что вы преступник? Хотите, чтобы мы вам верили?

Рубашов уже не силился держать голову прямо. Разумеется, Глеткин не мог ему верить. Он сам порой с трудом ориентировался среди собственных уловок и лжи, в хитросплетениях правды и вымысла. Путь к абсолютной цели бесконечно удлинялся, а его кажущаяся бесцельность представлялась иногда почти абсолютной. Этот бесконечный и страшно извилистый путь вел к окончательному торжеству справедливости на земле, но какой духовной эквилибристики требовал он от первопроходцев! Нет, не было у него сил, чтобы убеждать Глеткина в своей искренности. Вечно ему приходилось кого-то уламывать, уговаривать, убеждать... а сейчас он хотел одного — уснуть, уйти во тьму от этого беспощадного света.

— Ничего я не требую,— сказал Рубашов, медленно подымая голову.— Я отрицаю только, что я враг Партии, и хочу еще раз доказать ей свою преданность.

— Для этого у вас есть единственная возможность,— прозвучал глеткинский голос,— чистосердечное признание. Ваши возвышенные речи никому не принесут пользы. Мы требуем чистосердечного и правдивого рассказа о ваших преступлениях, которые вы совершили в результате «контрреволюционных убеждений». Вы принесете Партии пользу, если покажете массам — на собственном примере — в какое преступное болото заводит человека антипартийная деятельность.

Рубашову вспомнился холодный полдник Первого. Правая щека казалась ему онемевшей, но где-то в глубине, между глазом и зубом, воспаленные нервы пульсировали тупой болью. Когда он вспомнил о полднике Первого, его лицо искривилось невольной гримасой отвращения.

— Я не буду рассказывать о преступлениях, которых не совершал,— твердо проговорил Рубашов.

— И правильно сделаете,— сказал Глеткин. Сейчас в его голосе Рубашову впервые послышалась издевка.

Что было дальше, Рубашов помнил отрывочно и туманно. После фразы «и правильно сделаете», которую он не забыл из-за ее странного тона, в памяти зиял провал. Кажется, он уснул — и даже увидел очень приятный сон. Он длился, вероятно, всего несколько секунд — не связанные между собой туманные картины — мягкий ласковый свет, липовая аллея у дома его отца, затененная веранда, прозрачное облачко в небе...

Потом где-то вверху прогремел глеткинский голос — Глеткин стоял, принагнувшись над своим столом,— а в комнате был еще один человек.

—...Вы знаете этого гражданина?

Рубашов кивнул. Он сразу узнал его, хотя Заячья Губа был без плаща, в который он зябко кутался на прогулках. Рубашов послышался стук — знакомый ряд цифр: 5—6, 3—1, 2—1, 4—2; 1—3, 1—1, 3—2; 3—5, 3—6, 2—4, 1—3, 1—6, 4—2 — «...шлет вам привет». В связи с чем передал ему Четыреста второй это сообщение?..

— Где и когда вы познакомились?

Рубашов с трудом разодрал пересохшие губы; в горле все еще чувствовался привкус желчи.

— Я видел его из окна моей камеры, в тюремном дворе,— проговорил он.

— Так вы что — не знаете этого гражданина?

Заячья Губа стоял у двери, в нескольких шагах от Рубашова, ярко высвеченный мощной лампой. Его лицо, желтое днем, было сейчас голубовато-белым, рассеченная верхняя губа дрожала, приоткрывая бледно-розовую десну, нос казался тонким и заостренным, руки бессильно свисали вдоль тела. Он походил на покойника из страшненькой, но бездарной пьесы. Новый ряд цифр всплыл в рубашовском мозгу: 1—3, 5—1, 1—6, 3—6, 1—1; 3—5, 5—5, 4—2, 1—1, 3—1, 2—4 — «...вчера пытали». Забрезжила искорка воспоминания о живом двойнике этого мертвеца, об их давней встрече... но сразу же и угасла, не оформившись в четкую мысль.

— Я не могу сказать точно,— медленно выговорил он,— но сейчас мне кажется, что мы когда-то встречались.

Еще не закончив фразу, он понял, что поторопился. Глеткин не давал ему сосредоточиться, долбил быстрыми, отрывистыми вопросами, как стервятник, жадно клюющий падаль.

— Где и когда? Напрягитесь, ведь про вашу память рассказывают легенды.

Рубашов молчал. Он не мог совместить с реальностью этот залитый мертвым светом неподвижно-немой полутруп. Призрак облизывал бледным языком розоватый рубец на верхней губе, его взгляд метался от Глеткина к Рубашову и обратно, но голова не шевелилась.

Стенографистка перестала писать, слышалось только потрескивание лампы да скрип глеткинских ремней — он уже сел в кресло и, плотно обхватив концы подлокотников, резко спросил:

— Так вы отказываетесь отвечать?

— Я не могу вспомнить,— ответил Рубашов.

— Ладно,— сказал Глеткин. Он привстал, оперся кистями рук о подлокотники и, нагнувшись над столом, приказал Заячьей Губе:

— Свидетель, помогите гражданину припомнить. Где и когда вы с ним виделись в последний раз?

Лицо Заячьей Губы, и без того голубовато-бледное, подернулось трупной белизной. Его взгляд остановился на стенографистке, которую он явно только что заметил, но сейчас же метнулся в сторону, словно отыскивая, куда бы спрятаться. Он снова провел языком по шраму на верхней губе и торопливо, на одном дыхании, произнес:

— Гражданин Рубашов подстрекал меня отравить вождя нашей Партии.

Поначалу Рубашов услышал только голос — поразительно мелодичный и ясный для этого полутрупа. Голос — да, быть может, глаза — вот все что осталось в нем живого. Смысл ответа Рубашов осознал лишь через несколько секунд. Он предвидел опасность и ожидал чего-нибудь в этом роде — и все-таки был ошарашен незатейливой чудовищностью обвинения. Он совсем повернулся к Заячьей Губе, и сейчас же сзади прогремел глеткинский голос, резкий и раздраженный:

— Об этом вас не спрашивают! Где и когда вы виделись в последний раз с подследственным?

Рубашов сразу заметил просчет: Глеткину следовало затушевать ошибку Заячьей Губы. Тогда бы я ее не заметил, подумал он. Его голова прояснилась, он почувствовал лихорадочное возбуждение. Актер спутал репертуар — запел не ту песню. Он усмехнулся своей аналогии. Следующая реплика Заячьей Губы прозвучала еще мелодичней:

— Я видел гражданина Рубашова в Б., у него на квартире, он склонял меня убить руководителя Партии.

Его затравленный взгляд метнулся к Рубашову и застыл. Рубашов быстро надел пенсне и с острым любопытством посмотрел свидетелю в глаза. Но взгляд Заячьей Губы не был виноватым — он требовал братского понимания, жаловался на невыносимые муки и даже укорял Рубашова. Рубашов не выдержал и отвернулся первый.

За его спиной опять прогремел голос Глеткина — удовлетворенный и грубый:

— Вы помните дату встречи?

— Да, точно помню.— Голос Заячьей Губы снова поразил Рубашова своей музыкальностью.— Потому что мы встретились после дипломатического приема в праздник двадцатой годовщины Революции.

Он все еще не отрывал взгляда от Рубашова и словно бы молил спасти его, избавить от страданий. Искорка разгорелась — Рубашов наконец вспомнил, где он видел Заячью Губу. Но он не ощутил ничего, кроме прежнего любопытства. Повернувшись к Глеткину, он прикрыл веки, чтобы защитить глаза от режущего света, и спокойно сказал:

— Он прав, и дата верна. Мы виделись один раз, когда он приходил ко мне со своим отцом, профессором Кифером — еще до того, как попал в ваши руки,— может быть, поэтому я его не сразу узнал: методы у вас весьма эффективны.

— Значит, вы признаете, что знакомы с этим гражданином, и подтверждаете дату встречи?

— Я ведь уже и признал, и подтвердил,— устало ответил Рубашов. Его возбуждение схлынуло, в голове гудело.— Если б вы мне сказали, что он сын несчастного Кифера, я бы давно его узнал.

— В обвинении указывается полное имя свидетеля,— напомнил Глеткин.
— Я знал только партийную кличку его отца — Кифер,— сказал Рубашов.
— Ну, это маловажная деталь,— подвел итог Глеткин. Он опять привстал и тяжело посмотрел на Заячью Губу.— Продолжайте, свидетель. Как и зачем вы встретились?
Еще один просчет, подумал Рубашов, преодолевая сонливость. Это вовсе не маловажная деталь. Если бы я склонял его к убийству — кошмарный все-таки идиотизм! — то узнал бы при первом же намеке, и с именем, и без имени. Но он слишком устал, чтобы пускаться в столь длинные объяснения; притом для этого ему пришлось бы повернуться к лампе. А так он мог сидеть к ней спиной.
Пока они спорили, Заячья Губа безучастно стоял у двери с опущенной головой и трясущимися губами; мощная лампа ярко освещала его мертвенно-бледное лицо. Рубашов припомнил своего друга, профессора Кифера — первого историка Революции. На групповой фотографии он сидел по левую руку от Старика. Над его головой так же, как и у всех участников Съезда, виднелся похожий на нимб кружок с цифрой. Кифер был помощником Старика в исторических исследованиях, партнером по шахматам и, пожалуй, единственным личным другом. Когда Старик умер, он, как ближайший к нему человек, был назначен его биографом. Однако биография, которую он писал десять лет, не была обнародована. Официальная трактовка революционных событий в корне изменилась за эти десять лет, а роли главных действующих лиц задним числом перераспределили между статистами; но старый Кифер был упрям, он не хотел принимать в расчет диалектических законов новейшей эры, начатой правлением Первого...
— Я сопровождал отца на Международный конгресс этнографов,— звенел между тем голос Заячьей Губы,— а потом мы заехали в Б., потому что отец хотел навестить своего старого друга гражданина Рубашова.
Рубашов слушал с грустным любопытством. Заячья Губа говорил правду: старина Кифер заехал к нему в Б., чтобы излить наболевшие обиды, а заодно и посоветоваться. Тот вечер был, вероятно, последним приятным воспоминанием Кифера о земной жизни.
— У нас в распоряжении был всего один день,— Заячья Губа неотрывно смотрел на Рубашова, как бы требуя у него помощи и поддержки,— день Праздника Революции, вот почему я так точно запомнил дату. Гражданин Рубашов был очень занят и днем смог уделить моему отцу только несколько минут, но вечером, после дипломатического приема в Миссии, он пригласил отца к себе на квартиру, а отец взял с собой и меня. Гражданин Рубашов казался усталым, он был в халате, но принял нас тепло и по-дружески. Он поставил на стол вино, коньяк и печенье, а потом обнял отца и сказал: «Пусть это будет прощальный ужин последних могикан-партийцев»...
Из-за спины Рубашова, прерывая мелодичный рассказ Заячьей Губы, проскрежетал глеткинский голос:
— Вы сразу заметили намерение хозяина напоить вас, чтобы втянуть в заговор?
Рубашову показалось, что по изуродованному лицу Заячьей Губы скользнула улыбка,— и он впервые заметил, что этот призрак напоминает его тогдашнего гостя. Но улыбка тут же исчезла, свидетель испуганно моргнул и облизал языком сухие губы.
— Он вел себя немного странно, но я не понял, какие у него планы.
«Несчастный ты сукин сын,— подумал Рубашов,— что же они с тобой сделали...»
— Продолжайте, свидетель,— снова раздался голос Глеткина.
Заячья Губа несколько секунд собирался с мыслями. Было слышно, как стенографистка чинит карандаш.
— Сначала гражданин Рубашов и мой отец вспоминали прошедшие годы. Они очень долго не виделись. Они говорили о дореволюционных временах, о Революции, о Гражданской войне, рассказывали друг другу про своих старых друзей, которых я знал только понаслышке, намекали на какие-то не известные мне события, шутили и смеялись, но я не всегда понимал — над чем.
— И много пили? — полуутвердительно спросил Глеткин.
Заячья Губа поднял голову и беспомощно заморгал. Рубашову показалось, что он едва заметно покачивается, как бы с трудом удерживаясь на ногах.
— Да, довольно много,— покорно подтвердил он.— За последние годы я ни разу не видел отца таким веселым.
— И через три месяца вашего отца разоблачили как контрреволюционера? — спросил Глеткин.— А спустя еще три месяца ликвидировали?
Заячья Губа облизнул языком розоватый рубец и, тупо глядя на лампу, промолчал. Рубашов безотчетно оглянулся на Глеткина, но режущий свет заставил его зажмуриться, и он медленно отвернулся, машинально потирая пенсне о рукав. Стенографистка перестала писать, и кабинет затопила тишина. Затем снова послышался глеткинский голос:
— Вы тогда уже знали о вредительской деятельности отца?
Заячья Губа опять облизнул розоватый шрам.
— Да,— проговорил он.

— И понимали, что Рубашов разделяет его взгляды?
— Да.
— Перескажите сущность их разговора. Без подробностей.
Заячья Губа убрал руки за спину и прислонился к стене.
— Потом мой отец и гражданин Рубашов заговорили про наши дни. Они ругали партийцев и обливали грязью партийных руководителей. Гражданин Рубашов и мой отец панибратски называли вождя Партии Первым. Гражданин Рубашов сказал, что с тех пор, как Первый оседлал Центральный Комитет, дышать там, под его задницей, стало нечем. Поэтому, дескать, он и предпочитает работать за границей.
Глеткин повернул голову к Рубашову.
— Если я не ошибаюсь, вскоре вы публично заявили о своей преданности руководителю Партии?
Рубашов скосил на него глаза.
— Вы не ошибаетесь,— сказал он.
— Они обсуждали это намерение Рубашова? — спросил Глеткин Заячью Губу.
— Да. Мой отец упрекал его и говорил, что честный партиец так поступать не должен. А гражданин Рубашов засмеялся и назвал отца наивным донкихотом. Он сказал, что им надо выжить и дождаться своего часа.
— Что он имел в виду, когда говорил «дождаться своего часа»?
Заячья Губа потерянно и почти нежно посмотрел на Рубашова. Тому даже почудилось, что он сейчас подойдет к нему и поцелует в лоб. Он усмехнулся этой мысли — и услышал мелодичный ответ:
— Того часа, когда вождь Партии будет смещен.
Глеткин, заметив усмешку Рубашова, сухо спросил:
— Вас, кажется, забавляют эти воспоминания?
— Возможно,— ответил Рубашов и закрыл глаза.
Глеткин согнал назад складки гимнастерки.
— Значит, Рубашов рассчитывал, что руководитель Партии будет смещен? — обратился он к Заячьей Губе.— Каким же образом?
— Мой отец полагал, что терпение партийцев истощится и они переизберут руководителя или заставят его уйти в отставку; он говорил, что эту идею надо нести в партийные массы.
— Ну, а Рубашов?
— А Рубашов опять засмеялся и назвал его наивным донкихотом. Он сказал, что Первый пришел к власти не случайно и добровольно от нее не откажется, потому что непоколебимо убежден в своей непогрешимости, а поэтому абсолютно аморален; что он прирожденный правитель, и власть у него можно отнять только силой. Ничего, мол, с ним не смогут поделать и партийные массы, потому что все ключевые посты в Партии занимает верная ему партийная бюрократия, которая знает, что, если его сместят, она немедленно лишится всех своих привилегий, а поэтому будет верна ему до конца.
Несмотря на сонливость, Рубашов с удивлением заметил, что юноша необычайно точно передает его мысли. Сам он уже забыл подробности тогдашнего разговора, но общий ход его рассуждений Заячья Губа пересказывал поразительно верно. Рубашов изумленно поглядывал на него сквозь пенсне.
Снова прогремел глеткинский голос:
— Значит, Рубашов подчеркивал, что надо применить насилие против Первого — я имею в виду руководителя нашей Партии?
Заячья Губа кивнул.
— И его доводы, подкрепленные обильной выпивкой, произвели на вас глубокое впечатление?
Заячья Губа ответил не сразу. Помолчав, он очень тихо сказал:
— Я почти не пил. Но его доводы произвели на меня глубочайшее впечатление.
Рубашов невольно опустил голову. Страшная догадка пронзила его, словно физическая боль. Неужели несчастный юноша сделал практические выводы из его рассуждений, неужели в этом свидетеле, безжалостно освещенном лампой вивисекторов, воплощена его, рубашовская, логика?
Глеткин не дал ему додумать до конца свою мысль. Снова проскрежетал его голос:
— И после теоретической подготовки Рубашов стал понуждать вас к действиям?
Заячья Губа не ответил.
Глеткин несколько секунд ждал. Рубашов поднял голову. Свидетель беспомощно моргал, слышалось сухое потрескивание лампы. Потом раздался глеткинский голос — даже более монотонный и бесстрастный, чем обычно:
— Вы хотите, чтобы вам помогли припомнить?
Эти слова были произнесены с нарочитым равнодушием, но свидетель вздрогнул, как от удара хлыстом. Он облизнул губы; в его глазах мерцал тупой ужас затравленного животного. И вот снова зазвучал мелодичный рассказ:

— Нет, он начал понуждать меня на следующее утро, когда мы встретились тет-а-тет.

Рубашов ухмыльнулся. Несомненно, сам Глеткин перенес эту мизансцену на следующий день — даже в его неандертальском мозгу не укладывалось, что старик Кифер стал бы спокойно слушать, как сына склоняют к убийству. Рубашов уже забыл про свою страшную догадку; он обернулся и, помаргивая от яркого света, спросил:

— Надеюсь, обвиняемый имеет право задавать вопросы свидетелю?

— Имеет,— коротко ответил Глеткин.

Рубашов повернулся к юноше.

— Насколько я помню,— проговорил он,— как раз перед этой поездкой вы защитили в Университете диплом?

Рубашов первый раз обратился прямо к свидетелю, и лицо Кифера снова осветилось надеждой на поддержку и помощь. Он кивнул.

— Значит, я помню правильно,— сказал Рубашов.— Кроме того, мне припоминается, что вы тогда собирались работать под руководством отца в Институте истории. Это ваше намерение осуществилось?

— Да,— ответил Заячья Губа и, поколебавшись, добавил: — Меня уволили после ареста отца.

— Понятно,— сказал Рубашов.— И вам пришлось подыскивать другую работу.— Он помолчал, а потом, оглянувшись на Глеткина, закончил:

— Таким образом, когда мы встретились с этим юношей, ни он, ни я не знали о характере его будущей работы и, следовательно, не могли планировать отравления Первого.

Шорох карандаша мгновенно оборвался. Рубашов, не глядя на стенографистку, понимал, что она перестала записывать и повернула свое мышиное личико к Глеткину. Свидетель тоже смотрел на Глеткина, но в его глазах уже не было надежды: они выражали растерянность и страх. Рубашову вдруг показалось, что он легкомысленно прервал серьезный и торжественный обряд; радость победы тотчас увяла. Голос Глеткина, официальный и равнодушный, окончательно засушил ее:

— Есть у вас еще вопросы к свидетелю?

— Сейчас нет,— ответил Рубашов.

— Мы не утверждаем, что вы настаивали на отравлении,— спокойно сказал Глеткин.— Вы дали приказ убить, метод убийства мог выбирать сам исполнитель.— Он повернулся к Заячьей Губе: — Вы именно так нас информировали?

— Да,— с явным облегчением подтвердил тот.

Рубашов точно помнил, как Глеткин читал: «Подстрекал к убийству посредством отравления»,— но ему вдруг стало на все наплевать. Пытался ли юный Кифер совершить это безумное убийство или только планировал его, признался ли он в своих намерениях или просто подтвердил выдумку истязателей,— дела не меняло: он, Рубашов, был виновен. Этот измученный юноша прошел до конца рубашовский путь — вместо самого Рубашова. Нет, не следователь, а подследственный пытался запутать юридическим крючкотворством ясное по существу дело. Следствие просто восстановило недостающие звенья логической цепи — оно было грубоватым и неуклюжим, но отнюдь не бредовым.

И все же, как представлялось Рубашову, один пункт обвинения был не совсем верен. Но он слишком устал, чтобы сформулировать свою мысль и высказать ее вслух.

— Есть у вас еще вопросы к свидетелю? — спросил Глеткин.

Рубашов отрицательно покачал головой.

— Вы можете идти,— сказал Глеткин Заячьей Губе и нажал кнопку звонка. Явившийся охранник защелкнул на запястьях Кифера металлические наручники. У двери Кифер еще раз повернул голову к Рубашову, и он вспомнил, что, возвращаясь с прогулки, тот всегда смотрел на его окно. Этот взгляд давил Рубашова, словно чувство мучительной вины,— он не выдержал, снял пенсне и отвел глаза.

Когда дверь захлопнулась, Рубашов понял, что почти завидует Заячьей Губе. Его уши уже опять сверлил глеткинский голос — обновленно резкий, но по-прежнему официальный и монотонный:

— Вы признаете, что показания Кифера совпадают в основных пунктах с формулировкой обвинения?

Рубашову опять пришлось повернуться к лампе. В голове гудело, электрический свет процеживался сквозь опущенные веки горячими розоватыми волнами. Однако слова «в основных пунктах» не укрылись от его внимания. Глеткин собирался исправить свой промах, сократив «подстрекал к убийству посредством отравления» до неопределенного «подстрекал к убийству».

— В основных пунктах совпадают,— проговорил Рубашов.

Удовлетворенно скрипнули глеткинские ремни; стенографистка, словно сытенькая мышка, завозилась на своем стуле. Рубашов почувствовал, что в их глазах он подтвердил свое заявление Генеральному Прокурору и окончательно признал себя виновным.

Откуда этим неандертальцам знать его собственные представления о виновности, справедливости и правде?

— Вам не мешает свет? — неожиданно спросил Глеткин.

Рубашову стало смешно. Глеткин решил расплатиться. Вот оно, мышление неандертальца. И все же, когда слепящий блеск немного померк, он ощутил облегчение и чуть ли не благодарность.

Теперь — правда, все еще с трудом — Рубашов мог посмотреть на Глеткина. Он поднял голову и увидел круглый, гладко выбритый череп с широким шрамом.

— Но один весьма существенный пункт я хотел бы уточнить,— сказал он.

— Какой именно? — спросил Глеткин. Его голос опять прозвучал резко и официально.

«Он, конечно, предполагает, что я заговорю об утренней встрече с мальчишкой, которой не было,— думал Рубашов.— Для *него* это очень важно: его занимают истинные факты, даже если они не имеют значения. Впрочем, по-своему, он, пожалуй, прав...»

— Пункт о насилии,— сказал он вслух.— Излагая свои тогдашние взгляды, я действительно пользовался этим словом. Однако я имел в виду не индивидуальный террор, а политическую активность масс.

— То есть Гражданскую войну? — спросил Глеткин.

— Нет. Легальную активность.

— Которая неминуемо переросла бы в Гражданскую войну, и вы это прекрасно знаете. А если так, то в чем же заключается ваше уточнение?

Рубашов не ответил. Только что этот пункт казался ему необычайно важным, но теперь он увидел, что разницы и правда нет. Если оппозиция могла добиться победы над гигантским бюрократическим аппаратом Первого только с помощью Гражданской войны, то почему это лучше, чем убийство одного Первого,— тем более что на войне погибли бы миллионы людей? Чем массовый политический террор лучше индивидуального? Это несчастный мальчик понял его не совсем верно — но, быть может, даже ошибаясь, он действовал гораздо последовательней его самого?

Оппозиция способна сломить диктатуру меньшинства только с помощью Гражданской войны. Тот, кто не приемлет Гражданской войны, должен порвать с оппозицией и подчиниться диктатуре.

Когда он писал эти простые фразы, полемизируя много лет назад с реформистами, ему и в голову не приходило, что он подписывает свой будущий приговор... У него не было сил спорить с Глеткиным. Решив, что проиграл, он сразу почувствовал облегчение: борьба закончилась, и с него сняли ответственность; больше всего на свете ему хотелось уснуть. Тяжкий груз в голове сливался с монотонным потрескиванием лампы; за столом вместо Глеткина уже сидел Первый, глядя ему в глаза с усмешливой и сатанински-мудрой иронией. Он вспомнил надпись на воротах кладбища в Эрани, где покоились обезглавленные Сен-Жюст, Робеспьер и шестнадцать их соратников: Dormir — спите.

А потом воспоминания Рубашова о допросе снова сделались отрывочными и туманными. Вероятно, он опять уснул — на несколько секунд или минут,— но снов, кажется, не видел. Глеткин разбудил его, предложив подписать протокол. Он взял ручку и с отвращением почувствовал, что она хранит еще тепло глеткинских пальцев. Стенографистка сидела не шевелясь, и кабинет заполняла спокойная тишина. Даже лампа перестала потрескивать, ее свет был неярким и желтоватым, а за окном занималось серенькое зимнее утро.

Рубашов расписался.

Чувство облегчения не покидало его, хотя он и забыл, почему оно возникло; преодолевая сонную одурь, он прочитал документ, в котором признавался, что подстрекал Кифера к убийству руководителя Партии. Ему вдруг почудилось, что все это — результат чудовищного и всеобщего взаимонепонимания; он хотел зачеркнуть свою подпись и разорвать протокол, но голова уже прояснилась, он отдал документ Глеткину и машинально потер пенсне о рукав.

Дальше в памяти зиял провал; он очнулся в коридоре, рядом с высоким охранником, который миллион лет назад отвел его к Глеткину. Глаза слипались; через несколько секунд он разглядел винтовую лестницу и, вспомнив свои страхи, сонно усмехнулся. Потом лязгнула дверь камеры, и он блаженно растянулся на койке; за мутным стеклом разливался серый рассвет, в верхнем углу окна подрагивал от ветра кусок газеты... он подложил под голову левую руку и мгновенно уснул.

6 Когда дверь снова открылась, рассвет за окном еще не успел разгореться в день — он спал едва ли больше часа. Сначала ему показалось, что принесли завтрак, но у двери стоял не надзиратель, а охранник. И Рубашов понял, что его опять поведут на допрос.

Он плеснул себе в лицо холодной воды над умывальником, надел пенсне и, заложив руки за спину, двинулся впереди охранника к глеткинскому кабинету — мимо одиночек, мимо общих камер и потом вниз по винтовой лестнице, ступени которой плавно поворачивали,— но он не замечал, что, спускаясь, кружит по спирали.

4

Все следующие допросы припоминались Рубашову, как один клубящийся мутный ком. Глеткин допрашивал его несколько суток подряд с двух или трехчасовыми перерывами, но он помнил только разрозненные обрывки их разговора. Он потерял счет дням; видимо, все это продолжалось больше недели. Рубашов слышал о методе физического сокрушения обвиняемого, когда сменяющиеся следователи непрерывно пытают его изнурительным многосуточным допросом. Однако Глеткин никогда не отдыхал и сам, отняв у Рубашова пафос нравственного превосходства жертвы над истязателями.

После первых сорока восьми часов он перестал различать смену дня и ночи. Лязгала дверь, на пороге появлялся высокий охранник, и он вставал с койки, не понимая, рассвет ли сереет за мутным стеклом или угасающий зимний день. А тюремные коридоры, двери камер и ступени винтовой лестницы заливало мертвое электрическое марево. Если во время допроса серая муть за окном постепенно светлела и Глеткин в конце концов выключал лампу, значит, наступало утро. Если сумерки сгущались и лампа вспыхивала,— начинался вечер.

Когда Рубашов заявлял, что голоден, в кабинете появлялись бутерброды и чай. Но есть ему обыкновенно не хотелось; вернее, он испытывал приступы волчьего аппетита, пока еды не было, но как только ее приносили, к горлу подкатывала тошнота. Кроме того, Глеткин никогда не ел в его присутствии, и ему казалось унизительным говорить, что он проголодался. Вообще, все физические отправления становились при Глеткине унизительными, потому что сам он никогда не показывал признаков усталости, не зевал и не сутулился, не курил, не ел и не пил — официальный и подтянутый, сидел он за своим столом, а его аккуратно пригнанные ремни негромко и корректно поскрипывали. Наихудшей пыткой для Рубашова становилось желание выйти из кабинета по естественной нужде. Глеткин вызывал дежурного охранника, и тот конвоировал Рубашова в уборную. Однажды Рубашов уснул прямо на толчке, с тех пор охранник не разрешал ему закрывать дверь.

Сковывающая его апатия сменялась иногда болезненно механическим возбуждением. По-настоящему он потерял сознание только один раз, хотя все время пребывал на грани обморока; но остатки гордости помогали ему пересиливать себя. Он закуривал, на секунду поворачивал голову к слепящей лампе, и допрос продолжался.

Порой его поражала собственная выносливость. Однако он знал, что границы человеческих возможностей гораздо шире расхожего представления о них и что обычные люди просто не догадываются о своей удивительной жизнестойкости. Ему рассказывали, например, про одного обвиняемого, которому не давали спать почти двадцать дней, и он выдержал.

Подписывая протокол первого допроса, он думал, что доследование кончилось. На втором допросе ему стало ясно, что оно только начинается. В обвинении было семь пунктов, а он пока согласился лишь с одним. Ему представлялось, что он уже выпил чашу унижений до дна. Но выяснилось, что полный разгром может повторяться до бесконечности, а бессилие способно нарастать беспредельно. И Глеткин, шаг за шагом, гнал его по этому нескончаемому пути.

Конец, впрочем, всегда был рядом. Стоило ему подписать обвинение целиком или полностью отвергнуть его, и он обрел бы покой. Но странное чувство какого-то извращенного долга не позволило ему свернуть с выбранной однажды дороги. Он шел по ней, перебарывая искушение сдаться, хотя раньше само слово «искушение» было для него пустым звуком, потому что он всю жизнь служил абсолютной идее. А сейчас это слово наполнилось конкретным смыслом, обрело форму беспрестанных унижений, гнетущую тяжесть бессонных ночей и невыносимую резкость ослепительной лампы — искушение, воплотившееся в реальность надписью на воротах кладбища для побежденных: «Спите».

Ему было очень трудно противиться этому мирному и мягкому искушению, оно опутывало туманом рассудок и сулило полнейший духовный покой. Глеткин громоздил бесчисленные логические доказательства его вины, а оно ненавязчиво, но постоянно напоминало совет записки, полученной в парикмахерской: «Умрите молча».

Иногда, охваченный апатией, Рубашов безмолвно шевелил губами. В таких случаях Глеткин прокашливался, сгонял назад складки гимнастерки под скрипучим ремнем, а Рубашов начинал потирать пенсне о рукав и безвольно кивал головой, потому что уже осознал в искусителе Немого Собеседника, которого, как ему казалось, он давно уничтожил в себе и которому здесь, в этом кабинете, было решительно нечего делать.

— Значит, вы отрицаете, что вели переговоры от имени оппозиции с представителями мирового капитализма, имея целью свержение существующего руководства в стране? Вы отрицаете, что за прямую или косвенную помощь обещали пересмотреть границы, то есть отдать интервентам определенные области нашей родины?

Рубашов решительно это отрицал; но когда Глеткин повторил ему дату и напомнил обстоятельства некоей встречи, в его сознании постепенно всплыл один незначительный, забытый разговор. Утомленно и растерянно слушая Глеткина, он сразу же понял, что тому не разъяснишь безобидности мимолетной светской беседы. Дело происходило в Торговой Миссии после официального дипломатического обеда. Рубашов разговорился с бароном З., Секретарем Посольства той самой страны, где Рубашову недавно выбили зубы, о редкой породе морских свинок — оказалось, что отцы барона и Рубашова разводили этих экзотических животных, а поэтому были, вероятно, знакомы.

— И где же теперь,— поинтересовался барон,— содержится питомник вашего отца?

— Его разорили во время Революции: морских свинок пустили на мясо.

— А из наших наделали эрзац-консервов,— меланхолично сообщил Рубашову барон. Он не скрывал брезгливого отвращения к новому режиму в своей стране и оставался дипломатом только потому, что у властителей не дошли еще до него руки.

— У меня и у вас похожие судьбы,— отхлебнув кофе, проговорил барон.— Мы с вами оба пережили свое время. Теперь не поразводишь экзотических животных. Нынешний век — эпоха плебса.

— Вы забываете, господин барон, что я выступаю на стороне плебса,— улыбаясь, напомнил собеседнику Рубашов.

— Я говорю не о социальной позиции,— немного помолчав, возразил барон.— Программа, выдвинутая нашим Усатиком, в принципе не вызывает у меня возражений — мне претит его пошлое плебейство. Человека можно послать на Голгофу только за то, во что он верует.— Они лениво попивали кофе, и через несколько секунд барон сказал: — Если у вас повторится Революция и вы сместите вашего Усача, постарайтесь не забыть о духовной вере или уж по крайней мере об экзотике.

— Это у нас едва ли случится,— ответил Рубашов и после паузы добавил: — Но у вас, судя по вашей реплике, все же допускают подобную возможность?

— Теперь допускают,— сказал барон.— На ваших последних судебных процессах вскрылись весьма интересные факты.

— И, видимо, у вас иногда обсуждают, какие шаги вам следует предпринять, если это невероятное событие все же случится? — спросил Рубашов.

Барон ответил быстро и точно, словно он предвидел рубашовский вопрос:

— В чужие дела мы вмешиваться не будем. Но сформированное Правительство — по его просьбе — можно поддержать... за определенную мзду.

Они уже стояли возле стола, и в руках у них были кофейные чашечки.

— Значит, если я вас правильно понял, вы обсуждали и размеры мзды? — Рубашов с легким беспокойством заметил, что небрежный тон ему не удался.

— Конечно,— спокойно ответил барон и назвал богатую пшеницей область, населенную одним из национальных меньшинств...

Рубашов забыл про этот разговор и никогда осознанно о нем не вспоминал. Светская беседа за чашечкой кофе — как он мог растолковать Глеткину, что она решительно ничего не значила? Рубашов устало смотрел на следователя, по-обычному корректного и каменно-безучастного. Он, без сомнения, не интересовался экзотикой. Не пил кофе с баронами-дипломатами. Читая, он напряженно выговаривал слова, запинался и ставил неверные ударения. Его происхождение было чисто плебейским, и читать он научился уже будучи взрослым. Нет, ему никак не объяснишь, что разговор, начавшийся с морских свинок, может закончиться бог знает чем.

— Короче, вы признаете, что этот разговор все же имел место? — спросил Глеткин.

— Он был абсолютно безобидным,— устало ответил Рубашов и сразу понял, что Глеткин оттеснил его еще на один шаг.

— Таким же безобидным, как ваши чисто теоретические рассуждения перед юным Кифером, что руководителя нашей Партии надо сместить посредством насилия?

Рубашов потер пенсне о рукав. А действительно, была ли та беседа «абсолютно безобидной»? Разумеется, он не вел никаких переговоров, да и барона З. никто не уполномочивал их вести. «Прощупывание почвы» — вот как это именуется у дипломатов. Но подобное «прощупывание» можно счесть и звеном в логической цепи его тогдашних рассуждений, а они опирались на проверенные практикой партийные традиции. Разве Старик в свое время не воспользовался услугами Генерального Штаба той же страны, чтобы вернуться на родину и довести начавшуюся Революцию до победы? И разве чуть позже, заключая первое перемирие, он не пошел на территориальные уступки, чтобы добиться передышки? «Старик меняет пространство на время»,— остроумно заметил тогда один рубашовский приятель. «Безобидный разговор» столь прочно сомкнулся с другими звеньями общей цепочки, что Рубашов и сам теперь смотрел на него глазами Глеткина. Того самого Глеткина, который, читая,— а в общем-то, и думая — чуть ли не по слогам, приходил к простейшим, но неопровержимым выводам... весьма вероятно, именно потому, что совершенно не интересовался экзотикой. А как он, кстати, узнал о том разговоре? Вряд ли их с бароном могли подслушать — и значит, дипломат из аристократической семьи служил агентом-провокатором... Бог весть из каких соображений. Такое часто случалось и раньше. Рубашову была подстро-

ена ловушка, неуклюже сляпанная примитивным воображением Первого, и он, Рубашов, попался в нее, словно слепой мышонок...

— Вы очень хорошо информированы о моей беседе с бароном З.,— сказал Рубашов, —а потому должны знать, что она не имела никаких последствий.

— Конечно, не имела,— ответил Глеткин,— благодаря тому, что вас вовремя арестовали, а все антипартийные группы в стране были разгромлены. Вам не удалось довести вашу измену до ее логического конца.

Чем он мог опровергнуть этот вывод? Сказать, что серьезные последствия были изначально невозможны хотя бы уже из-за его, рубашовской, дряхлости, которая мешала ему действовать последовательно, как того требовали партийные традиции и как повел бы себя на его месте Глеткин? Объяснить, что вся так называемая оппозиция давно выродилась в немощную трепотню из-за старческой дряхлости всей старой гвардии? Растолковать, что старая гвардия износилась и одряхлела, вымотанная жесточайшей подпольной борьбой, сырыми одиночками древних казематов и постоянным преодолением страха, о котором партийцы никогда не говорили друг с другом, так что каждому приходилось подавлять его в одиночку — многие годы, десятки лет? Рассказать, что старую гвардию вконец обессилили бесчисленные внутрипартийные распри и полнейшая беспринципность, непрерывные поражения и разврат абсолютной власти после победы? Стоило ли говорить Глеткину, что организованной оппозиции Первому никогда не существовало, что дело не шло дальше пустой болтовни и слабоумной игры с коварным, беспощадным огнем, что старая гвардия полностью исчерпала себя и поэтому ей, подобно мертвецам с кладбища в Эрани, остается надеяться только на вечный сон и оправдание потомков?

Так чем же он мог опровергнуть выводы этого неандертальского истукана? Его примитивная логика была совершенно неопровержимой, и однако, он ошибался — потому что перед ним сидел не закаленный боец Рубашов, а его немощная тень. И благодаря этой единственной, но коренной ошибке Рубашова обвиняли в поступках, которые он отказался совершать. «Человека можно послать на Голгофу только за то, во что он верует»,— сказал барон З.

Прежде чем подписать протокол, чтобы, придя в камеру, рухнуть на койку и провалиться в тяжкое забытье — до следующего сеанса вивисекции,— Рубашов задал Глеткину посторонний вопрос. Он знал, что после каждой победы Глеткин ненадолго смягчался — платил по счету. Рубашов решил узнать о судьбе Иванова.

— Гражданин Иванов арестован,— сказал Глеткин.

— А можно узнать, за что? — спросил Рубашов.

— Гражданин Иванов проявил преступную халатность при расследовании вашего дела,— ответил Глеткин,— а в частных беседах он цинично утверждал, что обвинение недостаточно обосновано.

— Но, возможно, он действительно не считал его достаточно обоснованным,— возразил Рубашов.— Возможно, ему, и правда, казалось, что я не преступник?

— В таком случае он должен был заявить, что не может вести данное дело, и доложить компетентным лицам о вашей невиновности.

Рубашов не был уверен, что Глеткин над ним издевается. Его голос звучал так же корректно официально, как обычно.

В другой раз, когда стенографистка ушла из кабинета, а Рубашов собирался подписать очередное признание — еще теплой от глеткинских пальцев ручкой,— он спросил следователя:

— Можно задать вам еще один посторонний вопрос?

Произнося эти слова, он смотрел на широкий глеткинский шрам.

— Мне говорили, что вы ратуете за сильнодействующие методы,— у вас их, кажется, называют «жесткими». Почему же, допрашивая меня, вы ни разу не прибегли к физическому воздействию?

— Вы имеете в виду пытки,— полуутвердительно и равнодушно сказал Глеткин.— Как вам должно быть известно, они запрещены нашим законодательством.

Он помолчал. Рубашов расписался на последнем листе протокола.

— Кроме того,— заговорил снова Глеткин,— существует определенный тип подследственных, которые подписывают при физическом воздействии все, что угодно, а на публичном процессе отрекаются от своих показаний. Вы принадлежите именно к этому типу упорных, но гибких людей. Из ваших признаний можно извлечь политическую пользу на открытом судебном процессе, только если они сделаны добровольно.

Глеткин впервые упомянул о публичном процессе. Но устало шагая перед высоким охранником обратно в камеру, Рубашов обдумывал не приближающийся суд, а слова Глеткина про «упорных, но гибких людей». Помимо воли они наполняли его радостной самодовольственностью.

«Я положительно впадаю в детство»,— думал он, блаженно вытягиваясь на койке. И чувство самодовольства не покидало его, пока он не уснул.

Всякий раз, подписывая после упорных споров новый пункт обвинения — измученный, странно успокоенный и уверенный, что его разбудят максимум через два часа,— всякий раз он засыпал с надеждой, что Глеткин даст ему выспаться и прийти в себя. Он прекрасно знал, что эта надежда не осуществится, пока битва не будет доведена до ее логического конца, превосходно понимал, что в очередном бою потерпит очередное поражение, и не сомневался в горестном для него исходе битвы. Тогда зачем же он мучил себя, зачем обрекал на нескончаемые унижения, вместо того, чтобы сдаться заранее и спокойно уснуть? Смерть давно уже потеряла для него свой метафизический характер, воплотившись в искусительное, ласковое, физически желанное слово *сон*. И все же странное чувство долга заставляло его бодрствовать и вести обреченную битву — хотя он знал, что воюет с ветряными мельницами. Но он продолжал сражаться, и Глеткин шаг за шагом заставлял его отступать, и ему было ясно, что, когда тот перекует последнюю несуразицу обвинения в аккуратное звено логической цепи, круг замкнется и он будет припёрт — то есть поставлен — к стенке. Но выбранный однажды путь следовало честно пройти до конца. И только тогда, вступив во тьму с открытыми глазами и поднятой головой, он завоюет право на ничем не нарушаемый сон.

В продолжение этого многосуточного допроса менялся постепенно и Глеткин — впрочем, почти незаметно. Однако рубашовские лихорадочные глаза регистрировали даже самые незначительные перемены. Глеткин был по-прежнему подтянутым и сухо официальным, все так же ничего не выражал его взгляд, все так же корректно поскрипывали аккуратно пригнанные ремни — но мало-помалу в его словно бы механическом голосе появлялись человеческие нотки, а режущий свет лампы становился все спокойней и под конец сделался почти нормальным. Глеткин ни разу не улыбнулся — так что Рубашов не узнал, способны ли улыбаться неандертальцы новейшей эры,— и никаких чувств его голос не выражал. Но однажды, когда после нескольких часов допроса у Рубашова кончилось курево, Глеткин, который сам не курил, вынул из кармана пачку папирос и протянул ее через стол Рубашову.

Один пункт обвинения Рубашову удалось отвергнуть: он доказал, что не насаждал вредительства, работая руководителем Народного Комиссариата легких металлов. По сравнению с другими, уже признанными им обвинениями, этот пункт значил не много, но он боролся до последнего. Допрос продолжался всю ночь. Рубашов, сиплым от усталости голосом, последовательно разбивал все свидетельства его виновности, подкрепленные тенденциозно толкуемой статистикой, приводил чудом всплывавшие в памяти цифры и факты, убедительно опровергал подтасованные следствием данные, и Глеткин не сумел отыскать слабого места в его обороне. Дело в том, что уже на втором или третьем допросе они заключили между собой негласный договор, по которому Глеткин должен был обосновывать всякий пункт обвинения рубашовскими идеями — хотя бы исключительно теоретическими,— а сделав это, имел право домысливать недостающие подробности или, как сформулировал для себя Рубашов, перековывать несуразицы следствия в звенья логической цепи. Они бессознательно выработали четкие правила игры и считали, что поступки, которые Рубашов должен был совершить, следуя логике своих теоретических рассуждений, действительно совершены; они потеряли представление о границах вымысла и реальности, о разнице между логическими конструкциями и фактами бытия. Рубашов изредка замечал этот перекос, и в такие минуты ему казалось, что он очнулся от длительного наркотического сна, а Глеткину, по всей видимости, ничего подобного не приходило и в голову.

Под утро, когда Рубашов с очевидностью доказал, что не разваливал работу по производству легких металлов, глеткинский голос окрасился чуть заметным призвуком неуверенности — как и при первом неправильном ответе Заячьей Губы на очной ставке. Он резко усилил накал лампы, чего давно уже не делал, но, заметив ироническую усмешку Рубашова, опять пригасил лампу, задал несколько незначительных вопросов, а потом сказал:

— Значит, вы категорически отрицаете свою вредительскую деятельность во вверенной вам отрасли промышленности — равно как и наличие у вас преступных замыслов?

Рубашов кивнул и, преодолевая сонливость, стал ждать, как поступит Глеткин. Тот повернулся к стенографистке:

— Запишите. Следствие рекомендует снять данный пункт по недостаточности улик.

Рубашов торопливо закурил, чтобы скрыть охватившее его детское торжество. Первый раз он одержал победу над Глеткиным. Разумеется, это была грустная, ничего не решающая победа в проигранной битве — и все же он победил; вот уже несколько месяцев или даже лет не испытывал он подобного ощущения... Глеткин взял у стенографистки протокол допроса и по сложившейся у них традиции отпустил ее.

Когда они остались одни и Рубашов встал, чтобы подписать протокол, Глеткин, протягивая ему ручку, сказал:

— Оппозиция всегда с успехом использовала промышленное вредительство, чтобы создавать руководству временные трудности и разжигать недовольство среди рабочих. Почему же вы так упорно настаиваете, что не прибегали — и даже не намеревались прибегнуть — к этому проверенному средству?

— Да потому что это идиотизм — сваливать все неудачи на вредительство,— ответил Рубашов.— И потому что меня мутит от непрерывных процессов над вредителями, которые ни в чем не виновны.

Почти забытое ощущение победного торжества взбодрило Рубашова, и он говорил громче обычного.

— Вы вот считаете вредительство выдумкой,— возразил ему Глеткин,— а тогда в чем же, по-вашему, причина неудовлетворительного состояния нашей промышленности?

— Непосильные нормы, нищенская оплата труда и драконовские дисциплинарные меры,— сейчас же ответил Рубашов.— Мне известны случаи, когда рабочих расстреливали как вредителей за пустячные ошибки, вызванные голодом и усталостью. За двухминутное опоздание человека увольняют с такой записью в Трудовой книжке, что потом его нигде не берут на работу.

Глеткин окинул Рубашова ничего не выражающим взглядом и спросил ничего не выражающим тоном:

— У вас были в детстве часы?

Рубашов ошарашенно промолчал. Он уже заметил, что новейшие неандертальцы начисто лишены чувства юмора — или точнее все они относятся к жизни с угрюмой серьезностью.

— Вам не хочется отвечать на мой вопрос?

— Были, конечно,— недоумевая ответил Рубашов.

— В каком возрасте вы их получили?

— Н-н-ну... лет, может быть, в девять или восемь.

— А я,— по-обычному корректно и официально сказал Глеткин,— узнал, что час делится на минуты, в шестнадцать лет. Когда крестьяне моей деревни ехали в город, они просто выходили из дому на рассвете, а потом спали около станции, пока не прибудет поезд. Иногда он прибывал в полдень, иногда к вечеру, а иногда на следующее утро. И большинство наших рабочих — деревенские люди. Неподалеку от моей деревни, например, построили крупнейший в мире сталелитейный завод. И вот мои земляки, вчерашние крестьяне, загружали доменную печь и ложились спать. К ним пришлось применить высшую меру наказания. В других странах процесс индустриализации растягивался на сто или двести лет, так что крестьяне естественно и постепенно привыкали к своей новой жизни. У нас они должны освоиться с машинами и промышленной точностью в десять лет. Если мы не будем увольнять их и расстреливать за малейшие ошибки, они не отвыкнут спать у станков или во дворах фабрик, и страну охватит мертвый застой, то есть она вернется к дореволюционному состоянию. В прошлом году Республику посетила делегация женщин-текстильщиц из Манчестера в Англии. От них ничего не утаивали, и когда они возвратились домой, то написали несколько негодующих статей, в которых сказано, что английские рабочие просто не выдержали бы таких условий труда, как у нас. Я читал, что текстильной промышленности Манчестера около двухсот лет. И я читал также, какие условия труда были у английских текстильщиков двести лет назад. Вы, гражданин Рубашов, пользуетесь аргументами английских текстильщиц. А ведь вам известны многие факты, которых они не знают. Так что алогичность ваших аргументов вызывает удивление. Но, с другой стороны, вы отчасти похожи на них: в детстве у вас были часы...

Рубашов молча и пристально смотрел на Глеткина. Что это? Неандерталец решил раскрыться? Однако Глеткин был по-обычному корректным и подтянутым, а в его тоне и взгляде не выражалось никаких чувств.

— До некоторой степени вы, пожалуй, правы,— сказал наконец Рубашов.— Но раз уж вы сами затронули эту тему, то объясните мне, пожалуйста, зачем вам нужны козлы отпущения, если вы понимаете, что причины наших промышленных неурядиц носят объективно-исторический характер?

— Опыт учит нас,— ответил Глеткин,— что сложные исторические процессы надо разъяснять народным массам на простом и понятном языке. Судя по моим сведениям из истории, человечество никогда не обходилось без козлов отпущения. Это — объективно-историческая закономерность, а ваш друг Иванов рассказал мне в свое время, что она опирается на религиозные воззрения древних народов. Он говорил, что это понятие ввели иудеи, которые ежегодно приносили в жертву своему богу козла, нагруженного всеми их грехами.— Глеткин замолчал и согнал назад складки гимнастерки под скрипучим ремнем.— Кроме того, существуют примеры, когда люди становились козлами отпущения добровольно. Лет в восемь или девять я слышал от нашего деревенского священника, что Иисус Христос называл себя агнцем, который взял на себя грехи мира. Лично я не верю, что один человек может спасти все человечество. Но вот уже две тысячи лет люди этому верят.

Рубашов пристально смотрел на Глеткина. Что он задумал? Зачем завел этот разговор. В каких лабиринтах блуждал его неандертальский ум?

— Однако согласитесь, что по нашим-то воззрениям народу следует говорить правду, а не населять мир новыми дьяволами-вредителями.

— Если моим землякам сказать, что они все еще отсталые и неграмотные, несмотря на завоевания Революции и успешную индустриализацию страны, это не принесет им никакой пользы. А если их убедить, что они герои труда и работают эффективней американцев, но страну лихорадит от дьявольского вредительства врагов,— это хоть както им поможет. Истинно правдиво то, что приносит человечеству пользу; по-настоящему ложно то, что идет ему во вред. В краткой истории для вечерних школ подчеркивается, что христианство зафиксировало высшую по тем временам ступень человеческого сознания. Правду ли говорил Христос, когда утверждал, что он сын бога и девственницы, нас не интересует. Мы имеем право вводить объективно полезные символы, даже если нынешние крестьяне воспринимают их буквально.

— Ваши доводы,— заметил Рубашов,— очень напоминают ивановские.

— Гражданин Иванов принадлежал, как и вы, к старой интеллигенции; беседуя с ним, я пополнял пробелы в своих исторических знаниях. Разница между нами заключалась в том, что я пользовался знаниями для службы народу и Партии, а Иванов был циником...

— Был? — спросил Рубашов и снял пенсне.

— Гражданин Иванов,— сказал Глеткин, глядя на Рубашова без всякого выражения,— расстрелян вчера ночью по решению Трибунала.

После этого разговора Глеткин отпустил его и не вызывал два часа. По дороге в камеру он попытался понять, почему смерть Иванова оставила его почти равнодушным. Она лишь пригасила радостное чувство победы, и он опять впал в сонное оцепенение. Видимо, сейчас его уже ничто не могло взволновать. Впрочем, он устыдился своего победного ликования еще до того, как узнал о расстреле Иванова. Глеткин был настолько силен, что даже победа над ним оборачивалась поражением. Массивный, неподвижный и бесстрастный, сидел он за столом, олицетворяя Правительство, обязанное своим существованием старой гвардии. Их детище, плоть от плоти и кровь от крови, выросло в чудовищного, не подвластного им монстра. Разве Глеткин не признал, что его духовным отцом был старый интеллигент Иванов? Рубашов беспрестанно напоминал себе, что глеткины продолжают дело, начатое старой интеллигенцией. Что их прежние идеи не переродились, хотя и звучат у неандертальцев совершенно бесчеловечно. Когда Иванов прибегал к тем же доводам, что и Глеткин, в его голосе — отзвуком ушедшего мира — слышались живые и мягкие полутона. Можно отречься от своей юности, но избавиться от нее нельзя. Иванов до конца тащил на себе груз воспоминаний о старом мире, вот почему в его голосе звучала насмешливая грусть, и вот почему Глеткин называл его циником. На Глеткина не давили воспоминания, от которых следовало отречься: у него не было прошлого. Чистый в своей безродности, он не ведал ни грусти, ни иронии.

5

Из дневника Н. З. Рубашова

...По какому праву мы, уходящие, смотрим на глеткиных свысока? Не напоминаем ли мы обезьян, которые потешались над первым неандертальцем? Высокоцивилизованные обезьяны, изящно прыгая с ветки на ветку, наверняка поражались уродству и приземленности неандертальца. Утонченные и грациозно веселые, предавались они возвышенным размышлениям, а он угрюмо расхаживал по земле, сокрушая своих врагов суковатой дубиной. Он вызывал у обезьян насмешливое удивление, и они забрасывали его гнилыми орехами. Но иногда ужас охватывал обезьян: они чуждались насилия и ели исключительно фрукты, а этот монстр жрал сырое мясо и убивал даже своих соплеменников. Он валил деревья и сдвигал нерушимые скалы, восставал против древних традиций и посягал на вековечные законы джунглей. Да, он был грубым, хищным и коварным — с точки зрения обезьян. И мартышки до сих пор смотрят на человека с боязливым отвращением...

6

На пятый или шестой день, во время очередного допроса, Рубашов потерял сознание. Он сидел перед Глеткиным, пытаясь изменить последний пункт обвинения — о причинах его преступных действий. В обвинении говорилось о «действиях из контр-

революционных убеждений» и, между прочим, как нечто самоочевидное, упоминалось, что он был платным агентом мирового капитализма. Рубашов не соглашался с этой формулировкой. Допрос начался на рассвете, а часов около одиннадцати Рубашов медленно сполз с табуретки, упал на пол и не поднялся.

Когда через несколько минут он пришел в себя, то увидел покрытую страусиным пухом голову врача, который плескал ему в лицо холодной водой из бутылки и растирал виски. От тяжелого запаха черного хлеба и полупереваренного сала Рубашова вырвало. Врач ругнулся — у него был резкий крикливый голос — и сказал, что подследственного надо вывести на свежий воздух. Глеткинский взгляд не выражал никаких чувств. Он позвонил и приказал вычистить ковер, а потом вызвал высокого охранника, и тот отконвоировал Рубашова в камеру. Вскоре старик-надзиратель повел его на прогулку.

В первое мгновение свежий морозный воздух одурманил Рубашова. Потом он ощутил, что у него есть легкие, и принялся жадно, с наслаждением дышать. В бледном небе светило неяркое зимнее солнце, и было одиннадцать часов утра — в незапамятные времена, еще до того, как он утонул в мутном потопе бесконечных допросов, его в этот час каждое утро выводили на воздух. Какой же он был дурак, что не ценил это восхитительное благо! Неужели нельзя просто дышать и жить, чтобы ежедневно гулять по хрустящему ароматному снежку и чувствовать на лице ласковое тепло предвечернего солнца? Неужели нельзя оборвать мутно-слепящий кошмар, который ждет его в глеткинском кабинете? Ведь живут же другие люди без этого...

Его напарником опять оказался крестьянин в рваных сапогах. Он искоса посматривал на слегка запинающегося Рубашова, а потом уважительно откашлялся и, не выпуская из виду охранников, сказал:

— Тебя что-то давно не видать, ваше благородие. Да и с лица будто больной, уж не помирать ли собрался? Говорят, скоро война.

Рубашов не ответил. Он с трудом преодолевал искушение нагнуться и захватить в горсть немного снега. Медлительно кружилась карусель заключенных. В двадцати шагах от него, между белыми насыпями, брела предыдущая пара — два серых человека примерно одного роста; перед их лицами клубились белесые облачка дыхания.

— Пахота подходит, ваше благородие,— сказал крестьянин.— А у нас, как стают снега, овец погонят в горы. Их туда три дня гонют. Раньше их со всей округи в один день собирали — и в горы. Как бывало рассвет зачнется, так везде, на всех дорогах гурты, и раньше их в первый день цельными деревнями провожали. Ты, ваше благородие, столько овец за всю свою жизнь не видел и столько собак... а уж пыли-то, пыли — ровно все облака небесные на землю спустились, а собаки лают, овцы блеют... Эх, и счастливое же было житье, ваше благородие!..

Рубашов поднял лицо к небу — в солнечных лучах уже чувствовалось мягкое весеннее тепло. Над зубцами сторожевой башни, по-весеннему расчерчивая прозрачный воздух, кружили птицы. Рубашов снова услышал тоскливый голос крестьянина:

— В такой день, когда чуешь, как начинают таять снега, жить бы и жить. Да только всем нам пришла пора помирать, ваше благородие. Погубят они нас всех, потому что мы ректинеры и потому что старому миру, когда нам жилось по-счастливому, пришел конец.

— И вы действительно были очень счастливы? — спросил Рубашов, но ответа не расслышал. Он помолчал и снова обратился к напарнику: — Вы помните то место в Библии, где народы возопили к своим пастырям: «Для чего нам было выходить из Египта?»

Крестьянин энергично закивал, но Рубашов видел, что он ничего не понял. Вскоре прогулка закончилась.

Свежий воздух исцелил Рубашова всего на несколько минут — он уже опять ощущал свинцовую сонливость и головокружение; к горлу подкатывала тошнота. У входа в корпус он торопливо нагнулся, прихватил в горсть снега и потер им пылающий лоб.

Его повели не в камеру, а прямо к Глеткину. Тот недвижимо сидел за своим столом, как и в ту минуту, когда Рубашова уводили... Сколько с тех пор прошло времени? Ему вдруг почудилось, что, пока он отсутствовал, Глеткин ни разу не пошевелился, даже не изменил позы. Шторы на окнах были задернуты, мертвый свет лампы заливал кабинет. Здесь, словно в недрах гнилой трясины, не двигалось даже время. Подходя к столу, Рубашов заметил на ковре мокрое пятно. Да-да, его ведь стошнило. И это случилось всего час назад...

— Будем считать, что вы пришли в норму,— сказал Глеткин.— Нам следует закончить с последним пунктом обвинения — о причинах вашей контрреволюционной деятельности.

Он с удивлением покосился на правую руку Рубашова — тот все еще сжимал

в горсти полурастаявший комочек снега. Рубашов проследил за глеткинским взглядом, улыбнулся и приподнял руку. Они оба смотрели, как снег превращается в капельки мутной воды. Когда снег растаял, Глеткин сказал:

— Как только вы подпишете последний пункт обвинения, наша работа будет завершена...

Лампа горела почти полным накалом. Рубашову пришлось закрыть глаза.

— ...И я оставлю вас в покое,— закончил Глеткин.

Рубашов приложил правую ладонь к виску, но она уже снова была горячей. «В покое,— мысленно повторил он последние слова Глеткина.— Покой и сон. Для чего нам было выходить из Египта?»

— Вам прекрасно известны причины моей деятельности. Вы знаете, что я не «действовал из контрреволюционных убеждений» и не продавался международному капитализму. Я делал то, что я делал, честно, повинуясь собственной совести.

Глеткин выдвинул ящик стола, вынул какую-то папку, раскрыл ее и монотонно прочитал:

— «Для нас субъективная честность не имеет значения. Того, кто неправ, ожидает расплата; тот, кто прав, будет оправдан... Таковы наши законы».— Он поднял взгляд на Рубашова.— Вы написали это в своем дневнике вскоре после ареста.

Электрический свет, прожигая опущенные веки, знакомо всплескивался в утомленные глаза. Собственная мысль, повторенная глеткинским голосом, показалась Рубашову грубой и обнаженной — словно исповедь, записанная на граммофонную пластинку.

Глеткин снова заглянул в папку и, не спуская безучастного взгляда с Рубашова, процитировал:

— «Сегодня истинно честный человек служит общему делу без гордыни и идет по этому пути до конца».

На этот раз Рубашов выдержал взгляд следователя.

— Мне непонятно,— сказал он,— чем я помогу Партии, если втопчу себя в прах и покрою позором. Я подписал все, что вам требовалось. Я признал свои действия объективно вредными и контрреволюционными. Неужели этого мало?

Он опять надел пенсне, беспомощно зажмурился и закончил резким от усталости голосом:

— Так или иначе, имя Н. З. Рубашова неразрывно связано с историей Партии. Втаптывая его в грязь, вы пятнаете Революцию.

Глеткин снова заглянул в папку.

— На это я тоже могу возразить цитатой из вашего дневника,— равнодушно проговорил он.— Вы пишите: «Упрощенная и бесконечно повторяемая мысль легче укладывается в народном сознании; то, что объявлено на сегодня правильным, должно сиять ослепительной белизной; то, что признано сегодня неправильным, должно быть тускло-черным, как сажа; сейчас народу нужен лубок».

Немного помолчав, Рубашов сказал:

— Я понимаю, куда вы клоните. Вам хочется, чтобы я сыграл лубочного дьявола,— мне следует скрежетать зубами, выпучивать белесые глаза и плеваться серой — да не за страх, а за совесть. От Дантона и его соратников не требовали добровольного участия в подобном балагане.

Глеткин захлопнул папку и, выпрямившись в кресле, согнал назад складки гимнастерки под скрипучим ремнем.

— Добровольно выступив на Открытом процессе, вы выполните последнее задание Партии.

Рубашов промолчал. Он закрыл глаза и попытался представить себе, что дремлет под горячими лучами летнего солнца. Но от глеткинского голоса он укрыться не мог.

— По сравнению с тем, что происходит у нас, именно Конвент можно назвать балаганом. Я читал про ваших Дантонов — они носили пудреные косички и заботились только о своей пресловутой чести. Даже перед смертью личная гордыня была им важнее общего дела...

Рубашов продолжал молчать. Глеткинский голос, ввинчиваясь в уши, сверлил и без того тяжко гудящую голову, долбил с двух сторон воспаленный череп.

— У нас впервые в истории Революция не только победила, но и удержала власть. Сейчас наша страна — передовой бастион новейшей эры. Этот бастион, как вы знаете, занимает шестую часть земной суши и объединяет одну десятую человечества...

Теперь глеткинский голос звучал за спиной Рубашова. Следователь встал и расхаживал по кабинету — в первый раз с тех пор, как начались допросы. Прерывистый скрип его сапог временами заглушал поскрипывание ремней; Рубашов явственно ощущал терпкий запах пота и свежей кожи.

— Когда у нас в стране свершилась Революция, мы думали, что нашему примеру последуют все народы. Но волна мировой реакции затопила страны Европы и подкатилась к нашим границам. Партийцы разделились на две группы. Одна состояла из авантюристов, которые предлагали рискнуть нашими завоеваниями, чтобы поддержать

всемирную революцию. Вы примкнули именно к этой группе. Партия вовремя осознала опасность авантюристической политики и разгромила фракционеров...

Рубашов попытался поднять голову и возразить Глеткину. Но он слишком устал. Шаги следователя за его спиной отдавались в черепе барабанным боем. Он безвольно ссутулился на своей табуретке и ничего не сказал.

— Руководитель нашей Партии разработал мудрую эффективную стратегию. Он осознал, что теперь все зависит от того, сумеем ли мы защитить первый революционный бастион и дать отпор мировой реакции. Он осознал, что нынешний период может продлиться десять, двадцать или даже пятьдесят лет, а затем подымется новая волна всемирной революции. Но до тех пор нам придется сражаться в одиночку. И мы должны выполнить наш единственный долг перед человечеством — выжить.

Рубашов смутно вспомнил похожую фразу: «Революционер обязан сохранить свою жизнь для общего дела». Кто это сказал? Он сам? Иванов? Чтобы выполнить свой революционный долг, он пожертвовал жизнью Арловой. И к чему же он теперь пришел?..

—...Выжить! — гремел глеткинский голос.— Оплот Революции надо было сохранить во что бы то ни стало, ценой любых жертв. Руководитель Партии, выдвинув этот гениальный лозунг, последовательно и неуклонно проводил его в жизнь. Деятельность зарубежных партийных Секций следовало подчинить нашей государственной политике. Тот, кто этого не понимал, подлежал уничтожению. Нам пришлось ликвидировать наших лучших бойцов за границей. Мы не останавливались перед разгромом отдельных зарубежных Секций Партии, если этого требовали интересы революционного бастиона. Мы не останавливались перед союзом с реакционными правительствами, когда требовалось разбить волну Движения, поднявшуюся не вовремя. Мы предавали друзей и шли на уступки врагам, чтобы сохранить Революционный Бастион. Мы были солдатами Революции и выполняли свой исторический долг. Мягкотелые интеллигенты и близорукие моралисты отшатнулись от нас. Но руководитель Партии с гениальной прозорливостью указал: победит тот, кто окажется выносливей...

Глеткин на секунду остановился и подошел к рубашковской табуретке. Его гладко выбритый череп покрылся каплями пота, широкий шрам выделялся сейчас особенно заметно. Ему, видимо, было неприятно, что он вдруг утратил обычную сдержанность. Тяжело дыша, он вытер голову носовым платком, потом строевым шагом подошел к своему креслу, сел на стол и согнал назад складки гимнастерки. Свет лампы сделался менее резким, и, когда Глеткин заговорил, его голос звучал по-обычному бесстрастно:

— Партийный курс определен абсолютно четко. Наша цель оправдывает любые средства — вот единственный закон, которому подчинена тактика Партии. И, руководствуясь этим законом, Государственный Обвинитель потребует вашей смерти, гражданин Рубашов...

— Ваша группа, гражданин Рубашов, разбита и уничтожена. Вы хотели расколоть партийные ряды, хотя знали, что раскол Партии вызовет Гражданскую войну. Вам ведь известно о недовольстве среди крестьян, которые еще не поняли необходимости возложенных на них временных жертв. Не сегодня-завтра международный капитализм может начать войну против нашей страны, и малейшие шатания в среде трудящихся масс приведут к неисчислимым бедствиям. Партии необходимо крепить сплоченность своих рядов. Она должна стать единым монолитом, который спаян железной дисциплиной и беззаветной преданностью Руководству. Вы и ваши приспешники, гражданин Рубашов, попытались расколоть партийное единство. Если вы действительно раскаялись, то поможете нам устранить возникшую трещину. Это, как я уже говорил, последнее партийное поручение...

— Ваша задача проста. Фактически, вы сами ее сформулировали: необходимо всемерно высветлить для масс то, что правильно, зримо зачернить то, что неправильно. Поэтому вам надлежит пригвоздить оппозицию к позорному столбу истории и показать объективную преступность антипартийных лидеров. Такой язык будет понятен народу. А если вы начнете говорить о сложных мотивах, которыми вы руководствовались в своих действиях, это внесет только путаницу в сознание масс. Кроме того, массы не должны испытывать к вам ни жалости, ни симпатии — это тоже входит в вашу задачу. Симпатия или жалость к оппозиции со стороны широких масс чреваты опасностями для страны в целом...

— Товарищ Рубашов, я надеюсь, вы понимаете, какое доверие оказывает вам Партия.

Впервые Глеткин назвал Рубашова «товарищем». Рубашов резко выпрямился на табуретке и поднял голову. Его охватило волнение, с которым он не в силах был справиться. Надевая пенсне, он заметил, что его рука чуть заметно дрожит.

— Понимаю,— сказал он негромко.

— При этом Партия не обещает вам никакой награды. Некоторые обвиняемые согласились с нами сотрудничать после предварительного физического воздействия. Некоторых мы обязались помиловать или сохранить жизнь их родственникам, взятым в качестве заложников. Вам, товарищ Рубашов, Партия не предлагает никаких сделок и ничего не обещает.

— Я понимаю,— повторил Рубашов.

Глеткин снова открыл папку, где лежал рубашовский тюремный дневник.

— Одно место в ваших записях произвело на меня очень сильное апечатление,— сказал он.— Вы говорите: «Я жил и действовал по нашим законам... Если я был прав, мне не о чем сожалеть; если неправ, меня ждет расплата».

Глеткин поднял голову и посмотрел Рубашову в глаза.

— Вы были неправы, и вас ждет расплата, товарищ Рубашов. Партия обещает вам только одно — после окончательной победы, когда это не сможет принести вреда, секретные документы будут опубликованы. Тогда весь мир узнает, что легло в основу того Процесса — или того балагана, как вы его называете,— в котором вы участвовали по велению Истории.

Глеткин замолчал, согнал назад складки гимнастерки под скрипучим ремнем и после секундного замешательства неуклюже добавил — причем его широкий шрам сделался совершенно красным:

— И тогда вы — а также некоторые из ваших друзей — получите от широких масс чувство жалости и симпатии, в которых вам отказано на сегодня.

Сказав это, Глеткин пододвинул к Рубашову последние листы его Дела и положил рядом свою ручку. Рубашов поднялся и с напряженной улыбкой проговорил:

— Меня всегда интересовало, на что похожа чувствительность неандертальца. Теперь я это знаю.

— Не понимаю вас,— сказал Глеткин; он уже тоже встал.

Рубашов подписал последний пункт обвинения, в котором он признавался, что действовал из контрреволюционных убеждений и был платным агентом мирового капитализма. Подняв голову, он случайно глянул на литографию Первого, и ему опять вспомнилась насмешливая, сатанински-мудрая ирония, мелькнувшая в глазах вождя, когда он пожимал ему руку при их последнем прощании,— вездесущий портрет отчасти передавал тот насмешливо-грустный цинизм, с которым Первый взирал на своих подданных.

— Вполне естественно,— сказал Рубашов.— Есть вещи, которые понятны только людям старшего поколения — киферам, ивановым, рубашовым... Теперь это уже не имеет значения.

— Я дам приказ, чтобы вас не беспокоили до открытия судебного процесса,— немного помолчав, сказал Глеткин в своей обычной официально-корректной манере. Его явно раздражала ирония Рубашова.— Есть у вас какие-нибудь дополнительные желания?

— Только одно,— ответил Рубашов,— уснуть.— Он стоял на пороге кабинета рядом с высоким охранником и казался низкорослым, усталым и малозначительным бородатеньким стариком в старомодных очках.

— Я дам приказ, чтобы вас не беспокоили, когда вы спите,— сказал Глеткин.

Дверь за Рубашовым захлопнулась. Глеткин подошел к своему столу и опустился в кресло. Несколько секунд он сидел неподвижно. Потом вызвал звонком стенографистку. Стенографистка бесшумно проскользнула на свое обычное место за барьером.

— Поздравляю вас с успешным завершением дела, товарищ Глеткин,— сказала она.

Глеткин уменьшил накал лампы до нормального.

— Эта вот штуковина,— он указал на лампу,— да недосып, да усталость — вот в чем все дело. Главное — правильно определить физическую конституцию подследственного.

НЕМОЙ СОБЕСЕДНИК

> **Не только цель, но путь к ней укажи.**
> **Путь к цели неразрывно связан с целью,**
> **И отделять нельзя их друг от друга:**
> **Путь изменив, изменишь ты и цель.**
>
> *Фердинанд Лассаль. «Франц фон Зикинген».*

1

«...На вопрос Государственного обвинителя подсудимому Рубашову, признает ли он себя виновным в контрреволюционной деятельности, подсудимый твердо ответил: „Да“. На вопрос Обвинителя, действовал ли подсудимый по заданию мировой контрреволюции, он тоже ответил: „Да“,— но менее твердо...»

Дочь дворника Василия читала медленно, монотонно и отчетливо. Расстелив газету на столе, она водила по строчкам указательным пальцем и время от времени поправляла левой рукой цветастую головную косынку.

«...На вопрос Председателя Суда, желает ли обвиняемый, чтобы ему назначили Государственного защитника, он ответил отрицательно. Затем Председатель начал зачитывать обвинительное заключение...»

Дворник Василий лежал на кровати, повернувшись лицом к стене, и молчал. Вера Васильевна никогда не знала, слушает ли ее отец или нет. Порой он бормотал что-то неразборчивое. Она не обращала на это внимания, а вечерами читала ему газеты — «из воспитательных целей», как она говорила,— даже когда у нее на фабрике проводилось собрание партийной ячейки и она поздно возвращалась домой.

«...В обвинительном заключении подробно изложено, что виновность подсудимого полностью доказана неопровержимыми документальными данными, а также собственными признаниями подсудимого. На вопрос Председателя Суда, имеет ли подсудимый какие-либо ходатайства к суду, он ответил отрицательно и заявил, что все его показания даны добровольно, так как он осознал чудовищную преступность своей контрреволюционной деятельности...»

Дворник Василий лежал не шевелясь. На стенке, как раз у него над головой, виднелась цветная литография Первого. Рядом торчала заржавевшая кнопка: до недавних пор здесь висела фотография командира революционной бригады Рубашова. Василий нащупал дыру в матрасе — он прятал туда свою старую Библию,— но через несколько дней после ареста Рубашова дочь нашла ее и отнесла на помойку — «из воспитательных целей», как она сказала.

«...Затем подсудимый Рубашов приступил к рассказу о том, как, начав с оппозиции партийному курсу, он неотвратимо скатывался к контрреволюции и предательству Родины. Подсудимый, в частности, заявил: „Граждане Судьи, я хочу рассказать, почему я капитулировал перед следственными органами и чем объясняется моя откровенность на этом публичном судебном процессе. Мой рассказ продемонстрирует массам, что малейшее отклонение от партийного курса оборачивается предательством интересов Революции. Каждый этап фракционной борьбы был шагом на этом гибельном пути. Так пусть же моя чистосердечная исповедь послужит уроком для тех партийцев, которые не отказались от внутренних сомнений в абсолютной верности партийного курса и объективной правоте руководителя Партии. Я покрыл себя позором, втоптал в прах, и вот сейчас, у порога смерти, повествую о страшном пути предателя, чтобы предупредить народные массы...“»

Дворник Василий заворочался на кровати и уткнулся лицом в засаленную подушку. Он вспомнил бородатенького командира бригады, который умел так отчаянно материться, что ему помогала Божья Матерь, и его бойцы выходили победителями из самых страшных схваток с буржуями... Покрыл позором, втоптал в прах... Дворник Василий горестно застонал. Библии не было, но многие места он еще с детства знал наизусть.

«...Государственный обвинитель прервал подсудимого, чтобы задать ему ряд вопросов относительно судьбы его бывшего секретаря гражданки Арловой, расстрелянной по приговору суда за подрывную деятельность в стране. Из ответов подсудимого вскоре стало совершенно ясно, что он, загнанный в угол неослабевающей бдительностью соответствующих партийных органов, коварно приписал Арловой и свои преступные действия, стремясь увильнуть от справедливого возмездия. Н. З. Рубашов признался в этом чудовищном преступлении с беззастенчивым и откровенным цинизмом. На замечание Государственного Обвинителя: „Вы, очевидно, совсем потеряли представление о нравственности“,— обвиняемый, нагло ухмыляясь, ответил: „Очевидно“. Его поведение вызвало в зале Суда презрительное негодование, однако Председательствующий быстро восстановил тишину и порядок. Через несколько минут чувство справедливого возмущения сменилось у присутствующих сдержанным смехом, так как обвиняемый, прервав рассказ о своих дьявольских злодеяниях, обратился к Суду с просьбой отложить разбирательство дела „из-за невыносимой зубной боли“. В соответствии с процессуальными нормами нашего судопроизводства Председательствующий, презрительно пожав плечами, объявил пятиминутный перерыв...»

Дворник Василий лежал на спине и вспоминал те дни, когда Рубашов вырвался живым от иностранных буржуев и его прославляли во всех газетах. Василий вспомнил, как Товарищ Рубашов произносил с трибуны пламенную речь и ему приходилось опираться на костыли, а вокруг развевались красные флаги, и народ, много народа, тысячи, приветствовал его, а он улыбался и потирал о рукав свои очки без оправы.

И воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк; и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него... И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему.

— Чего ты там бормочешь? — спросила дочь.

— Ничего.— Василий отвернулся к стене. Он нащупал рукой дыру в матраце, но Библии не было. И фотографии не было. Когда дочь выдернула ее из-под кнопки, чтоб отнести на помойку, Василий промолчал: он считал себя слишком старым для тюрьмы.

Дочь сложила газету и, поставив на стол примус, принялась подкачивать его, чтобы вскипятить чайник. В дворницкой остро запахло керосином.

— Ты слушал, чего я сейчас читала? — спросила Вера Васильевна отца. Василий покорно повернулся к дочери.

— Слушал,— коротко ответил он.

— А если слушал, значит, тебе все ясно,— сказала Вера Васильевна, накачивая шипящий примус.— Он сам признался, что он предатель. Человек не стал бы на себя наговаривать, чего не было. Наша фабричная ячейка уже вынесла резолюцию по этому вопросу, и все подписываются.

— Много вы понимаете,— вздохнул Василий.

Вера Васильевна вскинула на него глаза, и он поспешно отвернулся к стене. Всякий раз, замечая такой вот быстрый и словно бы оценивающий взгляд, он вспоминал, что ей очень нужна его дворницкая для семейной жизни. Три недели назад Вера Васильевна и молодой слесарь с ее фабрики зарегистрировались как муж и жена, но у мужа комнаты не было, и он жил в общежитии, а отдельную комнату на двоих им выделили бы только через несколько лет.

Вера Васильевна разожгла примус и поставила на него чайник.

— Секретарь ячейки зачитал нам резолюцию, и мы ее все единогласно одобрили. Там говорится, что мы требуем смерти для предателей Родины. Тот, кто проявляет к ним преступное благодушие, тот сам является предателем Родины и должен быть безжалостно осужден,— намеренно безразличным голосом пояснила отцу Вера Васильевна.— Рабочие обязаны проявлять бдительность. Нам каждому роздали по экземпляру резолюции, и мы собираем подписи.

Вера Васильевна вынула из кармашка блузки сложенный вчетверо лист папиросной бумаги и расправила его на столе. Старик Василий смотрел в потолок. Краем глаза он смутно видел торчащую из стены ржавую кнопку. Он повернул голову к дочери — бумага лежала на столе возле примуса — и сейчас же опять уставился в потолок.

Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня.

Зашумел чайник. Старик Василий задал дочери хитроумный вопрос:

— А те, кто воевали на Гражданской войне, они, значит, тоже должны подписывать?

Вера Васильевна стояла, склонившись над примусом.

— Никто ничего не должен,— проговорила она и опять окинула отца быстрым, словно бы оценивающим взглядом.— На фабрике, конечно дело, известно, что он жил в этом доме. Секретарь ячейки спрашивал меня после собрания — дескать, знался ли ты с ним до самого конца и много ли, мол, разговаривал.

Василий привскочил и сел на кровати. От резкого усилия он мучительно закашлялся, и на его тощей золотушной шее напряглись, как веревки, темные жилы.

Вера Васильевна поставила на стол два граненых стакана и ссыпала в них немного чая из бумажного пакетика.

— Чего ты там опять бормочешь? — спросила она.

— Дай мне твою проклятую бумажонку,— сидя на кровати, сказал Василий.

Дочь протянула ему листок папиросной бумаги.

— Прочитать тебе нашу резолюцию? — спросила она.

— Не надо,— угрюмо буркнул Василий и расписался.— Не хочу я ничего слушать... Дай мне чаю,— добавил он.

Дочь налила ему в стакан кипятку. Василий, беззвучно шевеля губами, принялся прихлебывать желтоватую жидкость.

Попив чаю, Вера Васильевна снова стала читать газету. Отчет о суде над Рубашовым и Кифером подходил к концу. Когда Председатель оглашал подробности замышляемого преступниками покушения на жизнь руководителя Партии, присутствующие несколько раз прерывали его негодующими возгласами: «Смерть бешеным собакам!». На вопрос Государственного Обвинителя, из каких побуждений готовил Рубашов это чудовищное убийство, тот, явно сломленный выявившейся на Суде тяжестью его гнусных преступлений, едва слышно ответил:

— Я должен признать, что мы, уклонисты, поставив себе целью сместить Правительство, искали наиболее действенные методы, которые приблизили бы нас к этой цели... и были бы такими же низкими, такими же предательскими, как сама наша цель.

Вера Васильевна, упершись ногами в пол, с грохотом отъехала от стола вместе со стулом.

— Нет, это просто омерзительно,— сказала она.— Меня просто тошнит! Это ж надо так юлить и ползать на пузе! — Она отложила газету и принялась шумно мыть стаканы. Василий наблюдал за ней. Горячий чай придал ему смелости.

— А ты больно грамотная,— пробурчал он.— Откуда ты знаешь, про чего он думал, когда говорил, что, мол, растоптал себя в прах? Все вы, партейцы, стали очень умные,

вот от ума совесть-то и потеряли... А ты не дергай плечами-то,— добавил он мрачно.— Так оно в вашем мире и идет, что по совести живут одни дураки, а которые умные, им совесть без надобности. Все злодейства от умников. Потому что сказано: «Да будет слово ваше — Да, да; нет, нет,— а что сверх того, так то от лукавого».

Он лег и отвернулся к стене, чтоб не видеть, как дочь оглядит его оценивающим взглядом. Обычно он боялся давать ей отпор. Она могла сделать бог весть что, особенно с тех пор, как ей захотелось миловаться в его комнате со своим мужиком. В ихнем мире надо жить по уму, а не то тебя живо выгонят из дома или, еще того хуже, засадят. По совести в ихнем мире не проживешь...

— Ну ладно,— сказала Вера Васильевна,— слушай, я дочитаю тебе про суд.

«...Затем Государственный Обвинитель задал ряд вопросов подсудимому Киферу. Подсудимый подтвердил все свои показания, данные им на предварительном следствии. На вопрос Государственного Обвинителя подсудимому Рубашову, хочет ли он уточнить показания Кифера, Рубашов ответил отрицательно. Этим закончился опрос подсудимых, и Председательствующий объявил перерыв. Когда судебное заседание возобновилось, слово взял Государственный Обвинитель...»

Василий не слушал речи Обвинителя. Он повернулся к стене и уснул. Дочь монотонно читала газету, водя пальцем по печатным строчкам; в конце столбца она делала паузу и приставляла палец к началу следующего. Василий проснулся, когда Обвинитель потребовал высшей меры наказания. Возможно, дочь изменила тон, возможно, сделала паузу подлиннее — как бы то ни было, Василий проснулся и услышал заключительные слова Обвинителя:

«— Я требую расстрелять этих бешеных собак!»

Потом подсудимым было предоставлено их последнее слово.

«...Обвиняемый Кифер, обращаясь к Суду, умолял не приговаривать его к высшей мере наказания, так как он, по его словам, вследствие своей юной неопытности не понимал всей чудовищности своих преступлений. Основную тяжесть вины он перекладывал на подсудимого Рубашова — главного организатора преступных действий оппозиции. В середине речи обвиняемый Кифер начал заикаться, чем вызвал презрительный смех присутствующих. Однако Председатель быстро восстановил тишину и порядок в зале суда. Затем слово было предоставлено Рубашову...»

В газетном отчете красочно описывалось, как «Рубашов, зорко оглядев присутствующих и не найдя ни одного сочувственного лица, безнадежно опустил голову».

Речь Рубашова была краткой. Она лишь усилила презрительное негодование, вызванное его беззастенчивым цинизмом.

«...Граждане Судьи,— заявил Рубашов,— это мое предсмертное слово. Антипартийная группа разбита и уничтожена. Я вел объективно преступную борьбу — и вот, должен умереть как преступник. Если партиец уходит из жизни, не примиренный с Партией, с революционным Движением, то его смерть не приносит пользы. Поэтому я преклоняю колена перед партийными массами страны и мира. Маскарад открытых дискуссий и договоров, фракционной полемики и сговоров кончен. Политически мы умерли еще до того, как Обвинитель потребовал нашего расстрела. Даже память о тех, кто оказался неправ, развеется прахом на дорогах Истории. У меня нет оправданий — кроме одного: я честно выполнил свой последний долг. Тщеславная порядочность и остатки гордыни искушали меня умереть молча или бросить в лицо обвинителям слова обвинения... но я сдержался — и честно рассказал о своих преступлениях. Бойцу, побеждавшему во многих битвах, мучительно трудно сдаваться без боя — но я подчинился приказу Партии. Да, я исполнил свой долг до конца и считаю, что теперь расплатился за все, полностью завершил расчеты с Историей. Просить о снисхождении я не могу. Больше мне сказать перед смертью нечего...»

«...После короткого перерыва Председатель зачитал приговор. Сессия Военной Коллегии Верховного Суда Республики присудила обвиняемых к высшей мере наказания — расстрелу...»

Василий глядел на заржавевшую кнопку. «Да будет воля Твоя. Аминь»,— пробормотал он и отвернулся к стене.

2

Итак, все теперь было кончено. Рубашов знал, что еще до полуночи он перестанет существовать.

Он размеренно ходил по камере — шесть с половинной шагов к окну, шесть с половиной шагов к двери — и вспоминал шумную суету суда. Когда он останавливался и замирал, вслушиваясь — на третьей черной плитке от окна,— его захлестывала волна тишины, поднимавшаяся словно из бездонного колодца. Ему еще было не совсем понятно, отчего вокруг так тихо и покойно. Но он знал, что этот покой теперь уже ничем не будет нарушен.

Он точно восстановил в памяти мгновение, когда его охватил безмолвный покой. Это

произошло на судебном заседании, перед тем как ему предоставили слово. Он полагал, что давно избавился от остатков тщеславия и личной гордыни, однако, оглядев присутствующих в зале и не найдя ни одного приветливого лица, он ощутил неодолимую тоску по сочувствию или хотя бы жалости — ему захотелось растопить холод равнодушной, насмешливой и презрительной злобы, которую он видел на лицах людей. Он было совсем поддался искушению заговорить о своих заслугах перед Партией, встать во весь рост, разорвать путы, накинутые на него Ивановым и Глеткиным, крикнуть судьям, как когда-то Дантон: «Вы наложили руки на всю мою жизнь. Так пусть она прозвучит обвинением обвинителям!..» Он прекрасно знал отповедь Дантона судьям Французского Революционного Трибунала. Он мог повторить его речь наизусть. Он помнил ее — слово в слово — с детства: «Вы хотите, чтоб Республика захлебнулась в крови. Скажите же, доколе дорогу к свободе будут устилать человеческие кости? Тирания наступает с открытым забралом — и она шагает по нашим трупам!..»

Да, искушение было велико. Но оно умерло, едва родившись, и, когда он произносил последнее слово, его накрыл колокол безмолвия. Ему стало ясно, что время упущено.

Упущено время возвращаться назад по мертвому пути уступок и отступлений. Слова ничего уже не могли изменить.

Упущенное время не повернешь вспять, а старая гвардия его упустила. И когда обвиняемым предоставили слово, у них — ни у кого — уже не было сил превратить скамью подсудимых в трибуну, чтобы возвестить открытую правду и, подобно Дантону, обвинить обвинителей.

Одни молчали, страшась пыток, другие надеялись, что их помилуют, третьи хотели спасти родных, которые оказались в лапах у глеткиных. Лучшие молчали, чтоб на пороге смерти выполнить последнее партийное поручение, то есть добровольно приносили себя в жертву,— а кроме всего прочего, даже у лучших — у каждого — была своя Арлова на совести. Они погрязли в собственном прошлом, запутались в сетях, сплетенных ими же по законам партийной морали и логики,— короче, все они были виновны, хотя и приписывали себе преступления, которых на самом деле не совершали. Они не могли возвратиться назад. И вот уходили за пределы жизни, разыгрывая ими же начатый спектакль. От них не ждали правдивых слов. Они сами вырастили Главного режиссера и на пороге смерти, по его указке, скрежетали зубами и плевались серой...

Но для него со всем этим было покончено. Он сыграл свою последнюю роль. Ему уже не надо изображать дьявола. Теперь он действительно расплатился за все. У него нет даже тени прошлого, и над ним не властны никакие оковы. Додумав последнюю мысль до конца, он логически воплотил ее в жизнь; часы, отпущенные ему до полуночи, целиком принадлежали Немому Собеседнику, который обитал за пределами логики. Повинуясь нормам партийной этики, он все еще заменял этим странным псевдонимом первое лицо единственного числа.

Рубашов остановился возле стены, отделявшей его от Рип Ван Винкля. С тех пор как Рип Ван Винкля убрали, Четыреста шестая камера пустовала. Он снял пенсне, неуверенно огляделся и очень тихо простучал:

6—3

Потом прислушался и, по-детски смущенный, опять тихонько отстукал:

6—3

А потом отстукал то же самое еще раз. Стена мгновенно глушила звук. Он никогда не говорил «я» — по крайней мере, не говорил осознанно. А возможно, и вообще никогда не говорил. Он вслушался. Тишину ничто не нарушало.

Он снова принялся шагать по камере. Неожиданно попав под колокол безмолвия, он задался довольно странным вопросом — и пока время не было упущено, ему хотелось найти ответ. Вопрос звучал наивно и отвлеченно: как избежать бессмысленных страданий? Человека заставляет страдать природа — биологических страданий избежать нельзя, поэтому бессмысленными их не назовешь; но человек и сам себе создает страдания — социальные — и вот они-то бессмысленны. Единственная цель социальной революции — избавить человека от бессмысленных страданий. Но, оказывается, этого можно добиться, лишь ввергнув мир — разумеется, временно — в адскую бездну страданий биологических. И значит, вопрос ставится так: можно ли оправдать революционное вивисекторство? Да, безусловно, и можно, и нужно — если говорить про абстрактное «человечество»; но как только речь заходит о людях — о живых людях из плоти и крови, массовое живосечение — вивисекторство — приобретает характер кровавой резни. В юности он свято верил, что Партия даст ему ответы на все вопросы. Сорок лет он служил Партии, но, став партийцем, тотчас забыл, во имя чего он хотел им стать. И вот теперь, через сорок лет, снова вернулся к вопросам юности. Партия требовала отдать ей жизнь — и никогда не давала ответов на вопросы. Никогда не отвечал и Немой Собеседник: какими бы мучительными, даже отчаянными, вопросы ни были, он глухо молчал.

Его пробуждали странные случайности — почему-то всплывшая в памяти мелодия, руки Мадонны, картинки детства... На них он отзывался, словно камертон,—

и вызывал удивительное состояние психики: святые именовали это созерцанием, мистики — экстазом, а современные психологи ввели термин «океаническое чувство». Человек, охваченный «океаническим чувством», отрешался от своего индивидуального бытия и, растворяясь в общечеловеческом сознании, как кристаллик соли в мировом океане, одновременно вмещал в себе весь мир, подобно тому как в кристаллике соли воплощен безбрежный мировой океан. Растворенный кристалл нельзя локализовать в пространстве и времени. «Океаническое чувство» разрушало привычные логические связи, и мысль блуждала в потемках психики, словно луч света, летящий сквозь ночь, так что все ощущения и чувства — блаженство, радость, боль, страдание — оказывались составляющими этого луча, расщепленного призмой свободного сознания.

Рубашов размеренно шагал по камере. Еще недавно он постыдился бы предаваться таким несерьезным размышлениям. Но сейчас ему вовсе не было стыдно. Смерть обращала метафизику в реальность. Он машинально остановился у окна и прижался лбом к холодному стеклу. Вверху, над зубцами сторожевой башни, голубела полоска чистого неба. Эта полоска напомнила ему, как в детстве, лежа возле дома на лужайке, он смотрел в такое же бледное небо сквозь темную решетку липовых ветвей. Видимо, даже кусочек неба мог пробудить «океаническое чувство». Когда-то он читал, что современные астрофизики не считают мировое пространство бесконечным: Вселенная, хотя и не имеет границ, замкнута на себе, наподобие сферы. В те времена он этого не понял, а сейчас вот очень хотел бы понять. Теперь он припомнил, где и когда читал про Вселенную,— в германской тюрьме: товарищи сумели ему передать листок нелегальной партийной газеты, и там, под тремя столбцами отчета о забастовке на какой-то прядильной фабрике, была помещена небольшая заметка, в которой говорилось о конечности Вселенной; но нижний край листа был оборван вместе с концом этой маленькой заметки. Так ему и не пришлось ее дочитать.

Рубашов неподвижно стоял у окна и постукивал дужкой пенсне в стену, отделяющую его от пустой камеры. В детстве он мечтал посвятить себя астрономии — и сорок лет занимался другим. Почему Государственный Обвинитель не спросил его: «Подсудимый, что вам известно о вечности?» Ему бы нечего было ответить — вот где источник его виновности. Может ли быть что-нибудь серьезней?

Тогда, прочитав газетную заметку — чуть живой после пыток, как и сейчас, в одиночке,— он вдруг ощутил странную экзальтацию: его охватило «океаническое чувство». На воле он со стыдом вспоминал об этом. Партия не одобряла подобных ощущений. Это был «мелкобуржуазный мистицизм», спасение «в башне из слоновой кости». Такое спасение именовалось изменой, «дезертирством с фронта классовой борьбы». «Океаническое чувство» по партийным законам квалифицировалось как контрреволюционная деятельность.

Потому что в борьбе, особенно классовой, надо твердо стоять на земле. И Партия разъясняла, что это значит. Личность и бесконечность — как абсолютные величины — считались политически неблагонадежными. Партия признавала единственный абсолют — себя, и единственное мерило личности: множество индивидуумов в N миллионов, безлично поделенное на N миллионов.

Партия не признавала человека личностью, отрицала его право на свободную волю — и требовала добровольного самопожертвования. Отрицала способность человека выбирать — и требовала выбора правильных решений. Отрицала, что человек способен отличать правду от лжи, добро от зла,— и постоянно твердила про виновность и предательство. Индивидуумом управляли экономические законы, он был безликим винтиком механизма, на который совершенно не мог влиять,— так утверждала партийная доктрина — но Партия считала, что безликие винтики должны восстать и перестроить механизм. В логических выкладках таилась ошибка: задача изначально не имела решения.

Сорок лет он пытался оздоровить экономический механизм, управляющий миром. Это был главный бич человечества, рак, разъедающий общество изнутри. Здесь требовалась социальная хирургия. Все остальное было дилетантизмом, буржуазной романтикой и дурным шаманством. Смертельно больной организм общества не могли спасти заклинания и реформы. Революционный нож и трезвый расчет — вот инструменты социального хирурга. Но нож, удаляя старые язвы, неизменно порождал множество новых. И задача по-прежнему не имела решения.

Сорок лет он подчинял свою жизнь велениям единственного абсолюта — Партии. Верил только логическим выводам. Яростно выжигал из своего сознания остатки старой буржуазной морали. Подавлял в себе «океаническое чувство» и заглушал голос Немого Собеседника. К чему же все это его привело? Опираясь на объективно верные постулаты и руководствуясь разумом, он пришел к бессмыслице; логические доводы Иванова и Глеткина заставили его принять участие в призрачном балагане публичного процесса. А что, если всякая человеческая мысль, доведенная до ее логического конца, неминуемо становится пустой и абсурдной?..

Небо под зубцами сторожевой башни расчеркивали черные прутья решетки. А что, если все эти сорок лет он был одержим — одержим разумом? Что если полная свобода рассудка, лишенного древних алогичных запретов «Ты не должен» и «Ты не смеешь», превращает жизнь человека в абсурд?..

Небо подернулось розовой пеленой, в камере стало заметно темнее; вверху, над зубцами сторожевой башни, медленно кружили черные птицы. Нет, задача не решалась изначально. Видимо, поставленная разумом цель и нож, как средство, не решают задачи — человек не дорос до опытов с ножом. Может быть, позже, гораздо позже... Сейчас человек слишком юн и неистов. Страшно и подумать, что он натворил на Родине Революции, в Бастионе Свободы! Глеткины оправдывают любые средства, которые помогают сохранить Бастион. И как же чудовищно это выглядит изнутри! Нет, в Бастионе Рай не построишь. Бастион-то будет и сохранен, и упрочен, но помыслы народов от него отвратятся. Режим Первого запятнал идею социально справедливого Революционного Государства, подобно тому, как Папы средневековья запятнали идею Христианской Империи. Флаг Революции задубел от крови.

Рубашов принялся шагать по камере. Сумерки сгущались безмолвной тьмой. Вероятно, скоро за ним придут... В логические выкладки вкралась ошибка. Нет, видимо, была неверной вся логическая система мышления. Впервые это пришло ему в голову, когда Рихарда объявили агентом-провокатором, но он не довел свою мысль до конца. Возможно, Революция была преждевременной — и поэтому обернулась кровавой бойней. Да-да, они ошиблись во времени. К первому веку до новой эры римская цивилизация окончательно исчерпалась, и лучшие граждане той древней эпохи решили, что настала пора перемен,— а потом прогнивший до основания мир агонизировал в течение пяти веков. У Истории невероятно медленный пульс: человек измеряет время годами, она — столетиями; возможно, сейчас едва начинается второй день творения. Эх, как это было бы замечательно — жить и разрабатывать новую теорию об относительной политической зрелости масс!..

Камеру заполняла темная тишина. Он слышал лишь шорох своих шагов. Шесть с половиной шагов к двери, откуда придут его забирать, шесть с половиной шагов к окну, за которым разливается ночная тьма. Да, скоро все будет кончено. Так во имя чего он должен умереть? На этот вопрос у него не было ответа.

Ошибочной оказалась система мышления; возможно, ошибка коренилась в аксиоме, которую он считал совершенно бесспорной и повинуясь которой жертвовал другими, а теперь вот другие жертвовали им — в аксиоме, что цель оправдывает средства. Она убила революционное братство и превратила бойцов Революции в одержимых. Как он написал в тюремном дневнике— «Мы выбросили за борт балласт буржуазных предрассудков, а поэтому вынуждены руководствоваться одним-единственным мерилом — разумом». Возможно, вот он — корень беды. Возможно, человечеству необходим балласт. И возможно, избрав проводником разум, они шли таким извилистым путем, что потеряли из виду светлую цель.

Возможно, наступает эпоха тьмы.

Может быть, позже, гораздо позже, подымется новая волна Движения с новым знаменем и новой верой — в экономические законы и «океаническое чувство». Возможно, создатели новой Партии будут носить монашеские рясы и проповедовать, что самая светлая цель оправдывает только чистые средства. Возможно, они ниспровергнут догму, что личность есть множество в N миллионов, безлично поделенное на N миллионов, утвердят другой арифметический принцип — умножения, и тогда не аморфные массы, а миллионы личностей образуют общество, причем «океаническое чувство» миллионов создаст безграничную духовную Вселенную...

Рубашов замер и оглянулся на дверь. В коридоре слышался приглушенный рокот.

3

Рокот походил на барабанный бой, доносимый издали порывами ветра, он звучал все громче; Рубашов не шевелился. Ноги отказывались ему служить, он чувствовал, как тяжкое земное притяжение подымается по ним. Он оторвал их от пола и, глядя в очко, отошел к окну. Потом перевел дыхание и закурил. Внезапно ожила стена у койки:

внимание пришли за заячьей губой он шлет вам привет

За Заячьей Губой... Ноги снова обрели подвижность. Он быстро подошел к металлической двери и стал барабанить в нее ладонями — ритмично и часто. Он был последним: Четыреста шестая камера пустовала, на нем обрывалась акустическая цепочка. Плотно прижавшись глазом к очку, он барабанил ладонями по массивной двери.

Коридор тонул в электрическом мареве. Он видел, как обычно, четыре камеры — от Четыреста первой до Четыреста седьмой. Рокот нарастал. Послышались шаги — шорох подошв о каменные плиты. Внезапно показался Заячья Губа, у него мелко тряслась челюсть, как и на очной ставке у Глеткина; руки, скованные за спиной наручниками, неестественно вывернулись локтями в стороны. Он не мог различить человеческого

глаза, приникшего изнутри камеры к очку, и слепо обшаривал взглядом дверь, словно последняя надежда на спасение была у него связана с рубашовской камерой. Потом прозвучал невнятный приказ, и замерший арестант шагнул вперед. За ним появился высокий охранник с пистолетной кобурой на поясном ремне. Через секунду и охранник и арестант скрылись.

Рокот оборвался, наступила тишина. И сразу же послышался негромкий стук в стену у койки:

он вел себя достойно

С тех пор как Рубашов объявил, что сдается, Четыреста второй упорно молчал. Сейчас он сам продолжил разговор.

вам осталось минут десять как ваши нервы

Было очевидно, что Четыреста второй пытается облегчить ему последние минуты. В нем поднялась волна благодарности. Он сел на койку и медленно простучал:

хочется чтобы все уже было кончено

уверен вы не станете праздновать труса, тотчас ответил Четыреста второй. **вы же чертовски мужественный парень... чертовски мужественный,** повторил он — только для того, чтобы заполнить паузу. **его сажают а он расписывает груди что чаши с пенным шампанским ха ха вы чертовски мужественный парень.**

Рубашов оглянулся на дверь и прислушался. В коридоре было по-прежнему тихо. Сосед, видимо, угадал его мысли:

не прислушивайтесь я скажу когда они появятся... чем бы вы занялись если б вас оправдали

Рубашов подумал и твердо ответил:

астрономией

ха ха, отстукал сосед. **и бы может тоже говорят на планетах тоже обитают живые существа разрешите дать вам один совет**

конечно, с удивлением отозвался Рубашов.

только не обижайтесь совет солдата отлейте всегда лучше чтоб заранее дух силен плоть немощна ха ха

Рубашов усмехнулся и подошел к параше. Потом сел на койку и отстукал:

большое спасибо прекрасная мысль... а какие у вас перспективы на будущее

Четыреста второй отозвался не сразу. Через несколько секунд он медленно ответил:

почти восемнадцать лет одиночки точнее шесть тыщ пятьсот тридцать дней. Он помолчал и негромко добавил:

и завидую вам. И — после паузы: **хоть в петлю шесть тыщ пятьсот тридцать ночей без женщины**

Рубашов задумался. Потом отстукал:

вы можете читать можете заниматься

не те мозги, ответил поручик. И вдруг торопливо застучал:

идут

Рубашов медленно поднялся с койки, с секунду раздумывал и громко передал:

вы очень помогли мне спасибо за все

Заскрежетал ключ. Дверь распахнулась. На пороге появился высокий охранник и человек в штатском с какими-то бумагами. Штатский назвал Рубашова по фамилии и монотонно прочитал судебный приговор. Охранник завернул ему руки за спину и защелкнул на запястьях браслеты наручников. Выходя, он услышал торопливый стук:

я завидую вам завидую завидую прощайте

Коридор был наполнен приглушенным рокотом. Рубашов знал, что к каждому очку прижимается живой человеческий глаз, но он смотрел прямо перед собой. За бетонной дверью Одиночного блока прощальный рокот резко оборвался. Браслеты наручников врезались в запястья — охранник защелкнул их слишком туго. А когда он заводил ему руки назад, он их резко вывернул, и они болели.

Показалась лестница, ведущая в подвал. Штатский — у него были глаза чуть навыкате — остановился и равнодушно спросил Рубашова:

— Есть у вас какое-нибудь последнее желание?

— Нет,— коротко ответил Рубашов и начал спускаться по винтовой лестнице. Штатский молча смотрел на него равнодушными, немного навыкате глазами.

Ступени были узкими и скупо освещенными. Рубашов не мог держаться за перила и напряженно нащупывал ступени подошвами. Прощальный рокот сменился тишиной. Сзади, тремя ступенями выше, раздавались шаги высокого охранника.

Лестница спирально уходила в подвал. Рубашов нагнулся, чтобы глянуть вниз,— пенсне соскользнуло, послышался звон, и осколки ссыпались на последнюю ступеньку. Рубашов замер, беспомощно сощурился, но потом ощупью закончил спуск. Судя по звукам, охранник нагнулся и сунул разбитое пенсне в карман; Рубашов не стал оглядываться назад.

Теперь он практически почти ослеп, но под ногами был ровный каменный пол. Они оказались в длинном коридоре — его конца Рубашов не видел. Охранник шел на три шага сзади. Рубашов затылком ощущал его взгляд, но по-прежнему смотрел прямо перед собой. Медленно и напряженно переставляя ноги, он двигался к дальнему концу коридора.

Ему представлялось, что он шагает по этому коридору уже несколько минут. И ничего — решительно ничего не происходило. Пистолет у охранника, без сомнения, в кобуре — он услышит, как тот начнет его вынимать. Значит, пока что он в безопасности. Или они, по примеру дантистов, до времени прячут инструмент в рукаве? Он старался думать о чем-нибудь другом, но не мог переключиться: все его силы уходили на то, чтоб не оглядываться назад.

Странно, зубную боль как отрезало, когда он ощутил благословенную тишину, произнося на суде последнее слово. Возможно, абсцесс созрел и вскрылся. Что он сказал? Я преклоняю колена перед партийными массами страны и мира... Но почему? Чем он провинился перед массами? Сорок лет он гнал их через пустыню, не скупясь на угрозы, посулы и обеты. Так где же она — Земля Обетованная?

Существует ли она как конечная цель для бредущего по бесплодной пустыне человечества? Ему очень хотелось найти ответ, пока время не было окончательно упущено. Моисею не удалось ступить на землю, к которой он вел народы через пустыню. Но он взошел на вершину горы и воочию убедился, что цель достигнута. Легко умирать, когда ты знаешь, что данный тобою обет исполнен. Он, Николай Залманович Рубашов, не был допущен на вершину горы — умирая, он видел лишь пустынную тьму.

Удар в затылок оборвал его мысли. Он готовился к этому — но подготовиться не успел. Он почувствовал, что у него подгибаются колени и его разворачивает лицом к охраннику. Какая театральщина, подумалось ему, и ведь я совершенно ничего не чувствую. Согнувшись, он лежал поперек коридора и прижимался щекой к прохладному полу. Над ним сомкнулась завеса тьмы, и черные волны ночного океана вздымали его невесомое тело. Полосами тумана плыли воспоминания.

Снаружи слышался стук в дверь, ему мнилось, что его пришли арестовывать,— но в какой он стране?

Он сделал последнее мучительное усилие, чтоб просунуть руку в рукав халата,— по чей это портрет?

Усача с насмешливо циничными глазами или Усатика со стеклянным взглядом?

Над ним склонилась бесформенная фигура, и он почувствовал запах кожи. Но что это за форма? И во имя чего поднят вороненый ствол пистолета?

Он дернулся от сокрушительного удара в ухо. На мгновение тьма сделалась безмолвной. Потом послышался плеск океана. Набежавшая волна — тихий вздох вечности — подняла его и неспешно покатилась дальше.

Перевел с английского

Андрей КИСТЯКОВСКИЙ

Вы прочитали «Слепящую тьму». Я попробую рассказать о том, как переводилась книга, и о переводчике — моем друге — Андрее Кистяковском, скончавшемся летом прошлого года.

Среди его многих удивительных черт была, в частности, потребность немедленно, без увертoк, исходя из понятия о должном, устанавливать свое отношение к любому факту, поступать соответственно, а уклонение от поступка себе не прощать. Была и брезгливая неприязнь ко всякой непрофессиональности, понятой в основном с моральной стороны — как профанация подлинности, социальное сибаритство, форма той или иной корысти. Поэтому, прочитав в начале 70-х не слишком вразумительный «самиздатский» подстрочник романа Кёстлера, позволявший, однако, догадываться о силе оригинала, Андрей поступил естественным для себя образом — взялся сам воспроизвести роман по-русски. Вскоре, достав английский текст, он педантично расчертил таблички с планом тюремного коридора и «квадратической азбукой» и сел за работу.

Тогда, разумеется, и речи не заходило об издании «Слепящей тьмы» у нас. Но Андрей был уверен, что как бы то ни было, а эта книга нужна в стране, в каком-то смысле ее породившей, и я не хочу преуменьшать значение (достаточно, впрочем, очевидных) гражданских стимулов к его работе. Хочу лишь оговорить, что были и другие, не столь очевидные и, может быть, более значительные.

Андрей уже лет десять как переводил с английского прозу и стихи, меру своих профессиональных возможностей хорошо знал, и был не из тех, кто позволяет себе смиряться с чувством неудовлет-

воренности. Всегда и все в своей жизни он определял сам, что и как он будет переводить — тоже, и если, занятый поисками ключа к «русскому Фолкнеру», переводил тем временем, например, Ч. П. Сноу, не считая его серьезным писателем, то потому, что и у него видел что-то для себя значимое. Другое дело, что того же Сноу ему было легко переводить, и он, я думаю, тяготился этой легкостью. Перевод Кестлера был трудной задачей. Андрей прекрасно понимал, что и «Артур Иваныч», как он шутливо именовал Кестлера, в общем не то, что называется «великий писатель», и трудность определялась, во-первых, логической мощью романа с его (не развитой у нас) позитивистской культурой языка и мышления, а во-вторых,— главное — тем, что этот английский роман о Советском Союзе Андрей задумал перевести по-русски, превратив некоторую бесплотность его персонажей и фактуры, вызванную, вероятно, просто малым знакомством Кестлера с советским бытом и восполняемую ясностью умозрения, в элемент стиля, придающий тексту зеркальность и холодный блеск логического кошмара.

Наверное, позднейшие переводы Андрея (хотя бы роман Дж. Хеллера «Поправка-22», вскоре выходящий из печати) сделаны с мастерством еще большим, и все-таки до конца своих дней он выделял перевод «Слепящей тьмы» и, пожалуй, особенно любил его. Переводя Кестлера в своей обычной сотворческо-истолковательной манере, усугубленной в данном случае жгучей близостью материала, Андрей изнутри нащупывал литературный механизм, позволяющий говорить о «нашем обществе» (его излюбленный оборот) современным языком, без ослепленности и «комплексов», одну правду. И мне кажется, этот навык, приобретавшийся в процессе этого перевода, был для него наиболее важен, так как прямо касался сердцевины его неотступных размышлений о литературе. Андрей думал, что старая русская литература (говоря предельно кратко) ушла со старой Россией, исчерпав свой духовно-эстетический потенциал, а советская — официальная, как и неофициальная,— за вычетом единичных имен и названий, не отвечает качеству новой действительности, в которой он подчеркивал именно новизну. Тот факт, что лучшие, на его взгляд, романы о «нас» — «Слепящая тьма» и «1984» Дж. Оруэлла — написаны иностранцами, он считал не случайным и как следует не осмысленным.

Все это (разумеется, в развернутом виде) — постоянные темы разговоров Андрея и неустранимый (для знавших его) фон его переводческой работы. Он действительно жил литературой, ее возможностями и будущим, о котором говорил, в общем, с горечью. У него была натура и темперамент писателя; он и к жизни относился по-писательски — заинтересованно и отстраненно, страстно и холодно. Долго и близко наблюдая ход его блестящей карьеры переводчика, я часто удивлялся, до чего, в сущности, мало она отражалась на нем, как мало он походил на «профессионального литератора»,— точно так же, как и когда-то, в молодости, не походил на спортсмена, шофера и автогонщика. Ни одно из его занятий, в каждом из которых он был профессионал, не очерчивало его полностью, всегда оставалось еще что-то, что и создавало его притягательность и уникальность, сам он, сознавая в себе эту дистанцию между собой и своей жизнью, связывал с ней писательские планы.

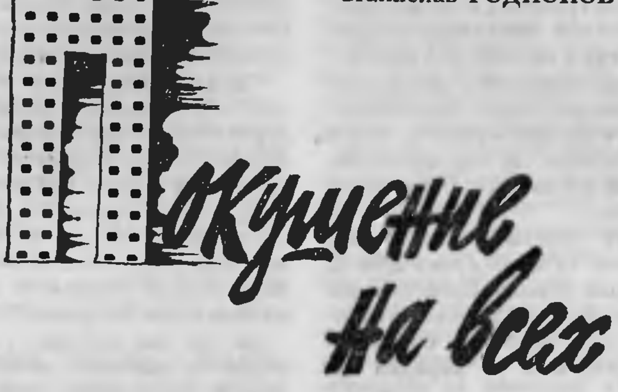
Поскольку я был в числе тех, кому Андрей доверил замысел своего романа, хочу немного сказать о нем. Я знал в основных чертах развитие действия, знал название («Через год, если все будет хорошо») и читал начало. Роман — по замыслу — близко повторял ход собственной жизни Андрея, предполагая в герое то же — свойственное ему самому — жестковато-насмешливое отношение к себе. Это (опять-таки в двух словах) должен был быть роман об испытаниях и участи человека, решившегося в условиях нашей жизни не отступаться от своей подлинности и настаивать на ней вопреки всему.

Из-за длительной и страшной болезни и других, тоже страшных обстоятельств, здесь не упоминаемых, роман, кроме набросков и черновиков, остался ненаписанным, но сказать о нем мне казалось необходимым,— и потому, что знаю, какое значение имела его тема для самого Андрея, и потому, что она имеет значение для всех нас.

А. ЧАНЦЕВ



Станислав РОДИОНОВ



После долгих лет работы в прокуратуре я боюсь ночных телефонных звонков, гонявших меня когда-то на места происшествий. Этот звонок раздался часа в три. Звонила жена моего бывшего сокурсника Володи...

Он пришел домой пьяным, сел на кухне и умер тихо, как уснул. Ему только что исполнилось сорок девять лет...

Вот тогда-то я и задумался о причинах пьянства и его печальных последствиях...

Приучившись на следственной работе к системе, я стал изучать проблему, точно искал мотив преступления. Именно — искал, обратившись не к книгам и социологическим исследованиям, а к жизни. Думал, изучал, расспрашивал пьющих, бросивших пить, снова начавших...

Они мне наговорили с три короба. Чаще всего в таком духе: была получка, получил премию иля повышение, встретил друга, ходил в гости, поругался с женой или на работе, хотел продезинфицироваться, чтобы не заболеть гриппом... Потом я сообразил, что мне сообщают не причины пьянства, а поводы для выпивок. Но были ответы и о причинах. Ответы трезвые и оригинальные...

На некоторых из названных причин я остановлюсь особо. По мнению большинства, все дело в самом вине и водке: не будет их, не будет и пьянства.

* * *

В любой войне прежде всего нужно знать врага. Я не оговорился, употребив слово «война», потому что выражение «пьянству — бой!» мне кажется неточным: пьянство в бою не победишь — только в упорной и ежедневной войне. Но чтобы раскусить этого врага, нужно докопаться до причин — иначе не будешь знать, чем и как с ним бороться.

Довелось мне быть на одном уголовном процессе. Судили хулигана, преступление которого состояло в том, что он шел по Литейному проспекту и бил прохожих.

Дошло дело до выяснения причины преступления, о чем судья и спросила его.

— Нетрезвым был, гражданин судья,— ответил хулиган вдруг окрепшим голосом.

И с готовностью рассказал, где и сколько выпил.

— Во всем водка виновата,— заплакала его мать.

— Граждане судьи,— заговорил адвокат,— водка его подвела...

Я ничего не понимал — кого же здесь судят? Человека или водку? Представьте, что убийца ссылается на нож: он, мол, виноват. И почему хулиган не скрывает, что был пьян? Ведь это состояние закон относит к отягчающим обстоятельствам?

Нет, закон он знает, но знает и людей. Скажешь «по пьянке», и выходит, что вроде бы не ты сотворил преступление, а водочка. И он не сильно ошибся. В зале ему сочувствовали, наказание дали не связанное с лишением свободы, и вышел хулиган из суда с окрепшим убеждением, что виноват не он, а продаваемая в магазине водка.

Так на моих глазах отягчающее обстоятельство обернулось смягчающим.

Расскажу еще одну поразительную историю, происшедшую в одном из городков Ленинградской области.

Городской комитет партии ввиду чрезвычайных обстоятельств создал штаб. Была поднята местная милиция, а из Ленинграда выехали руководящие работники Главного управления внутренних дел. Также из Ленинграда примчались медики — реанимационные бригады. Состоялось экстренное заседание исполкома горсовета.

Что же случилось? Нет, не стихийное бедствие. Не землетрясение и не наводнение. И не пришельцы прилетели из других миров. Никогда и никому не угадать...

Экскаваторщик ненароком задел ковшом трубу, из которой вдруг потек спирт. И уж никто не стал разбираться, какой он — спирт есть спирт. Да еще дармовой. А спирт оказался метиловым. Отравилось тридцать человек.

Корреспондент газеты, описав этот случай, заключает: «То, что произошло на комбинате, с нашей точки зрения, связано с общей ситуацией на предприятии. Производство тут приостановлено, но ни новой рабочей обстановки, ни порядка тут нет».

Значит, виновата обстановка, комбинат, спирт... Ну, а люди-то, люди? Что потечет, то и будут пить?

Читаешь серьезные антиалкогольные статьи — с мыслями, с анализами, с цифрами. И вдруг куцый вывод — водку не продавать. Так и хочется спросить автора, а почему не другой вывод — водку не покупать? Ведь не приходит в голову запретить продажу конфет или пирожных, от которых тучнеют? Или не продавать ножи-топоры, которые можно употребить во зло?

Как-то прочел статью о хулиганстве. Пьяный покалечил человека. Против чего же восставал автор? Против красивого оформления спиртных напитков — формы бутылок, витрин, наклеек, рекламы... Замечу, что на рекламу спиртного и в прошлом веке ополчались. Например, вот на такую: «Несравненнейший Шустова удивительный коньяк».

Работая корреспондентом в «Вечернем Ленинграде», я как-то выступил со статьей о пьянстве, в которой проводил мысль, что бороться надо, главным образом, не с водкой, а с пьянством. Пришло более сотни откликов. Большинство читателей со мной согласилось. Но много писем было иных... «Неудачную статью поместила ваша газета. Как же вино не виновато? Обязательно оно и виновато...»; «По товарищу Родионову выходит, что пьющие и курящие появились раньше, чем вино и табак...»; «Не могу согласиться со статьей писателя. Тут мудрить нечего. Пьют, потому что продают...»; «Что делают с раковой опухолью? Вырезают. Так надо и с водкой, виновной в болезни нашего общественного организма...».

Тогда я обратился к общей редакционной почте. Что же люди пишут о причинах пьянства и борьбе с ним? А вот что: «В нашем микрорайоне очень много винных точек...», «Помогите закрыть винный отдел при магазине № 13...», «Просим перенести пивной ларек...», «Надо закрыть пивной бар...»

Казалось бы, письма написаны с гражданским пафосом. Но скажу откровенно, симпатии к этим людям я не испытал. Почему? Да потому что не борцы они против пьянства, а жалобщики...

Сперва хотел бы их спросить — перенесенные винные отделы, бары и пивные ларьки где встанут? Разве там нет людей? И еще хочется спросить: требуя закрыть, запретить и тому подобное, как вы сами боретесь с пьянством в семье, на работе, во дворе? Остановите ли пьяного подростка, возмутитесь ля нетрезвым состоянием соседа, поднимете ли голос против выпивохи на собрании?

Да что там письма граждан, когда на подобных позициях часто стоят руководители и общественные организации предприятий.

Начальник одного крупного ведомства пишет начальнику другого письмо о замене открытых пивных ларьков на ларьки «во встроенных помещениях». Другая официальная бумага рекомендует ставить пивные ларьки от предприятий и учреждений не ближе, чем за пятьсот метров. Вероятно, имея в виду, что жаждущим выпить пива этих метров не одолеть...

В одном институте проворная буфетчица стала торговать пивом. Некоторые студенты им накачивались и не ходили на лекции. Наконец последовало наказание. Кого, думаете? Выгнали с работы буфетчицу. Я нисколько ее не защищаю — она нарушила правила торговли. А студенты? Им, конечно, ничего, ибо они жертвы коварной буфетчицы. Необразованную буфетчицу выгнать, а образованным студентам слова не сказать? И это борьба с пьянством? Нет, это борьба с пивом. Теперь, кстати, его в буфете нет — пиво побороли. А студенты остались и, не получив никакого урока, надо полагать, пьют его в другом месте.

Почти так же поступили и руководители одного предприятия, заметив у части рабочих склонность к выпивкам. Главным образом, в обеденные перерывы. Казалось бы, вопрос ясен — берись за этих рабочих. Но ведь это сложнее и хлопотливее. Руководители предприятия огляделись и увидели невдалеке от проходной бар. Причина ясна! В райисполком полетели гневные письма с требованием убрать бар с глаз долой. И бар убрали.

История на этом не кончилась. Бара-то нет, а рабочие выпивают. И в обед, и после работы, и с похмелья приходят на смену. Проведенный сыск установил, что пьют теперь в скверике, который еще ближе к проходной, чем бывший бар.

Что было дальше — не знаю. Но могу предположить: администрация написала письмо в райисполком с требованием сровнять этот скверик с землей...

Откровенно говоря, я не очень верю в прямую зависимость между продажей спиртных напитков и пьянством. Все гораздо сложнее.

Когда-то Герцен сказал: «В Италии и южной Франции нет пьяниц, оттого что много вина». Мы знаем, что теперь там пьяницы есть. Но ведь по теории упомянутой прямой зависимости в этих странах должны бы давно спиться, ибо вино в них чрезвычайно доступно. Во Франции гарантированно чистая вода дороже, чем некоторые сорта вин. А наши Грузия, Армения, Азербайджан, Молдавия? Там тоже вина — изобилие, но я не располагаю сведениями, что, скажем, в Грузии алкоголиков больше, чем где-либо в центре России.

Или вот другой пример — Япония. В капиталистическом мире это — наиболее благополучная страна. Алкоголиков и пьяниц здесь гораздо меньше, чем в других государствах. А в Токио насчитывается 120 тысяч ресторанов, ресторанчиков и баров.

Выходит, что дело не только в питейных заведениях?

Представляю недоумение некоторых читателей. Вся страна борется за сокращение продажи алкоголя, а он уверяет, что не в продаже дело! Токио, видите ли, в пример приводит...

Есть люди, которые все проблемы — экономические, социальные, нравственные — готовы решать одним путем — командно-административным! Другими словами, решать их силой — не давать, запрещать, привлекать, судить.

Борцы с вином, а не с пьянством, обычно задают роковой вопрос: зачем тогда продают водку? Отвечаешь правдиво: конечно, не для того, чтобы ею поливали цветы. И тогда они делают легкий вывод: а если не продавать, то не будут и пить.

Мы облегчаем пьянице жизнь, представляя его жертвой торговли алкоголем. С этим он готов охотно согласиться — жертва. При случае и сам выскажется против зелья. Не будет шуметь и митинговать, если мы навяжем ему игру, когда спиртное, в сущности, от него прячут. Не с утра продают, а с обеда; винный магазин то закроют, то откроют; пивной ларек то сюда поставят, то туда. Вон, надумали за пятьсот метров, а он сходит и за километр...

Хочу сказать определенно — я тоже за ограничение производства и продажи спиртных напитков. Но не потому, что ставлю знак равенства между их продажей и пьянством, а потому, что доступность алкоголя может провоцировать на его потребление.

Любые социальные мероприятия требуют ювелирной соразмерности. Нельзя в одном забегать, а в другом отставать. Сокращение потребления спиртных напитков и перестройка сознания людей должны идти соразмерно и параллельно. Если мы уберем водку из магазинов и не будем вести против пьянства нравственную и другую работу, то люди станут эту водку искать. Если мы примемся за воспитательную работу, но спиртное оставим на каждом углу, то люди будут провоцироваться на пьянство. Только одновременно, только параллельно.

Не с вина надо спрашивать, а с человека; не прятать вино, а отвращать от него; не с бутылкой бороться, а — за душу человеческую; не искусственные преграды создавать для желающего выпить, а строить трезвое общество...

Отнюдь не претендую на то, что высказываю нечто совершенно новое. Уберегаясь от упреков в потакании пьянству, обращусь за помощью хотя бы к известнейшему юристу А. Ф. Кони, который прекрасно знал социальные болезни общества, а пьянц считал «вредным наслоением среди населения». Вот что он понимал под пьянством: «...ту привычную нетрезвость, которая постепенно от привычки переходят в слабость, из слабости обращается в порок, а от порока вырождается часто в преступление, а еще чаще в болезнь. Поэтому борьба с пьянством должна состоять в борьбе с этого рода порочной привычкой, а не с потребностью вина вообще».

Очень хорошо сказано: с привычкой, а не с вином.

И еще одно авторитетное высказывание, надеюсь, защитит меня от упреков. «Избавится от пьянства человек не тогда, когда он будет лишен возможности пить, а тогда, когда он не станет пить, хотя бы перед ним в его комнате стояло вино и он слышал его запах». Слова эти сказаны великим знатоком человеческих душ Львом Толстым.

Казалось бы, основная причина пьянства найдена давно — она в социальных условиях жизни. Об этом говорили классики марксизма-ленинизма, ученые и писатели. В прошлом веке слова немецкого химика Ю. Либиха «...не бедность есть следствие пьянства, а пьянство — следствие бедности» обошли весь мир. Н. Добролюбов написал статью «О трезвости в России», где прямо называет главную причину пьянства — бедность и несчастье народа, а не его безнравственность.

Итак, социальными причинами пьянства всегда были голод, нищенское жалованье, болезни, отсутствие сносных жилищ, безработица, изнурительный труд...

Кажется, ничего не забыл. Теперь попытаюсь примерить все эти язвы на нашу жизнь.

Голод. Тут и говорить не о чем — у нас хлеб, в сущности, бесплатный, а литр молока почти в одной цене с бутылкой минеральной воды.

Нищенское жалованье. Да, есть небольшие зарплаты, но у очень многих заработки приличные. Я считаю, что любой здоровый человек, если он не лодырь, может хорошо заработать. И мои личные наблюдения, и социологические исследования убеждают, что у нас чаще всего больше пьют те, кто много зарабатывает. Сколько я знаю семей, впавших в бедность как раз из-за пьянки. Как-то мне показали мужчину лет тридцати, потрепанного и потасканного. Он ходил по садоводству и предлагал людям хорошие дубовые доски от старинного шкафа. Умирая, отец оставил ему двадцать тысяч рублей. Сынок тут же загулял. И пропил все двадцать тысяч до копейки. Потом пропил мебель, люстру, костюмы отца... И вот теперь старинный рассыпавшийся шкаф продавал по доске. Впал в бедность?

Думаю, у нас никому и в голову не придет пьянство объяснять бедностью или малой зарплатой.

Отсутствие сносного жилья? Сносное жилье есть у каждого, у многих отдельные квартиры или дома, и вопрос поставлен об отдельных квартирах для каждой семьи. Но вот незадача: в отдельных квартирах пьют, пожалуй, больше, чем в коммунальных. Я бы мог порассказать, что творится за закрытыми дверьми некоторых отдельных квартир — и пьют, и винцом торгуют, и самогон гонят. Ограничусь одним курьезным эпизодом.

У женщины в комнате потек потолок. Она поднялась к верхним соседям, но дверь ей не открыли. Пришлось идти в милицию. Что же оказалось?

Семья из четырех человек — муж, жена, взрослая дочь и старушка — приехали из сельской местности и получили трехкомнатную малогабаритную квартиру. Дочь вскоре вышла замуж и съехала. Оставшиеся — муж и жена прилично зарабатывали, старушка получала пенсию — попивали ежедневно, а когда стало не хватать на водку, рассудили: зачем им втроем занимать три комнаты, когда можно жить и в одной. Сошлись в одну, в большую, а в среднюю пустили жильца, который тоже попивал. Ну, а третья комната? В третью прямо на паркет насыпали земли и посадили лук, чтобы рос зелененький на закуску. И поливали. А однажды полили так, что протек потолок...

Сейчас заговорили еще об одной причине пьянства — о нарушении социальной справедливости, допущенной в так называемые застойные годы.

Откровенно говоря, я не очень понимаю выражение «нарушение социальной справедливости». Если человек наживается спекуляцией и кражами, то это называется преступлением. Если получает блага по блату или не за работу, то это зовется махинациями. Ну, а если имеются в виду разные доходы граждан и разные жилищные условия, то позвольте категорически не согласиться, и не только потому, что эта причина отдает грубым социологизмом: Иванов получает меньше Петрова, поэтому и пьет.

Говоря о социальных причинах пьянства, я пока ничего не сказал о труде — главном кирпичике нашей жизни. Может быть, пьянство оттуда?

Социологи чаще всего указывают на три момента, провоцирующие пьянство: тяжесть труда, нетворческая работа, безделье.

Могу с этим согласиться, но с большими оговорками.

Опустошающую силу тяжкого физического труда я знаю. В колхозе работал от зари до зари, в шахте на откатке попробовал, истопником дрова потаскал до дрожи в ногах, в таежные маршруты ходил, шурфы рыл...

Но если запивают от тяжелого физического труда, тогда должна быть прямая зависимость: у кого тяжелее работа, тот больше и пьет. Социологи эту зависимость отмечают — больше всего пьяниц среди работников немеханизированного труда. Однако из этих же выкладок можно сделать совершенно иной вывод — больше всего пьяниц среди людей малообразованных, так как известно, что неквалифицированным трудом, как правило, занимаются люди с низким образованием и зачастую с низкой культурой.

Стало ли у нас меньше людей с низким образованием по сравнению, скажем, с тридцатыми, сороковыми, пятидесятыми годами? Без всякого сомнения. Увеличилась или уменьшилась доля неквалифицированного тяжкого труда? Разумеется, значительно уменьшилась и сокращается с каждым годом. А пьянство? Да, что-то тут никак логически не сходится...

Женщина возмущается в магазине новыми порядками, когда бутылки свободно не купить.

— Неужели вы пьете? — полюбопытствовал я.

— Мужу.

— Обычно жены прячут бутылки, а вы ищете...

Тогда она поделилась со мной семейной неприятностью:

— Муж у меня шофер, работа тяжелая. Бывало, придет с работы, поест, выпьет стаканчик и сразу спит. А теперь ходит, мается, не уснуть...

Эта женщина тоже полагает, что ее муж пьет из-за тяжелой работы. Но он втянулся давно, он уже алкоголик.

А я вот считаю, что у мужчины труд и должен быть тяжелым. Разумеется, не изнуряющим и надрывным, а таким, чтобы выкладываться полностью. На эту мысль навел меня образ жизни одного человека да и личный опыт...

Бывший офицер, он рано выслужился, ушел в запас, но дела себе в гражданской жизни не нашел. Пятьдесят лет, высок, крепок. Вставал рано, делал зарядку, обливался холодной водой и плотно завтракал — любил кашу с мясом и крепкий чай. Затем выводил из гаража мотоцикл с коляской — мощнейшую вездеходную машину. В коляске лежала канистра с бензином, ружье, фонарь, спальный мешок, продукты...

Куда он только не ездил! За город и в соседнюю область на охоту, рыбалку. В Сибирь за кедровыми орехами, где нанимался в бригады шишкобоев, и возвращался уже по снегу с мешками орехов. Куда-то к Полярному кругу за морошкой и олеными пантами...

Я долго его не понимал — человек вроде бы и дома не живет. И зачем мотается, терпит всякие лишения и неудобства. Потом я понял — он утолял жажду действия и борьбы, жажду испытаний мужского характера.

Мы забыли, что такое мужчина. Это физическая сила, энергия, воля, ум, действие. Все это должно расходоваться, идти в дело — и физическая сила, и психическая энергия. Мужчине нужен бой, схватка, борьба. С чем? С плохим в жизни, с преступностью, с дурью, с хамством, с засухой, с землетрясениями и наводнениями...

А сколько миллионов современных мужчин на работе лишь слегка утомляются, а придя домой, не знают, чем себя занять. Есть, конечно, такая разрядка, как спорт, но ведь занимаются им единицы.

Теперь глянем на выпивку с этих позиций. Кончился весьма необременительный рабочий день. Свободного времени, как говорится, навалом. Можно и не торопиться домой, можно и «скинуться» на троих, а лучше и компанией побольше. Чтоб наговориться, порассказать друг другу истории из своей жизни. Выпить, хоронясь от дружинников, избегая милиционеров, строя козни против жен...

А утром встать с чувством чего-то пережитого — вроде бы и борьба была, и опасность, и трудность, и заверения в мужской дружбе.

Можно ли запить от нетворческой, рутинной и неинтересной работы? Американские социологи полагают, что можно. Они опросили 625 служащих, учителей и врачей, которые причиной своего пьянства назвали неудовлетворенность работой. Есть ли у нас подобные люди? Конечно же. Психологи утверждают, что человеку каждые семь лет желательно менять род деятельности.

Но не будем забывать, что американскому врачу или учителю сменить работу не так-то просто. У нас при некоторой настойчивости найти дело по душе всегда можно, что и делает множество людей.

Не секрет, что доступность к творческим профессиям у нас довольно проста. Растет количество научно-исследовательских институтов, множится армия ученых (защищается около семидесяти кандидатских диссертаций в день), разбухают творческие союзы, тысячи молодых людей становятся руководителями... Занять-то место или должность не сложно, ибо серьезного отбора, серьезной конкуренции у нас нет, а дальше... А дальше не каждый справляется, не каждому под силу. И тогда винят работу и берутся за рюмку...

В научно-исследовательском геологическом институте мне довелось работать с одним, в то время молодым, специалистом. Крупный, лысоватый, малоразговорчивый, с упорным и сосредоточенным взглядом. За диссертацию он сел сразу же, как только кончил университет.

Я проработал в институте семь лет — он все писал. Защитился с большим трудом еще через семь лет. И ни у кого не поднялась рука «зарубить» пятнадцатилетний пустопорожний труд. Идущие вслед за ним соискатели вполне логично утверждали, что их диссертации не хуже. И потому тоже защищались.

Итак, под смех и шутки мой герой стал кандидатом наук. Все думали, что теперь он сядет за докторскую. Ошиблись — он стал попивать. Умеренно, но каждый день. Выпив, ругал науку, родной институт, всех ученых и своих коллег за то, что они его не уважают и не ценят. И он был недалек от истины. Кончилось все это тем, что от него ушла жена, а ему пришлось расстаться с институтом.

Неужели и этот случай социологи отнесли бы в графу «неудовлетворенность своей работой»? Неужели он запил оттого, что работа была нетворческой?

Причина здесь не социальная, а скорее — психологическая. Из этого геолога вышел бы отменный шахтер, тракторист, токарь, избери он иной путь в жизни. Но легкость, с которой ему, бездарю в геологии, удалось поступить в научно-исследовательский институт, а затем, не имея на то способностей, защитить диссертацию, и погубила его.

Знавал я опытного следователя, который проработал в прокуратуре всю жизнь. Правда, одна его черта меня раздражала — восторженность. Есть люди, которые свою работу считают наиважнейшей, самой-самой... Поскольку я полагал первоосновой труд рабочих и крестьян, а не следственную работу, то схватывались мы с ним в крепких спорах.

У него был сын, которого он водил на уроки музыки и лепки. Разумеется, сын хотел стать следователем. Иначе и быть не могло. Представляю, что отец рассказывал дома о своей работе — как он искусно допросил, как ловко уличил, как неотвратимо доказал, как властно арестовал. Сын поступил на юридический факультет...

Потом я из прокуратуры ушел. Знаю, что университет он окончил прекрасно и был распределен в прокуратуру. Если есть потомственные сталевары, то почему бы не быть потомственному следователю?

Буквально через год мне рассказывают: «молодой потомственный» уволен из органов за пьянку. Невероятно, ибо раньше он совершенно не пил. Что же случилось?

Картину я собирал мозаично...

На вторую неделю работы в прокуратуре выехал он в квартиру, где было совершено убийство. Труп, запах, на обоях брызги крови... Следователю стало плохо — оперативники вывели его на свежий воздух.

По другому делу попался невероятно скандальный обвиняемый — завалил жалобами все инстанции и всю прессу, используя любой промах неопытного следователя, а промахи у начинающего всегда есть. Первое законченное дело суд вернул ему на доследование, что считается браком. Через несколько месяцев у него скопилось шесть дел, подлежащих тщательному расследованию. Он не успевал, из-за чего возник конфликт с прокурором...

Неприятности множились. И тогда какой-то доброхот подсказал: «Выпей». Он выпил, с непривычки сильно охмелел и был задержан милицией. Доложили прокурору. Следователь прокуратуры задержан милицией в нетрезвом состоянии? Уволить немедленно!

Кто же виноват? Прежде всего, отец, который воспитал слабовольного парня, восторженно рассказывая ему о профессии, умалчивая про тяготы следственной работы.

Среди человеческих качеств я ставлю на первое место именно волю, ибо она чаще всего является началом начал всего хорошего в человеке, а ее отсутствие — всего дурного. Слабовольные люди приобщаются к рюмке, как правило, не ради эйфории, которая, кстати говоря, быстро проходит. Прежде всего, им хочется забыться. Уйти от жизни, ни о чем не думать, выбросить из сознания тяжелые мысли, заглушить одолевающие сомнения, страх, отодвинуть решение какого-то трудного вопроса.

Но вот что интересно: хотят забыться, а думают и говорят как раз о том, что хотят забыть. Выпив, они строят свой иллюзорный мир, где расставляют все по своим местам — тут они хозяева положения. Решаются служебные конфликты, укрепляется дружба, возвращается любовь... Все, что не удалось в реальной жизни, удается в этом призрачном, воспаленном пьяным воображением мире...

Это состояние хорошо передал Л. Толстой, рассказывая про Пьера Безухова: «Только выпив... он смутно сознавал, что тот запутанный, страшный узел жизни, который ужасал его прежде, не так страшен, как ему казалось». И чуть дальше: «Но только под влиянием вина он говорил себе: „Это ничего. Это я распутаю — вот у меня и готово объяснение. Но теперь некогда,— я после обдумаю все это!" Но это после никогда не приходило».

Руководитель феодосийского наркологического центра А. Р. Довженко с успехом лечит алкоголиков внушением, гипнозом, силой своей личности. Однако бывали случаи, что вылеченные срывались и вновь запивали. Все эти срывы они объясняли не тягой к вину, ибо алкоголь сам по себе их не интересовал. Все срывы происходили по другим причинам — один поругался с женой, второй повздорил с соседом, третьего обидели на работе... И потянуло забыться — оглушить себя алкоголем.

Истины ради я должен признать, что далеко не каждый слабый человек ищет забвения в вине. А в чем же? Да во всем, что может отвлечь от давящих сознание мыслей, что способно занять руки и ум. Для одних это какое-нибудь хобби, для других — домашнее обустройство, для третьих — спорт, развлечения, общественная деятельность, физическая работа, наконец... Я знал молодого инженера, которого отвергла страстно любимая им женщина, и он, интеллектуал, меломан, пошел в грузчики — лишь бы сменить привычную обстановку на необычную и не предаваться терзающим его мыслям.

Я убежден, что слабых людей значительно больше, чем принято считать. И многие из них не берутся за рюмку. Выходит, дело не в воле, коли она у кого-то слабовата? Выходит, что все дело в том, каким способом человек решил забыться?

Да, именно так: каким путем. Пьющий — это тот, который забывается самым примитивным путем. И радость, и боль, и сомнения, и страх разбавляет алкоголем.

Вот я и пришел к главной причине пьянства, причине причин — бездуховности и низкой культуре. Как дом на фундаменте, на ней стоит все остальное, что может привести к пагубному пристрастию человека к спиртному. И бытовая неустроенность, и неудовлетворение работой, и семейные или иные неурядицы, и слабость характера, и доступность алкоголя...

Назвав причину причин пьянства, я тут же представил серьезного оппонента, который много знает, мало сомневается и привык к штампованным истинам. Этот человек спросит, вернее, поправит меня: «Разве вы не знаете о возросшем культурном уровне миллионов? У нас больше, чем в других странах, людей с высшим образованием. У нас больше всех студентов. Мы самый читающий народ в мире...»

Правильно. Только не будем путать культуру со знаниями, информацией и достижениями науки. Все это становится, как теперь принято говорить, «человеческим фактором» в том случае, если они наполнят не только разум, но и душу, если как-то органически сливаются с нравственностью.

Не я первый сказал о бездуховности и бескультурье как о первопричине пьянства. Еще до революции борцы за трезвость говорили о серости мужика. Но им резонно возражали, что при такой жизни культура не поможет, ибо мужику надо забыться. Теперь жизнь изменилась, теперь можно потребовать от человека не только трезвости, но и культуры.

Долгое время слово «культура» было у нас в некотором отдалении. Мы больше заботились о планах, тоннах, пудах, квадратных метрах и рекордах. Нет-нет, о культуре мы помнили. Но после работы, вечерком, раскрыв книжку, устроившись у телевизора.

Мы многое делали, чтобы люди жили лучше. Зарплата, жилплощадь, одежда, питание, дачи, автомобили... Но почти ничего не делали, чтобы объяснить, что такое «жить лучше». Лучше — значит материально богаче, на широкую ногу? Или достойнее, более духовно?

Иногда я вижу, как пьянство и культуру меняют местами. Вижу, читая обличительные статьи в газете про опустившегося человека: никуда не ходит, ничем не интересуется, потому что пьет. И дальше идет такой вывод: «Вытравила водка культуру из его души». Так и хочется спросить: «А была ли у него культура?»

Пьянство от образа жизни или образ жизни от пьянства? Бескультурье от пьянства или пьянство от бескультурья?

Я не сомневаюсь: первопричина пьянства — бескультурье. Эту мысль можно было бы подтвердить цифрами. Статистика утверждает, что алкоголиков больше всего среди людей с низким образованием, с высшим образованием в вытрезвитель попадают реже... А вот интересная цифра из зарубежной статистики: при обследовании 7341 швейцарских юношей выяснилось, что потребление спиртного и табака тем выше, чем ниже уровень профессионального образования.

Но по этому облегченному пути цифр и опросов я не пойду — не писательский это путь. Да и не ставлю, как уже говорил, знак равенства между культурой и образованием. Мои убеждения складываются из личного опыта, наблюдений и раздумий.

Есть культура и антикультура. Это курение, наркомания, агрессивное поведение, вещизм... И есть люди, которые, если так можно сказать, эту антикультуру потребляют. Вглядимся в них попристальнее...

Они нелюбопытны и нелюбознательны, поэтому мимо них идут не только знания, но даже информация, чем так богат наш мир. Они не размышляют и ни о чем особо не переживают, живут в своем замкнутом мире.

Но эти люди тоже хотят развлекаться и получать удовольствия. Как? Если человек культурный получает наслаждение опосредственно что ли, через интеллект, через сложные ассоциации — музыку, книги, пьесы, кино, интересную беседу — то бездуховный знает путь проще. Водка. Она прямо шарахает в мозги по центрам удовольствия — и все дела.

Я говорил про слабых людей... Но почему они не забываются книгой, работой, музыкой, общением с приятелем; почему забываются самым низменным способом — дуреют алкоголем?

К этому же способу прибегают и некоторые хорошие работники, и даже мастера «золотые руки», которые частенько пьют. Почему?

Он трудится, знает свое дело, у него определенная социальная роль. Но вот работа кончилась. Он уже не работник. Теперь от него требуется иная социальная роль — мужа, отца, семьянина, друга, соседа, гражданина... Здесь уже нужны не трудовые навыки, а культура, духовность. А если их нет? Что делать в свободные вечера, в выходные, в отпуска? Конечно, можно опять работать — мастерить, копаться на садовом участке, лежать под своей машиной. Но нельзя же работать беспрерывно, нельзя же вечно быть занятым делом.

И тогда находится выход — бутылка. Не работаешь, отдыхаешь, пребываешь в семье или среди приятелей. Вроде бы выполняешь иную, уже не трудовую роль. И моральное обоснование есть — имеет право человек отдохнуть?

Еще один момент, объясняющий, почему хороший работник может взяться за рюмку... Как это ни парадоксально — из-за чувства собственной неполноценности. Представьте: мастер «золотые руки», специалист высокого класса, а кончил работу — и вроде бы никто. Поэтому душа жаждет компенсации. И выпив, эти люди говорят, главным образом, о работе, похваляясь, какие они мастера и как их ценят да уважают.

Сколько я знаю подобных людей, которые бывают только в двух состояниях —

или работают, или пьют. Сколько мужчин мается в свободное время... Когда в шестидесятые годы ввели два выходных дня, то в редакции газет и в государственные инстанции стали поступать невероятные письма от жен пьяниц, слезно просящих ликвидировать второй выходной. Мотив? Раньше мужья пили один день, теперь пьют два.

Чем все это объяснить, как не бескультурьем?

Я писал о хулиганах, которые объясняют, что на преступление их привела водка. Но пьют-то они из-за беспредельной серости. Возьмите любого из них и вы поразитесь примитивности его интеллекта и пещерности взглядов. Я приведу жалобу хулигана, она говорит сама за себя.

«Прошу, товарищ прокурор, взглянуть на мое заявление трезво, а не глазами, затуманенными борьбой с хулиганством. Да, преступность надо выжигать и кого следует заталкивать куда следует. Но разобравшись, а не прямо туда. А все было, как я вам сейчас расскажу.

Сначала я хотел выпить кружку пива, но очередь мне объяснила, что без очереди пива не получу. Тогда я взял две бутылки в магазине, из которых одна была водкой, а вторая маленькой. Войдя в комнату, я взял бутылку и предложил ей со мной выпить, на что она отказалась. Меня это сильно поразило. Гражданку Будько — я знаю не постольку поскольку, а извините за откровенность, на положении жены. Поразившись на нее, я выпил три стакана водки. Так как было жарко, то я опьянел и почувствовал слабость своей силы. Матом я не говорил, а если б и сказал, то потому, что она назвала меня на нехорошую букву. Возможно, я вставлял в разговор отдельные слова, какие мужчины употребляют для связи слов, но не в смысле угрозы, а как есть на самом деле. А если вы считаете, что я причинил телесные повреждения гражданке Будько в район головы, то прошу сделать мне испиртизум. Этим я не хочу сказать, что я ангел. Нет, я далеко не эта птица: если мне выбьют один глаз, я стремлюсь выбить оба.

Но все-таки, товарищ прокурор, прошу выйти мне навстречу. А то получается, что выпил дряни на три рубля, а шуму наделал на пять лет».

Вот еще пример...

Этого шофера знал я лет пять, хотя слово «знал» тут не совсем подходит — он со мной почти не разговаривал. Кивнет через забор, глянет сухим мрачным взглядом и уткнется в свою работу. Мне казалось, что с женой и детьми он тоже молчит. Но он с ними все-таки говорил. Правда, рыкающим голосом. Позже я понял, что он пребывает в двух постоянных состояниях — мрачно работает или мрачно пьян.

На огороде он сажал лишь одну картошку. Вообще делал только самое необходимое — весной вскапывал огород, осенью колол дрова да ходил на работу. Дом стоял некрашеный, с маленькими окошками, какой-то неумытый...

Однажды я случайно услышал, как его жена рассказывала старушке про свою кровоточащую спину — муж избил палкой. Потом как-то слышал в доме крики детей, женский плач и звон стекол. Потом видел подъехавшую милицейскую машину...

Появляясь в тех местах каждую весну и встретив этого водителя, я почему-то удивлялся. Пришлось задуматься и переложить интуицию на мысль... Чему же я удивлялся? Тому, что он еще жив. Меня до сих пор берет оторопь — я предчувствовал, что он погибнет.

Так и случилось. Утонул он в прошлом году, упав пьяным в воду полуметровой глубины.

Сам себе отвечаю на два вопроса. Один простой: мог ли он не утонуть? Нет, не мог: не утонул бы, так попал бы в автоаварию, сгорел бы по пьянке в собственном доме. Второй вопрос сложней: мог ли он не пить? Со мной, видимо, не все согласятся, но я отвечаю определенно: нет, он не мог не пить.

Что ему при таком духовном убожестве было еще делать? Книг и газет он не читал, в кино не ходил, даже телевизор не смотрел — неинтересно. Он и с людьми не разговаривал — неинтересно. Скажут, мог бы больше работать, воспитывать детей, заниматься домом. А чем занять пустую душу? Если бы он заполнил ее смыслом работы, радостью воспитания, чувством природы, тогда стал бы другим человеком и не закончил бы свою никчемную жизнь в канаве.

Часто спрашивают: что такое мещанство? Разве плохо, если человек достиг материального благополучия? Нет, не плохо. И мещанство заключается не в том, что человек много зарабатывает, хорошо одевается и приобрел дачу с машиной. Суть мещанства — в полном удовлетворении одними лишь материальными благами. В упорном стремлении к ним, а когда поставленная цель достигнута, случается, что и мещанство терпит банкротство.

Однажды выехал я на самоубийство — довольно-таки крупный специалист застрелился у себя на квартире из малокалиберной винтовки. Как правило, стреляются в состоянии опьянения. Не был исключением и этот случай.

Я ходил по пятикомнатной квартире, отвлекаясь на всякие диковинки. Никогда не виданная мною стенка из дуба, бронзы и зеркал. Мягкое кресло, принимавшее, как в фантастических рассказах, позу севшего. Японский телевизор, плоский, висевший на стене. Музыкальный бар. В каждой комнате по телефонному аппарату, и все разные...

Труп лежал на ковре. Где-то в других комнатах спорили родственники. Жена погибшего взяла со стола шкатулку, видимо, с драгоценностями и унесла...

Закон обязывает найти мотивы преступления. Я установил, что погибший часто прикладывался к коньяку. Последнее время ежедневно. В постановлении о прекращении уголовного дела я бы мог записать мотив самоубийства так: «Находясь в состоянии алкогольного опьянения»... И типично, и, вроде бы, верно. Но я понимал, что опьянение — это лишь повод. Мотив лежит глубже.

Пошли допросы родственников, друзей, сослуживцев, знакомых, соседей. И картина стала вырисовываться.

Самоубийца был отличным специалистом. Руководил небольшим, но ответственным подразделением. Получал очень высокую зарплату. Пить начал лет пять назад, а раньше не было и намека. Меня, конечно, интересовало, почему стал пить. Потихоньку мотив проступал. Впрочем, я изложу это протокольно, а уж судите сами...

Жена показала, что в марте был скандал — она купила билеты в театр, а Борис не пошел... (погибший). В июне они поссорились из-за того, что он никуда не ходил и, кроме футбола, ничего не признавал. И еще она вспомнила, что в сентябре была ссора. Борис помог дочке-восьмикласснице писать сочинение, прочтя которое, учительница сказала: «Ну и густопсовость!»

Сосед, знавший погибшего с детских лет, показал, что Борис ему признался: «Эх, дядя Гена, все у меня есть, а жить неохота».

Сослуживец показал, что месяца за три до самоубийства у них в отделе был эпизод. Аспирант во всеуслышание спросил погибшего: «Борис Иванович, а почему бы вам не прочесть „Войну и мир“?».

Друг показал, что последний год Борис говорил ему неоднократно: «Живем, пока стремимся».

Эти же слова были написаны Борисом Ивановичем в посмертной записке, которую я приобщил к материалам расследования.

«Живем, пока стремимся. Борис». Но к чему же он при жизни стремился? К должности и материальному достатку. Путь к более высокой должности ему был закрыт из-за низкой культуры. Материального достатка он достиг. Он не знал, что делать дальше и зачем жить. И тогда запил и спьяну наложил на себя руки...

Я долго думал об одной семье, не в силах понять скрытых сил, толкнувших братьев к пьянству...

Отец был рабочим, мать — домохозяйкой. Трудовые, порядочные люди. В свое время приехали из деревни и, видимо, памятуя о деревенской жизни, мистически боялись, как бы подрастающие сыновья не пристрастились к бутылке. Осуждали пьяниц, сами в рот спиртного не брали. И как предвидели: сперва начал попивать старший, потом запил и младший.

Причину этого пристрастия я нашел не сразу. Родители, необразованные и малокультурные люди, учили не пить. Но они не учили жить. Кормили, поили, одевали-обували. Ребята поняли, что пить нельзя. А что делать? Что — вместо? Почему дома так скучно? Почему у других весело?

Бездуховность, как и вакуум, заполняется скоро. И заполняется тем, что попроще, поближе. Водкой.

Я очень доволен, что антиалкогольный журнал, который стал выходить после известного постановления о борьбе с пьянством и алкоголизмом, называется «Трезвость и культура». Это значит, что главную причину пьянства у нас понимают. Не вино виновато, а пьяница. Эту пословицу я приводил. Теперь мне хотелось бы ее чуточку видоизменить — не вино виновато, а бескультурье. И вот что сказал Герцен: «Вино оглушает человека, дает возможность забыться, искусственно веселит, раздражает; это оглушение и раздражение тем больше нравится, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую, пустую жизнь!».

Я очень доволен, что наконец-то создано Всесоюзное добровольное общество борьбы за трезвость. Правда, борьбу с пьянством мы затевали не раз. Вспомним наиболее близкие годы — семидесятые.

«Пьянству — бой!», «Нанесем по алкоголизму решающий удар!», «Долой с витрины злодейку с наклейкой!», «Бутылка не должна быть доступной...». 19 мая 1972 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма».

Чтобы много не пили, открыли рюмочные. В ресторанах давали водки не более ста граммов. Закрывались винные магазины и питейные заведения: в Ленинграде было 602 алкогольных заведения, а стало 315...

И что? Пьянство продолжалось.

Тогда поднялась следующая волна общественного мнения. Пожалуй, главной сутью ее была мысль, что без закона о принудительном лечении нам не обойтись. И 1 марта 1974 года вышел очередной Указ «О принудительном лечении хронических алкоголиков». Была создана наркологическая служба. Я бы мог привести внушительные цифры об успехах этой службы, о городском и районных наркологических кабинетах, о стационарах, профилакториях... Например, в 1978 году в Ленинграде было снято с уче-

та как излечившихся алкоголиков и пьяниц почти семь тысяч человек.

И все-таки борьба с пьянством в семидесятых годах не дала ожидаемых результатов. Почему?

Чтобы это понять, нужно разобраться в наших первых шагах после выхода последних антиалкогольных законов. Они обескуражили многих. И не только пьяниц.

Остановились винные заводы. Начали вырубать технические сорта винограда, тутовники. Поскольку нельзя делать виноградную водку, то кое-где перестали выходить на уборку винограда. Кисли чаны с соком, приготовленным для выпуска вина. Оказались без дела все мелкие сельские винокурни. Образовались завалы яблок, которые некуда стало девать...

Смелые и новые решения всегда порождают проблемы. Что бы сказали люди, если бы девяносто процентов хлеба шло на водку? А ведь именно столько процентов винограда уходило на вино, того самого винограда, гроздь которого для средней и северной России редкое лакомство. Еще Лев Толстой удивлялся, что огромные пространства земли отведены под виноград и табак, а миллионы людей заняты приготовлением вина и папирос.

Началась перестройка. И выяснилось, что яблочные завалы можно употребить и не на бормотуху, если научиться торговать этими яблоками. Например, в Липецкой области их уходило на вино по пятнадцать тысяч тонн. Теперь же делают соки и другую сладкую продукцию. Оказывается, из яблок можно делать сульфатизированный порошок — прекрасное сырье для промышленности и торговли: ложку в стакан воды, и сок готов.

Оказывается, винные сорта винограда можно заменить столовыми. Да такими, которые созревают в разное время — итальянский мускат, кардинал, карабурун...

Оказывается, из винограда можно получать не только вино, но и гораздо больше производить и соков, сиропов, джема, варенья, компотов, желе, мармелада, винного уксуса, винной кислоты, пищевого красителя, винного камня, витаминов, лекарственных препаратов; можно делать и безалкогольные вина, без спирта, но с сохранением витаминов, виноградное сусло и мед, которые добавляют в фруктовые булочки и другие кондитерские изделия, розовый мускатный порошок, который стоит лишь залить водой, чтобы получить напиток со свойствами свежего винограда, в конце концов, можно консервировать виноград холодом с сохранением мякоти...

Вот всем этим должны и уже начали заниматься многие бывшие винные заводы и винокурни. В Казани, например, даже винные погреба переделали под плантацию шампиньонов.

Главный инженер «Самтреста», заслуженный в Грузии человек А. Курдадзе получил авторское свидетельство на массовое производство национального кушанья чурчхелы, приготовляемого из сока винограда, орехов, миндаля и муки. Поскольку чурчхела не имеет отношения ни к вину, ни к коньяку, то авторское свидетельство пролежало в сейфе более десяти лет, до выхода антиалкогольных постановлений.

Но это, так сказать, техническая сторона дела...

Как же мы начали выполнять антиалкогольные законы? По-разному.

В Одесской области ездили по селам с лекциями, беседами и фильмами, после чего предлагали добровольно сдать самогонные аппараты. Утром на улицах лежали горы различных агрегатов — их было собрано более четырех тысяч.

В Карелии отпускали спиртное по талонам — две бутылки в месяц любого алкогольного напитка. Кто не работал, отоваривался в жилконторах, работники которых вместе с участковыми инспекторами милиции решали, дать или не дать. На предприятиях Петрозаводска появилась новая кара — лишение талонов на водку.

Появились зоны трезвости, на манер безъядерных. Скажем, в Новгородской области их образовали сто тридцать. А не весь ли Советский Союз должен стать зоной трезвости?

В Майкопе милиционеры встали у прилавков и требовали паспорт у каждого покупателя спиртного, чтобы вписать в специальный журнал учета.

В Риге на одном из объединений зарплату пьяницам стали выдавать только 13 числа, в специальной комнате и после беседы с наркологом.

В Архангельской области начали выпускать водку в трехлитровых банках, чтобы не пили по углам, а брали впрок, домой, в семью...

А вот в Ульяновске не стали закрывать винные магазины, ставить милиционеров и отлавливать рабочих в спецовках, а сдвиги впечатляющие: в 1985 году приходилось почти по 7 литров спиртного на душу, в 1986 году — 4,4 литра. За счет чего же?

В пятницу, субботу, воскресенье и понедельник вино вообще не продается — дни зарплат. Но главное в другом. В эти дни зарплат к проходным подкатывают автолавки с товарами. В городе оживилась торговля. Больше стало мест досуга, и там забурлило веселье. Развили садоводство. Больше продают стройматериалов, для чего построили специальный завод...

Как видите, способы борьбы разные — от эффективных до курьезных. Разумеется, решительная борьба с пьянством привела и к некоторым негативным явлениям.

Длинные очереди за спиртным. Нет кассового оборота денег. Началась спекуляция водкой. Пьют суррогат: одеколоны, лосьоны, средства от потливости и плешивости, лак для ногтей, автошампунь, антистатик; пьют все жидкие лекарства, и в аптеках можно увидеть объявления типа: «Капли боярышника отпускаются только с двух часов и по одному пузырьку». И уже пошли анекдоты, один другого остроумнее: «Дайте мне два „Тройных“ и одну „Гвоздику“.— Уж берите три „Тройных“...— Нет, среди нас одна дама».

Но главное негативное последствие ограничительных мер продажи спиртного — самогоноварение. Прежде всего оно закурилось в деревне.

В Ростовской области в 1986 году самогоноварение повысилось в три раза. В Белоруссии варят в лесах — костры, цистерны, аппараты. В Казахстане самогоноварение достигло таких масштабов, что стало не хватать сахара. В первом квартале 1987 года самогонщики отняли у республики триста миллионов рублей. В Кингисеппском районе самогонщиков увеличилось вдвое.

Из деревенских изб и бань, где самогон гнали, скажем, агрегатом, скомпонованным из холодильного устройства и деталей доильной установки «елочка», самогоноварение перекочевало и в городские квартиры.

И неудачи семидесятых годов, и негативные последствия теперешних мер имеют одни причины.

Прежде всего, борются с алкоголизмом, а не с пьянством. Но коли алкоголизм — болезнь, то в первых рядах борцов оказываются медики. Этого явно недостаточно. Борьба с пьянством заключается в предупреждении алкоголизма, а не только в его лечении.

В борьбе за трезвость кое-где слишком уповают лишь на запретительные меры. В Смоленской области после выхода постановлений навесили замки на все винные магазины, а в самом городе оставили один. И отрапортовали, что с пьянством покончено. Результат: на двадцать пять процентов выросла продажа сахара.

Вот еще пример, мне самому не совсем понятный. В одном из техникумов опросили девушек старших курсов: возможны ли праздники без выпивок? 87 процентов ответило положительно — возможны. Все это было до антиалкогольной борьбы. Опросили тех же самых девушек и когда борьба уже началась — 80 процентов заявило, что без вина праздники не праздники.

Что это? Реакция на запретительные меры? Вполне возможно.

И все-таки сдвиги налицо.

Прежде всего, с улиц и общественных мест стал исчезать пьяница. Если где и мелькнет нестойкая фигура, то она кажется одинокой и, как бы застеснявшись, куда-то уползает. Увеличилась клиентура вытрезвителей, отчего некоторые недоумевают — пить, что ли, стали больше? Нет, забирать стали чаще.

Приятную тенденцию подтверждают и такие цифры.

Значительно сократилось потребление алкоголя — в среднем на 30 процентов. Сократились на одну пятую часть дорожно-транспортные происшествия и прогулы. Снизилось количество преступлений. Сэкономлено более миллиона тонн зерна. Увеличилась рождаемость, впервые за последние десять лет выросла продолжительность жизни...

Теперь о первом и непременном условии антиалкогольной борьбы.

С пьянством мы покончим, когда сломаем, вытравим из сознания людей давно сложившийся стереотип, что пить совсем не грешно, заменив его другим — пьяным быть стыдно. Пить водку безнравственно, как и воровать, и хулиганить. Пока этого не осознает подавляющее большинство, с пьянством не справиться.

Борьба с пьянством должна быть бескомпромиссной: пьяница — человек плохой. Гласной: позорить пьющих на каждом шагу, чтобы им было стыдно. Бессрочной: каждый день, каждый месяц и каждый год, пока отвращение к пьянству не войдет в плоть и кровь. Равной: не только выпившего руководителя освобождать от должности, но и пьющего рабочего крепко наказывать.

Борьба с пьянством должна вестись со всей непримиримостью. Везде и всюду. Только мало у нас нетерпимости, ох как мало...

Что-то я не припомню, чтобы высадили из электрички или автобуса пьяного, не пустили бы в магазин алкоголика, запретили бы вход на дискотеку хмельному парню... Не припомню молнию типа: «Сидоров выпивает!» И его фотографии, чтобы все знали Сидорова и не подавали бы ему руки...

Мы настолько обходительны с пьющими, что даже не используем правовые возможности.

Почему забыта никем не отмененная административная норма — арест на пятнадцать суток? По-моему, это — эффективнейшая мера, ибо появление пьяным в общественном месте есть нарушение общественного порядка. А коли так, то потрудись на тяжелых физических работах. Почему я уповаю на подобное наказание? Да потому что здесь центр тяжести с внешних воздействий государства — скажем, с ограничения продажи спиртного — переносится на самого пьющего. Он

наказывается за доведение себя до пьяного состояния. Значит, поднимая рюмку, он вынужден каждый раз задумываться: пить или не пить?

Я не понимаю, почему за выпивки не исключают из всех общественных и других организаций. Пьянство аморально. Во всех же уставах записано о несовместимости членства с аморальным поведением. Если из партии за выпивки все-таки исключают, то комсомольцы к этим мерам почти не прибегают. И я не слышал, чтобы за выпивки выгнали из профсоюза. А почему? Исключать из членов профсоюза со всеми вытекающими последствиями.

Я не понимаю, почему пьющих не увольняют с работы без всяких проволочек. Например, в Азове администрация по молчаливому согласию на работу пьяниц не берет. Говорят, Азов трезвеет на глазах. Работа для тех, кто хочет работать. Пьяница не хочет. Бросит пить — милости просим.

Мне очень нравится, как поступают в новгородском объединении «Элкон». В вестибюле висят не только фамилии пьяниц, но и расчеты: сколько рублей они теряют от выпивок. Пьянице выдают особые пропуска, размером с амбарную книгу. И когда он такой пропуск предъявляет, то в проходной стоит хохот.

У меня есть знакомый, прототип моей повести «Сосняки», который сказал:

— Пьянство — это выстрел в спину.

— В чью? — спросил я.

— И в мою, и в твою, и в его.

Пьющих он ненавидит лютой злобой. Не поддерживает с ними никаких отношений и заступает им дорогу при первой возможности. Не одного высадил с автобуса, выставил из квартиры или выволок из парадного. Не боится ни пьяницы-одиночки, ни пьяной компании, потому что его руки лесоруба — что дубовые клешни.

У меня записан сюжет для будущего детектива, который уже по своему фактическому материалу интереснее любого розыска убийцы или похищенных бриллиантов.

Происходило это в сибирском далеком поселке, где работают вахтовым способом. Там был принят «сухой закон» и завозить спиртное в магазин перестали. Борьбу с пьянством начала молодежь во главе с командиром комсомольского оперативного отряда.

Тогда рабочие, прилетая на вахту, стали привозить спиртное с собой — ящиками, бутылями, термосами. И скучными вечерами загудели большие бессемейные компании.

Тогда командир вместе с комсомольцами установили посты в аэропорту и при помощи работников аэрофлота принялись досматривать багаж. Изъятые емкости уничтожались прилюдно.

Тогда группа рабочих написала жалобы во все инстанции о нарушении законности в поселке. Мол, новоявленная таможня, где их обыскивают, как шпионов.

Тогда приехал прокурор, опросил людей, взял объяснения и своими глазами увидел, как из двухлитрового термоса выплескивали на снег коньяк. И усмотрел в этом нарушение социалистической законности, самоуправство чистой воды.

Тогда командир вместе с комсомольцами поехали к прокурору области и доказали, что поселок при вахтовом способе работы — есть предприятие, куда рабочие прилетают трудиться из дому, как в городе приходят на завод. Поэтому аэропорт есть не что иное, как проходная, где с водкой на предприятие не пропускают.

Тогда прокурор области подумал и согласился, что спиртное на рабочее место допускать нельзя.

Тогда командир получил письмо, где лежала водочная этикетка и записка: «Если не уедешь из поселка, мы тебя уделаем. Буровики».

Тогда комсомольцы собрали общее собрание, прочли записку и предложили этим буровикам приоткрыть забрало, но не дождались этого.

Тогда любители выпить обрезали телефон командиру комсомольского оперативного отряда.

Тогда командир стал жить без телефона и ходить в телефонную будку на почту.

Тогда выпивохи подкараулили его, возвращавшегося с этой почты, и огрели сзади доской, разорвали шубу и унесли шапку.

Тогда комсомольцы оперативного отряда выделили ему двух телохранителей.

Тогда девушке, с которой дружил командир, бросили в окно второго этажа бутылку с бензином.

Тогда комсомольцы оперативного отряда оставили все свои дела, нашли хулиганов и передали их в руки милиции.

Тогда выпивающие и прочие гулявшие люди стали из поселка уезжать.

Тогда другие люди, прослышав про трезвый поселок, стали в него приезжать и проситься на работу...

Обязательно напишу повесть об этой завидной непримиримости.

Но непримиримость может одолеть пьянство лишь тогда, когда она станет массовой. Ни одиночки, ни подвижники его не одолеют. Лев Толстой в своей знаменитой статье «Пора опомниться» сказал: «Если сцепились рука с рукой люди пьющие и наступают на других людей и хотят споить весь мир, то пора и людям разумным понять, что и им надо схватиться рука с рукой и бороться со злом, чтобы и их детей не споили заблудшие люди».

Ежегодно алкоголизм и пьянство в нашей стране уносят из жизни десятки тысяч людей. Но спросите любого из их родных и близких, отчего умер любитель спиртного, и вам наверняка почти никто не скажет: «От водки». От первой выпитой с отвращением еще в юные годы рюмки до последнего жадного глотка алкоголя за шумным застольем пьющего неизменно сопровождает чье-то одобрение или участие, чье-то сочувствие или равнодушное лицезрение, и только в редких случаях — презрение и нетерпимость. Они-то — презрение и нетерпимость — проявляются, как правило, уже тогда, когда пьющий человек обречен на погибель, когда невозможно вернуть его к нормальной трезвой жизни.

Кто же они, пособники и заступники пьющего?

Да мы с вами.

Вот один из стереотипов такого заступничества.

Письмо в редакцию было озаглавлено одним словом — «Жестокость!». Да и начинала его А. С. Пономарева тревожно, криком души, описав событие, имевшее место в Московском парке Победы. «Он лежал лицом вниз, обе его ноги были в пруду. А прохожие шли мимо. Прошел холеный мужчина. Прошла женщина. Пробежал мимо спортсмен. На мостике собрались зеваки и ждали, что будет дальше, обмениваясь гипотезами, мирными репликами, неуместными остротами, и ни в одну голову не пришла мысль протянуть руку помощи. Что это?»

Так никто и не помог. Тогда Анна Сергеевна обратилась к хромому человеку, который согласился помочь. Они вдвоем — инвалид и шестидесятилетняя женщина — протянули мужчине костыль и вытащили его на землю.

Теперь взглянем на спасенного глазами его спасительницы: «На дорожке стоял молодой мужчина, черные волосы всклокочены, лицо от долгого лежания отекло, глаза влажно-красные... Стоял молча, расставив онемевшие от воды ноги. Тело было непослушно от долгого лежания в неудобной позе».

Эти строки вызывают легкое недоумение. Допустим, тело сделалось непослушным от «долгого лежания в неудобной позе». Но почему отекло лицо и стали влажно-красными глаза? Последующая фраза письма повергает в окончательное недоумение: «Инвалид встал на костыль и пошел своим путем, довольный, что спас человека от милиции».

Пономарева кончает свое письмо так: «Он мог бы свалиться в воду и утонуть. Пусть он пьяный, а разве пьяного не жалко?».

Вот так! Стоит заговорить о пьянстве, как жалость тут как тут. Жалеют жен пьяниц и самих пьяниц; жалеют, когда они валяются на асфальте и забирает их милиция; жалеют, когда гонят их с работы и не пускают в метро... А ведь эта жалость за счет других, за счет тех, на шее кого пьяница сидит, за счет той же семьи и общества. Помогать пьяным — значит потакать пьянству. Поэтому автора письма о мужчине «с красно-влажными глазами» я считаю человеком опасным — потакальщицей пьянству.

Потакают пьяницам, сердобольно относятся к ним не только отдельные доброхоты. В брошюрке под оригинальным названием «Пьянству — бой!» читаю: «...оказываем прямую помощь в сохранении жизни человеку, находящемуся вследствие опьянения в беспомощном состоянии, особенно осенью и зимой. Ради этого стоит работать, не жалея ни сил, ни времени».

Пусть меня упрекнут в жестокости, но ради этого работать, не жалея сил и времени, я бы не стал. Признаюсь, что я не поднимаю лежащих пьяных. Не только потому, что насмотрелся на них и наподнимался, работая следователем. Кстати, уже покинув эту работу, поднял однажды зимой приличного гражданина, не походившего на алкоголика. Он сидел в сугробе и делал прохожим таинственные знаки. Я их расшифровал, как просьбу о помощи. Подхватив его под микитки, отвел на какой-то приступочек и усадил. Он слабо улыбнулся, погладил меня по голове, то бишь по зимней шапке, а затем ловко и скоро снял с меня очки — да как хрястнет их о кирпичную стену. Я не утерпел и слепо отвесил ему пощечину...

Какой финал? Нас обоих доставили в милицию с заключением граждан — драка собутыльников.

В одной из своих повестей я рассказал про мать хулигана, которая принесла задержанному милицией сыну горячего супчика, влив туда полтора стакана водки. Теперь о другой старушке, более типичной...

Муж у нее был алкоголик, сын крепко выпивал, зять пил умеренно. Всю жизнь она страдала от этой водки. И эти невзгоды легли на ее лицо какой-то иконописью — худое, потемневшее, нервное. Казалось бы, должна ненавидеть пьянство. Как бы не так.

Попроси ее, старую, сбегать за водкой — сбегает. Выпивохи со двора стучат к ней насчет стаканчика или куска хлеба на закуску. Никогда не откажет. И не за какую-то мзду — бескорыстно. И денег на водочку всегда одолжит. В общественном транспорте, будь пьяному хоть шестнадцать лет, непременно уступит место. Не усталого пожалеет, не обиженного, а пьяненького. И когда повысили цены на спиртное, она возмущалась погромче алкоголиков.

Подобных старушек я считаю опаснейшими людьми.

Но бывают пособники иного сорта,

добрые люди, которых и винить-то грех. Расскажу про такой вот случай.

Алла Семеновна пришла на Финляндский вокзал, чтобы съездить в Зеленогорск. Вдруг к ней подошел человек лет тридцати и спросил:

— Скажите, вы попадали когда-нибудь в затруднительное положение?

— Конечно,— оторопела она.

— Видите ли, я приехал из Кемерова. И у меня украли чемодан с деньгами, бумагами, вещами. Даже электробритвы нет...

Алла Семеновна присмотрелась к незнакомцу... Лицо худое, рубашка несвежая, костюм мят и вроде бы пропитан пылью.

— Третий день ночую на вокзале, нет денег на обратную дорогу,— перехватил он ее взгляд.— Прошу вас, дайте хоть полтинник.

— Конечно-конечно...

Из Зеленогорска она возвращалась вечером. Выйдя из поезда, тут же на перроне столкнулась с тем же самым «обворованным» человеком. С ним было еще двое граждан, помятых и обтрепанных почище его. Знакомый Аллы Семеновны, не узнав ее и преодолевая языком земное притяжение, выдавил:

— Полтинничек... до Витебска...

— Туда,— подсказал приятель.

— И обратно,— уточнил третий.

Подстрекателей и пособников уголовный кодекс считает соучастниками преступлений. Вот почему выпивох-заводил, то есть людей, подстрекающих к пьянству других, и псевдодобреньких, то есть потакающих пьяницам, я считаю опасными людьми.

В борьбе с пьянством, на мой взгляд, серьезно перестроиться должна и антиалкогольная пропаганда.

Видимо, многие замечали, что на антиалкогольных лекциях — особенно на производстве, в общежитиях, в жилконторах — всегда заметна какая-то веселость, будто люди пришли на эстрадное представление. Я долго не понимал — отчего. Потом догадался, что все это от недоверия к лектору, ибо его слова чаще всего не совпадают с жизненным опытом людей.

Однажды я попал в шахтерскую аудиторию. Лектор говорил, что для человека, весом в шестьдесят пять килограммов, смертельной дозой могут оказаться пятьсот граммов чистого алкоголя. Шахтеры рассмеялись. Ибо они знали не одного человека, которые выпивали по литру водки и оставались живы-здоровы. Да и я знаю таких людей. Например, один из них своей нормой полагает семьсот граммов водки. И при этом работает, двигается, с кем-то общается, его пускают в метро, то есть почти не замечают, что он пьян. Надо полагать, чтобы заметили это, ему потребуется еще пол-литра.

Я не могу судить, какова смертельная норма — это вопрос медицинский. Но я твердо убежден: тот лектор обязан был объяснить и разъяснить шахтерам, что смертельная доза алкоголя — это не чьи-то выдумки, а, увы, реальная опасность для каждого пьющего. Иначе они сочтут лектора болтуном.

Я собрал те наиболее частые лекторские аргументы, которым многие люди не верили и не верят.

«После приема алкоголя наступает гнетущее болезненное состояние». Неправда. После приема алкоголя у большинства людей поднимается настроение. Это состояние именуется эйфорией, ради которой алкоголь и принимается. Вот после этой эйфории в конце концов приходит гнетущее и болезненное состояние. Я понимаю лектора — ему неудобно говорить про эйфорию, вроде бы тем самым прославляя алкоголь. Но говорить надо правду, которая заключается в том, что за эту самую краткую эйфорию расплачиваешься не только похмельным состоянием, но и потерей толики здоровья, потерей заработанных рублей, моральной опустошенностью, стыдом...

«Ошибочно представление, что алкоголь вызывает аппетит». Почему же ошибочно? После пары рюмок человек много и со вкусом ест. Другое дело, что этот аппетит не тот, который полезен для здоровья, что он искусствен и человеку он ни к чему, что от долгого пития и он пропадает... Но ведь так и надо говорить, сперва правду, потом суть этой правды.

«Безграмотно утверждать, что алкоголь снимает усталость и психическое напряжение». Но это обстоятельство давно людьми проверено — снимает. Я и сам проверял — снимал непомерную усталость бокалом сухого вина. Но правда и в другом: когда остывает действие вина, то становится еще тяжелее. Посему снимать депрессию выпивкой смысла нет.

«Алкоголь не согревает». Однако любой промерзший человек, выпив водки, чувствует растекающееся по телу приятное тепло. Что это? Иллюзия, после которой станет еще холоднее? Так и надо говорить, что, мол, согревать-то согревает, да...

Ряд этих примеров можно продолжить.

Вторым крупным недостатком нашей антиалкогольной пропаганды я считаю то, что ведут ее главным образом медики. Прошу понять меня правильно: хорошо, что врачи это делают, но плохо, что это делают в основном только врачи. В силу своей профессии они, к сожалению, не выходят за рамки медицины и здоровья. Почти все их выступления можно свести к простой формуле: водка — цирроз печени, пить — здоровью вредить. Многие ученые-медики подходят к пьянству, как к чисто научной проблеме, а отсюда и рекомендации: провести исследования, разработать меры...

Пожалуй, больше всего поражает наивная вера некоторых медиков в то, что люди пьют по незнанию о вреде алкоголя для здоровья. Процитирую наиболее характерное высказывание известного академика Ф. Г. Углова: «Следует помнить, что пропаганда и распространение вина базируется на лжи, ибо стоит человеку узнать всю правду об алкоголе, как он нередко перестает его употреблять» («В плену иллюзий», М., 1985).

Тут все удивляет. Во-первых, нет людей, которые не знали бы о вреде алкоголя. При теперешних-то средствах массовой информации не хочешь, да узнаешь. О вреде водки и никотина народ частушки слагает. Еще спартанский законодатель Ликург уничтожил все виноградники и пустил по стране глашатаев, вещавших тексты о вреде пьянства. Еще Гиппократ вывел формулу: «Пьянство — причина слабости и болезненности детей». Еще Лев Толстой сказал в 1889 году: «Защитники водки, вина, пива уверяли прежде, что эти напитки прибавляют здоровья, силы, согревают и веселят. Но теперь уже неоспоримо доказано, что это неправда».

Во-вторых: неужели стоит человеку узнать правду и он сразу одумается? Писателей, философов и моралистов не первый век ставит в тупик такая загадка: почему человек знает, что делает плохо, а все-таки делает?

И в-третьих: коли дело лишь в знаниях, то вся проблема сводится к просветительству. Растолкуй людям — и пить перестанут. Если бы так...

Упор в антиалкогольной пропаганде только на медицину — большая ошибка. Идет она от непонимания того, что пьянство — проблема социальная. А коли социальная, то почему же так робко прикасаются к ней социологи, психологи, юристы, философы, экономисты? С полным основанием утверждаю, что их участие в антиалкогольной пропаганде более важно, чем медиков. Посудите сами: какой рассказ сильнее взволнует людей — о заболевании печени от спиртного или о гибельной судьбе человека? Представьте, что о пьянстве рассказывает рабочий, директор завода, юрист, ученый, актер... В их же рассказе будет социальный подход, жизненный взгляд.

Хочу еще раз сказать, что я не отрицаю значение медицинской пропаганды, а лишь настоятельно подчеркиваю: проблема пьянства не только медицинская и, пожалуй, прежде всего не медицинская. Позволю себе сослаться на слова еще одного академика, Н. Н. Блохина: «Борьба с алкоголизмом, которой сейчас уделяется большое внимание,— это, конечно, не медицинская, а социальная проблема».

Когда беседа медика воспринимается слушателями лениво, без интереса, с блуждающими фразами типа «у этих врачей все вредно», то вовсе не значит, что плоха лекция. Причина может быть иной — мысли и слова медика не для этой аудитории, а лектор должен знать, к кому он пришел.

Мне могут возразить, что негоже приспосабливаться и вставать на позицию пьющего. Да, негоже. Но и нельзя в таком важном деле, как антиалкогольная пропаганда, не учитывать психологию тех, к кому обращаешься с праведным словом.

Я считаю, что не может быть антиалкогольной пропаганды вообще — она должна иметь конкретный адрес. Передо мной брошюрка о пьянстве. Читаю: «Рекомендуется проведение стационарных и передвижных выставок, стендов, фотовитрин о счастливом детстве, материнстве, любви, профессиональных успехах».

Кто же остановится у подобных стендов? Алкоголик? Вряд ли его заинтересует материнство и любовь. Непьющий? Информацию о счастливом детстве и любви он предпочтет иметь не со стенда.

К кому мы обращаемся: к подростку или ко взрослому человеку, к семейной женщине или к девушке, к сидящим в конторе или к стоящим у мартена? И прежде всего, кто перед нами: непьющий, начинающий выпивать, уже попивающий или алкоголик? Совсем непьющие и алкоголик находятся, по выражению биологов, как бы в разных экологических нишах — они и мир видят по-разному.

Вот я и думаю: не подбирать ли аудиторию «по интересам»? Для этого нужно лишь детализировать тематику лекций: говорить о пьянстве не вообще, а узко и конкретно. Например, «Вино в семье», «Как развлекаться без алкоголя?», «Что делать, если запил муж?», «Вылечись сам!» и так далее.

На антиалкогольном съезде в 1912 году священник поучал с трибуны других священников, советовал им говорить прихожанам: водка есть кровь сатаны, водка и есть сатана; она, как и сатана, сперва завлекает и обещает, а потом губит и ведет в ад...

По-моему, неплохо говорил!

Передо мной названия лекций и бесед, собранные со стендов и афиш. Читаю и думаю, какое бы название меня завлекло.

«Пьянство и его пагубное влияние на формирование личности молодого человека». Нет, не пошел бы — серьезно, академично и даже нудно. «Плохие манеры на живых примерах». Пошел бы, ибо живенько и про манеры, да еще и на живых примерах. «Алкоголь — враг». Не интересно, избито. «От вина до вины — один шаг». Непременно пошел бы, потому что в названии виден социальный смысл лек-

ции. «Пьянство — враг семьи и общества». Слишком банально, а коли банально название, то не таково ли и содержание? Работник ГАИ читает лекцию «Дорога в пропасть». Пойду, интересно... Потом идут названия скучные и безликие, как дома в современном микрорайоне. «Зеленый змий», «Пьянство — социальное зло», «Пьянству — бой»... И вдруг стихотворное название лекции: «Рюмка, стопочка, стакан... Так сложился хулиган». Надо сходить.

Я долго говорю о лекциях потому, что в антиалкогольной пропаганде они занимают одно из первых мест. Посудите сами: только одно общество «Знание» читает их в стране до двадцати тысяч в год.

Если лекции читают тысячами, то антиалкогольные брошюры выходят миллионными тиражами. В них используется огромный материал, приводится множество примеров и цифр, прослеживаются сотни человеческих судеб и жизненных историй. И все-таки люди читают их с неохотой. Почему же?

Скучно. От большинства брошюр и книг веет скуловоротной зевотой. Ну кого заинтересуют страницы цифр, процентов и графиков? Только очень большого любителя статистики. О человеческих же судьбах рассказано вяло и неинтересно. Авторам этих брошюр поучиться бы у бутылочных наклеек, у пропагандистов вина — там и золото, и медали, и лозы, и жанровые картинки...

Я понимаю, что эти книги пишут не литераторы, а чаще всего ученые. Оттого брошюрки зачастую и походят на рефераты. Но пропаганда есть нечто среднее между наукой и искусством; в пропаганде тоже надо иметь дар. Я твердо убежден в одном: скучная пропаганда есть плохая пропаганда. А возможно, что скучная пропаганда уже и не пропаганда, а антипропаганда. Обращусь к примерам.

Вот брошюрка с тревожным названием «Чтобы не было беды» (А. В. Воропай, «Воениздат», 1972). Автор задает риторический вопрос: «Почему же некоторые люди еще употребляют спиртные напитки и даже считают их полезными?». Читатель, конечно, приготовился к интересному ответу. И получает такой: «Неправильное представление об алкоголе связано со старыми предрассудками о том, что он содействует укреплению здоровья человека». Значит, пьют, потому что не знают о вреде пития? Наивно. Впрочем, об этом я уже писал...

Читаю дальше: «Во взаимоотношениях человека и вина важно чувство меры. Лишенному этого чувства лучше не подходить к вину». Ну, тут добавить нечего. Выходит, если чувство меры есть, то и пей на здоровье. Но может быть, я взял слишком старые источники, семидесятых годов?

Передо мной книжка Э. А. Бабаяна и М. Д. Пятова под названием «Профилактика алкоголизма» (М., «Медицина», 1982). Авторы задались интересной целью систематизировать группы населения в зависимости от их отношения к спиртному. В первую группу они включили тех, кто алкоголь вообще не употребляет. С любопытством читаю дальше и нахожу ошеломляющее определение второй группы: «Вторая группа населения состоит из лиц, которые по тем или иным причинам — в порядке дегустации или же для сравнения одних спиртных напитков с другими — употребляют их».

Это про какую же страну? Неужели про Россию? Пьянство на почве дегустации? Сравнивают вкус «Столичной» с «Пшеничной» или «Агдама» с «Вермутом»? Может быть, это про Италию и Испанию? Или это юмор? Так поверит ли читатель авторам-пропагандистам, которые не знают жизни и причин пьянства?

В этой же книжке нахожу и такие слова: «Меры косвенной профилактики опосредственно влияют на уменьшение потребления алкоголя». Косвенная профилактика меня, разумеется, заинтересовала, уж хотя бы потому, что, значит, есть и главная. Читаю про эти меры: «Среди них в первую очередь следует выделить гармоничное воспитание личности человека, повышение уровня его образования и культуры, увлеченность своей работой, формирование у людей, скажем, устойчивого интереса к литературе, театру, музыке, занятиям спортом, туризмом».

Воспитание культуры в человеке — косвенная профилактика? А какая же главная, основная — неужели штрафы и ограничение продажи спиртного? По-моему, здесь авторы явно поменяли местами главное с второстепенным. Но как же бороться, путая основное с второстепенным?

Следующая книжка под названием «Профилактика пьянства и алкоголизма» издана в 1983 году. «Таким образом,— читаю я,— исходя из изложенного, можно сказать, что пьянство и умеренное потребление алкоголя — разные явления». Неужели? Мне всегда казалось, что пьянство — это и есть умеренное потребление алкоголя. Читаю дальше, надеясь на ясность. И книжка разъясняет: «Под пьянством понимается такое употребление алкоголя, при котором поведение пьющего вступает в противоречие с общепринятыми нормами и правилами общежития...»

Я бы назвал подобное толкование пьянства «юридическим», когда на него смотрят только под одним углом зрения — под правовым. Для сложного социального зла одного этого угла зрения маловато. Ведь полно пьяниц и алкоголиков, не вступающих в противоречие с правилами общежития. Их так и зовут «тихие пьяницы». Что же, исключим их из числа пьянствующих?

Заметный вклад в антиалкогольную пропаганду вносят научно-популярные журналы. Выступления в них, как правило, серьезны, аргументированы, используют последние достижения науки и зарубежный опыт. А если и бывают огрехи, то проистекают они, по-моему, от стремления авторов придать цифрам и сухим фактам некоторую живость.

В одном журнале (очень хорошем, поэтому называть его не хочется) идет речь об использовании выжимок винограда, кои образуются при производстве вина. Автор рассказал про Австрию, где из этих выжимок получают удобрение, которое направляется в парники. Заканчивается статья так: «И пока созревает вино, неподалеку на грядках зреет к нему закуска».

Очень мило.

В этом же журнале была напечатана интересная статья о мадере. Вот ее начало: «Хорошее вино в умеренном количестве, употребленное здоровым человеком, вряд ли вызовет возражения даже у врача-диетолога».

Тут мне вспомнился вахтер одного учреждения, где я работал. Всем и каждому он постоянно говорил, да громко, на все здание: «Рюмочка коньяку никому не повредит!».

Примеров неудачной пропаганды упомянуто много, но все-таки хочу привести еще один, может быть, самый коварный: «При разумном потреблении алкоголь не причиняет очевидного вреда здоровью и не наносит ущерба социальному положению его потребителей».

Призыв к пьянству, не правда ли? Если и не призыв, то убаюкивающая мысль. Кто же это сказал? Неудачливый пропагандист? Недалекий ученый? Практик-самоучка? Выпивоха, все познавший на личном примере? Не угадаете, ибо это сказал самый авторитетный медицинский орган — Всемирная организация здравоохранения («Хроника ВОЗ», 1975, № 7).

Я понимаю, что в приведенной цитате имеется маленькая хитрость, она сокрыта в слове «очевидного», то есть вред-то от алкоголя и признается, но не очевидный. Однако от этого не легче.

И еще мне хочется попенять антиалкогольным книгам и брошюрам. Читаешь солидные главы, вникаешь в столбцы цифр, разглядываешь графики и таблицы; узнаешь о причинах, о болезнях, о последствиях и, разумеется, ждешь главного — что же делать? Как бороться с пьянством, как его одолеть? Но этой главы и нет. Чаще всего вместо нее идет коротенькое заключение. А ведь этот вопрос — как бороться с пьянством? — суть всего. Не умаляя значимости антиалкогольной пропаганды, нельзя и преувеличивать ее роль. Об этом хорошо сказал Кони: «Невозможно рассчитывать на одну гигиену в борьбе с заразною болезнью»...

Не будем забывать, что антиалкогольная пропаганда — это всего лишь гигиена. А в лечении она уже бесполезна.



О НАУКЕ, ОБ ИСТОРИИ, О НРАВСТВЕННОСТИ...

Опубликованный в № 1 — 4 нашего журнала за 1987 год роман В. Дудинцева «Белые одежды» вызвал огромный читательский интерес. В редакцию поступает много писем, авторы которых делятся мыслями не только о самом произведении, но и о тех проблемах нашей жизни в прошлом и настоящем, которыми оно порождено.

Выдвигая роман на соискание Государственной премии СССР, редакция решила познакомить читателя с наиболее интересными письмами, которые мы публикуем с некоторыми сокращениями.

●

Много мыслей вызывает чтение нового романа В. Дудинцева. И одна его фраза остается занозой в мозгу. Под конец своего жизненного пути, уже потерявший всю власть и влияние, один из героев романа академик Рядно говорит:

— Одного не понимаю... Их было сколько? Тысячи. А я один. Почему они мне сдались? И еще. Почему я сегодня терплю поражение? Этого никому не понять.

Фактически на этой фразе, в которой, видимо, и для самого автора заключена загадка, кончается роман, в котором продемонстрировано мужество человека в самых тяжелых и трудных обстоятельствах, но так и не выяснен вопрос, как возникают эти «обстоятельства» и как они исчезают.

И тут возникает один из центральных вопросов социологии — проблема *власти*. Как возникает *власть*, в чем источники *власти*, каковы виды и типы *власти?* Эти вопросы в наше время гласности, когда первый руководитель страны публично заявил, что нам надо *учиться* демократии, то есть учиться жить при новой для нас форме *власти* — демократия одна из этих форм («власть народа» в переводе с греческого) — отнюдь не праздные. И не менее важно понять, какой была форма власти в предшествовавший период — застоя и косности. Ведь очевидно, что власть тогда отнюдь не была *демократией* — ибо зачем бы ей было теперь учиться?

Вот некоторыми мыслями, которые возникли непосредственно под влиянием чтения романа В. Дудинцева, хотелось бы поделиться.

Социологии известны три главных типа власти в обществе.

Первый тип — *олигократия*, то есть власть меньшинства, и ее высшее выражение — деспотия, то есть неограниченная власть одного человека.

Второй тип власти — *охлократия*. Это — неограниченная власть большинства, толпы («охло» — по-гречески толпа). Отсюда же идет слово «охломон» — человек толпы.

И, наконец, третий тип власти — *демократия*. Демократия есть «власть народа», то есть власть большинства, но только, в отличие от охлократии, это — ограниченная власть большинства. Меньшинство при демократии не подавляется, как в охлократических системах, а имеет свои определенные права, в частности, право бороться за то, чтобы стать большинством. Естественно, в определенных рамках. Правда, сразу же возникает вопрос — а кто устанавливает эти рамки, в границах какой системы власти установлены они. Ясно, что они не могут быть установлены ни в рамках олигократии, ни в рамках охлократии, так как каждая система власти стремится к самосохранению. Но, естественно, этого не может быть и в рамках демократии, потому что когда этих рамок не было, демократии тоже не было.

Отсюда следует вывод, что демократия может быть лишь результатом определенного *исторического развития*, она не может появиться «рывком», в результате революционного преобразования, а должна постепенно подготавливаться в недрах предшествующих систем власти. Должны быть определенные переходные формы от любых систем к демократии. *Демократию невозможно насадить.* Она должна *вырасти*, ей надо *учиться*. Вот почему слова о необходимости «учиться демократии» необычайно глубоки.

Но нас сейчас больше интересуют две другие формы власти.

Если олигократия исследована более или менее подробно, то охлократия как форма власти изучена гораздо менее. Причина в том, что охлократия так часто скрещивается с олигократией, мимикрирует под нее, что нередко трудно выделить ее в чистом виде. И это вполне понятно. Ведь любая власть реализуется через действия отдельных лиц либо группы лиц. И нередко бывает трудно определить, является ли эта группа ответственной, то есть выполняющей свои функции согласно собственным желаниям или представлениям, либо это всего лишь «адвокаты толпы», в своем лице лишь персонифицирующие ее страсти, желания, стремления.

В этом смысле поучительно рассмотреть характер смены видов власти в России и СССР.

Россия прошлого века — типичный пример олигократии, даже деспотии. Самодержавная власть не встречала в стране никакого противовеса. Но перед февральской революцией семнадцатого года в России произошел странный симбиоз олигократии и охлократии. С одной стороны — самодержавная царская власть, с другой — вся более или менее грамотная часть России была охвачена идеями народовластия, служения народу, общественной пользы и тому подобными либеральными идеями. Любой, осмелившийся усомниться в их справедливости, заметить, что богоносный народ включает, в частности, пьяниц и лодырей, подвергался общественному остракизму. Такое неприятие инакомыслия как раз и является примером тоталитарного, охлократического мышления. В начале семнадцатого года этот симбиоз взорвался, и Россия оказалась во власти толпы. Толпа правила бал с февраля семнадцатого года до тех пор, пока Ленину с большевиками не удалось направить ее в нужное русло. Октябрьская революция семнадцатого года вновь означала переход к олигократической власти в стране. Диктатура пролетариата — власть и насилие одной и сравнительно небольшой части общества над всем обществом.

В период Сталина эта олигократия превратилась в деспотию чистой воды (мы вовсе не исследуем, изменил ли Сталин основы общества, суть его власти, мы сейчас говорим лишь о формах власти).

После смерти Сталина началась эволюция формы власти, и при Л. И. Брежневе в стране на двадцатилетие воцарилась охлократическая власть. Характерная черта охлократического правления — установка на среднее, на серость, на то, что «как все». Все, отличающееся от среднего уровня в любую сторону, подвергалось осуждению, изгнанию, уничтожению, подгонке под общий стандарт. Другая характерная черта охлократической формы правления — полнейшая безответственность. И это естественно, ибо все руководители ощущали себя лишь «адвокатами толпы», ее общего усредненного мнения и не могли взять на себя ответственность даже за собственные действия. Сколько было за это время допущено ошибок! Но попробуйте найти виновных! Иногда в печати раздаются возгласы, что надо найти ответственных за то или иное действие. Увы, при охлократической системе это просто невозможно. Решения принимаются, но ответственных нет. Кто, к примеру, ответствен за Чернобыль? Кто ответствен за решение о размещении евростратегических ракет в Европе, которые сейчас придется ликвидировать, неся большие потери как материального, так и политического характера? ⟨...⟩ Кто ответствен за наше отставание в области ЭВМ, за утрату тех позиций в этой области, которые мы имели к концу шестидесятых? Неизвестно. Таких вопросов можно задать тысячи, но получить ответ невозможно.

Таким образом, сейчас мы стоим на пороге нового этапа в социологической истории России и СССР. За свою тысячелетнюю историю страна буквально выстрадала идею демократии, проверив все возможные формы власти и убедившись на жестоком опыте, что ни одна из них не дает гарантий на свободное и беспрепятственное развитие.

Но возвратимся вновь к роману, по поводу которого мы начали наши умственные упражнения. Ибо нас интересует судьба науки в олигархической системе правления и при охлократической системе власти, которая установилась после того, как печальные события, изложенные в романе, ушли в прошлое.

Вспомним вопрос Кассиана Дамиановича: «Их было сколько? Тысячи. А я один. Почему они мне сдались?» Сейчас мы можем ответить. Потому, что в стране царила олигархическая и даже деспотическая форма власти, и она распространялась на все стороны жизни.

Но интересно здесь вот что. Далеко не везде таким «Кассианам» удалось прийти к власти. Далеко не везде сдались. Например, в физике тоже были свои претенденты в «Кассианы», но им не удалось взять власть. Фактически, и в физике существовало олигархическое правление, но осуществляли его такие высокоталантливые и ответственные люди, как Л. Д. Ландау, П. Л. Капица, Е. Д. Тамм, С. И. Вавилов и так далее. И потому в физике не было «кассиановщины». Закономерность ли это? Нет, скорее случайность. Ибо в соседней области — кибернетике — кассиановщина была. Таким образом, нельзя сказать, что для науки олигархическая

форма власти во всех случаях плоха. Она может быть и хороша. Однако слишком велик риск, что она может быть не просто плохой, но губительно плохой. Впрочем, может быть и хуже. Советскими естественниками получено пять Нобелевских премий. Все (!) — за работы, выполненные именно в период олигархии. И ни одной (!) не получено за работы, выполненные в течение охлократического периода советской истории. К выдающимся ученым, к неординарным личностям в науке предыдущий период был, несмотря ни на что, куда более благосклонен, чем последующий, когда такие вот «кассианы» стали невозможны. Но, увы, оказалось, что невозможны стали почему-то и ландау, и капицы, и басовы, и прохоровы. Ведь даже в романе Дудинцева мы видим по крайней мере три неординарных личности — Кассиана Дамиановича, Федора Ивановича и Ивана Ильича. И пусть различны и даже трагичны их судьбы. Но они *были*. А потом их *не стало*. Ни трагичных. Ни благополучных. Никаких.

Кто же теперь ответит, что лучше для науки — путь, где возможны катастрофические заблуждения, или путь, где их быть не может, но где торжествуют серость и провинциальность? Видно, ни тот, ни другой путь неприемлемы. Нужен третий путь — путь *демократической* науки.

И в этом — важное значение романа В. Дудинцева. Он показывает, как плохо было раньше *честным* ученым, одновременно заставляя глубже понять, как плохо *сейчас талантливым*.

В. ЮРОВИЦКИЙ,
Небит-Даг

●

В число широко читаемых вошли сразу три крупных произведения, повествующие о лысенковщине. Объяснение столь значительного интереса к событиям сорокалетней давности слышится в признании автора повести «Оправдан будет каждый час» В. Амлинского: «многого я не понимаю и сейчас». В беседе с В. Дудинцевым, автором романа «Белые одежды», А. Аджубей повторил те же слова. («Московские новости», 1987, № 1).

Извечна борьба таланта и бездари, извечна тема Моцарта и Сальери. Литературные новинки стали вкладом в ее разработку и, в конечном счете, высветили важную вещь. Интриги и пустые обещания Лысенко, Презента, их приспешников не содержали в себе ничего, автоматически обеспечивающего победу «на биологическом фронте», как говорили в конце сороковых годов. Их демагогия не содержала сатанинской мощи, порождающей массовый психоз. Стало быть, существовала (или существует?) какая-то сила, негласно поддерживавшая Лысенко и К°. Где она, кто она — как раз и есть то, что до сих пор не разгадано.

Названные сочинения, как и «Зубр» Д. Гранина, не могли не отразить обстановку культа личности, в оправе которой развивалась лысенковщина. Но сделано это, на мой взгляд, односторонне. Внимания авторов не удостоились действительные особенности системы управления страной в условиях чрезмерной централизации власти.

Формально решение любого принципиального вопроса в любой отрасли знаний делегировалось на самый высокий уровень. Ведь оно принималось там совершенно непогрешимым «отцом и учителем». А фактически «величайший гений», ослепленный лестью и угодничеством, становился исполнителем воли безвестных и безгласных чиновников. Они подсовывали, подсказывали, проталкивали вверх по лестницам власти решения, отвечающие их корпоративным интересам. Безмерно возвеличенный вождь играл для них роль избавляющего от ответственности громоотвода.

Авторы критикуемых произведений не заметили, что именно в годы лысенковщины формировалась, укрепляла свои позиции, вырабатывала программу действий чиновная машина управления прикладной наукой. Осталось неизвестным, какую позицию в отношении Лысенко занимал аппарат руководства исследованиями в области сельского хозяйства. А без этого нельзя выяснить истину.

Сейчас вряд ли удастся найти докладные записки, рождавшиеся в те годы в недрах ведомственных кабинетов. Но принципиальная схема построения возникшего тогда аппарата управления и корпоративные интересы его сотрудников сохранились неизменными по сей день. Это дает возможность провести расследование путем необычным: не искать истоки современных событий в прошлом, а, наоборот, в нынешней действительности видеть объяснение того, что произошло вчера.

Здесь будет уместным отнюдь не лирическое отступление о сути групповых интересов. Откуда они берутся? Наше обществоведение до последнего времени ими вообще не занималось, а политическая экономия едва начала изучать. О подлинных корпоративных интересах работников ведомств скорее можно узнать из памфлетов зарубежных сатириков, чем из учебников. Хотя к истине не так уж трудно прийти, последовательно применяя принцип «бытие определяет сознание».

Первый закон Паркинсона гласит, например, что штаты любого учреждения неуклонно растут вне зависимости от дела, которым занимаются его сотрудники, и объема этого дела. А как же иначе? Сравним две формы организации и оплаты труда. Первая. Коллектив за конечный результат в оговоренный срок получает определенную плату. Тогда естественное стремление каждого больше заработать может достигаться только за счет сокращения численности коллектива. Вторая форма — административная пирамида, сотрудники которой получают оклады в зависимости от чина. Улучшить свое положение здесь можно лишь продвижением вверх по служебной лестнице. Но на каждой ее ступени меньше мест, чем на предыдущей. Поэтому при неизменных штатах большинство старших инженеров не станет начальниками секторов, большинство начальников секторов — начальниками отделов и так далее. То же стремление всех больше заработать достижимо лишь при условии увеличения числа секторов, отделов, то есть раздувания штатов.

И еще об одном надо сказать. Повременная оплата труда во всех случаях, когда нельзя установить обоснованные нормы выработки, делит членов коллектива на тех, кому недоплачивают, и тех, кому переплачивают. Вторые стремятся сохранить существующее положение, усилить и подкрепить безответственность. Их-то мы и называем чиновниками, столоначальниками, бюрократами.

Теперь можно вернуться к основной нити рассуждений. Прежде всего нужно уточнить, о ком идет речь, когда говорится о машине управления прикладной наукой. Для руководства НИИ министерства и ведомства формировали и сформировали управления, независимые от главков, которым подчинены производственные предприятия ⟨...⟩

⟨...⟩ Напрашивается вопрос: чем определялось формирование такой системы — интересами дела или корпоративными интересами столоначальников? Ответ предполагает оценку фактически достигнутого по сравнению с очевидной альтернативой, когда руководство прикладными НИИ и производством сосредоточено в одних руках.

Достигнуто же следующее. Те, кто руководят производством, освобождены от ответственности за его технический уровень, поскольку для этого есть специальное управление. Последнее освобождено от забот о внедрении результатов исследований, поскольку ему не подчинены производственные предприятия, которые должны этим заниматься. Наконец, руководство НИИ сосредоточено в руках лиц, не являющихся специалистами в данной области знаний. Результаты достаточно красноречивы, говорят сами за себя.

Аппарат отделения науки от производства нуждается в специальном методе оценки научной деятельности для оправдания своего права руководить ею. Специальном — поскольку известные ему не подходят. Если оценивать по экономическому эффекту от внедрения разработок, контроль за деятельностью НИИ перейдет к потребителям их продукции. Если принимать в расчет научную ценность результатов — придется передать контрольные функции самим ученым, коллегиям специалистов.

Начиная с 1979 года машина управления прикладной наукой начала облекать свои установки в этой области в форму положений и инструкций. Теперь можно обнажить смысл навязывавшегося обществу решения на основе документальных данных, хотя их существо замаскировано растворением в большом числе циркуляров и обилием фраз о «хозрасчете».

Сначала были утверждены указания о создании единого фонда развития науки и техники, образующегося из отчислений предприятий и находящегося в распоряжении ГлавНТУ или ему подобных. Затем ГКНТ обнародовал указания, согласно которым включение научных тем в план осуществляется на основе наряд-заказов. В графы носящего такое название документа вносятся подробные сведения об ожидаемом, а точнее, обещаемом эффекте и ни слова о результативности разработок, ранее выполненных исследователями, которым поручается выполнение темы. В дальнейшем министерства издали ведомственные инструкции о ранжировании наряд-заказов по содержащимся в них данным при включении тем в план.

Совокупность указаний и инструкций предусматривает, что предложения о разработке научных тем кодируются, обрабатываются на ЭВМ, «ранжируются», включаются в план и *финансируются в зависимости от обещаемого эффекта*. Именно в этом суть. Все остальное — электронное шаманство, наименование ожидаемого эффекта гарантированным — лишь маскирует существо дела.

Теперь уместно вспомнить, как описал лысенковщину академик Н. Семенов: «Вначале давалось некое обещание, которое широко рекламировалось. Делались заверения, что грандиозные успехи будут достигнуты в чрезвычайно короткое время при ничтожно малых затратах. Спустя некоторое время появлялся рапорт о том, что обещание в основном выполнено и разработанные приемы необходимо внедрять в практику в самых широких масштабах. Как правило, все это сопровождалось шумихой о новых достижениях. Постепенно, однако, предложенный метод начинал все меньше и меньше применяться на практике и упоминаться в печати:

выяснялась его экономическая убыточность. Но этот провал маскировался бумом по поводу нового обещания...» («Наука и жизнь», 1965, № 4).

Своеобразный талант Лысенко именно в том и заключался, что он сумел угадать совпадение интересов ненужного аппарата и прохиндеев от науки. И те, и другие заинтересованы в том, чтобы измерителем научной ценности были обещания золотых гор при постановке исследований, а не их результаты. Аппарату это дает возможность создать видимость своей необходимости.

Время изменило лишь тактику. Раньше неокрепший еще аппарат добивался внедрения угодной ему системы оценки поддержкой Лысенко из-за угла, развертыванием репрессий в отношении несогласных с новой методой. В 80-е годы он действовал самостоятельно. При этом оценка по обещаниям именовалась «хозрасчетом», не имея ничего общего с ним, а для раздувания штатов ненужного аппарата и укрепления позиции их союзников — деятельных бездельников в среде научных работников — вводилось обилие ненужных бюрократических процедур и подлежащих заполнению форм при планировании исследований (они отменены постановлением правительства в сентябре 1987 года).

Мои упреки писателям не касаются литературного качества произведений. Мне хотелось лишь сказать, что правда фактов — это половина правды. Надо копать глубже. Иначе, сводя все к отношениям между конкретными людьми, не вскрывая социально-экономические корни происходящего, мы окажемся отброшенными к мировоззрению народников, нам придется повторить уже пройденный путь.

Доктор технических наук
О. ТОЦКИЙ,
Москва

•

Долг мужчины — видеть зло, бороться со злом и уметь его побеждать — учит нас уже тридцать лет один советский писатель. Писатель этот своеобразен, он отличается от тех (тоже писателей), которые, вздыхая, что «времени не выбирают», играют со временем в поддавки. Тем паче от тех, которые даже и не вздыхают. Он умеет дать образ положительного героя — камень преткновения для художественной литературы и притчу во языцех для критики. И хотя он подробнейше выписывает производственную деятельность своих положительных героев, скуки не возникает, и романы его не превращаются в «производственные романы». И оба раза, когда этот писатель поднимался на свои вершины, критика, вынужденная натиском общественного мнения его хвалить, захваливала его романы так, чтобы вынуть из них то самое жало, которое побуждает читателя: иди и борись. Первый раз было это осенью 1956 года с «Не хлебом единым», второй — с «Белыми одеждами».

Роман «об изобретателях», роман «о биологах». И на обсуждение «Не хлебом единым» 10 ноября 1956 года в аудиторию филфака ЛГУ потянулись десятки изобретателей, и «Белые одежды» перечисляются в ряду с «Зубром» и «Оправдан будет каждый час». Но нет, они — не «производственные романы»! «Белые одежды» — это первый роман о сопротивлении.

Ученый способный и честный, недавний фронтовик, посылается в общем-то с обычной тогда инспекцией в один из научных центров. Хотя у этого ученого и накопились определенные несогласия с командирующим его Академиком, несогласия эти не переросли меру естественного, повседневного в мире науки. Да и не очень-то пристойно кандидату наук тыкать в лицо академику «своим мнением»: у академиков во все времена положено учиться. В таком настроении прибывает он в городок, и сразу же завязывается первый узелок в нравственной линии романа: нечаянно он слышит, что его уже прозвали «Торквемадой» и ждут от него, что он уставит инквизиционными кострами «во славу веры святой» этот самый городок. Царапает его это, но не открывает ему глаза. Да и кто же из людей, знающих, что «я хороший», после первого слова «ты гад» поверит, будто «я и впрямь гад»?! Всякий про себя знает: я, мол, строг, но справедлив. Правда, наш «Торквемада» — интеллектуально честный человек, то есть в первую очередь думает о своей собственной возможной неправоте, а не о неправоте другого — оппонента или противника. В этом смысле главным персонажем избран в высшей степени нетипичный герой: со времен Ильфа и Петрова, успешно высмеявших интеллектуальную честность карикатурным образом Васисуалия Лоханкина, над такими «интеллигентскими сомнениями» принято было в советской литературе только смеяться, хохотать, глумиться. Но у нашего героя возникает беспокойство.

Он невольно сопоставляет разные факты, которые при отсутствии беспокойства и не подумал бы сопоставить. От этого — ощущение подтасованности, сознание своей марионеточной роли, переживание чего-то фальшивого, чувство, что своими вполне честными поступками губишь хороших людей,— растут. Вот он инспектирует работы ученых, придерживающихся великих принципов правильного научного направления, того самого Направления, которое и само громко заявляло, что взросло оно на фундаменте положений диалектического материализма, и о котором газета «Правда» в августе 1948-го специально писала: да, мол, следует мировоззрению и гениальным указаниям основополагающей IV главы «Краткого курса истории ВКП(б)» Инспектирует и работы лжеученых, подлежащих предстоящим оргвыводам. И видит, что первые — элементарно неграмотны. Что у вторых — налицо очень важные и интересные результаты. Нет, почти результаты. Но еще сезон-другой физиологически потребен, дабы эти промежуточные результаты смогли стать научно бесспорными фактами. Его интеллектуальная честность побуждает его к неожиданному для присутствующих (и для командировавшего его Академика) поступку: он чихвостит первых, пробует по мере сил помочь вторым. Сам по себе честный, оказывается человек «не по ту сторону баррикад».

И уж совсем поет разбудораженная его душа, когда случается событие, где его, вроде бы никак и не задевают, но в котором душа его уязвлена стала. Проходит бурное собрание всего коллектива, на котором и студенты, и преподаватели бесстрашно и правильно разоблачают, изобличают и уличают неразоружившихся сторонников бесспорно антинаучных взглядов, причем таких взглядов, которые использовались нашими классовыми врагами в лице ЦРУ для идеологической диверсии против Страны Советов. Ведь шла непримиримая борьба идей! ⟨...⟩ Все правильно. Все бесспорно. Но почему-то душе неуютно. И вздрагивает «Торквемада», столкнувшись с канцелярской накладкой, когда бумажка с грифом «ДСП» попадает не тому, кому адресована. Назавтра после вполне искреннего и свободного обсуждения-осуждения ему попадает в руки приказ министра, предписавший уже несколько недель назад именно этих осужденных вчерашним коллективом преподавателей — уволить. Подтасованность. Та подтасованность, которая чужда и настоящему ученому, и фронтовику. Нет теперь покоя душе его ⟨...⟩

Вот он наблюдает, как его Академик демонстрирует бесспорное доказательство верности своей теории: скачок — тот самый диалектический скачок — совершает природа, и на березовой ветке вырастает побег ольхи — вопреки метафизическим домыслам лжеученых о якобы неподвижной и неизменной зародышевой плазме, плазме-миазме генов ⟨...⟩ Нет, он выкручивается перед Академиком, не это главное. Главное в том, что почти сразу же он узнает — Академик ⟨...⟩ умышленно подтасовывает. Подтасовывает не только административные меры (на дворе же стояли железные времена, когда никакие административные меры не казались неуместными, ежели речь заходила об Истине и Цели). Хуже. Он подтасовывает самое Истину.

⟨...⟩ И Торквемада, выросший в идеологии, согласно которой все возможно, все может превратиться во все, все неопределенно и постепенно переходит во все,— вдруг постигает, что имеется простая математическая формула, ее же не прейдеши ⟨...⟩ И ежели раньше он защищал-покрывал гонимых вейсманистов прежде всего по соображениям прагматическим (дать им время вырастить картошку, нужную народному хозяйству) или нравственным (неприлично и бессовестно так поступать), то теперь он и мировоззренчески переходит на их позиции ⟨...⟩

Так шаг за шагом (я отметил не все шаги и мотивы) формируется у Дежкина (Торквемады) представление о том, что есть Добро и Правда — здесь и теперь. Добро же и Правда имеют тень — одну и ту же, по имени Зло. Зло — это не совокупность злых людей, люди Зла могут быть и никакими, и даже добрыми (к своим подчиненным, к соучастникам по мафии, к детям, к кошкам). Зло в лице Академика — это еще половина Зла, четверть Зла. Конечно, значимо и то, что реальный прототип Академика уже в 1939-м появлялся на сессиях Верховного Совета вместе с членами политбюро, и ему доставалась часть оваций в честь родного и любимого товарища Сталина. Но кабы дело ограничивалось аплодисментами! Да я готов и сегодня аплодировать кому угодно и сколь угодно долго, лишь бы у этого Зла не было тех рук.

Нет, и миллионной доли своих злодеяний не совершил бы Академик, если бы не Зло в чистом виде. То Зло, которое в системе мнений, в отдельном мнении-суждении усматривало повод для следственного и судебного (а порой и бессудного) преследования. И коль скоро Высшими Инстанциями было затверждено, что система мнений противников Академика лженаучна, антинаучна, вредна для науки и народного хозяйства, что она льет воду на мельницу происков диверсионных центров, только и мечтающих подсыпать во все колодцы толченое стекло и поработить, покорить, растлить, исковеркать! Ах, читатель говорит, что фраза оборвана, не закончена? А как окончить этот бред, увы, неклинический? Так и жизни обрывались, бестолковее этой фразы. Но смысл и неоконченных фраз бывает прост и ясен. Генерал-майор МГБ Ассикритов лично занимается делом об идеологической диверсии. Не от безделья же, конечно, нет! Кто же вообразит, будто в 1949-м генералы этого рода войск не

были перегружены делами! Нет, именно важность, Государственная Важность борьбы со мнениями вынудила этого скорее сибарита, коллекционера и гурмана, уже более четверти века успешно служащего в органах, самолично просматривать скучный кинофильм о митозисе (деление клетки на две — тоска, от которой все мухи сдохнут). Напрасно только автор делает вид, будто это козни Академика подтолкнули генерал-майора. Нет, скорее всего генерал посмотрел шумевшую тогда пьесу «Чужая тень» (Сталинская премия II степени от 8 марта 1950 года), где лицедействовалось, как вейсманист-морганист становится по сути шпионом. Такая подсказка одного генерала другому, одобренная генералиссимусом, не могла не подвигнуть. Так Торквемада истинный встречается с несостоявшимся Торквемадой — Дежкиным.

Дежкин сразу узнает Зло в лицо. И будучи смелым мужчиной, смотревшим в лицо смерти, он возлагает на себя как само собой разумеющуюся обязанность — бороться со Злом. Со Злом персонифицированным и воплотившимся. Это Зло арестовывает людей — ученых, его любимую женщину, позже — поэта. Он, Дежкин, мужчина, не поддается времени, в котором это Зло всесильно (всесильно в сфере событийной), а прячет скрывшегося от ареста прежнего своего научного противника, правота которого теперь для Дежкина ясна. Это Стригалев, ученый — святой — мученик («Место смерти — РСФСР»,— как писалось в справках о посмертной реабилитации). Это к нему относятся «белые одежды»: «И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Дежкин морочит агентов Зла. Насмешливо бросает Злу перчатку своим издевательски-корректным экспертным заключением относительно одного из материалов дела. Но и по-фронтовому прикрывшись в этом акте экспертизы надежным бруствером из администрации института. Словом, этот фронтовик проявляет всю изобретательность и дерзость лагерника, те же бесстрашие и свободу духа перед лицом неотвратимо присутствующих смерти и небытия.

Побеждает ли Дежкин в этом единоборстве со Злом? Или же его сопротивление бесцельно и тщетно? Да, побеждает ⟨...⟩ Он доживает до полного падения Академика и его присных. Дежкин побеждает и в том историческом смысле, что сама возможность публикации романа с таким героем, сама возможность безусловно отрицательно-враждебного отношения читателей к Ассикритову и Академику с их сворами,— это победа и выжившего Дежкина и павшего Стригалева. Побеждает ли герой триумфально, на белом коне въезжая в новую жизнь? Нет, таких побед ни в жизни, ни в романах Дудинцева не бывает. И Дежкин, и Лопаткин (из «Не хлебом единым») побеждают, как на войне — посреди развалин. Единственное отличие от военной победы — никто не награждает их медалью «За гражданское мужество».

Я написал «единоборство» и задумался. Верно ли слово? Ведь в романе фигурируют и те, кто помогает Дежкину: то старый друг приходит и знакомит Дежкина с перечнем скольких вопросов, которые составлены в МГБ и должны быть заданы Дежкину «невзначай»; то девушка-студентка, влюбившись в Дежкина, готова *всем* помочь ему; то другой академик, Посошков, содействует; то даже полковник МГБ, принадлежащий не той группировке, что генерал, выдает Дежкину дату намечаемого ареста (позже полковника, естественно, расстреляли). Но нет, невзирая на наличие помощников-союзников, Дежкин — одинокий боец. Нет взаимодействия среди тех, кто на стороне Истины, среди врагов Зла. Сопротивление — дезорганизовано. Хуже — никогда и не было организованным ⟨...⟩

Что еще есть в романе? Роман, поэтому — любовь. Дежкин любит. И его любят. Даже две женщины. Но эти три (а не четыре) любови не порабощают его душу. Они занимают то подчиненное место, которое и было отведено любви в веках в рамках идеологии Борьбы и Долга. На первом месте у мужчины его Дело. Делом его когда-то была чистая наука, теперь стала борьба со Злом за Науку. И это то, чем он живет. Если любовь не состыковывается с Делом, любви просто быть не может. Ох, и не игра, и не блаженство эта любовь! Вот «дрозофилисты» в попытках разгадать намерения Торквемады «велят» миловидной Лене «пококетничать с ним» на манер Эсфири. Из этого «боевого задания» родится искренняя любовь Дежкина и Лены. Прервана она будет только арестом Лены. Вот к Дежкину, собирающемуся уходить от слежки уже постановивших арестовать его органов, ломающему голову, как бы оторваться от них хоть на несколько часов, врывается с любовными излияниями студентка. И он усаживает ее у телефона и велит ей имитировать его присутствие дома. Покамест он наберет нужные километры форы в бегах. Он уже должен бы понимать, что ждет эту девчушку, как будут вымещать на ней свою ярость утерявшие след псы. Она — и не догадывается. Он — ей не объясняет. Она влюбленно повинуется, ее восторгает предстоящая игра.

Игра... Жестокость... Недомыслие... Фронт... Лагерь... Себя самого приношу я в жертву — и ближних своих вместе с собою ⟨...⟩ Служение Истине не позволяет придавать веса подобным соображениям. Так и Дежкин, рвущийся спасти научное открытие и победить в схватке с Ассикритовым, усаживает у телефона эту девчушку.

А вот еще любовь: бывшая актриса Туманова любит подонка. И знает, что он подонок, и помогает (где подсказкой, где весомо материально, вплоть до помощи заключенным) жертвам и противникам этого подонка. Но избавиться от его власти — не в состоянии. И в крупном — безоговорочно повинуется подонку, способствуя ему в подлых замыслах ⟨...⟩ Вот любовь еще одного сорта — искреннего поэта к соблазняемой им жене старика... Разные, и все судьбоносные. Ибо крепка, как смерть, любовь ⟨...⟩

Есть еще один мотив в романе, но пересказать его крайне трудно. Отчасти потому, что господствующая в стране философия исключает такое явление столь же категорично, как Лысенко исключал из жизни хромосомы и гены. Когда проживешь острую жизнь и уцелеешь, то, оглядываясь на прошлое, лучше видишь, через какие пропасти по каким волоскам переползал ты; какие драконы и скорпионы обитали рядом с твоим ночлегом и как они проснулись вдогонку за тобой. И тогда начинаешь верить в Судьбу. Возникает ощущение, что это не ты лично действовал — это Кто-то вел тебя за руку, поддерживал над пропастью, разбудил на ночлеге за полчаса раньше, чем ты намеревался. Кто-то посылал тебе предчувствие, вооружал умением, страховал везением... И вот Дудинцев непрестанно показывает нам, что не сам Дежкин поступал так умно, точно и предусмотрительно, а *отдаленный голос* в груди его велел ему здесь — смолчать, здесь — произнести, здесь — скосить картофельную ботву, здесь — научиться бегать вопреки своей хромоте... Кабы слово это не было затаскано и оболгано, не стало таким же жупелом, как некогда словцо «хромосома», я бы выговорил, что роман этот мистический. В этом, пожалуй, главное изменение автора сравнительно с «Не хлебом единым».

⟨...⟩ Будет ли читатель читать этот роман?

Недавно беседовал я с одним доктором наук, генетиком. Он прочитал «Зубра» и высоко ценил этот и вправду неплохой очерк. Он прекрасно понимает и всю жизнь понимал бредовость «мичуринского учения», как высокопарно именовалась лысенковская ахинея. Но вот «Белые одежды» он читать начал и бросил — не в силах справиться с литературным стилем романа. Да, манера письма может шокировать. Если в расстановке научных и нравственных позиций автор «романтик», то есть следует «идеальному» долгу, исходит из того, как надлежит поступать мужчине, то в описании быта, поведения, характеров и, главное, в диалогах, автор реалист, доходящий до фотографирования.

Эпоха же была уродливой. Люди были уродливы. Они были вырваны из традиций — мировых, российских, сословных, семейных. Взметнутые вихрем котлованов и коллективизаций, деформированные доносительством не одной лишь ежовщины, они только на фронте освобождались от кривды, извращенно-казенного, истерично-фантастического. Только там простые и настоящие дела одновременно становились серьезными и нужными всем. Но возвращаясь оттуда в царство шестипалой неправды, они не знали и не умели вписаться в атмосферу громыхающей лажи. В мир, в котором не было слов для обсуждения нормальных людских дел. И в целом люди — мужчины и женщины — того послевоенного времени были осколками людей. Все мы были карикатурами на образ людской. Это после, сорок лет спустя, приобрели мы благообразие Андрея Битова. Тогда же мы были уродами. И любовь наша была карикатурна. И одежда — обносками. И формы общения — дефективными. (Я, конечно, не говорю про исключения, которым судьба либо сохранила, как Иннокентию Володину, шкаф с книгами интеллигентной матери, или которые сами несли свою вдовью судьбу-печальницу «внутренних эмигрантов», каковым словечком отхлестывали Пастернака.) Кто этого еще не знает, приглашается всмотреться в кадры фильма А. Германа «Мой друг Иван Лапшин».

И вот Дудинцев не боится нарисовать уродливых, карикатурных, дефективных в чем-то персонажей — уродливыми, без противопоставления неуродливому, «настоящему человеку», ибо не существовало тогда таковых как социально значимого явления. Не боится показать уродливую любовь главных и любимых своих героев — ибо мы не знали ни о культуре секса, ни о числе цветков в букете, не воспитывались в чуткости к настроениям, были безжалостны «к предрассудкам», и почти все, что мы полагали в любви, сводилось к пресловутой формуле: «Умри, но не давай поцелуя без любви!» ⟨...⟩ Не боится автор передавать мнимо глубокие, но по сути бессодержательные разговоры (если иметь в виду их словесную, «всеобщую» формулировку, а не конкретно-ситуационные намеки), ибо только в таких терминах — пустых, лишенных смысла и тех очертаний, которые привели бы к протокольной формулировке — дерзали мы «самородно» говорить, «мысля самостоятельно». Ведь едва лишь сбивались мы

с горной дороги, вымощенной цитатами и сведениями все из того же «Краткого курса», как нас в «философии» хватало на две-три фразы, полмысли, четверть мнения. Те из нас, у кого были сведущие бабушки или кто по комсомольской активности пролистывал литературу для безбожников, умели еще вставить кстати-некстати цитаты из Библии, в материалистической их интерпретации, конечно. А может, их цитаты и образы были почерпнуты даже и не из самой Библии, а из завалявшегося потрепанного с вырванными страницами томика Сенкевича «Камо грядеши?», который я и прочитал примерно тогда же... (Впрочем, в знакомстве с Библией все персонажи Дудинцева перебирают. Они помнят ее лучше и точнее, нежели советские люди сороковых годов. Этот «перебор» был бы ситуационно оправдан, окажись в числе любимых книг Тумановой «Quo vadis», которую она давала бы своим гостям. Не могу не выразить своей радости, что наконец-то в 1986-м эта книга у нас переиздана полумиллионным тиражом, хотя и под блеклым названием «Куда идешь?» Точно так же персонажи чересчур хорошо знакомы с картинами Модильяни, которые, кажется, до 1956-го не экспонировались советскому человеку.) Вот и намекают многозначительно друг другу персонажи на зло, маскирующееся добром, на «ключ», на парашютистов, забрасываемых из российских сел в советскую жизнь, и мямлят прочую тягомотину. Безумно трудна задача фотографирования паноптикума для художественного обозрения. Тем выше ценю я смелость писателя, не отступившего перед такой задачей. Иначе же писать нельзя было бы 〈...〉 Вполне понимаю я помянутого доктора наук, что оказался не в силах разглядывать таких персонажей, слушать их речения. Но неча на зеркало пенять, коли рожа была крива — сорок лет назад...

Там же, где речь идет не об изображении нашей «рожи»-диалогов 〈...〉, а об описании поступков, ситуаций, жестов,— там автор показывает себя настоящим мастером. Правда, говоря о мастерстве, я имею в виду только основной текст романа. Эпилог — многословный, дидактический, композиционно рыхлый, изобилующий хронологическими и фабульными несоответствиями — должен быть отсечен. Не читайте его, пожалуйста, друзья автора! Точка в романе должна быть поставлена сценой попадания Дежкина в московскую больницу — дальнейшее читатель домыслит сам 〈...〉

А вот уход Дежкина на лыжах, прислушивание его к встречным (не за ним ли следят), разговор при свете электроплитки — да сколько таких картинок! — четки, немногословны, убедительны, зримы. Глубина понимания характеров, фактуры психики и того, что происходило на самом деле, может быть проиллюстрирована двумя примерами. Если бы иностранец, датчанин, не посидел бы сам в гитлеровском концлагере, он, конечно, не имел бы никаких предпосылок понять и разобраться в том, как его водят за нос ассикритовы и ректоры; понять, что Дежкин — на стороне Истины, хотя и произносит ему, датчанину, в лицо заведомую неправду. Другое. Выбор автором детективного жанра, детективной формы повествования не навеян манерой письма «Братьев Карамазовых» или желанием позабавить-развлечь читателя. Нет, он адекватен самим событиям. Ведь то, что совершают Академик и его присные (включая поступки администрации института и фабрикацию дела следственными органами),— криминально. Преступно по законам любой страны, в том числе и той, в которой они действуют. Именно потому они окружают свои деяния тайной — от ДСП и выше. И именно потому, описывая уголовную историю, мафию и борьбу с ней, следует прибегать к приемам Агаты Кристи и Жоржа Сименона. По закону единства формы и содержания.

Почему лично у Дудинцева появилось такое ясное понимание? Не знаю, но гипотезу имею. Вот он делился во время обсуждения «Не хлебом единым» в ЛГУ:

«После войны я служил в прокуратуре. 〈...〉 В 1947-м, когда я летел на самолете, я попал в авиационную катастрофу и вместо Средней Азии оказался в Орске. Там я познакомился с двумя высокоталантливыми людьми: один из них был геолог, попавший в Орск по распределению. Он должен был искать там охру. Но он решил искать там никелевую руду. 〈...〉 Он нашел никель, там, где по учебнику его не должно было быть. 〈...〉 Он упорно искал то, что было необходимо государству. За свое открытие он боролся 12 лет. Его даже объявляли врагом народа. 〈...〉»

Тот, кто прочел «Белые одежды», сразу вспомнит эпизод отрочества Дежкина, момент трагической причастности Дежкина к объявлению этого геолога врагом народа. Может быть, из своевременного чувства покаяния прокурора, прикоснувшегося к героизму «врагов народа», и родился Дудинцев — тот писатель мужественного Долга и непреклонного служения Делу, которого мы знаем.

Р. И. ПИМЕНОВ,
Сыктывкар

Говоря о чем-либо, мы невольно воображаем себя несколько выше предмета суждения, и психологически это закономерно. Так, говоря о понижении уровня поколений в результате неестественного отбора, мы не торопимся осознать себя принадлежащими этому приниженному уровню. Обсуждая историю лысенковщины, мы осуждаем ошибки прошлого, не сомневаясь в правильности оценочной позиции настоящего.

Однако эта спасительная отстраненность не очень-то нам сегодня удается. Роман потому и актуален, что лысенковщина — не завершенная биологическая дискуссия, а затянувшееся социальное явление, глубокая хроническая болезнь общества, отнюдь не излеченная. Свидетели тех событий говорили не столько о прошлом из настоящего, сколько на опыте прошлого обращались к нынешнему поколению с фучиковским призывом к бдительности.

Сдвиги общественного сознания, происшедшие за последние годы, все же позволяют нам угадывать диагноз и нащупывать начальные шаги к исцелению. Читая в газетах о драматических судьбах подвижников нашего времени, мы поражаемся тому, насколько мало исправляется дело после выступления прессы. Бюрократическая система не имеет, не знает алгоритма признания и исправления своих ошибок, совершенных по отношению к человеку. Что говорить о локальных примерах косности, когда даже постановление ЦК 1946 года, оскорбляющее Ахматову и Зощенко, до сих пор не отменено, а наш университет, призванный быть цитаделью науки и культуры, все еще носит имя Жданова.

Но проблема даже не в том, кто примет правильное решение, а в том, кто его сможет воспринять и провести в жизнь. Ибо существует не оппозиция «мы и система», а целостность «бюрократическая система», с которой мы слиты. И если не котируются в ней понятия чести, достоинства, совести, то это означает, что во всех нас они основательно заглохли.

Откуда же взяться тогда положительному импульсу для перестройки? Отдельные выдающиеся нонконформисты существовали всегда; вспомним о таких непримиримых борцах с лысенковщиной, как В. П. Эфроимсон, А. А. Любищев, Ж. А. Медведев. Но как быть среднему человеку, который «хотел бы в рай, да грехи не пускают»? Вот тут мы выходим к образу Ф. Дежкина и к центральной проблеме романа: борьба Добра и Зла.

Проблема вечная, но и вечно новая, ибо неразрывно связана с жизнью человека, жизнью общества. У В. Дудинцева Добро, чтобы выжить, вынуждено гримироваться под Зло. В развращенном обществе маскировка, мимикрия, мистификация в какой-то мере неизбежны, но где те пределы, до которых это допустимо без опасности перерождения? Брать на себя заботы, боль, ответственность — понятно; но брать на себя зло, не становясь им,— как? Доколь? Вопрос о мере компромисса в такой одномерной постановке, без привлечения других критериев,— неразрешим. Вот вывод, к которому подводит нас В. Дудинцев.

Перестройка мышления должна начинаться с изменения структуры постановки вопроса. А здесь нужно повышенное мышление, метаподход. Из нас же эти «мета» повывели, мы — пониженные. Мы приучены к диадной парадигме альтернатив, к примитивному делению общества на друзей и врагов, к элементарному языку баррикад. Лозунги типа «кто не с нами, тот против нас» долгое время не подвергались сомнению, и выбирать давалось одно из двух. Даже постановка основного вопроса философии не оставляла места нравственности и человеческому фактору.

Но мир подошел к рубежу, на котором эта парадигма становится самоубийственной. Концепция антагонизма изжила себя. Спасение теперь не в уничтожении противника, а в диалоге с ним. И дело не только в опасности ядерной войны. К тому же ведут и экология природы, и экология культуры, и экология нравственности. Общечеловеческие ценности становятся важнее групповых. Наряду с разделяющей антитезой «либо — либо» появляется потребность в объединяющей постановке вопроса.

Простейшая ячейка синтеза — системная триада, соединяющая познавательный, эстетический и нравственный аспекты в единое целое. Именно третий элемент задает меру жизнеспособного компромисса бинарных противоречий. Синтез станет возможным, когда научно-техническая революция будет подкреплена соответствующим подъемом культуры и духа. Духовные богатства, в отличие от материальных, при отдаче не убывают. Поэтому станут реальными разрешение раздирающих мир экономических, национальных, идеологических противоречий, та победа, в которой не будет побежденных. Роман В. Дудинцева, как и ряд других опубликованных в последнее время жизненно важных произведений, способствует нашей перестройке на новое мышление: нелинейное по структуре, системное по природе, планетарное по масштабу.

Рэм ВАРАНЦЕВ,
Ленинград

Уважаемая редакция! Сердечное спасибо за публикацию нового романа Владимира Дмитриевича Дудинцева! Должен, однако, признаться, что «Не хлебом единым» я закрывал осенью 56-го с иным настроением: хотелось срочно доламывать авдиевский град Китеж, помогать Лопаткиным, стараться достойно продолжить их дело. Не могу сказать, что я не старался, и не могу сказать, что старания мои пропали зря. Но, тем не менее, после последней страницы «Белых одежд» ничего такого мне уже больше не хочется. Хотя бы потому, что теперь мне достоверно известно: даже тридцать лет спустя мечты героев обеих книг так и не смогли осуществиться. Ни в части труб, ни в части картошки. Трубы к нам на Север везут не из машин уральского умельца, а из ФРГ, с четкой надписью «Маннесманн», что же до спасенного Дежкиным «дитяти», то я как раз поставил вариться суп, предварительно выкинув в отбросы процентов сорок очищаемой картошки. Будучи связистом, я в сортах разбираюсь плохо, но полагаю, что изъеденные каким-то картофельным подобием рака мелкие клубни были чем угодно, только не гибридом контумакса. Где он, этот прекрасный гибрид? Ау! Несомненно, там же, где и трубы Лопаткина...

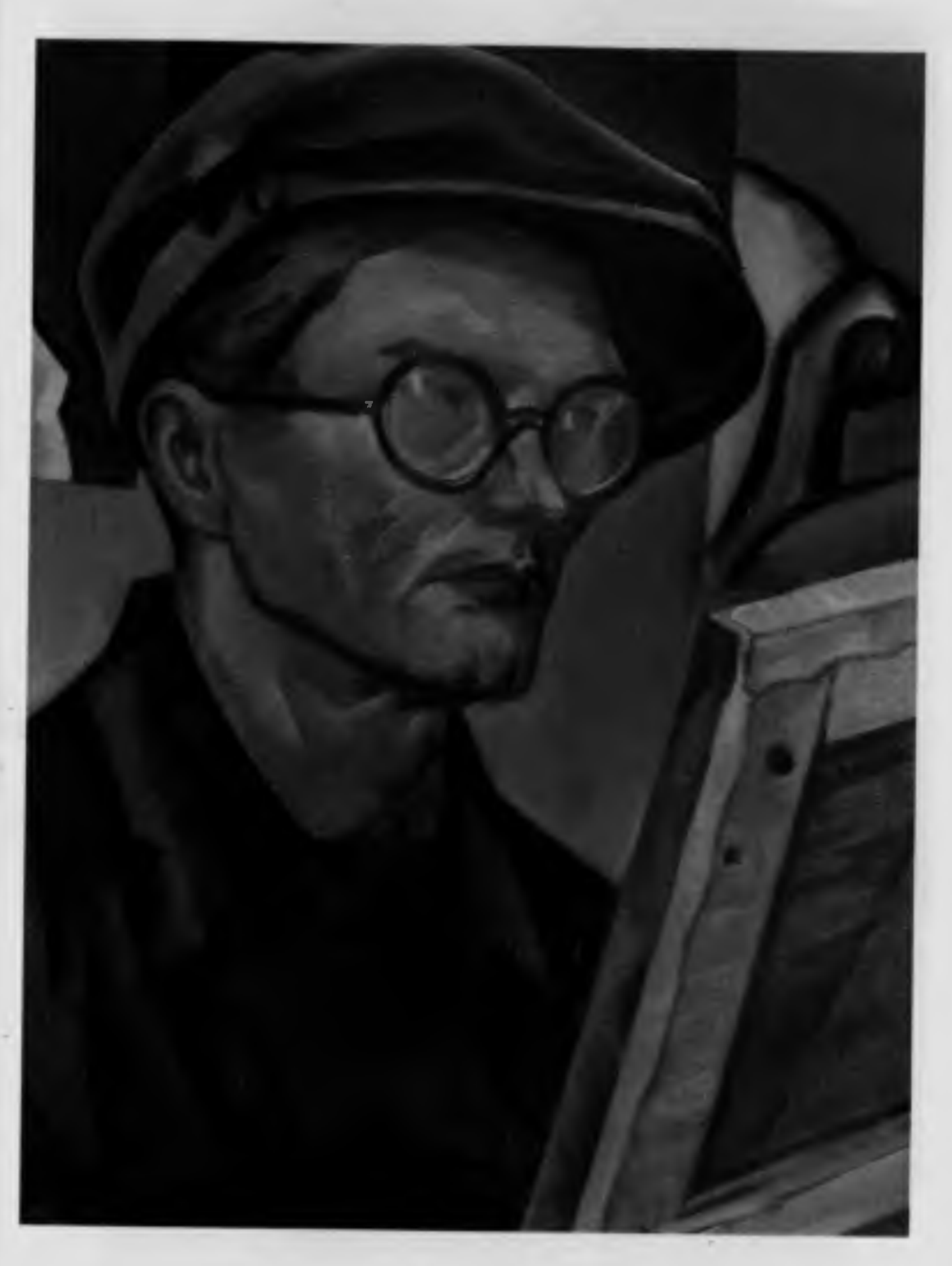
Понимаю, что и лопаткинская машина, и стригалевский гибрид условны — на их месте могло быть любое из тысяч загубленных Злом творений человеческих рук и ума. Но от этой мысли, право, не легче! Когда, например, смотрю, с какой аппаратурой междугородней связи мы собрались в XXI век вступать, то от стыда за свою профессию провалиться сквозь землю хочется: обеспечиваем переговоры на высшем неолитическом (по сравнению с Сименсом или Беллом) уровне... А ведь мы нация Ломоносова, Попова, Зворыкина, Шорина! И Лопаткина со Стригалевым. И бог весть, сколько воды утекло с того дня, как счастливые единомышленники ели за столом свой сказочный, буквально на крови взращенный гибрид, уверенные, что уж теперь-то накормят им миллионы людей. Ан нет! Не накормили... Зло снова победило. Только на сей раз не с высокого берега, а с далекого — такого далекого, что и не разглядишь, где там оно.

Почему так случилось? Мне кажется, что отчасти ответ на это дает сцена в академической столовой. Сидит, спокойно откушивая голубцы, палач, отправивший на тот свет многих честных ученых,— и никто из окружающих не плюнет (хотя бы!) ему в лицо! А герою, лишь чудом избегнущему участи прочих жертв палача, его даже... жалко!! Потрясающе! Но — абсолютно правдиво. На нас это похоже. Но тогда нечего и возмущаться мерзостями брежневской эпохи: что хотели, то и съели. И, боюсь, как бы не пришлось нам есть то же блюдо (под иным соусом, разумеется) и еще раз. Ибо прекраснодушно-сострадательное благородство по отношению ко всевозможным Рядно, Ассикритовым, Молотовым и Кунаевым в конце концов непременно оборачивается верой в ненаказуемость Большого Зла. Ведь ни персональную пенсию, ни комфортабельную дачу, ни изоляцию от назойливых иностранных журналистов (среди своих назойливых, похоже, уже давно нет), ни почетное место на кладбище к числу наказаний не отнесешь. Кого можно воспитать примером такого «наказания»? ⟨...⟩

Очевидно, одно дело — смотреть на «обыкновенный сталинизм» сквозь розовый просвет 56-го, и совсем другое — сквозь гнилую прозелень типы семидесятых... Тоскливое какое-то впечатление у меня осталось. Нет чувства, что Зло действительно «побежало искать новый высокий бережок». Оно побежало бы только в том случае, если осознание бескомпромиссной борьбы с ним (по совершенно справедливому определению академика Рядно) «попало бы в мозги людей. Если бы таких людей было много. Чтобы мнение создалось. Чтобы началась его, мнения, самостоятельная жизнь». Этого не произошло. Но книгу в этом, конечно, винить не приходится. Она прекрасна! Низкий поклон Владимиру Дмитриевичу за счастье сопереживания радостей и бед его достойных героев. Верю, что пока существуют такие герои — и такие писатели — у Добра (то бишь, у Перестройки) все же будет шанс!

ГОРЧАКОВ Р. В.,
г. Игарка Красноярского края

ГЕОРГИЙ МОСЕЕВ
СЦЕНОГРАФ И ЖИВОПИСЕЦ



Г. МОСЕЕВ. АВТОПОРТРЕТ. 1959



ТИХИЙ ДОН. НАТАЛЬЯ И МИШАТКА. 1973



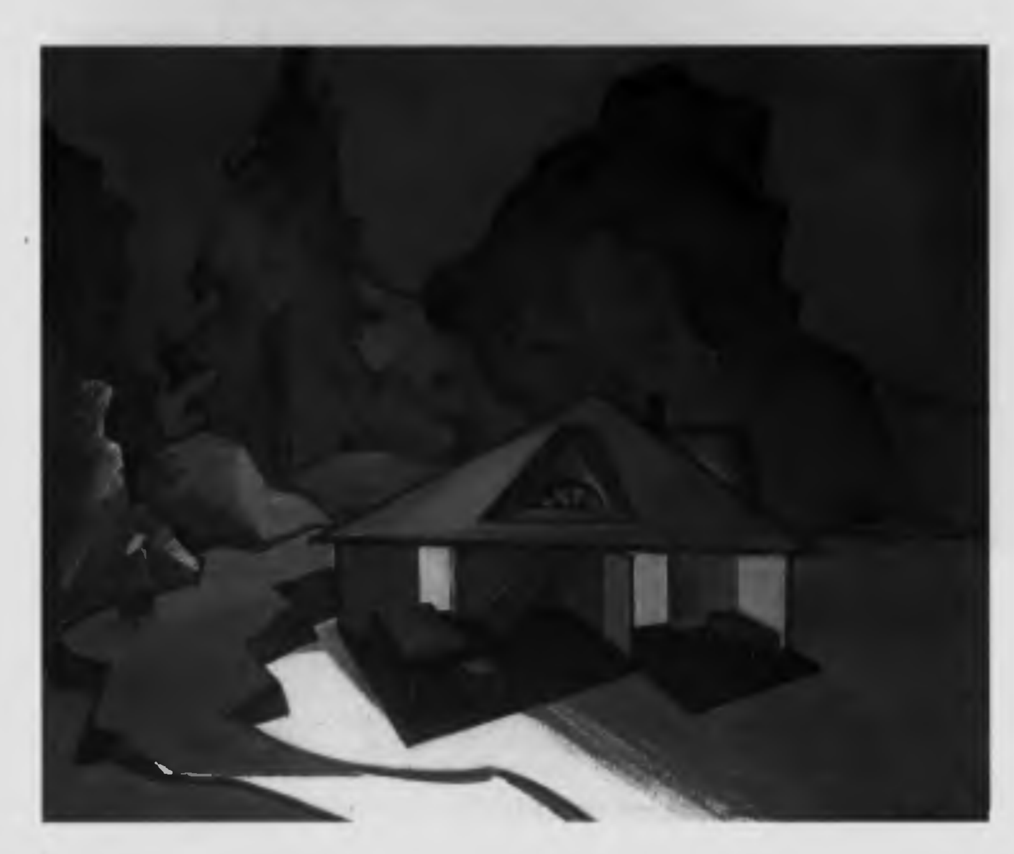
ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК». 1950



НАТЮРМОРТ С ГАРМОНЬЮ. 1975



БЛОКАДНОЕ ОКНО. Март 1942



ДЕКОРАЦИЯ СПЕКТАКЛЯ И. ДВОРЕЦКОГО «ВЗРЫВ». 1973

БЫТЬ ХУДОЖНИКОМ

Огромное окно смотрит на уходящие к горизонту крыши с антеннами и оказавшуюся совсем рядом колокольню Пантелеймоновской церкви, а на стенах — полотна, наполненные ярким пронзительным цветом, контрастирующим с холодной и прозрачной атмосферой города. В этой мастерской несколько последних десятилетий жил и работал замечательный художник Георгий Николаевич Мосеев.

Мне посчастливилось оказаться в этой мансарде в начале 60-х годов. Рядом с весело потрескивавшим камином, за большим столом под низко висевшей лампой, заваленном комплектами «Аполлона» и томами русского лубка в издании Ровинского, за чашкой крепчайшего чая собирались вечерами молодые художники...

Начинал Георгий Николаевич путь в искусстве в бурные 20-е годы. Сначала — художественно-производственный техникум, где готовили макетчиков и художников-исполнителей, затем — мастерские Академического театра оперы и балета, где он знакомится с мастером, определившим своим творчеством целую эпоху в истории советского театра — В. Дмитриевым. Многое взяв от учителя, Мосеев постепенно приобретает самостоятельный опыт работы на сцене. Подлинный успех придет, когда по заказу театра имени Е. Вахтангова он оформит «Маскарад» М. Лермонтова. Именно в этой работе вырабатывает художник свой пластический язык, свой способ прочтения классики. Премьерная афиша «Маскарада» была датирована 21 июня 1941 года.

Страшный 1942 год Мосеев провел в блокадном Ленинграде, работая и учась на офицерских курсах. Потом были фронт, тяжелое ранение, а с 1945 года художник активно включился в театральную жизнь города.

Балет О. Евлахова «Ивушка», поставленный Н. Анисимовой в Академическом Малом театре оперы и балета, определил дальнейший путь мастера. Здесь он впервые вошел в прямой контакт с лубком и народным искусством. Опираясь на эстетическое мировоззрение народа, Мосеев органично включил его творчество в контекст искусства профессионального. Работая над современной драматургией, он использует традиции этого творчества с его своеобразным цветовым решением пространства, строящимся на четком делении окрашенных в контрастные тона планов, что в полной мере отвечало устремлениям театра — максимально освободить сцену для актера.

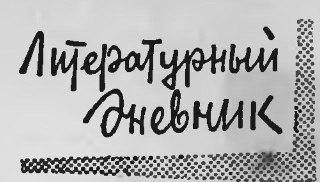
Это было время, когда Мосеев своим творчеством формировал ситуацию в искусстве сценографии. В полной мере его новаторство проявилось в оформлении оперы Д. Шостаковича «Катерина Измайлова» (Малый оперный театр, 1965) с простыми и строгими декорациями и точным отбором выразительных средств и оперы И. Дзержинского «Григорий Мелехов» (Куйбышев, 1970), в эскизах к которой крупные, почти нерасчлененные плоскости с тончайшей цветовой растяжкой, фигуры персонажей и точно выстроенные мизансцены, контрастирующие с архитектурными массами, создавали емкий образ спектакля.

Постановщиков привлекал зоркий взгляд Мосеева на драматургию. Тем не менее, лишь изредка мастер встречал единомышленников. Ибо Мосеев — художник-режиссер, и для постановщиков работа с ним сложна: его декорации задавали тон спектаклю, диктовали его строй и стиль. Все реже и реже встречалось имя художника на театральных афишах. Но, уйдя из театра, Мосеев в театре остался. Как и прежде, весь день у мольберта, он создает большие циклы эскизов к тем спектаклям, которые ему хотелось бы оформить («Нос» Д. Шостаковича, «Бег» М. Булгакова), пишет декоративные полотна на исторические и фольклорные сюжеты, своеобразные картины-мизансцены. В последние годы значительное место в его творчестве занимали портрет и натюрморт. Колорит холстов Мосеева несет на себе печать чисто русского понимания цвета: краски яркие, звонкие, нетлеющие. Цветовая насыщенность произведений, их резкий контурный абрис связаны с фольклорной стихией, во власти которой находился художник.

Эскизы к «Петербургу» А. Белого остались Мосеевым не завершенными. Его не стало летом 1987 года...

На последней персональной выставке в залах Союза художников (1986) во всю силу прозвучал мужественный и честный живописный монолог человека, всегда отвергавшего фальшь и конъюнктуру в искусстве. «Перебитый» войной, не обласканный при жизни критикой, Георгий Николаевич через всю жизнь пронес одно единственное звание, которое имел и которым гордился — звание Художника. А впрочем, если вдуматься, то не так уж это и мало — быть художником...

В. ПЕРЦ



В 1986—1987 гг. «Нева» опубликовала ряд обзоров современной литературы, эмоциональным стержнем которых являлась личность обозревателя. Для этого слово предоставлялось и прозаику, и литературоведу, и просто читателю с большим житейским опытом. «Гвоздь» предлагаемого ныне обзора — молодежные проблемы в литературе. Поэтому мы решили: пусть об этом и выскажутся молодые! А конкретно — молодой не только по стажу, но и по возрасту искусствовед, студентка второго курса ЛГИТМиК имени Н. К. Черкасова Мария Витальевна Соловьева.

М. СОЛОВЬЕВА

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОТЦАХ И ДЕТЯХ

«Молодежная тема» в литературе в предпоследние годы текла ровно, спокойно: задорные отличники, целомудренные влюбленные, интеллектуальные пэтэушники... А все ли так было благополучно? Об этом наиболее проницательные художники задумались отнюдь не сегодня...

Знакомьтесь: Алексей Геннадьевич Кашин, сын бывшего «хозяина» небольшого провинциального городка, ныне подсудимого. Герой пьесы В. Розова «Кабанчик» («Удар»).

В Лешиной душе — разлом. Вдруг оказалось, что отец — уважаемый человек — взяточник, «друзья» отвернулись. Кувырком скатившись по социальной лестнице, парень задумывается: почему у одних — все блага, а у других — ничего; почему, если человек на высоком посту, к нему липнет так много грязи?

Алексей упрям и озлоблен. Но он много читает, много думает. Он благороден: спас девушку от курортного нахала и не хочет отказываться от отцовского имени, когда эта девушка предлагает ему, женившись на ней, взять ее фамилию. В сущности, мы можем быть спокойны: и Оля, и Алексей — да, резкие, да, непослушные, но все равно чистые и светлые душой ребята. Их сознание не тронуто болезнями «старших»: приспособленчеством, подлостью, завистью. Впрочем, читатели и зрители помнят: в большинстве розовских пьес отрицательное начало несут взрослые герои. Дети же — источник света, оплот надежды. Алексей, пожалуй, более ожесточен, чем его предшественники,— но так же симпатичен нам в своем неприятии взрослого порочного мира.

Однако как ответить на коварный вопрос: а что, если бы не разоблачили Алешиного отца, мальчик так бы и не задумался об общественной несправедливости?

«А л е к с е й. Я ничего не понимал. Даже подкоркой не чувствовал. А ведь мог. (*Почти кричит.*) Нет, не мог я ничего не знать, не видеть! Давил, значит, в себе, вглубь загонял, будто не знаю!.. До чего же человек погано устроен. Ну, на какую зарплату у нас дача была — здесь. И на Кавказе!.. Мне все улыбались все время. Я привык, видимо. В школе, например, даже учителя заискивали. Сначала, кажется, неловко себя чувствовал, потом тоже привык. Да, да, даже нравилось. Смотри на меня, как тебе угодно! Нравилось».

А если бы папу не отдали под суд — так и не разонравилось бы?

Алешин монолог, при всей его искренности и явном авторском расчете на наше сочувствие, мешает мне безоговорочно симпатизировать мальчику. Нельзя не задуматься: какова цена прозрению, коль скоро оно совершилось после того, как у человека отняли житейские блага?

Может быть, я завышаю мерки: можно ли спрашивать так строго с зеленого юнца?

Однако книг-то он немало читал (что усиленно подчеркивается в пьесе). Размышлял над ними. Почему же хотя бы они не побудили поразмыслить: откуда — лесть и богатство, которые окружали его с юных лет?

При всем уважении к оптимизму В. Розова, никак не могу согласиться, что сегодняшний молодой герой — «внешне ершист, но добрый внутри», как принято писать. Нет, эпоха застоя развращала не только взрослые души, но и юные тоже! Осознания этого факта мне и не хватает в последних пьесах не одного лишь В. Розова.

Куда мы денемся от печальных историй о подростках, совершающих вполне «взрослые» преднамеренные убийства? О несовершеннолетних «девочках с пригорка»? О юных спекулянтах?

Обратимся к пьесе Н. Павловой «Вагончик», написанной на основе подлинной судебной хроники. Девушки избили свою подругу. О причинах они упорно молчат. Но подрались, как оказывается, из-за любви.

«Был кумир всех пятерых, молодой лесник, промчавшийся однажды мимо на мотоцикле и одаривший пятерых одной на всех молодой улыбкой. Теперь уж вечно молодой — и это их общая драма — лесника нет, он погиб, а девочки продолжают делить любовь к нему. И не могут поделить. И не смогут. Разгласившая тайну Арбузова получила от подруг свое.

...Узнавшая тайну Лиля (психолог, работающий с трудными подростками.— *М. С.*) — верный человек. Тайна так и не стала достоянием суда» [1].

Всем ходом пьесы драка девочек отодвигается в нашем сознании на задний план. А на первом — тяга подростков к высоким чувствам. Разматывая клубок причин, Н. Павлова старается нас убедить в душевной неиспорченности своих героинь. Устами психолога Лили — рупора авторских идей — писательница уверяет, что «подростки самые нормальные люди среди нас — они, как подсолнух, тянутся к людям. Подросток молит о любви, как о воде в пустыне!»

То, что эта тяга столь уродлива — дело десятое...

Уважая писательницу за ее любовь к людям «черненьким», внешне отталкивающим, я все-таки не могу понять, почему в авторском сознании «красивая» духовная подоплека факта перевесила отвратительную реальность случившегося: жестокое избиение девочками своей подруги.

Взяв острый, тревожный факт, Н. Павлова обильно сдабривает его маслом и медом. Избили, но ведь не до смерти (всего два синяка, как выясняется!); избили, но ведь из-за любви... И вообще, ничего страшного: подростки, какими бы безобразными они ни казались,— наш светоч, наша надежда.

Вот и опять мы вернулись к утешительной формуле: «внешне ершистые, но добрые внутри» подростки.

А пока взрослые лили себе бальзам на душу, в Ленинграде получило переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ СПТУ-93.

Дисциплину в этом училище наводил созданный из самих подростков оперотряд «Дзержинец» — методами кулака и нечеловеческих унижений (за что «оперы» получали повышенные стипендии и путевки за границу). Среди прочих наказаний бытовала, в частности, так называемая «ночная линейка» — те из мальчиков, «кого отбирали члены оперотряда, выстраивались в очередь перед бытовкой и заходили туда по одному. Там их избивали» [1].

Едва ли не самое скверное в этой истории: когда корреспондент газеты спросил одного ученика, почему они не дали отпора своим мучителям, то в ответ услышал следующее:

«— Нельзя... Это третий курс. Они сильные, все равно побьют... *И к тому же мы знали: мы будем на третьем курсе, значит, мы будем бить.* (Курсив мой.— *М. С.*) Отыграемся на других...».

Они надеялись взять реванш!

А тем временем развивали бурную деятельность «автомобильные девочки» — героини одноименного очерка В. Голованова («Литературная газета», 1987, № 33). Три шестнадцатилетние девицы сходились с солидными женатыми мужчинами, подобранными для них «покровителями», а потом, пугая вместе с последними своих любовников судом за растление несовершеннолетних, вымогали деньги и золото.

Рассудочность, расчетливость, которые «сделали бы честь» и более зрелым людям!

И очень существенно: девочки эти были никак не ершистыми, а очень даже покладистыми в своем школьном и домашнем окружении. «Исполнительны, безотказны. Если хор или агитбригада — они никогда не отлынивали»,— так отзывалась о них классная руководительница.

И вот искусство заговорило об этом.

Знакомьтесь: Ксения — героиня фильма Д. Асановой по сценарию В. Приемыхова «Милый, дорогой, любимый, единственный». Она прямо-таки ворвалась в наше сознание — на последнем дыхании (так назывался некогда фильм Годара — предвестник молодежного бунта шестидесятых) со своей умопомрачительной прической и столь же умопомрачительной нравственной недоразвитостью.

Как точно схвачен человеческий тип, манера существования!

Живет Ксения, как зверек,— сегодняшним днем, сиюминутным побуждением. Хочется вернуть любимого — для этого нужен чей-то ребенок; подруга не принесла его вовремя — хватай первого попавшегося младенца и лови, не задумываясь, первую встречную машину, гони ее в аэропорт. Отсчет поступкам безнравственным начинается раньше, чем противозаконным: дела нет, что у владельца

---

[1] В. Гульченко. Вода из колодца. («Театр», 1983, № 8).

[1] Р. Козлов. Порядок есть порядок. («Смена», 22 августа 1987 г.)

машины совсем другие заботы. При чем тут твои проблемы, когда у меня — у меня! — любовь рушится!

Естественно, эта логика подминает под себя всех, кто встречается на пути: у матери украденного младенца пропадает молоко, да и с самим ребенком что-то не в порядке после «путешествия»; отец малыша избивает ни в чем не повинного Вадима — того самого первого встречного водителя, с которого милиция, естественно, берет подписку о невыезде — надо разобраться в его роли в этом деле.

Не любовь вынуждает человека совершать плохие поступки, как уверяют нас авторы иных пьес, а даже и любовь приносит беды, если человек — нравственный недоросль! В утверждении этой мысли — безусловный плюс фильма.

Наглая и в чем-то беззащитная, трезво мыслящая и легко впадающвя в самообман — такова она, современная антигероиня, угаданная В. Приемыховым и Д. Асановой.

А рядом — кто?

Рядом с Ксенией, взбалмошной представительницей юного поколения, демонстративно поставлен — и противопоставлен ей — Вадим, представитель поколения сорокалетних: основательный, положительный, рассудительный. Носитель твердых нравственных ценностей, так сказать. Добившийся всего своим потом и кровью, в отличие от Ксении, «выросшей на хорошей еде». Другие «взрослые» персонажи — родители младенца, Ксенины родители, капитан милиции — несут чисто служебную нагрузку в сюжете. Сказать о них в общем-то нечего, но уж ничего плохого не скажешь. Остаются еще Ксенина подруга — огрубленная копия героини, Ксенин возлюбленный Саша и его жена Света, дочь управляющего объединением, где работает и откуда ездит в загранкомандировки Саша (брак по расчету?). Саша — откровенный лощеный подонок из сферы обслуживания. Излюбленный «козел отпущения» современной литературы.

Сценарий толкает к выводу: вся беда в том, что отдельные зажравшиеся саши порой соблазняют отдельных неопытных девочек красивой жизнью, прививают им неверные представления о ценностях бытия.

Но если шестнадцатилетний человек живет ложными идеалами, то ведь это значит, что вряд ли у него когда-то (когда — в пять, в десять лет?) были идеалы настоящие.

Это значит, что были скука, фальшь, пустота, которые В. Приемыхов был обязан, должен был — не могу подыскать других слов — высветить через эпизодические образы родителей Ксении, капитана милиции, наконец, Вадима. Прежде всего Вадима, а не делать его — того, чье поколение несет на себе груз грехов и ошибок,— живым укором нынешней, видите ли, избалованной молодежи.

Этот просчет сценариста Д. Асанова еще и усугубила в фильме. Пытаясь, очевидно, обрисовать отсутствующую в сценарии среду, где формировался характер Ксении, режиссер ввела в фильм два эпизода, снятых на концерте «Странных игр». Все как водится: рев, гвалт, разукрашенные лица. В начале фильма героиня чувствует себя в этой толпе посвойски, а в конце — выбегает оттуда и разражается истошным криком.

Рок-музыка делит вину с неким пресыщенным Сашей. Сначала — рок, потом преступление? Не слишком ли прямолинейная логика?

Одним словом, серьезного ответа на вопрос «почему» ни в сценарии, ни в фильме нет.

Но, может быть, он есть в «Вагончике» Н. Павловой?

...Плакат: «Станция Иня — город будущего!».

А пока: «Всюду доски и кирпичи для перехода через лужи и рытвины. В забор... вписан пристанционный ларек „Пиво-воды“, около ларька пустые бочки и ящики». И так далее. Кругом — развал.

Конфликт заявлен: между прекрасными планами и тем, чем живут люди, рожденные «сказку сделать былью»,— черствостью, хамством, пьянством.

Вот главный архитектор и генеральный директор стройцентра академгородка Белов. На первый взгляд, интеллигентный человек, подвижник своего дела.

«В двадцать лет я увидел этот город во сне — и с тех пор все померкло. Не помню, как женился. Как дочь родилась». Бросил Ленинград, квартиру на Невском и махнул сюда — строить чудо-город. И так был Белов увлечен работой, что проглядел собственную дочь. Не заметил, как стала она чужой.

Так исповедуется герой на суде. И он не притворяется. Действительно, талантлив — «за проект этого города взял в Лондоне премию Патрика».

Параллельно с сюжетом об увлеченном своим делом зодчем всплывает в репликах Архитектора и Прокурора другая тема: «А здесь, на станции Иня, один царь и бог — Бе-лов. Ты всерьез полагаешь, что дочку Белова — Белова! — посадят? Ну, даешь, старик!»

Глухое упоминание о том, что «своя рука — владыка», забывается. На первом плане остается исповедь Белова, широко развернутая автором.

Так почему же город похож пока на помойку? Не потому ли, в частности, что даровитый архитектор за прекрасным городом будущего не хочет видеть грязи на улице сегодня, а за мечтами об этом самом будущем — сегодняшнего неблагополучия даже в собственном доме? Но стоит ли умиляться тому, что человеку наплевать на своих близких? Да и так ли уж витает в облаках этот Белов: ведь когда над семьей сгустились тучи, куда девалась вся его «непрактичность»? Перед нами — типичный человек своего клана, знающий, какую кнопку нажать и куда обратиться в случае несчастья.

При этом бросается в глаза, что в образе Белова черты погруженного с головой в работу архитектора и всесильного владыки станции Иня соединены механически.

В. Розов в «Кабанчике», строго судя своих взрослых героев, тоже не осуждает их бесповоротно. Но сложность розовских персонажей, в отличие от «сложности» Белова в «Вагончике»,— не заданная, а естественная.

Возьмем Юрия Петровича Огородникова. Должность — персональный шофер начальства. Человек добрый, хороший — он единственный не отвернулся от семьи своего погоревшего шефа.

— Какой же он хороший? — воскликнем мы.— На государственной машине «левачит», «по блату» устраивает любовнице своего друга номер в гостинице...

Однако не надо спешить. В. Розов, не скрывая привычные и неприглядные мелочи наших будней, в то же время относится к ним с пониманием: как-никак, человек четырех детей тянет, ради этого и подался в шоферы после института.

Но при всем при этом В. Розов, наделив Огородникова двусмысленной профессией, не выключает его из круга общей вины: шофер приобщен к теневой жизни своего начальства, к поездкам с иностранцами в закрытый заповедник.

Василий Прокофьевич Богоявленский — ректор désinституту. Социальный портрет его в пьесе чист: служебным положением он не злоупотребляет. Однако В. Розова интересует домашнее поведение человека, которого общество считает «порядочным».

Он души не чает в дочери — что ж, это хорошо. Ради нее не хочет уйти от постылой жены. Его связь с Людой — не прихоть барина, а любовь. В. Розов — к его чести будь сказано — не поддался дешевому соблазну унизить героя таким банальным способом.

Но вина и на этом человеке есть. Присвоив себе единоличное право на судьбу дочери, он властно решает, кто ей пара, а кто — нет.

Скрывая свои отношения с Людой, Богоявленский думает, что лжет «во спасение». Тем не менее, когда Оля узнает о двойной жизни отца, это открытие дубиной обрушивается на девочку именно потому, что она верила отцу, а он лгал ей.

Пьеса привлекает непростотой, неоднозначностью изображенных в ней отношений. Нерасторжимой смесью беды и вины. Но сегодня такой взгляд на наши проблемы кажется недостаточно острым.

Богоявленский — «порядочный». Потому, что не берет взяток, как об этом заявлено в пьесе? А разве мы не знаем, что справедливость на вступительных экзаменах нарушается не только из-за «презренного металла» — достаточно бывает звонка влиятельного человека или приятеля. Неужели ректор был свободен от круговой кабинетной поруки? Огородников добрый, хороший человек, но ведь ему не претила (пьеса, по крайней мере, молчит об этом) двойная жизнь начальства, да и сейчас не стыдится он своего участия в поездках в закрытый заповедник. Добросердечный шофер пригрел сына своего проворовавшегося шефа, он — единственный, кто не отвернулся от несчастной семьи. Но достоверно ли такое психологически — может ли человек не изменить своей природной доброте, душевности, участвуя в течение двадцати лет в привилегированной охоте на кабанчиков?

Драматург как-то писал, что его больше всего волновало происходящее в душе мальчика, осознающего несправедливости нашей жизни. Но уж коли он поставил рядом с мальчиком двух взрослых и внимательно всмотрелся в них,— значит, писатель хочет отыскать причину этих несправедливостей? А портреты взрослых получились, на мой взгляд, не очень-то убедительными.

В обществе накопилось множество противоречий: между честными тружениками, которые получают гроши, и жуликами из разных сфер, которые, наживаясь на этих людях, их же еще и презирают за «неумение жить»; между «знатью» и «простыми» людьми (список можно еще долго продолжать). Как возмездие за это, наступает смятение в умах молодежи.

Ко всем названным темам наше искусство вроде бы как и прикасалось, но тут же отдергивало руку, боясь обжечься. Виноваты тут и внешние причины — но не только они. Наших писателей и читателей долго убеждали — и преуспели в этом! — что выносить сор из избы нехорошо, неприлично, непатриотично. Это убеждение, которое и поныне сидит в каждом из нас, и уводило перо Розова, Приемыхова, Павловой в сторону всякий раз, когда они приближались к корню проблем.

...Сейчас, наверно, эти произведения были бы написаны по-иному. Это не значит, что стоило планке правды подняться — и на них уже можно ставить крест. Нет, эти писатели заслуживают нашей благодарности и за мужество первопроходцев, и за художественные достоинства их произведений. Однако сейчас уже нужен новый уровень осмысления социальной и нравственной проблематики, заявленных в них конфликтов.



ЗАДАЧНИК ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Поступок. Сборник рассказов. Л.: Детская литература, 1987

Очень редкое название. Так и написано в предисловии к книге. «Я, например,— пишет С. Соловейчик, автор этого предисловия и комментариев,— думал-думал, но так и не вспомнил, при каких обстоятельствах я хоть раз в жизни открыл рот и сказал: „Поступок"».

Но это еще не все. «Поступок — это почти то же самое, что и подвиг»,— читаем мы дальше. Вот тебе раз! До сих пор считалось, что совершать поступки, иными словами — действовать, присуще человеку по его природе. Предисловие, впрочем, такого соображении не опровергает: «...все на свете поступок. Можно сказать, шаг ступил — поступок...». А в послесловии открыты еще и «поступки понимания». Так что же это все-таки такое? И по какому принципу подобран сборник?

Принцип объяснен дальше. Оказывается, «если слово „поступок" произносят без прилагательного, имеют в виду хороший, красивый, благородный поступок. Про дурные, нечестные поступки говорят с прилагательными: дурной поступок, некрасивый, нечестный».

Значит, все-таки говорят...

Итак, судя по названию книги, к которому не прилагается прилагательного, речь в ней пойдет об образцово-благородных поступках.

Скажу сразу, что против самого состава сборника возразить ничего нельзя. В пем представлены очень хорошие и разные писатели: С. Вольф, В. Голявкин, Ф. Искандер, Э. Кундышева, Р. Погодин, В. Попов... И рассказы тоже хорошие. И совсем не о том, «как надо» или «как не надо»: наши лучшие детские писатели давно переросли облегченно-назидательную раскраску героев.

Но вот комментарии к рассказам... Это поистине перлы канцелярско-педагогического стиля, вполне вровень с теми методиками, которые призваны планомерно изничтожать классику на уроках литературы. Я уже не говорю о том, что, судя по послесловию, добрая половина описанных здесь поступков никак не подходит под ранг «образцовых».

В рассказе Э. Кундышевой «У меня к тебе одна просьба...» мало того, что оба героя, как в том убежден автор комментария, плохи,— и поступка-то никакого нет, даже в таком толковании, как «поступок понимания». А ведь перед нами рассказ трагический, рассказ о смерти, о совести, о том, как внук, с готовностью принимая бабушкины подарки, никогда не давал себе труда расслышать бабушкины нехитрые просьбы. А теперь уже поздно...

Но коль скоро «Поступок» — не «сборник рассказов, а сборник задач» (до такого не додумались даже многомудрые составители хрестоматий), к рассказу быстренько приложен педагогический аршин, и что же оказывается? Бабушка, это воплощение душевного тепла, «что ни сделает хорошего,— пишет комментатор,— все не просто так, а в обмен. ... Словом, они мне оба не понравились — ни бабушка, ни внучек».

Как же можно подходить к художественному произведению с такой убогой меркой, не чувствуя ни смысла его, ни звучания?

Ну, а рассказ В. Попова «Стоп-кадр»? Он-то как оказался в сборнике, если в поступке героя комментатор тоже усмотрел криминал? Правда, смысл рассказа в том и заключается, что герой — хотя и не сразу, но точно,— уловил фальшивку в снимающемся с его участием фильме и чисто по-детски решил съемки сорвать. Но о фальши, открывшейся мальчику,— ни слова. «Почему-то кинематографисты представлены как злодеи,— недоумевает комментатор.— А чем же они злодеи? Они кино снимают, работают». Не вашего это ума, ребята, дело — решать, кто из взрослых прав, а кто нет, вам, главное, слушаться надо.

Так, может быть, сборник следовало назвать не «поступок», а, допустим, «проступок»?

Тоже нет. Когда в рассказе Р. Погодина «Возраст выносливых и терпеливых» герой его, дабы испытать мужество, сует руку в кипяток, что в действительности чревато не ожогом, а потерей руки, этот поступок объявлен похвальным («по-моему, этот Вася-Вандербуль — молодец!»). Правда, с оговоркой: «вот вырастет человек,— разъясняют в комментарии,— надо будет жену с чемоданом провожать на поезд, а руки-то нет, жене помочь не сможет». Ну, слава богу, теперь хоть мы знаем, для чего человеку руки. Правда, не любому, а только женатому. (Ах да, комментарий ведь выполняет и педагогическую задачу— приучать будущих мужчин помогать будущим женам. Сразу както и не додумаешься.)

От таких комментариев голова начинает слегка кружиться. Мы, читая рассказы, и подумать не могли, что этакое можно в них вычитать. Ан можно. Из прекрасного рассказа С. Вольфа «Век его не забуду» — о человеке, назвавшемся клоуном и своим редким талаитом, которого никто, увы, не замечал, вылечившем бабушку, выкопан и увеличен до размеров урока этики крошечный эпизод с завтраком. Нехорошо завтракать, когда в доме чужой человек! Но ведь бабушка приглашала клоуна, он, правда, отказался, уйдя на кухню переодеваться. И как-то стал от своей скромности еще симпатичнее. Это какой же надо иметь педагогический стетоскоп, чтобы не увидеть в рассказе ничего, кроме невежливости! Да и где она там, невежливость? Где, наконец, поступок, достойный подражания, если в нем все такие невежи? Рассказ-то ведь — о трагедии незамеченного дарования, о том, что героя это не озлобило, о доброте его...

Таким же образом препарирован и рассказ Б. Алмазова «Лягушонок» — о мальчике, спасшем крошечное живое существо. Ну почему нельзя «за жалость», как сделал это кузнец Антип, подарить Тимоше ножик? Да и дарит он его не за жалость, а «за науку»,— вот тебе, Тимоша, ножик, вырезай свои кораблики, если ты не пожалел их отдать за лягушонка... Неужели этого не видно?!

И главное, для чего такой убогости мысли предпослан эпиграф из Ф. Достоевского о том, что «человек есть тайна»? Уж не на разгадку ли вечных вопросов бытия претендуют эти комментарии? Попутно в послесловии сделано интересное открытие,— оказывается, решительным называется человек, «который быстро и без раздумий решается на поступки». Мне до сих пор почему-то казалось, что его скорее можно назвать головотяпом...

А как восхитительны вопросы типа: почему герой так поступил? Почему поднял вверх большой палец? Чего он этим добивался? И так — о каждом рассказе, каждом герое. Бедные, бедные наши дети...

Впрочем, обиду писателей на комментарии автор последних благоразумно предвидит. Но читателей жаль все-таки больше. Они ведь не только книгу читать будут, но и рассматривать картинки. А нарисованы там крошечные уродцы, в нелепом ракурсе, в нелепых позах, и притом художником с явной склонностью к жанру карикатуры. Типажи подчас резко противоречат тексту.

Будем, впрочем, надеяться, что наши дети, крепко обученные в школе, комментарии и вопросники к рассказам читать не будут. Довольно с них и мудрствований над Пушкиным и Гоголем.

Но рисунки-то они увидят...

Е. ПЕТРОВА

ЧТО ПОЖЕЛАТЬ ПИСАТЕЛЮ?

Н. Федоров. Сказано — сделано. Повесть и рассказы Л.: Детская литература, 1987

Уже один факт появления новой повести для младшего возраста надо одобрять и приветствовать. И за то, что новая, и за то, что для младшего возраста. Именно о такой литературе можно говорить как о специфически детской: для других возрастных групп критерии не так строги.

Мне интересно писать о Николае Федорове, потому что он уверенно и стабильно владеет близкими мне по духу иронической и юмористической интонациями. Ирония и юмор повышают ноту авторского голоса и выразительность писательского лица.

Н. Федоров пришел в детскую литературу в конце 70-х, воспринял наши (поколения 60—70-х годов) традиции (темы, сюжеты), написал интересные повести и рассказы. А теперь становится связующим звеном поколений, и значит, примет на себя общественные переломы, которые происходят сейчас в стране.

Жизнь мальчиков в его произведениях течет в особом, ни на что не похожем мире, в нем много открытий совершается каждый день, и эту стихию детства может понять только заинтересованный человек. Его мальчики уже не наивны, они любознательны, начитаны, наслышаны, детская пора вот-вот пройдет, и один из них уже готовится к преодолению жизненных испытаний: «Когда продукты кончаются, едят кожу. Ремни, сапоги, портфели...» А другой иронизирует: «Вот ты возьми старый башмак, свари его, поперчи, посоли, а может, уксусу добавишь или лаврового листика. Дерзай, в общем. А потом нам о результатах доложишь». Юмор строится на том, что один все же более наивен, а другой более «зрел». Но и тот, и другой симпатичны. И авторский юмор мягок — юмор добродушной улыбки. Ребята в произведениях Н. Федорова незлобивы, дружны: «Если я могу, а ты не можешь, то я тебе с удовольствием помогу».

В повести картина жизни шире, объемнее. В ней переплетается жизнь детей и взрослых, мальчиков и девочек, прошлое и настоящее. Слова и поступки персонажей — как бы результат глубинной внутренней жизни. Сильный духовный настрой самого автора задает обыкновенной фразе подтекст. Ирония, юмор, композиционная собранность и, что мне

особенно импонирует, внутренний драматизм человеческой судьбы, ощущаемый в простых фразах, делают повествование о единении людей, умиротворении их разладов свежим и современным.

Благополучные «конфликты» наполняли произведения детской прозы последних лет. И надо сказать, детские писатели не сами стали поборниками благодушного стиля мышления — таков был издательский спрос. В детской литературе стал остро ощущаться недостаток истинного драматизма. Классическая проза знала найденышей, оборвышей и детей подземелья. А наша детская литература — будто святая простота...

Но вот идет время, все меньше повестей для детей создают писатели литературного поколения 60—70-х. Возникла иллюзия смены поколений, стало казаться, что наступают новые времена, вот-вот придут новые писатели...

В новой повести писатель, один из первых, откликается на усложняющуюся с каждым годом общественную ситуацию: в стране становится все больше одиноких старых людей, они нуждаются в сочувствии, помощи молодых. Потому не случайно автор переплетает жизнь стариков и детей, показывает взаимопроникновение, взаимосвязь судеб, взаимопомощь людей разного возраста с позиции гуманистического идеала.

Юному читателю повесть понравится современными приметами школьной жизни, новомодными типажами («Слава Сердюк — сэр Дюк — „упакован будь здоров"... Уши плотно закрывали изящные стереонаушники. Портативный „плэйер" „Джи-ви-си" посылал из кармана в наушники звуки „тяжелого рока". Он страстно мечтал стать диск-жокеем»), легким и непринужденным звучанием молодежного жаргона. Но, наряду с точкой зрения автора и с точкой зрения читателя, для любого нашего произведения всегда бывает сторонний наблюдатель, еще один судья, который сведущ в литературном процессе и может оценивать произведение с точки зрения самой литературы. Это — критик или писатель, интересующийся работой своих собратьев.

Такой взгляд, конечно же, уловит, как трудно писателю в период перелома и перестроек, в обстановке неполной ясности общественной ситуации, нечеткости требований, неопределенности критериев (в детской литературе это всегда особенно ощущается) преодолевать «туманности» и первому вырабатывать эти критерии.

Нашему автору, познавшему опыт нелегкого литературного дела, давно известно, что один в поле не воин. Он не склонен особо доверять готовности общественного мнения — а это и писатели, и литературная критика, и издатели — к перестройке, не уверен, что остроту нового мышления поддержат. Поэтому и предпочитает оставаться в плену благополучно разрешаемых конфликтов и ситуации старается брать те, которые не раз обкатывались в литературе. Это застарелый (литературно) старик, непременно с «биографией», таинственная вещь, которую надо отыскать.

«...На балконе нервно затряслась консервная банка, привязанная к перилам. В ней со звоном запрыгали шайбы и винтики. От банки вверх тянулся тонкий нейлоновый шнур... звенящая банка была сигналом... В обеих квартирах имелись телефоны. Но в разговорах по телефону было что-то обыденное и казенное... а в прыгающей банке было что-то живое и веселое»...

Правильно. Было когда-то «живое и веселое». Но давно — еще в дотелефонные времена «Тимура...», да и после — не раз. Вот и высмеять бы автору эту допотопщину! Но и тут — благодушество.

Вряд ли стоит до такой степени опасаться новизны и не доверять читателям! Тем более обидно замечать это у автора, владеющего юмором, которым можно опрокинуть любые закоснелые условности.

Понятно: в ломку опасно кидаться. Но ведь юмор, ирония, которые обычно делают прозу обаятельной, при слишком ровном течении в благополучных пределах, не нарушаемые ни сменой интонаций, ни эмоциональными всплесками, ни ударениями авторского голоса, теряют свою впечатляющую силу.

Благополучие хорошо в жизни, в быту, но в литературе ни к чему. Тут надо ставить и решать проблемы — для того и пишут. Чтобы ирония и юмор делали серьезное дело, приходится мыслить остро. Без остроты юмор легко превращается в юморок, ирония — в бесплодную самоироничность.

Я вполне отдаю себе отчет, что веду речь о детской литературе. Но развитого взрослого воспитывают с детства.

Кстати, «традиционное» рутинерство, инфантилизм «старых песен» тоже с детства начинаются. И этого я не желаю ни писателям, ни читателям.

Виктор **ГОЛЯВКИН**

ИЗВЛЕЧЬ НЕОБЫКНОВЕННОЕ

Олег Ждан. По обе стороны проходной. М.: Молодая гвардия, 1987

Необычно композиционное построение книги: это, по существу, тринадцать повестей, любая из которых может быть прочитана и воспринята как самостоятельное произведение. В каждой из повестей-глав автор сосредоточивает внимание на одном персонаже, прослеживает час за часом его рабочий день. Повествование разворачивается, и перед нами все отчетливее проявляются непростые связи героя с товарищами по работе, проясняются их взаимоотношения, симпатии и антипатии. Еще ярче и подробнее, чем о производственной, рассказывается о частной, личной жизни человека.

В каждой следующей повести, словно софитом, высвечивается одна из названных мимоходом в предыдущей главе фигур. Действуют знакомые лица, появляются новые, и перед читателем открывается еще одна жизнь с ее взлетами и падениями. Другая повесть — другая судьба. Автор неистощим: каждая история по-своему неожиданна и интересна.

Интонация найдена точно, язык скуп, лишен нарочитой внешней орнаментики, но при этом весьма выразителен. Он сродни живому городскому просторечию, полон юмористических присловий: «стал сыт — появился стыд», «все работают, аж дым из ушей», «любовь — это молодость, замужество — жизнь» и, наконец, совершенно бесподобное — «демократия демократией, а план выполнять надо...» Мастерски выписаны производственные сцены: явственно ощущаешь грохот, жар, напряжение и пульс рабочей смены в цехе, слышишь голоса рабочих, их неподдельно естественную речь, сдобренную соленой шуткой — все зримо, точно, достоверно. Чувствуешь, что автор знает производство и занятых в нем людей не по мимолетной творческой командировке.

Новая книга О. Ждана — это, по сути дела, ответ на вопрос, поставленный автором в предисловии: «что важно в нашей жизни, а что — нет?» Мы привыкли — или нас приучили? — думать, что главное в жизни человека — это его труд, а личная жизнь, хоть и важна как «человеческий фактор» производства, но фактор этот все-таки второстепенный, если не третьестепенный. Книга же чем дальше, тем больше убеждает нас, что производство само по себе является лишь одной из многих точек приложения душевных сил человека. Известную дилемму автор решает так: «производство — для человека, а не наоборот». Человек приобретает у О. Ждана подобающую ему самоценность и перестает служить, как это нередко получалось в иных произведениях на производственную тему, придатком к машине. Поэтому образы рабочих, мастеров, руководителей и обретают у О. Ждана неподдельную человеческую достоверность.

При всем разнообразии и своеобычности лиц, действующих в книге, есть у них и нечто общее, кроме изнурительной работы в цехе — почти все они родом из деревни. Разными судьбами, разными ветрами забросило их в большой город, так и не сделавшийся за долгие годы близким и понятным, в горячий цех, на огромной тяжести работу, так и не ставшую смыслом их жизни. Не отсюда ли ясно ощущаемые на страницах книги двойственность положения героев, их житейская неустроенность?

Видимо, только крестьянская крепкая косточка дает рабочим людям в книжке О. Ждана силу и терпение ломить месяцами без выходных чугунную свою работу, не жалуясь на судьбу. Лишь изредка то у одного, то у другого срываются с языка тоскливые вопросы: «Зачем я здесь?. Неужели и вся жизнь так пройдет? Изо дня в день? Во веки веков?..» Социологи только сейчас начали открыто и серьезно писать и говорить об отчуждении труда при социализме.

В книге дан точный временно́й ориентир — тридцать лет после Победы. Во-первых, война оставила ожоги на судьбах людей старшего поколения. Во-вторых, семидесятые годы — это период, как теперь говорят, застоя. О. Ждан не был бы настоящим художником, если бы не отразил уродливые проявления этого самого застоя. Книги, однако, идут к читателям удручающе малыми скоростями — даже медленнее, чем социальные перемены. Мы увидим здесь и погоню за планом любой ценой, и штурмовщину, и устаревшую технику, и полное равнодушие к условиям труда и быта людей. Вот как, к примеру, приступает мастер участка Антон Воробей к организации сверхурочной работы в выходной день: «Есть у каждого мастера свои должники. Одному брак не показал в ведомости, другому небольшенькую премию выписал, третьего с работы отпустил на денек в деревню...» Однако доверительная интонация, удачно найденная автором и выдержанная на протяжении всего повествования, служит подчас недобрую службу. Вопиющие нелепицы и подлинные достижения в труде преподносятся в одном и том же стилевом ключе, что делает социальную позицию писателя почти не выявленной.

За короткое время на участке — две серьезные травмы, но мастера, похоже, больше заботит то, как утаить их, чем безопасность труда людей. В конце книги Воробей представлен к ордену. Узнав об этом, он выказывает в первый момент умилительное удивление и смятение души, но быстро смиряется с «неизбежным». Психологически это убедительно, однако за что же наградили человека? Известно, что в те годы награды порою спускались в цехи по разнарядке, но не вызывает доверия серьезность, с какой играют в эти игры рабочие у О. Ждана.

Удивительная инверсия наблюдается порой в литературе: в «производственных» повестях больше внимания уделяется эмоциям, мечтаниям, любовным и семейным переживаниям героев, чем собственно производству, а в рассуждениях

по поводу художественных произведений никак не отделаться от оценки дел производственных. Один из обнадеживающих признаков литературы наших дней!

Когда-то Гоголь заметил: «...чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина».

Олегу Ждану это необыкновенное извлечь удалось.

А. НОВИКОВ

ПОЭЗИЯ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ МИРА

О. Мандельштам. Слово и культура (составление и примечания П. Нерлера). М.: Советский писатель, 1987

Бо́льшая часть работ, вошедших в книгу, не переиздавалась на родине поэта с 1928 года. Первый раздел ее возвращает читателю сборник «О поэзии» (1928), второй занимает «Разговор о Данте», в третий вошли статьи, не включенные автором в сборник 1928 года, рецензии, очерки.

«Критическая проза», как условно назван этот вольный жанр,— важная составная часть литературного наследия Мандельштама. Темы его статей — силовые линии напряженного творческого поля, концентрирующиеся вокруг главного вопроса — о сущности поэзии, который разрешается в «Разговоре о Данте». Живительна тревога, с которой поэт касается извечных вопросов истории и времени, свободы и постоянства, жизни и смерти. Течение истории, ее «катастрофы и сдвиги» и их проявление в искусстве, в поэзии — одна из тем его прозы. Крушение самодержавия он сознавал как роковую предопределенность («Кровавая мистерия 9-го января»), о дальнейших судьбах революции в России мыслил, типологически сопоставляя их с Великой французской революцией и Парижской революцией 1830 года («Огюст Барбье»). Значительны предсказания поэта о дальнейших судьбах культуры и поэтического слова после революции («Слово и культура», «О природе слова»). Славу, ждущую А. А. Ахматову, он предвидел еще в 1916 году: «...ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России...» («О современной поэзии»).

Его статьи «О собеседнике», «Франсуа Виллон», «Утро акмеизма», «О природе слова», «Письмо о русской поэзии» — явление акмеизма, литературного направления, «преодолевшего символизм» (В. М. Жирмунский). Несомненна идейная связь акмеизма с истоками европейской гуманистической культуры, с идеями культурной преемственности, после долгого перерыва оказавшимися близкими и дню сегодняшнему.

Книга как пока единственное современное отечественное издание будет использоваться и литературоведами. Поэтому необходимо затронуть вопрос о подготовке текстов. Главный недостаток книги — некритическое использование текстов сборника «О поэзии» (1928), при подготовке которого действовали факторы, препятствовавшие осуществлению авторской воли в полной мере. Это видно как по характеру большей части сокращений (нередко значительных по объему), так и по сходным примерам из вышедших в том же году «Стихотворений» Мандельштама. Особенно пострадали статьи «Петр Чаадаев» и «О природе слова», которые следует считать в этой редакции искаженными. Тексты их следовало бы дать по предшествовавшим публикациям. В первом разделе хорошо подготовлен текст «Заметок о Шенье», в который внесены существенные поправки по черновику.

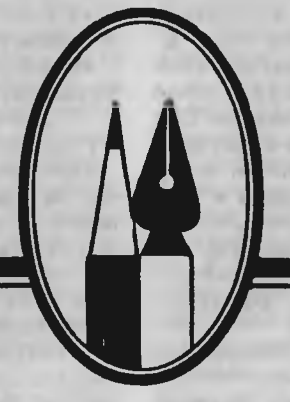
Достойно сожаления, что в книгу не вошли важные для Мандельштама статьи «Пушкин и Скрябин», «Государство и ритм», «Гуманизм и современность», «Пшеница человеческая», тем более, что в третий раздел включены не столь уж обязательные в таком сборнике статьи о переводах. Тексты книги недостаточно выверены, в них проникло немало ошибок, искажающих смысл, к примеру: «радостных» вместо правильного «редкостных» (с. 41), «отмахвуться» вместо «отшатнуться» (с. 48), «целости» вместо «целостности» (с. 59), «горячими» вместо «горящими» (с. 62), «стран» вместо «стен» (с. 63), «мания грандиозного» вместо напрашивающегося «mania grandiosa» (с. 206), «веселого» вместо «небесного» (с. 290). Перечень можно продлить. Немало неточных и ошибочных сведений содержится в аппарате книги. На стр. 5 ошибочно названо имя И. М. Граве (правильно — И. М. Гревс; последний, хоть и преподавал в Тенишевском училище, учителем Мандельштама не был); «коммуляция» должна, по-видимому, означать «кумуляцию» (с. 6); на с. 304 временем выступления Мандельштама в Политехническом музее указан декабрь 1932 года, на самом деле оно состоялось в марте 1933 года.

Предисловие М. Я. Полякова, занимающее половину объемв аппарата, написано в жанре эссе, который, к сожалению, не предполагает сколько-нибудь систематических сведений о биографии, историко-литературном окружении или поэтике исследуемого автора.

К удачам книги следует отнести хороший подбор иллюстраций и почти полную прижизненную библиографию прозы поэта.

А. МЕЦ





тетрадь

Борис **НЕПЛОХ**

ДЕРЕВО С ПЫШНОЙ КРОНОЙ

В Петербурге, между адмиралтейской гауптвахтой и зданием Сената лежит за невысокой чугунной оградой камень-скала. На том камне — верховой не то в римской тоге, не то в балахоне солдата-преображенца. Одной рукой коня придерживает за уздцы, другой — царственно показывает куда-то далеко-далеко. А конь под ним горячий. Вздыбился, вот-вот скинет седока или понесет его резвой иноходью прямо через Неву и дальше — по острову Васильевскому, до самых голодаевских пустырей.

Но нет! Крепко держится всадник, и не взлететь коню. На скале — надпись, от дождей тусклая: «Петру Первому Екатерина Вторая».

Плывут мимо, весело поскрипывая мачтами, парусные фрегаты, тянутся груженые барки. Все-таки приохотил царь петербуржцев к «водной езде», полюбились им балтийские просторы и соленый воздух морской.

По указу Петра с 1721 года стали строить корабли и в устье реки Охты — на развалинах шведской крепости Ниеншанц. С чужедальной сторонки — с Белоозера, из-под Вологды, с Каргополя-городка пригнали плотников. И повелел царь:

— *Жить вам теперь во все времена по берегам Охты-реки и кормиться у судовых работ.*

С той поры и селились на Охте мастеровые Слободины — искусные в резьбе и столярном деле. Молва утверждала, что первый среди них — Федор — подарил царю Петру «дивный сундучок с фигурами»: для компаса. А так ли на самом деле — кто знает? Лишь однажды, уж после смерти Петра, напомнил Слободин о себе, когда вместе с товарищами по артели бил челом царице Екатерине I:

— Оборони, матушка, от регламентов адмиралтейских.

Постояли тогда плотники у царского дворца, подождали ответа, да и ушли ни с чем...

Нынче — тоже не до них.

В канцелярии Морского министерства на столах и подоконниках — груды всякого бумажного хлама. Какие-то старинные доносы, прошения о пенсионах, корабельные списки с подробным указанием, кто, где, когда плавал, на каком корвете или на бомбардирской лодке, под чьим началом, в каких кампаниях участвовал. Все это копилось годами, подмокало, покрывалось пылью и плесенью.

— Завели бы шкафы, что ли,— подумал молодой коллежский советник из Адмиралтейства Мансуров, подбирая бумаги.

В августе 1854 года морской министр, великий князь Константин поручил ему произвести ревизию управления охтенскими поселянами, и судьба этого странного и единственного в своем роде сословия крепостных корабельных работников настолько увлекла Мансурова, что он решил не ограничивать себя рамками современного их состояния, а проследил всю историю, начиная с указов Петра.

Коллежский советник дотошно вникал, какие корабли строят на верфи, как управляли слободами раньше и каков теперешний смотритель — полковник Рудников. Заставил землемера поднять все межевые описи: сколько десятин у Адмиралтейства, сколько в аренде у купцов? Не поленился, промерил самолично участок под мыльным заводом мещанина Шуйского, переписал подробно, что растет и в какое время вызревает в огороде у вдовы чиновника четырнадцатого класса Фунчиковой.

После очередного доклада Мансурова великий князь резко встал, шурша эполетами:

— Значит — реформы?!

Вид у морского министра взъерошенный, но весьма бравый: усики соломенные вразлет, глаза чуть навыкате (как у отца — императора Николая I), и сабля через плечо на тоненьком ремешке. Ему двадцать семь лет. Генерал-адмиралом российского флота был назначен, когда пускал еще бумажные кораблики в царскосельском пруду. Впрочем, это, наверно, и повлияло на выбор карьеры. По характеру — слабый, нерешительный, даже малодушный. «Морской Пилат»,— назовет его Герцен.

— Вы сказали, поселяне совершенно отошли от своего первоначального поприща? — рассеянно переспросил великий князь.

Мансуров заглянул в бумаги:

— Вот цифры только за последнее время: сколько корабельных плотников стали краснодеревщиками, позолотчиками, резчиками, то есть могут использоваться лишь при окончательной отделке кораблей.

— Так что же, выписывать их из Морского ведомства? — снова тряхнул эполетами Константин.— Государь на это не согласится.

В Адмиралтействе давно поговаривали об освобождении охтенских поселян. Еще в 1828 году, когда Николай I осмотрел строительство кораблей на Охте, управляющий верфью сообщил ему конфиденциально, что вольнонаемные исправляют обязанности с большим старанием, а у казенных сноровка не та. Но император в тот единственный свой приезд на Охту был настроен благодушно, всем мастеровым велел выдать по целковому, по фунту говядины и по чарке водки, а Охту приказал «в полицейском отношении» присоединить к Петербургу. Так появились в корабельных слободах (как и всюду в империи) полосатые будки. Одна на Глухой, другая на Пустой, третьи на Трвурной...

Мансуров отложил несколько старых указов по Охте, решил поразмяться — промерить шагами стену.

— Здесь, пожалуй, встанут два шкафа,— он вспомнил о тех, что видел в кабинете оригинальных рисунков в Эрмитаже. Из темного ореха, работы мастера Тура.

Тур — фигура приметная. Недели не проходит, чтоб имя его не помянули в Зимнем.

По пятницам в «Эрмитаже его величества» — день перестановок. Солдаты из инвалидной команды (их караульня возле главных ворот Зимнего дворца) еще засветло начинают чаи гонять для сытости и в кулаки плюют:

— Давеча мраморная вакханка тяжелющая была. Еле втроем осилили...

Фырчит самовар. Огарок, катанный из деревенского сала, искрит меленько и дразнит носы скоромным.

— А вы б ее на салазки. Все полегче,— подскажет кто-нибудь из бывалых.

И пойдут воспоминания. Про вазу колываньскую:

— Две роты волокли. Тыща пудов — шутка ли?!

Про «страшилищ египетских» — тех, что на пристани, возле Академии художеств. И вообще о разном: чего таскали и откуда, на чем жилы потянули, и с коих пор в ногах образовалось трясение.

А была и такая история. Из кабинета оригинальных рисунков в зал русской скульптуры понадобилось перенести несколько шкафов. Каждый в пять аршин ростом. Волоком не протащишь — двери мешают. А как разбирать, инвалиды того не ведают.

Помощник начальника второго отделения Эрмитажа доктор Кёне сам затеял эту перестановку, а теперь ловил за фалды мебельщика Тура:

— Пришлите работников, который раз прошу.

— И не просите, нет у меня свободных людей,— Тур загибал пальцы, желтые от столярной пыли: — Для государыни мольберт — срочно, витрины под монеты — срочно. Рамы картинные, лестницы приставные, черт в стуле — все срочно.

Это — в Гатчину. Во дворец. Туда же тюками отправлялся английский вощеный ситец. Мастеровые фабрики Тура драпировали им стены, затягивали пухлые кушетки, стулья, кресла, да что кресла — даже ящики для дров. Стиль «новое рококо», середина XIX века...

Домой, на Большую Конюшенную, Тур пробирался в этот вечер дворами и закоулками. Карету оставил на Мойке, возле Полицейского моста. Надвинув на глаза цилиндр — не догоняет ли кто? — нырнул под спасительную вывеску, с которой оловянно отсвечивал двуглавый императорский орел: «Придворная мебельная фабрика А. Тура и сына».

В дверях по обыкновению встретил приквзчик:

— Только вы ушли, снова тот чиновник из Адмиралтейства тут как тут. Спрашивал, где шкафы, и сильно гневался.

Честь и репутация придворной фабрики явно в опасности. Войдя в кабинет, Тур перевел дыхание и направился прямо к деревянной махине (ее называли «бюро»). Эту огненно-рыжую громадину с секретными механизмами и бронзовыми медальонами на крышке произвел еще Тур-старший. Столярный мастер из Франции, прибившийся к невским берегам, хотел угодить вкусам петербургской публики, но опоздал — вкусы уже изменились, а бюро так и осталось в собственном владении семьи Тур. Теперь здесь хранились счета и расписки, разные деловые бумаги, рецепты приготовления мебельных лаков и просто всякая ерунда вроде двух старинных акварелей. На одной были изображены кресла, приставленные спинками друг к другу — «для более укромного и тайного поцелуя», на другой такие же кресла стояли «визави» — «для чинной беседы и покойного обмена рассудительными разговорами».

Тур ощупью отыскал потайную кнопку.

Вытряхнув из бюро старые шнуровые книги, он пролистал больше половины, пока не обнаружил полустертую запись, сделанную в 1839 году: «Алексей Макаров Слободин, адмиралтейский плотник. Селение Большая Охта, в Траурной улице, собственный дом».

Еще при Екатерине жил на Охте староста-мироед по фамилии Троурнов. Большой был мастер, как в ту пору говорили, до всяких «изворотов и околичностей». Скупал у корабельного люда отведенные нарезки, а когда земля в цене поднялась, стал первым богачом на всю округу. От него и пошло: те места прозвали — Троурновы.

— Куда идешь?

— На Троурную.

— А далеко ль до Троурной?

— А недалече.

Не разговор, а бурчание какое-то, язык сломать можно.

Переделали по-другому: Траерная. Но и это не прижилось. Чаще называли улицу Траурной — и созвучно, и кладбище Большеохтенское рядом. Окончательно утвердилось прозвище, когда прошла холера по Охте.

Вот здесь и жили теперь Слободины — Алексей Макарович с сыном и невесткой. Дом их посередке, с правой стороны. Не чета, конечно, хоромам Семена Тарасова — владельца паркетного заведения, у того каменный, за семьдесят пять тысяч, но и не хуже других домов на Траурной.

Когда приходил срок, Алексей Макарович с сыном плотничали на казенных работах — большие корабли строили. В остальное время занимались вольным столярным ремеслом. Делали рамы и двери, освоили мягкую работу по мебели, обойную.

В сушиле у Слободина духовито парятся доски дубовые, особым манером пиленные. Вроде бы сразу и не заметишь отличие. Доска как доска. А приглядишься — то там, то здесь пятнышки блесковатые, с зеркалинкой. У столяров такие доски в особой цене, потому как не коробятся и редко когда трескаются.

Были и модные картинки. Их прислала жена охтенского смотрителя полковника Рудникова, когда Слободины подрядились на комод грушевого дерева. Барыня взяла с них обещание, что будет все, как в «аглицком» журнале. А там — словно присели в реверансе аккуратные стульчики с гнутыми ножками, обтянутые полосатым репсом, широко и разлаписто устроились диваны, а шкафы и комоды — эти мебельные генералы — свысока поглядывали на своих собратьев.

— Рококо,— одобрительно говорил Алексей Макарович всякий раз, когда ему нравилась вещь столярного дела.

Услышанное когда-то вскользь, это заковыристое словечко, может, и не запало бы так крепко в его памяти, если б не обстоятельства того злополучного дня.

...В ту зиму Слободин пилил на мельнице во дворе Главного Адмиралтейства. На охтенской верфи работы почти не было, и плотников гоняли куда придется. Гудела пила, и тускло мерцал масляный фонарь возле амбара для привалки леса. Время позднее, мастеровые собирались по домам, когда прибежал вахтенный унтер-офицер и объявил тревогу:

— Пожар в Зимнем дворце.

От Адмиралтейства до Зимнего рукой подать, но пока носили воду из проруби, пока складывали бочки в телегу — полчаса прошло или даже больше.

Пламя, вспыхнувшее в подвале аптечной лаборатории, полезло наверх — к комнатам дежурной прислуги и конногвардейского караула. Батальон дворцовых пожарных заливал огонь студеной невской водой, но тот как будто играл со своими укротителями — исчезал в одном месте и появлялся там, где его не ждали.

Охтян-корабельщиков поставили качвть ручные помпы вместе с солдатами, потом они ломали деревянные перегородки и паркет — цветной, мелкоштучный.

— Да шевелитесь же вы,— кричал на капитвна дворцовых пожарных царь Николай. Его только что привезли из театра, он был бледен и перепуган, от дыма у него разболелась голова.

Уже потрескивали деревянные с позолотой люстры и начинали морщиться холсты амстердамской теплой кисти, когда император велел разбить окна на хорах Фельдмаршальского зала. Поток ветра раздул пламя, и огонь ринулся к соседним залам — Петровскому и Гербовому, к Галерее 1812 года, а потом и в другую сторону — к Невской анфиладе и дальше, к самым покоям царской семьи.

Николай стоял в распахнутой шинели, сверху падали на него искры. Взгляд его стал тупым и безразличным, словно все, что происходило, было скучным продолжением недосмотренной пьесы.

Над Зимним полыхало багряное зарево. Кони фыркали. Наседала толпа, привлеченная невиданным зрелищем. Гвардейцы окружили здание плотной цепью и едва сдерживали натиск. По лестницам звякали шпоры флигель-адъютантов. Прислуга выносила прямо на снег китайские вазы, картины в тяжелых витых рамах, гобелены со следами ожогов, мраморные скульптуры, часы с золочеными пастушками. Тут же сваливались сундуки



подвальных и чердачных обитателей дворца — трубочистов, прачек, поваров, дровоносов.

Прямо на набережной выстроилась, как на каком-то безумном параде, мебель из погоревших залов: невысокие комоды, сверкающие разноцветьем лака, кресла с мягкими скамеечками для ног, молочно-белые стулья с позолотой и шелковыми сиденьями. Стулья сильно пострадали от огня.

В общей давке адмиралтейцев оттеснили к толпе. Стоявший возле Слободина немолодой уже барин с припухшими щеками твердил как полоумный:

— Рококо, рококо.

И снежинки таяли в его бобровом воротнике.

То был придворный столярный мастер Андрей Иванович Тур. Слободин увидел его снова года через полтора, когда на восстановление Зимнего согнали мастеровых чуть не со всего Петербурга. Охтенские поселяне привычно плотничали, золотили, настилали паркет, резали по дереву. Или вот как Слободин — шли в помощники к придворным мебельщикам.

Тур работал вместе с сыном. Для Большого аванзала дворца они взялись изготовить по рисункам архитектора Стасова шестнадцать дюжин стульев красного дерева с обивкой из зеленого сафьяна.

Тогда, пожалуй, из петербургских мебельщиков только Генрих Гамбс и мог бы с ними поспорить в мастерстве отделки и в изяществе форм. Две эти фамилии — Тур и Гамбс — на протяжении полувека петербуржцы произносили обычно вместе, без конкретных имен их носителей, как одно неразрывное целое. Тур и Гамбс — это было олицетворение хорошего тона в мебельном искусстве, марка добротной столярной работы.

В свои секреты мебельщики никого не посвящали. Бывало, хозяева велят Слободину нафуговать реек или конский волос под сиденья выстелить, а сами в мастерской закроются и колдуют с фанерками. Алексей понял однажды: по контракту стулья полагалось делать из цельного куска «махогона», то есть красного дерева, а хозяева решили березу поставить, только снаружи полосками тонюсенькими оклеивали. Сразу и не разберешь. Рококо, да и только!

Много всяких столярных приемов узнал Слободин в тот год. Фанеровать тоже научился, но не сразу. Дело это оказалось непростое и хлопотливое. Чуть недосмотришь, и, гляди, начнет кривить во все стороны. В мастерской увидел впервые и как наводят глянец на дерево. На Охте тогда еще мебель по старинке пчелиным воском растирали. Положат слой воска, дадут впитаться, разотрут, потом заново вощат. И так много раз, пока не заиграет матовым блеском.

Однажды придворные краснодеревцы решили испытать Слободина. Дали ему материал, гвоздики с фарфоровыми шляпками, показали на готовый стул — делай, мол.

К положенному сроку работа была закончена. По-всякому крутили ее мебельщики и языками цокали, а придраться не к чему. Только и отличие: изнутри на царге — дощатой раме, соединяющей ножки стула,— едва заметное клеймо: дерево с пышной кроной.

Спустя много лет Карл Андреевич Тур, сын старика Тура, фактически единственный уже владелец фабрики увидел точно такой же знак. И не где-то, а в «императорском музеуме».

По личному распоряжению царя Тур присматривал за мебелью и гардеробными вещами в Галерее Петра Великого, в Эрмитаже. Должность эта была «без жалованья, званья и чина», но считалась почетной, и Карл Андреевич ее исполнял аккуратно. В кафтаны и пуховые шляпы подсыпал камфару от моли, завел список — «какая вещь с каким изъяном»:

«Башмаки черной кожи, ношеные, застегнутые пряжками (требуют починки); чулки линялые с серебряными стрелками и еще одни белые (отдать прачке); шаровары гродетуровые, вышитые по петлям (в двух местах рваные и скань полезла)...».

Под номером двадцать пять в описи значилась «шкатулка старинная, изящной работы, но попорченная временем». На шкатулке стояло клеймо: молодое, свальное дерево...

Тур призадумался. Мансуров поторапливает со шкафами, а за ним, известно, великий князь стоит. Царская фамилия... Поставщик его величества чертыхнулся вслух, тут же огляделся боязливо: не слыхал ли кто. Слава богу, никого.

Тур захлопнул крышку бюро, позвонил. Скоро вбежал приказчик.

— Пошли-ка ты, братец, за Слободиным. Скажи — нужда есть.

Приказчик моментом исчез. Тур нервно мерил шагами комнату, поглядывая на часы.

Это действительно был бы блестящий выход! Кому что за дело, кем сделаны шкафы? Главное — клеймо. Его, Тура, клеймо. А уж Слободин расстарается — яоса не подточишь...

Вошел запыхавшийся Алексей Макарович. Они долго о чем-то говорили, запершись вдвоем.

Наконец Тур передал Слободину связку чертежей, кое-где покружил циркулем — скорее для авантажа, чем по необходимости, и добавил:

— Только гляди, в морскую канцелярию — срочно.

У охтян-плотников всякая мебельная вещь имела свое обозначение. К примеру, раздвижной обеденный стол назывался коротко — «штука», шкаф для книг — благочестиво — «библия»!

Укорял паству маленький седенький попик из церкви кладбищенской:

— Библии — сиречь книга священная, откровение господне, и уподоблять ее вместилищам древесным суть анафемство и грех.

Поселяне затылки чесали.

В мастерской Слободина чисто, как в горнице. Возле верстака — два новеньких шкафа — «библии», готовые к отправке. Из благородного «волошского» ореха, с дверцами в стекольных переплетах, а по карнизу затейливая резьба — миниатюрные копии прославленных охтенских кораблей. Целая эскадра. Впереди — фрегат «Паллада», построенный на верфи в 1832-м, рядом — «Выборг»...

«...Покорно прошу всех видавших английские или французские корабли, всех наших поклонников столярного искусства Тура, Гамбса и тому подобных, покорно прошу взглянуть на отделку корабля „Выборг“, так верно, они подивятся охтенскому мастерству»,— это из журнала «Сын отечества», сентябрь 1842 года.

Не забыл Слободин и первые пароходы — «Опыт», «Геркулес», «Мирный», спущенные на воду в 1828 году...

В морской канцелярии рабочие фабрики Тура установили шкафы на место. Генерал-адмирал великий князь Константин, осмотрев их лично, остался доволен. Велел выплатить фабриканту всю сумму согласно контракту: по двадцать пять рублей ассигнациями за каждый аршин.

Мансуров по поводу новых шкафов промолчал. Может быть, догадался, что их делал не придворный мебельщик? Во всяком случае, в отчете для морского министра он записал: «Известно, что действительно охтяне отличные столяры и что они работают столь хорошо, что лучшие в столице мастера, как-то Тур и Гамбс, пользуются их трудами...». Коллежский советник обмакнул перо и в скобках добавил: «...чтобы продавать втридорога то, что ими оплачено безделицей».

Чиновник из Адмиралтейства уже закончил свои дела по ревизии, и в «Морском сборнике» печатали его отчет. Этот большой и обстоятельный труд назывался «Охтенские адмиралтейские селения».

Был январь 1855 года. Бушевала Крымская война. Поражение России в этой войне откроет дорогу некоторым реформам, в том числе и в области судостроительного дела. Через три года освободят и охтенских поселян от крепостной зависимости Морского министерства.

. . . .

...Только дворцовые ведомости сохранили эти имена. Дмитрий Андреев, Никифор Васильев, Михаил Сухов, Алексей Слободин... Талантливые охтенские краснодеревцы. С них ведет свою историю Ленинградское мебельное объединение «Нева».

Совсем недавно. Совсем давно

Бесик ПИПИЯ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И «ГОВОРЯЩАЯ МАШИНА»

«Каждый день я вспоминаю о своем визите в Ясную Поляну. В моей нью-йоркской квартире в центре каминной полки стоит в рамке портрет Льва Толстого, подаренный им моему деду с собственноручной надписью. И этой реликвией я очень горжусь».

Прочитав эти строки в бостонской газете «Крисчен сайенс монитор» от 2 октября 1986 года, я написал письмо в редакцию с просьбой к американским журналистам сообщить адрес и телефон автора статьи — Уильяма Дина. Редвктор раздела «Семейный форум» Магги Луис откликнулся на эту просьбу, и вскоре между мной и нью-йоркским адвокатом Уильямом Дином завязалась переписка. Тут-то мне и удалось выяснить подробности того, как фотография Толстого с его автографом оказалась в Нью-Йорке...

Москва, сентябрь 1909 года. Акционерное общество «Граммофон», где директором был, как выяснилось, дед Уильяма Дина — русский бизнесмен Александр Михелес, и Общество деятелей периодической печати задумали интересную идею: записывать речи и слова известных писателей, артистов, художников на грамофонные пластинки. Одним из первых было решено увековечить голос Толстого. «Но согласится ли Лев Николаевич?» — беспокоились они.

Пошли на хитрость: с просьбой произнести что-либо в фонограф обратились к Толстому через его близкого друга — писателя-крестьянина Семена



Терентьевича Семенова. На его письмо в Ясную Поляну вскоре пришел ответ от дочери Толстого, Александры Львовны: «...Лев Николаевич просит извинить его, но он последнее время настолько слаб здоровьем, что ему было бы трудно говорить в фонограф...».

Спустя некоторое время послали в Ясную Поляну самого Семенова. «... Приехал Семенов,— записал Толстой в дневнике.— И уверил меня, что нельзя отказаться от фонографа...». Семен Терентьевич же сообщил в правление Общества: «Собирайтесь, вас ждут. Лев Николаевич согласился; он чувствует себя бодро и вчера катался верхом».

В субботу, 17 октября 1909 года, в дорогу собрались А. Михелес, поэт И. Белоусов, журналист И. Митропольский, инженер М. Гампе и фотограф Н. Никольский. В газете «Руль» появилось сообщение: «Сегодня... выезжает в Ясную Поляну к Л. Н. Толстому представитель общества „Граммофон“ с целью записать для потомства речь исполинского мудреца. Уже давно Льва Николаевича осаждали с подобными предложениями агенты граммофонных фирм, и только теперь он ответил согласием».

Когда по Курской железной дороге тронулся поезд, Михелес вдруг сказал:

— Не видать бы нам никогда Толстого, если бы Эдисон не уколол себе палец иглой...

— При чем тут палец и игла? — удивился фотограф.

— А я встречался с Толстым! — перебил его Белоусов.— Это было лет пятнадцать назад. Я и Семенов решили навестить Ивана Ивановича Горбунова-Посадова. Войдя в вагон «конки» на Лубянской площади, мы заметили Льва Николаевича. Семенов подошел к нему и познакомил меня с ним. Лев Николаевич ездил, оказывается, на Мясницкую навещать больного художника Иллариона Михайловича Прянишникова и теперь возвращался домой в Хамовники. Доехав до Девичьего Поля, мы проводили Льва Николаевича до его дома, а сами пошли к Горбунову-Посадову.

— Прекрасно! — произнес Михелес.— Раз вы встречались с Толстым, так вас мы и попросим первым зайти к нему. А то, может, он еще и передумал...

— Правильно! — подтвердили все в один голос.

— А при чем палец Эдисона и игла? — вновь спросил Никольский.

— Не знаете, как был изобретен фонограф? Однажды Эдисон запел над диафрагмой телефона, к которой была припаяна стальная игла. Пластинка начала дрожать, и игла уколола ему палец. Это и натолкнуло Эдисона на гениальную мысль: колебания иглы он записал на телеграфную ленту, а потом провел по этой ленте иглой и услышал свой голос!

Часы показывали начало седьмого вечера, когда поезд прибыл на станцию Щекино. Наняли несколько экипажей, погрузили багаж и двинулись в Ясную Поляну.

— Знаешь Льва Николаевича? — спросил Митропольский у извозчика.

— Как не знать! Постоянно возим к нему гостей. Мужик-то он обычный, а по бумагам, сказывают, большой человек выходит.

— Далеко ль нам ехать?

— Верст восемь отсюда. А ночевать можете у старика Суворова. Он был дворовым у графа, а когда устарел, Лев Николаевич ему избу построил и деньгами не обидел.

Подъехали к дому Суворова, расположенному у въезда в имение Толстого. На крыльцо вышла хозяйка Мавра Федоровна и радушно пригласила в дом. Как и договорились, отправился к Толстому Белоусов. Его встретил врач и секретарь писателя Д. Маковицкий и проводил в кабинет.

Лев Николаевич, вспоминает Белоусов, сидел один в углу и что-то писал. Он был одет в теплую вязаную фуфайку. На столе горела керосиновая лампа под абажуром. Толстой узнал Белоусова, даже вспомнил случай, когда они вместе ехали в вагоне «конки» и лошади у Арбатских ворот никак не могли сдвинуть с места вагон...

Узнав о цели приезда, Лев Николаевич поинтересовался, чем отличается граммофон от фонографа, и начал приводить в действие стоявший в его кабинете фонограф, но не получилось. На фонографе Белоусов заметил привинченную серебряную пластинку с надписью: «Подарок графу Льву Толстому от Томаса Эльва Эдисона». В это время вошел сын писателя — Андрей. Он что-то отвинтил на аппарате, и тот заработал.

— Ах, я старый дурак, чего не догадался сделать! А как это просто!..— сказал, улыбаясь, Лев Николаевич, а после паузы спросил: — Что же я буду читать-то вам?.. Вот тут у меня небольшие вещицы — «детская мудрость», я прочту какую-нибудь из них,— может, подойдет?

Лев Николаевич прочитал два коротких рассказа.

— Рассказы очень хороши,— несмело произнес Белоусов,— но опасны в цензурном отношении: пластинку могут запретить для продажи...

— И привлекут к ответственности,— подхватил Лев Николаевич,— только не меня, а того, кто будет распространять то, что я написал или сказал... Знаю я эту «цедилку»,— отозвался он о царской цензуре.

Софья Андреевна, жена Толстого, пригласила Белоусова и его спутников на вечерний чай. За столом был и Лев Николаевич. Михелес с его позволения завел на граммофоне пластинку с «песнями каторжан».

— Нехорошо...— прослушав запись, сказал Лев Николаевич.— Ухарство вовсе не отличительная черта русского характера.

А вот пластинки с игрой Трояновского на балалайке ему понравились. Михелес предложил Толстому принять в подарок граммофон с пластинками.

— Нет! Нет! — замахал руками Лев Николаевич.— Пожалуйста, не делайте этого. Граммофон, наверное, стоит очень дорого...

Была половина двенадцатого ночи, когда закончили чаепитие. Толстой первым встал из-за стола, простился с гостями, поцеловал жену и ушел отдыхать. Белоусову и Михелесу Софья Андреевна приготовила постели в библиотеке, а журналист и инженер с фотографом отправились в дом Суворова.

На следующий день Лев Николаевич проснулся, как обычно, рано — около семи. Часа полтора гулял с собачками. Никольский дважды сфотографировал его: в столовой и под «деревом бедных», где по обычаю Толстой принимал крестьян-просителей.

— Я думаю, что это очень хороший фотограф! — сказал он.—...Уж очень серьезно относится к своему делу: посмотрите, какой здоровый, крепкий человек, а занимается такими пустяками!..

Михелес и Гампе подготовили в библиотеке запись голоса Толстого. Лев Николаевич сел в кресло, открыл книгу «На каждый день», составленную им из изречений мыслителей разных стран, и начал читать приготовленные отрывки — с паузами, выделяя каждое слово:

— Не заботьтесь о том, чтобы любили вас. Любите, и вас будут любить.

— Не стыдно и не вредно не знать. Всего знать мы не можем, а стыдно и вредно притворяться, что знаешь, чего не знаешь.

— Мудрецу сказали о том, что его считают дурным человеком. Он отвечал: «Хорошо еще, что они не все знают про меня, они бы еще не то сказали»...

Всего Лев Николаевич прочитал двадцать восемь изречений. Двумя днями позже в письме к Н. Гусеву он сообщит, что «для фонографа... перечел некоторые мои писания и, прямо скажу, остался ими очень доволен. Читал их как новое, так их забыл, и подумал, что я, кажется, все сказал, что мог и умел, и теперь все только повторение старого...».

Михелес попросил Льва Николаевича почитать также по-французски и по-английски. Выполнив и эту просьбу, писатель произнес:

— Однако я устал!

Но Гампе, немец по происхождению, попросил Толстого произнести еще что-нибудь по-немецки.

— Ну, что ж теперь делать? Давайте немецкую книгу,— сказал Лев Николаевич дочери.

После окончания записи, занявшей около получаса, Александра Львовна пригласила всех в столовую. На столе были кофе, молоко, сливочное масло, домашний хлеб и сухари.

На прощание «всем участникам записи Л. Н. подарил свои портреты с автографами. Кроме того, Л. Н. по просьбе И. А. Белоусова дал свой портрет с пространным афоризмом для сборника в пользу общества печатников имени Ивана Федорова»,— сообщала газета «Раннее утро». Лев Николаевич вручил Михелесу еще книгу изречений с собственноручными пометками.

— Давайте народу полезные развлечения,— сказал он,— давайте ему на ваших пластинках в популярном изложении мыс-

ли и советы хороших писателей, и ваша пластинка принесет такую же пользу, как и книга.

На второй день, 19 октября 1909 года, в газете «Столичная молва», а позже в журналах «Кривое зеркало», «Граммофонный мир», «Пишущий Амур» и других были опубликованы материалы об этой поездке. Через три месяца Рижская фабрика грампластинок выпустила в свет два диска на русском языке: «Граф Л. Н. Толстой. Мысли из книги „На каждый день“ (в пользу общества деятелей периодической печати). Ясная Поляна», а также по одной пластинке на английском, французском и немецком языках.

Первая запись голоса Толстого, читающего отрывки из повести «Кающийся грешник», сделана в 1895 году этнографом Ю. Блоком. С января 1908 года, когда писатель получил в дар от Эдисона фонограф, Толстой начал использовать аппарат в своей работе: он записал десятки писем, несколько рассказов и публицистических отрывков, в том числе начало знаменитого памфлета «Не могу молчать». Есть мнение, что всего существовало около восьми десятков фонографических записей голоса Толстого...

Историю же с этой первой записью не случайно помнят по ту сторону океана. Еще в середине десятых годов Александр Михелес отправил свою дочь Веру на учебу в Америку. Она взяла с собой фотографию Толстого с его автографом. Вера успешно окончила колледж и всю свою жизнь преподавала в университетах США. Как выходца из России американские власти не раз пытались впутать ее в антисоветизм, но всегда безуспешно.

В 1936 году муж Веры Михелес — Уильям Дин умер от сердечной болезни, а спустя несколько недель у нее родился сын, названный в честь мужа Уильямом. Когда он вырос, то стал, как и отец, адвокатом.

Уильям Дин-младший несколько раз приезжал в Советский Союз и публиковал рассказы о своих поездках в газете «Крисчен сайенс монитор» и журнале «Нью-Йорк Эффэаз». Отправляясь в СССР впервые, он взял с собой краткую биографию Ленина, произведения Пушкина, Чехова, Толстого, а также несколько книг по истории России. По пути ему сказали, что через советскую границу будет трудно провезти эти книги. Чтобы избежать недоразумений с таможней, Дин вверху стопки книг положил биографию Ленина с его портретом на обложке. «Но моя догадливость не была вознаграждена,— пишет адвокат.— Я почувствовал себя почти обманутым, когда советские таможенные органы даже не попросили разрешения проверить мой багаж».

По словам Дина, для людей, путешествующих по Советскому Союзу, «Интурист» является хорошим помощником:

— Каждого встречают в аэропорту, привозят на машине в отель, бронируют билеты на различные культурные мероприятия. Советские гостиницы довольно комфортабельны, комнаты большие и спокойные. Не в пример западноевропейским отелям, грузовики и мотоциклы не будят тебя посреди ночи. Кровати мягкие и, что важно было для меня, длинные. Возможно — это благотворное влияние Петра I, который, как и я, был очень высоким.

Улицы и парки не засоряют, они в безукоризненной чистоте. Настоящее потрясение приходит в советском метро. Чистые вагоны, плавная езда, оборудование и рельсы в превосходном состоянии. Больше всего мне понравилось ленинградское метро и особенно станция «Пушкинская» — поистине музей.

Никакое пребывание в СССР не является полным без посещения Мавзолея Ленина. Я жаждал побольше узнать об этом замечательном человеке, воплотившем все лучшие черты человечества.

Находясь в Москве, я изъявил желание посетить Ясную Поляну. Мне сообщили, что музей сейчас закрыт. Но когда я рассказал историю визита моего деда к Толстому, для меня сразу же организовали поездку. Осмотрев дом писателя, я пошел к его могиле. Падал летний дождь, который русские называют «грибным». Могила Толстого — в березовом лесу на краю оврага. Здесь нет монумента, только могильный холм. Простота завораживает...

Уильям Дин подробно описывает посещение Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Самарканда, их достопримечательности.

— В Советском Союзе я впервые постиг значение слова «гостеприимство». Был в гостях в русской семье, накрыли превосходный стол, из еды особенно мне понравились грибы, собранные моим хозяином в лесу, и жареная телятина с великолепными грузинскими специями.

Конечно, нельзя сказать, что Советский Союз — это сказочная страна. Есть здесь и свои проблемы. Это нехватка жилья, ручной труд в сельском хозяйстве. В главном универмаге СССР — ГУМе я видел товары весьма посредственные. Мне не понравилось обслуживание в советских ресторанах. За то время, что я провел в ожидании официантов, я прочитал два тома Чехова. Но в политические дебаты с русскими я не вступал, ибо считаю, что о проблемах своей страны они знают лучше, нежели я, и наоборот...

Уильям Дин написал мне, что и сегодня интересуется жизнью нашей страны. Бывает на концертах советских ансамблей, смотрит немногие наши художественные фильмы, показываемые в США. Любит оперы «Борис Годунов» и «Евгений Онегин», книги Толстого «Анна Каренина» и «Война и мир», поэзию Евтушенко и Вознесенского, постоянно перечитывает Чехова — любимейшего писателя. Портрет Чехова в рамке висит в его рабочем кабинете.

— Мое русское происхождение,— заключает Дин,— неизмеримо обогатило мою жизнь. А близость к русскому народу, которую я приобрел, считаю таким моим имуществом, какое не оценивается в деньгах.

Дом в Ясной Поляне. Фото Н. Никольского, 1909

По случаю юбилея

С. КИБАЛЬНИК

ЗАГАДКА «БРОНЗОВОГО СФИНКСА»

К 190-летию со дня рождения А. А. Дельвига

Помните известные пушкинские стихи, написанные по выходе из печати в 1829 году единственного прижизненного сборника стихотворений Дельвига:

Кто на снегах возрастил
Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи,
кто золотой угадал?
Кто славянин молодой,
грек духом,
а родом германец?
Вот загадка моя:
хитрый Эдип, разреши!



А. А. Дельвиг — силуэт

Стихи были озаглавлены «Загадка» и отправлены Дельвигу «при посылке бронзового Сфинкса». Сфинкс греческих мифов задавал загадку путникам, шедшим в Фивы, и убивал тех, кто не мог разгадать ее. Мудрый Эдип разгадал загадку Сфинкса и освободил жителей города от чудовища. Вкладывая в уста своего Сфинкса приведенную выше загадку, Пушкин мог быть спокоен за фиванцев — Эдип, конечно же, разгадал бы и ее, ведь ответ на загадку прост: «Дельвиг». Любопытно при этом, что бронзовая статуэтка, посланная Пушкиным Дельвигу, изображает не Сфинкса, а грифона. Поэт, однако, называет его Сфинксом, чтобы выразить этим экзотическим, чарующим антично-мифологическим образом свое смешанное с восторгом удивление поэзией Дельвига.

Ощущение какой-то загадочной притягательности, неясного влечения вызывала и личность Дельвига. Один из товарищей юности поэта, двоюродный брат Е. Баратынского Василий Эртель искренне недоумевал: «Я не знал, как согласить глубокое чувство, игривый характер и истинно-русскую оригинальность, которые отражаются в его стихотворениях, с этою холодною наружностию и немецким именем». Другим привле-

кательность Дельвига казалась более понятной, и они предлагали ей объяснения, каждый свое. Близкому к кружку Дельвига барону Егору Розену он представлялся «классическим, античным явлением, неожиданным в наше время и будто бы взятым прямо из школы Платона!». Совсем другие ассоциации приходили в голову близко знавшей поэта Анне Керн: «Юмор Дельвига, его гостеприимство и деликатность часто наводили меня на мысль о Вальтер Скотте, с которым, казалось мне, у него было сходство в домашней жизни...». Все, однако, были единодушны, отмечая глубокую поэтичность самой личности Дельвига. «Поэт по созданию» (Н. Коншин), «поэтическая душа», «поэтическое существо» (А. Керн). Как поэзию Дельвиг воспринимал и саму жизнь.

Каким же он был — Дельвиг? Мы никогда не представим себе этого отчетливо, если не будем разграничивать его реальную личность и легенду о поэте-сибарите, созданную самим Дельвигом, подлинную судьбу поэта и расхожие представления о нем, основанные на той же самой легенде. Начиная с лицейских гимнов, которым охотно вторил в своих стихах сам Дельвиг, перед нами встает образ счастливого мудреца, убежденного сторонника покоя и беззаботности. Увлеченные этим образом исследователи иногда отождествляли его с реальной личностью поэта. В действительности же Дельвиг лишь развивал в своих стихах горацианский идеал поэта-мудреца, чуждающегося светской суеты и погони за богатством. В собственной жизни, и, в особенности, в своей издательской деятельности поэт отличался известной энергией, сделавшей его одной из центральных фигур в литературном процессе 1820-х годов.

Поэтический образ автора часто отвечает его реальной судьбе. У Дельвига соотношение между творчеством и судьбой оказалось иным. Сам поэт с отроческих лет воспевал идеал «тихой жизни».

Блажен, кто за рубеж наследственных полей
Ногою не шагнет, мечтой не унесется;
Кто с доброй совестью и с милою своей
Как весело заснет, так весело проснется...

Так жизнь и Дельвигу тихонько провести.
Умру — и скоро все забудут о поэте!
Что нужды? я блажен, я мог себе найти
В безвестности покой и счастие в Лилете!

Захваченный убедительностью этого светлого идеала, даже такой тонкий исследователь пушкинской эпохи, как Л. Гроссман, писал в своем сонете «Дельвиг» из цикла «Плеяда» «об этой жизни краткой и безбурной». Но, увы, реальная жизнь Дельвига не была такой уж «безбурной»: «в безвестности покой и счастие в Лилете» найти не удалось.

Наиболее серьезное любовное увлечение Дельвига до брака связано с именем хозяйки известного литературного кружка на Фурштатской улице (ныне ул. Петра Лаврова) Софьей Дмитриевной Пономаревой. Ей он посвятил свои прекрасные сонеты «Златых кудрей приятная небрежность», «Я плыл один с прекрасною в гондоле», « С. Д. П-ой» и знаменитые в вокальном исполнении романсы «Не говори: любовь пройдет», «Прекрасный день, счастливый день», «Только узнал я тебя». Этот роман с замужней женщиной, к тому же увлекающейся и переменчивой («Жизнью земною играла она, как младенец игрушкой»,— напишет о ней сам Дельвиг) не был свободен от внутреннего драматизма и в конце концов вызвал у поэта грустные строки:

Протекших дней очарованья,
Мне вас душе не возвратить!
В любви узнав одни страданья,
Она утратила желанья
И вновь не просится любить.

К тому же вскоре после того, как они были написаны, Пономарева скончалась от внезапной болезни.

Софья Михайловна Салтыкова, на которой поэт женился 30 октября 1825 года, была женщиной столь же образованной, культурной, увлеченной поэзией, как и С. Д. Пономарева, но и столь же страстной, несдержанной, пылкой. В 1830 году это привело Дельвига к ситуации, поразительно напоминающей положение Пушкина осенью 1836 года. Только Дельвигу гораздо труднее было вызвать на дуэль младшего брата своего близкого друга Сергея Баратынского, чем Пушкину Дантеса. Впрочем, и вел тот себя в этой истории несравненно достойнее, чем Геккерны в пушкинской. Если бы это было не так, вряд ли что-нибудь остановило бы Дельвига: в 1824 году он, не задумываясь, вызвал на дуэль Ф. Булгарина в связи с каким-то его публичным отзывом о себе.

Вдобавок к этому осенью 1830 года Дельвиг серьезно болел, а в августе и октябре перенес резкие столкновения с начальником III Отделения Бенкендорфом по поводу ожесточенной полемики «Литературной газеты» с булгаринской «Северной пчелой». Если после первого вызова к Бенкендорфу Дельвиг еще «с особенным удовольствием» рассказывал, как он привел в ярость шефа жандармов замечанием о том, что «на основании закона издатель не отвечает, когда статья пропущена цензурою» (А. И. Кошелев), то после второго визита в III Отделение, в продолжение которого Бенкендорф обошелся с Дельвигом самым грубым образом и в конце концов обещал упрятать его вместе с его друзьями в Сибирь, поэт «приехал домой смущенный, разогорченный и оскорбленный» (А. И. Дельвиг). «Литературная газета» была запрещена. И хотя вскоре последовало разрешение возобновить ее издание, Дельвиг уже не имел права значиться ее издателем, и она стала выходить под редакцией О. Сомова. Современники прямо связывали внезапную кончину Дельвига 14/26 января 1831 года от «гнилой горячки» с «разными неприятными происшествиями, следствием журнальной войны между ним и Булгариным» (Е. А. Энгельгардт).

Как показывают оставшиеся неизвестными до настоящего времени материалы Центрального государственного военно-исторического архива, осенью 1830 года у Дельвига были и другие основания для серьезной озабоченности. После кончины 9 июля 1828 года отца его, генерал-майора барона Дельвига (тоже Антона Антоновича), мать поэта вместе с двумя его младшими братьями и тремя младшими сестрами осталась почти без всяких средств к существованию. Между тем положенный пенсион назначен не был, и баронессе Л. М. Дельвиг пришлось 16 апреля 1830 года обратиться с прошением на высочайшее имя. «В сем печальном положении я осмеливаюсь пасть пред стопы Вашего Величества и со слезами умолять, повелите, всеавгустейший монарх...»,— писала вдова отслужившего около сорока лет Антона Дельвига-старшего, в прошлом плац-адьютанта, а потом плац-майора Кремля, участника шведской (1789—1792 г.) и польской (1792—1793 г.) военных кампаний. Но вместо ожидаемой монаршей милости последовало долгое разбирательство по делу «о негодных жандармских лошадях, коих генерал-майор барон Дельвиг при сдаче от одного командира к другому одобрил и велел принять» и «о неисправных ружьях, на перемену коих он дал свидетельство, тогда как сии ружья имели неисправности, коих насчет казны принять нельзя». Только 24 ноября 1830-го последовало извещение о том, что «государь император высочайше повелеть соизволил вдове умершего в 1828 году бывшего окружного генерала 2 Округа Внутренней стражи генерал-майора барона Дельвига Любови Дельвиг производить в пенсион (...) по 1800 руб.».

Отнюдь не «безбурная» жизнь и в особенности драматическая история гибели Дельвига издавна поражали удивительным сходством с судьбой Пушкина. «Судьба Дельвига,— писал автор одной из лучших статей о поэте (1934) И. Виноградов,— кажется каким-то бледным, ослабленным предвосхищением судьбы Пушкина. И там, и тут неудавшаяся семейная жизнь, столкновения с людьми, в руках которых находилась власть, привели к гибеля». Но судьба Дельвига могла послужить в некотором роде и предупреждением Пушкину. Причем, кажется, Пушкин так и воспринял ее. Получив известие о смерти друга, он сказал П. Нащокину: «Ну, Воиныч, держись, в наши ряды постреливать стали», а в «Лицейской годовщине» 1831 года написал: «И мнится, очередь за мной, Зовет меня мой Дельвиг милый...».

Давно уже нет на свете Дельвига, а бронзовый сфинкс по-прежнему хранит свою загадку. «Кто славянин молодой, грек духом, а родом германец?» — Ну, Дельвиг-то, Дельвиг, да отчего же он все еще так волнует нас, чем трогает?

«Друг поэзии и поэтов», Дельвиг притягивает к себе многих его собратьев из будущих поколений. Молодой Блок в одном из своих ранних стихотворений вступил с ним в своеобразный спор («Ты, Дельвиг, говоришь: минута — вдохновенье...» — 1899), А. Белый обильно цитировал обращенные к Дельвигу пушкинские строки в своем романе «Петербург» («Зовет меня мой Дельвиг милый» — названа одна из глав этого романа), Л. Гроссман посвятил ему блестящий сонет, Вс. Рождественский написал о нем целую статью, Д. Самойлов создал стихотворный диптих «Стихи о Дельвиге», а уже совсем недавно О. Чухонцев напечатал любопытные стихи, как бы развивающие мотив дельвиговской «Луны» (1821-й или 1822-й). Интересно, что стихи о Дельвиге, как правило, удаются. Правда, и писали о нем только талантливые люди. Но, как знать, может быть, в этом своеобразно проявилась не только их собственная одаренность, но и глубокая поэтичность самой темы. Для хороших стихов нужны вдохновенные предметы.

Не так давно мы могли убедиться в том, что имя Дельвига рождает мгновенный отклик и в самых широких кругах. При жизни Дельвиг был своеобразным центром знаменитого «союза поэтов» («около него собиралась наша бедная кучка»,— писал Пушкин). Много лет спустя после смерти он неожиданно сплотил вокруг себя самых разных людей, которым дорог пушкинский Петербург. Наверное, не случайно именно дом Дельвига стал своеобразной сценой для удивитель-

ных событий, разыгравшихся в нашем городе не так давно. В доме номер один по Загородному проспекту, где была последняя квартира поэта, происходили настоящие чудеса. В связи со строительством нового павильона метро над домом нависла угроза сноса, и вот каким-то загадочным, волшебным образом в лицейскую годовщину 19 октября 1986 года дом Дельвига «ожил». Вместе с ним «ожила» вся Владимирская площадь. С колокольни собора и с крыши соседних домов раздались звуки трубы. Пустые проемы окон в доме Дельвига осветились факелами. С балкона, выходящего на площадь, вновь прозвучала речь А. П. Куницына, некогда читанная им на открытии Лицея. Кузов грузовика, поставленного на Владимирской площади, сделался трибуной для выступлений о лицейском братстве, об истории этого уголка старого Петербурга, пения под гитару дельвиговской «Прощальной песни воспитанников Царскосельского Лицея». Наконец, с крыши дома Дельвига в исполнении одетых в белые костюмы трубачей прозвучал «Гимн великому городу» Глиэра. Стряхнула с себя оцепенение обычного осеннего ленинградского дня Владимирская площадь. Подходили к ней люди; узнав, в чем дело, останавливались. Слушали, выступали сами...

Необычная эта «лицейская годовщина» была организована группой «Спасение» и «Интерьерным театром» Н. В. Беляка. К ним примкнули сотрудники Пушкинского дома, Городского экскурсионного бюро, артисты Ленконцерта и ленинградских театров, просто горожане. При поддержке телевидения началась настоящая борьба за дом Дельвига. И произошло чудо, как будто бы наказ ахматовского Александра: «Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта» («Александр у Фив») — оказался наконец услышан. Дом Дельвига выстоял. Он стоит и теперь. Стоит немым свидетелем непрекращающегося таинственного притяжения к Дельвигу его и наших с вами современников.

Этюды

Р. Г. СКРЫННИКОВ

СМУТА В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Фактор внешнего вмешательства имел весьма ограниченное значение даже на первом этапе гражданской войны в 1604 году. Спустя два года роль этого фактора была и вовсе ничтожной. Ситуация в Польше не благоприятствовала развитию самозванческой интриги. Короля Сигизмунда III целиком поглотила борьба с оппозицией, поднявшей против него мятеж (рокош). Оппозиция рассчитывала на помощь Лжедмитрия I и даже вела с ним тайные переговоры. Поэтому ее вожди охотно подхватили весть о спасении царя. По словам купца Ф. Таламио, сторонники рокоша открыто говорили о том, что Лжедмитрий жив и находится в Самборе.

Собравшаяся для рокоша шляхта ждала появления царя, но самозванец так и не «сказался» (не показался) людям и «на рокоше не был», боясь (как объясняли польские приставы послам), мести со стороны шляхтичей, потерявших родственников на царской свадьбе в Москве.

По-видимому, ряд причин помешал инициаторам интриги представить самозванца польскому обществу. Во-первых, новый Лжедмитрий, хотя и имел большую бородавку на лице, но бородавка росла не на том месте, а в остальном он нисколько не походил на убитого в Москве Отрепьева. В Польше многие знали характерную внешность Лжедмитрия I, и обман мгновенно бы обнаружился. Во-вторых, появление «царя» среди рокошан явилось бы прямым вызовом королю, на что Мнишки никак не могли пойти. Юрий Мнишек находился в плену в России, и освободить его могло лишь вмешательство официальных властей Речи Посполитой.

Обстоятельства не благоприятствовали интриге, и комедия с самборским Лжедмитрием II так и не состоялась. Военные приготовления в Самборе внушили беспокойство литовскому канцлеру Льву Сапеге, поскольку собранный там отряд мог быть использован противниками короля. Когда самозванец назначил своим главным воеводой Заболоцкого и «того Заболоцкого послан был до Сиверы (в Чернигово-Северскую землю.— *Р. С.*), чтобы (жители.— *Р. С.*) нынешнему государю (царю Василию.— *Р. С.*) не поддавались, и он (Дмитрий.— *Р. С.*) к ним (повстанцам.— *Р. С.*) (при) будет», канцлер приказал задержать Заболоцкого и его отряд. В октябре 1606 года канцлер Лев Сапега, давний покровитель Отрепьева, направил в Самбор слугу Гридича, чтобы тот «досмотрел» Дмитрия: «подлинно тот или не тот»? Гридич ездил в Самбор, но «того вора (по словам послов) не видел: живет де в монастыре, не кажетца (не показывается) никому».

В октябре в Самбор наведался бывший духовник Отрепьева, но и он уехал ни с чем. Вслед за тем Бернардинский орден направил к Мнишкам из Кракова одного из наиболее видных своих представителей. Поскольку по всей Польше прошел слух, что Дмитрий «в Самборе в монастыре в черническом платье за грехи каетца», эмиссар ордена произвел досмотр самборского монастыря и получил от самборских бернардинцев письменное подтверждение, что Дмитрия нет в их монастыре и они не видели царя с момента отъезда его в Россию. Как видно, Мнишки не осмелились показать самозванца ни шляхтичам — участникам оппозиции, ни духовенству, ни представителям официальных властей. Во время переговоров с русскими послами чиновники отмежевались от самборской интриги, заявив: «А что де вы нам говорили про того, который называется Дмитрием, будто он живет в Самборе и в Сандомире у воеводины жены (Мнишка.— *Р. С.*), и про то не слыхали». В то же время королевские дипломаты, добиваясь немедленного освобождения задержанных в Москве поляков, угрожали послам вмешательством в московские дела посредством новых самозванцев. «Только государь ваш (царь Василий.— *Р. С.*) вскоре не отпустит всех людей,— говорили они,— ино и Дмитрий (новый самозванец.— *Р. С.*) будет, и Петр прямой будет, и наши за своих с ними заодно станут».

Первый самозванец, по меткому замечанию В. О. Ключевского, был испечен в польской печке, но заквашен в Москве. Новый Лжедмитрий также не миновал польской кухни, но его судьба сложилась по-иному: его не допекли и не вынули из печи. «Вор» таился в темных углах самборского дворца в течение всего восстания 1606—1607 годов, не осмеливаясь показать лицо.

Не решаясь вернуться в Россию, Молчанов предпринимал неоднократные попытки встать во главе вспыхнувшего в России восстания. Известно, что он отправил в северские города своего воеводу Заболоцкого с небольшим отрядом. Заболоцкому не удалось перейти русскую границу: его задержали польские власти. Другим эмиссаром самборского «вора» стал Иван Исаевич Болотников.

Биография Болотникова давно привлекает внимание историков. Тем не менее в ней остается много неясного. По предположению одних, Болотников происходил из мелких помещиков. Но эта гипотеза не подтверждена фактами. Можно считать установленным, что Болотников служил боевым холопом в свите у боярина князя А. А. Телятевского, от которого бежал на окраины к вольным казакам. Считается, что Болотников был атаманом то ли донских, то ли волжских казаков. По-видимому, предпочтение следует отдать второй версии. Автор английской записки о России 1607 года прямо называет Болотникова «старым разбойником с Волги». Англичане вели большую торговлю на Нижней Волге, где их суда не раз подвергались нападениям волжских казаков. Возможно, этим и объясняется осведомленность английского автора.

Наиболее подробные сведения о жизни Болотникова сообщают И. Масса и К. Буссов. Но их свидетельства противоречат друг другу, и примирить их (как это делают некоторые исследователи) невозможно. При оценке версий Массы и Буссова надо иметь в виду следующее. К. Буссов лично знал Болотникова, поскольку служил при нем в Калуге в 1606—1607 годах. Он располагал более надежным источником информации, чем И. Масса, находившийся в осажденной Болотниковым Москве.

И. Масса повествует, что холоп Иван Болотников бежал от своего господина в степь к казакам, служил также в Венгрии и Турции, после чего пришел с казаками числом до десяти тысяч на помощь к восставшим в Россию. Приведенное известие представляется неясным и противоречивым. Масса не уточняет, как вольный казак попал в Турцию. Венгры сражались с турками, поэтому понятно, что Болотников не мог служить одновременно в Турции и Венгрии.

К. Буссов лично беседовал с Болотниковым и людьми из его окружения. Поэтому его рассказ отличается большей точностью и определенностью. По свидетельству Буссова, Болотников попал в плен к татарам, которые продали его в рабство в Турцию. Таким образом, атаман не служил в Турции, а провел некоторое время в качестве невольника-гребца на турецких галерах, участвовал в морских сражениях. Одно из сражений кончилось поражением турок. Болотникова освободили из плена итальянцы, он попал в Венецию, оттуда через Германию и Польшу вернулся в Россию. Слухи о спасении «Дмитрия» привлекли Болотникова в Самбор. Там он виделся с человеком, выдававшим себя за спасшегося русского царя.

Молчанов удостоил Болотникова торжественной аудиенции.

Самборский самозванец не имел воз-

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1988, № 6.

можности снабдить его ни войсками, ни денежными средствами. Но он выдал атаману грамоту, запечатанную государственной печатью. Из грамоты следовало, что царь Дмитрий Иванович назначает Болотникова своим «большим воеводой» иначе говоря, главнокомандующим всеми повстанческими силами. На прощание Молчанов вручил Болотникову мизерную сумму в 60 дукатов, саблю и шубу. В Путивле атаман должен был предъявить царскую грамоту Шаховскому и уверить всех, что получил эту грамоту из собственных рук государя. Молчанов заверил казака, что Шаховской немедленно выдаст ему достаточно денег из путивльской казны и подчинит несколько тысяч воинов.

У самозванца были свои политические расчеты. Молчанов пытался найти людей, своей карьерой всецело обязанных его милостям и, кроме того, искренне веривших в то, что имеют дело с прирожденным государем. Болотников прибыл в Польшу с запада после многолетних скитаний. Он не был свидетелем событий, разыгравшихся в России в 1604—1605 годах, и никогда не видел в лицо Отрепьева. Обмануть его не составляло труда.

Молчанов и Шаховской — типичные политические авантюристы. Вся их роль свелась к мистификации населения Путивля и других северских городов, что и послужило внешним толчком к восстанию. Совсем иная судьба ожидала бывшего боевого холопа, предводителя вольных казаков Ивана Исаевича Болотникова. Примкнув к восстанию против царя Василия Шуйского, он стал вскоре подлинным народным вождем.

2

Ко времени прибытия Болотникова из Самбора в Путивль восстание против Шуйского захватило обширную территорию. Русские и иностранные источники одинаково свидетельствуют, что в движении участвовали, кроме Путивля, города Чернигов, Рыльск, Кромы, Курск.

Источники позволяют установить, почему восстание добилось длительного успеха прежде всего в названных городах. Дело в том, что на первом этапе гражданской войны в 1604—1605 гг. именно здесь были сформированы повстанческие отряды, которые в составе армии Лжедмитрия I в июне 1605 года вступили в Москву. Правительству не удалось разгромить эти силы, включавшие северских детей боярских, стрельцов, посадских людей, вольных казаков, крестьян и холопов. Отряды восставших несли караулы в Кремле в первые недели правления самозванца. После того, как Отрепьев заключил соглашение с Боярской думой, повстанцы были щедро награждены и распущены по домам. Таким образом, повстанческие войска 1604—1605 гг. сохранили свой основной костяк и структуру. Когда в северских и южных городах узнали о перевороте 17 мая 1606 года, затем прошел слух о спасении царя Дмитрия, население взялось за оружие. Повстанческая армия возродилась в считанные дни. Если бы Шаховскому или любому другому руководителю восстания пришлось заново формировать войско, на это ушло бы много времени. Впрочем, таким деятелям, как Шаховской, подобная задача была явно не по плечу.

Участник повстанческого движения К. Буссов подробно описывает сбор войск в Путивле. По его словам, путивляне послали гонцов на Дон и вызвали оттуда вольных казаков, а кроме того, созвали «всех князей и бояр, живших в Путивльской области». В Путивльском уезде не было ни князей, ни бояр. Службу там несли мелкопоместные дети боярские, а также казаки, стрельцы и прочий служилый люд. Вместе с донцами они и составили костяк повстанческой армии.

Я. Маржарет дополняет рассказ К. Буссова цифровыми данными. Когда взбунтовалась Северская земля, повествует он, в поход отправилось семь или восемь тысяч человек. Восставшие избрали своими командирами атамана Ивана Болотникова и сына боярского Истому Пашкова.

После годичного перерыва гражданская война вспыхнула в России с новой силой. На этом этапе действия повстанцев имели свои особенности. Во-первых, в их лагере полностью отсутствовали отряды хорошо обученных польских наемников. Во-вторых, повстанцы не могли использовать фактор внезапности нападения.

В свое время Борису Годунову понадобилось два месяца, чтобы собрать дворянское ополчение и использовать его для войны с Отрепьевым. В распоряжении Шуйского были целиком отмобилизованные полки. По данным Я. Маржарета, правительство использовало против повстанцев летом 1605 г. «от пятидесяти до шестидесяти тысяч человек и всех иноземцев». На стороне правительства был огромный перевес сил.

Борьба развернулась на двух основных направлениях: под Кромами и Ельцом. Крепость Кромы была сожжена дотла в 1605 году. Неизвестно, в какой мере ее укрепления были отстроены заново в недолгие месяцы правления Лжедмитрия. Однако никто не забыл, что судьба династии Годуновых решилась под стенами Кром. Поэтому вожди восстания выделили часть сил на помощь Кромам, чтобы помешать войскам Шуйского овладеть этим пунктом. Но все же главным центром борьбы стали не Кромы, а Елец. Готовясь к наступлению на Азов, Лжедмитрий приказал укрепить Елец и сосредоточил там крупные запасы продовольствия и оружия.

Находясь в Москве, Я. Маржарет в июле получил достоверную информацию о поражении повстанческих войск на всех направлениях. Его сведения находят подтверждение. Из Разрядных записей следует, что главный воевода князь И. М. Воротынский с крупными силами прибыл к Ельцу и наголову разгромил «воровское» войско, присланное на помощь ельчанам. «А как воровских людей под Ельцом побили,— значится в Разрядах,— и к боярам и к воеводам князю Ивану Михайловичу Воротынскому приезжал стольник князь Борис Ондреевич Хилков».

На Кромы выступили второстепенные воеводы князь Ю. Н. Трубецкой и М. А. Нагой. Трубецкой задержался в Карачеве, формируя полки, а «наперед себя» послал под Кромы Нагого. В это самое время, как свидетельствуют Разряды, «Болотников приходил под Кромы, и он (Нагой.— *Р. С.*) Болотникова побил, и с тово бою прислал к Москве к государю с сеунчом (победной вестью) дорогобужанина Ондрея Семенова сына Колычева».

Однако царь Василий не смог воспользоваться плодами своих июньских побед. Тяжеловооруженная дворянская конница, обладавшая подавляющим численным перевесом, легко одерживала верх над плохо вооруженными и в основном пешими повстанцами. Но в руках восставших оставались крепости, оснащенные артиллерией.

Правительство тщетно пыталось использовать имя Грозного, чтобы повлиять на восставшие города. Вдова Грозного Мария Нагая обратилась с личным письмом к жителям Ельца, призывая их отвернуться от мертвого Расстриги. Грамоту ельчанам передал дядя царевича Дмитрия боярин Г. Ф. Нагой. Аналогичные грамоты были посланы в другие места. Но обращения царя Василия не имели успеха.

В августе 1606 года правительственные войска отступили к Москве.

Было несколько причин, вынуждавших воевод к отступлению. Весной 1606 г. хлеба погибли от заморозков. Из-за неурожая цены на продукты питания стали расти. Командование не сумело обеспечить снабжение армии, в полках начался голод. По словам очевидцев, в лагере невозможно было купить сухарей. Повстанцы не раз терпели поражение в открытом бою, но восстание ширилось, захватывая новые местности. В конце концов войска, осаждавшие Елец и Кромы, сами оказались в кольце восставших городов.

Дворянское ополчение обнаружило вновь свою ненадежность. С приближением осени дворяне стали разъезжаться по своим поместьям. Силы Шуйского таяли, тогда как силы повстанцев росли. Болотников, разбитый под Кромами, к концу лета сформировал новое войско и предпринял второе наступление на Кромы. На этот раз его поддержал отряд путивльских повстанцев во главе с Юрием Беззубцевым. У Болотникова и Беззубцева было слишком мало сил, чтобы разгромить полки Трубецкого. Но Беззубцев повторил маневр, который принес ему успех в 1605 году. Повстанцы «оттолкнули» воевод со своего пути и пробились в осажденную крепость Кромы. Болотников добился ограниченного успеха. Тем не менее события под Кромами послужили толчком к отступлению царских войск из-под Кром и Ельца.

В средние века воевавшие армии несли наибольшие потери не в момент боя, а в ходе отступления, когда сопротивление прекращалось и легко возникала паника. Не будучи разгромлены, царские полки при отступлении утратили порядок и превратились в нестройную толпу. Заметив признаки надвигавшегося мятежа в крепости Новосили, служившей тыловым опорным пунктом армии Воротынского, командование направило туда воеводу князя М. Кашина. Но гарнизон и жители Новосили восстали против Шуйского и не пустили в город Кашина. Точно так же воевода Ю. Трубецкой после отступления от Кром не был пущен в Орел, где произошел мятеж.

Главный воевода Воротынский соединился с Кашиным в Туле. Если бы в его распоряжении были надежные части, он мог бы обороняться в неприступном тульском Кремле. Но Воротынскому подчинены были рязанцы, каширяне, туляне, обнаружившие свою ненадежность. Полки Воротынского фактически развалились. Заокские города переходили на сторону повстанцев один за другим, и в таких условиях воеводам не оставалось ничего иного как покинуть Тулу. В Разрядных записях об этом сказано следующее: когда Воротынский «пришол на Тулу ж, а дворяне и дети боярские все поехали без отпуску по домам, а воевод покинули, и на Туле заворовали (жители подняли мятеж.— *Р. С.*), стали крест целовать вору. И Воротынский с товарищами пошли с Тулы к Москве, а городы зарецкие все заворовалися, целовали крест вору».

Падение Тулы открыло перед повстанцами путь на столицу.

Наиболее ранние свидетельства, авторами которых были непосредственные очевидцы событий, совпадают в главном: первое наступление повстанцев на Москву состоялось в сентябре 1606 года.

Передовые отряды Пашкова проникли в Подмосковье со стороны Тулы и Серпухова. Тем временем Болотников стреми-

тельно продвигался из-под Кром на Орел и Калугу. 18 сентября царь Василий направил в Калугу брата Ивана, подчинив ему почти все воинские силы, которые еще находились в распоряжении правительства. 23 сентября Болотников попытался переправиться через реку Угру и выйти к предместьям Калуги, но его армия была разбита на переправе. Тем временем восставшим удалось занять Серпухов, и после небольшой передышки они выступили к Москве. Московское командование отправило под Серпухов всех ратников, бывших под рукой. Но число их было невелико, и их попытки закрепиться на реке Лопасне оказались безуспешными. Пашков отбросил их на 30—40 верст к Пахре.

Сторонники «Дмитрия» теперь непосредственно угрожали Москве. Василий спешно отозвал отряды дворянской конницы из-под Калуги (где тут же вспыхнуло восстание в пользу «Дмитрия»). Роль спасителя столицы Шуйский отвел своему молодому племяннику князю Михаилу Скопину. Тот получил приказ остановить противника любой ценой. Приказ был выполнен. Скопин вступил в бой со «скопищами» Пашкова на Пахре и принудил их к отступлению. Сентябрьское наступление сторонников «доброго» царя на Москву потерпело неудачу по той причине, что повстанцы не смогли своевременно объединить свои силы. У них было два главных предводителя — И. Пашков и И. Болотников, и каждый вел свою войну с Шуйским. И. Пашкову достаточно было выждать несколько дней, и тогда восставшие получили бы возможность атаковать Москву одновременно с двух направлений — серпуховского и калужского. Но этого не произошло. В результате правительственные войска разгромили повстанческие армии поочередно, одну за другой.

К октябрю 1606 года одним из главных пунктов военных действий стала Коломна, крупная крепость, прикрывавшая подступы к Москве со стороны Рязани. Удержав в своих руках Серпухов, И. Пашков выступил с главными силами (служилыми людьми из Тулы, Венева и пр.) под Коломну, где соединился с рязанскими повстанцами, которых возглавлял Прокофий Ляпунов.

Вскоре же повстанцы заняли Коломну.

Падение Коломны вызвало тревогу в Москве. Царь Василий поспешил собрать все наличные силы. В походе на Коломну участвовали московские «большие» дворяне, придворные чины — стольники, стряпчие и жильцы, городовые дети боярские, еще оставшиеся в Москве, наконец, служители московских приказов от дьяков до подъячих. Войско возглавляли главные московские бояре и воеводы князь Ф. И. Мстиславский, брат царя князь Д. И. Шуйский, князь И. М. Воротынский, трое братьев Голицыных, двое бояр Нагих, окольничие В. П. Морозов, М. В. Шеин, князь Д. В. Туренин-Оболенский, князь В. Г. Долгорукий, двое Головиных.

Расходная книга Разрядного приказа точно зафиксировала время выступления армии из Москвы. 23 октября 1606 года Ф. И. Мстиславский и Д. И. Шуйский получили «в поход из московского Разряду на приказные расходы 100 рублев денег». Покинув столицу, главные воеводы соединились с отрядом М. В. Скопина: «А сошлись со князем Михайлом Васильевичем Скопиным Шуйским с товарыщи по Коломенской дороге в Домодедовской волости». «Воры», повествует автор «Нового летописца», стояли в селе Троицком «от Москвы за пятьдесят верст», там и произошло побоище.

Битва под Троицким 25 октября 1606 года была крупнейшим из всех полевых сражений, выигранных повстанцами. Одной из причин их победы явилось то, что гражданская война расколола военную опору монархии. Поместное ополчение, переживавшее кризис, распалось. Дворяне помнили о поражении многотысячной рати Бориса Годунова у стен Кром. Ляпунов и прочие рязанские дворяне вновь, как и под Кромами, возглавляли мятежников. Но теперь им было легче добиться успеха. Недолгое правление Лжедмитрия упрочило популярность его имени в дворянской среде. Ко времени наступления на Москву среди населения росла уверенность, что «Дмитрий» в самом деле жив. В конце осени восставшие широко оповещали население, что «государь де наш царь и великий князь Дмитрий Иванович всея Руси ныне в Коломне». Известия такого рода оказывали немалое влияние на служилых людей.

События гражданской войны повторялись буквально во всем. Казаки Корелы и мятежники буквально разогнали ополчение царя Бориса. Разрядные записи аналогичным образом описывают события под Троицким: царских ратников побили и разогнали. По словам «Нового летописца», в бою «воры» «разогнаша многих дворян и стольников поимаша». Со слов ярославских помещиков, только что вернувшихся с поля битвы, Рожнятовский записал в дневнике: «День 16 ноября... На этих днях возвратились бояре и люди Шуйского с проигранной битвы и сами признали, что на поле боя осталось до 7 тысяч убитых и до 9 тысяч ограбленных полностью и избитых кнутом распущено по домам... после чего войска (мятежников.— *Р. С.*) поспешно подошли к Москве». Ярославцы, сломя голову бежавшие из-под Троицкого, конечно же, не располагали никакими данными о количестве убитых. Приведенная в дневнике цифра потерь была невероятно преувеличена. Требуют критического отношения и данные о пленных.

Можно ли объяснить роспуск пленных Пашковым чувством «общности» восставших с той частью армии Шуйского, которую «силой гнали на войну»? По-видимому, источник допускает более простую интерпретацию. В какой-то момент правительственные войска прекратили организованное сопротивление, и тогда повстанцы стали разгонять их плетьми совершенно так же, как казаки Корелы разгоняли годуновскую рать в лагере под Кромами. Как и из лагеря под Кромами, царские дворяне бежали, побросав оружие я прочее имущество, что и было представлено ими как грабеж со стороны мятежников. Известие о наказании плетьми 9 тысяч пленных недостоверно. Подобная массовая экзекуция отняла бы много дней, а между тем повстанцам надо было спешить с занятием Москвы. Пашков старался не обременять свою армию пленными. Исключение было сделано лишь для стольников и знатных дворян. Их отослали в Путивль.

Различные источники по-разному определяли численность войска, подступившего к Москве. Один поздний летописец считал, что у Болотникова было 187 тысяч воинов. Буссов называл цифру в 100 тысяч бойцов. В действительности армия восставших не превышала 20 тысяч человек.

В авангарде войска Пашкова я Ляпунова шел отряд казаков. Передовые силы повстанческой армии укрепились в деревне Заборье неподалеку от Серпуховских ворот, тогда как главные силы стали лагерем в районе Котлов и далее к югу в Коломенском. К началу ноября в Котлы прибыло войско Болотникова. Военное положение Москвы стало критическим. Падения столицы можно было ждать со дня на день. Фактически царь Василий остался без армии. Дворянское ополчение распалось, помещики разъехались по своим уездам.

Царь Василий не имел ни достаточного войска, ни казны, ни запасов хлеба, чтобы предотвратить голод в столице. Многим его положение казалось безнадежным. В беседах с друзьями А. Стадницкий говорил, что в дни осады «как воры под Москвою были, ...и как государь сидел на Москве с одними посадцкими людьми, а служилых людей не было, и... было мочно вором Москва взяти,... потому что яа Москве был хлеб дорог и... государь не люб бояром и всей земли и меж бояр и земли рознь великая и... (у царя.— *Р. С.*) казны нет и людей служилых».

Исход борьбы за Москву зависел от позиции посадских людей, составлявших главную массу столичного населения.

Власти использовали всевозможные средства, чтобы отвратить москвичей от «смуты». В октябре царь Василий велел огласить перед всем народом повесть протопопа Благовещенского собора Терентия, служившую ярким образцом агитационной литературы периода гражданской войны. Протопоп пространно писал о том, как во сне явились к нему богородица и Христос. Богородица просила помиловать людей (москвичей), Христос обличал их «окаянные и студные дела». Чтение повести явилось лишь частью задуманного властями мероприятия. Пять дней по всей Москве звонили в колокола и не прекращались богослужения в церквах. Царь с патриархом и все люди «малии и велиции» ходили по церквам «с плачем и рыданием» и постились. Объявленный в городе пост должен был успокоить бедноту, более всего страдавшую от дороговизны хлеба.

Поддержка церкви имела для Шуйского исключительное значение. Патриарх Гермоген обличал мертвого Расстригу, рассылал по городам грамоты, предавал анафеме мятежников. Духовенство старалось прославить «чудеса» у гроба нового святого царевича Дмитрия, останки которого были перевезены в Москву. Большое впечатление на простонародье оказали торжественные похороны Бориса Годунова и членов его семьи, убитых по повелению самозванца. Тела были вырыты из ямы в ограде Варсонофьева монастыря и уложены в гробы. Бояре и монахи на руках пронесли по улицам столицы останки Годуновых. Царевна Ксения Годунова следовала за ними, причитая: «Ах, горе мне, одинокой сироте. Злодей, называвшийся Дмитрием, обманщик, погубил моих родных, любимых отца, мать и брата, сам он в могиле, но и мертвый он терзает русское царство, суди его, боже!».

Князья Шуйские имели давние связи с московским посадом, что и помогло им вовлечь а заговор против Лжедмитрия I некоторых влиятельных посадских людей. Торговые люди Мыльниковы занимали среди них едва ли не первое место. Один из них первым выстрелил в Отрепьева. В дни осады Москвы царь Василий поручил «голове» Истоме Мыльникову и шести его сотоварищам «из Овощного ряду» нести ночной караул под е царской усыпальницы в Архангельском соборе. Столичные посадские люди участвовали как в убийстве Лжедмитрия I, так и в избрании на трон Василия Шуйского. Именно купцы, всякого рода московские сапожники и пирожники, как о них презрительно отзывался К. Буссов, выкрикнули на Красной площади имя нового царя.

Умело используя все эти обстоятельства, царь Василий старался убедить посадских, что никому не удастся избежать



наказания в случае успеха сторонников «Дмитрия».

Пропагандистские меры Шуйского достигли цели. Поддержка Москвы, а также других крупнейших городов страны — Смоленска, Великого Новгорода, Твери, Нижнего Новгорода, Ярославля помогли царю выстоять в борьбе с Болотниковым. Имеются данные о том, что функции посадской общины в период осады Москвы значительно расширились. Московский мир направил в лагерь Болотникова делегацию для переговоров, просил царя дать сражение повстанцам, «когда народу стала невмоготу дороговизна припасов и пр.». Москвичи три дня лицезрели труп «Дмитрия», а потому версия о его повторном чудесном спасении вызывала у большинства сомнение. Посад направил в Коломенское представителей с просьбой устроить им очную ставку с Дмитрием, чтобы они могли принести ему повинную. Болотников заверил их, что виделся с законным государем в Польше. Но его заверения, естественно, не могли удовлетворить москвичей. Справедливо ли, что делегация была составлена из отобранных царем лиц? Сомнения насчет подтасованности делегации к Болотникову понятны, но надо иметь в виду, что в критических условиях осады и голода массы не стали бы слушать тех, кто не пользовался авторитетом в народе. Очевидец событий И. Масса утверждал, что царь Василий учинил перепись всем (москвичам.— *Р. С.*) старше шестнадцати лет и не побоялся вооружить их. Не менее десятка тысяч бойцов, вооруженных пищалями, саблями, рогатинами, топорами были расписаны по осадным местам.

Посадские люди, ездившие для переговоров в Коломенское, оказали неоценимую услугу Шуйскому. Они использовали переговоры, чтобы посеять сомнения в лагере восставших. Когда Болотников пытался убедить их, что сам видел «Дмитрия» в Польше, посланцы посада заявляли: «Нет, это, должно быть, другой: Дмитрия мы убили». (Как видно, делегацию возглавляли те купцы Мыльниковы, которые участвовали в заговоре и убийстве Отрепьева.) Москвичи, ездившие в Коломенское, помогли властям установить контакты сначала с вождем рязанских дворян П. Ляпуновым, а позже с главным предводителем повстанческого войска И. Пашковым.

Мирные переговоры сторонников «Дмитрия» с представителями Москвы продолжились две недели. Наконец вожди восстания поняли, что им не открыть столичные ворота с помощью переговоров. 15 ноября 1606 года повстанцы попытались штурмовать Замоскворечье. Бой начался успешно для повстанцев. Они ворвались внутрь укреплений, выстроенных Скопиным против Серпуховских ворот. Но в этот момент П. Ляпунов с рязанцами переметнулся на сторону врага, и восставшие отступили.

Измена рязанских дворян имела определенные социальные причины. На них весьма точно указал в свое время С. Ф. Платонов. «Месяц пребывания у стен столицы,— писал он,— показал дворянам-землевладельцам и рабовладельцам, что они находятся в политическом союзе со своими социальными врагами». Ко времени осады Москвы программа восставших действительно приобрела четко выраженную социальную окраску. Повстанцы наводнили столицу прокламациями. По словам английского современника, они «писали письма к рабам в город, чтобы те взялись за оружие против своих господ и завладели их именем и добром». Аналогично излагал содержание «воровских грамот» патриарх. Но и патриарх, и английский современник принадлежали к состоятельным верхам общества, страшившимся разбушевавшейся народной стихии. Понятно, что они старались выставить требования повстанцев в самом неприглядном и злонамеренном виде. Можно ли поверить, чтобы повстанцы адресовали именные грамоты «царя Дмитрия» одним холопам и шпыням? Скорее всего грамоты были обращены ко всем московским чинам.

Опыт осады Москвы убедил повстанцев, что верхи сговорились с боярским царем, и помочь справедливому делу возвращения на трон «доброго царя» может лишь одна сила — низы, чернь, холопы. Бояре, поддерживавшие узурпатора Шуйского и потворствовавшие «измене», подлежали смерти, их имущество — разделу. Чтобы окончательно запугать благонамеренных жителей Москвы, патриарх утверждал, будто повстанцы намеревались раздать безымянным шпыням (так называли городскую голь) боярских жен, ввести босяков в думу, сделать воеводами в полках, поставить над приказами («хотят им давати боярство и воеводство и окольничество и дьячество»).

Пока «сатанинскую» рать в Коломенском возглавляли «большие» воеводы наподобие вчерашнего боярского холопа Болотникова, патриарх имел все основания опасаться социального переворота.

Обращение к низам — «черни» — усилило внутренние раздоры в повстанческом лагере.

И. Пашков перешел на сторону царя Василия через две недели после П. Ляпунова.

Дворцовый переворот, покончивший с властью Лжедмитрия I и передавший трон Василию Шуйскому, сыграл исключительную роль в истории русской Смуты в связи с тем, что политический конфликт, порожденный переворотом, перерос в конфликт социальный и в него оказались втянуты народные низы. Социальная рознь отчетливо проявлялась уже в дни осады Москвы. Апелляция к низам вызвала глубокую тревогу у богатых дворян-помещиков, оказавшихся в стане восставших.

Измена Ляпунова явилась одним из показателей усиления социальной розни в повстанческом лагере. Измена Пашкова была вызвана как социальной рознью в лагере повстанцев, так и причинами сугубо личного характера — соперничеством двух самых выдающихся вождей движения. Столкновение началось по следующему поводу.

В селе Коломенском располагался дворец — загородная резиденция царя. Пашков первым пришел в Коломенское, и никто не мог помешать ему остановиться в царском дворце. После подхода Болотникова Пашков должен был признать его старшим воеводой и уступить занятое ранее «лучшее место». Царь Василий знал о распрях в Коломенском и постарался использовать их в своих целях. В конце концов его люди вручили народному вождю большую сумму денег. Золото развязало язык Пашкову. Пашков подтвердил, что не знает, жив ли «Дмитрий».

В последних числах ноября 1606 года царские воеводы начали энергичные военные действия против казацкого лагеря в Заборье у Серпуховских ворот. Бояре Дмитрий и Иван Шуйские окружили лагерь и два дня бомбардировали его. Попытки взять табор штурмом не увенчались успехом. Царские полки несли потери. На третий день, 2 декабря, произошло генеральное сражение. Воевода Скопин выступил к Коломенскому. Болотников выступил навстречу ему, вызвав на помощь Пашкова. В разгар боя Пашков перешел на сторону неприятеля.

С военной точки зрения его измена не имела большого значения. Но она внесла замешательство в ряды восставших. По словам современников, воеводы взяли в плен более 20 тысяч повстанцев, убитых же было 1000 человек с небольшим. Сами по себе эти цифры кажутся слишком преувеличенными в их абсолютном значении. Но из их соотношения следует, что до серьезного сражения дело не дошло. Участник восстания К. Буссов подчеркивал, что Болотников поспешно отступил, не задерживаясь в Коломенском, «оставив на разграбление врагу весь свой лагерь со всем, что в нем было».

Скопин мог преследовать Болотникова и разгромить его отступавшее, растроенное войско, если бы у него в тылу не было казацкого табора. Заняв Коломенское, воеводы поспешили вернуться к Заборью и возобновили штурм. Казаки отразили несколько приступов. Но силы были неравные. В конце концов казачье войско разделилось. Одни вступили в переговоры с воеводами и, узнав об измене Пашкова, решили последовать его примеру. Они «государю добили челом, и крест целовали (принесли присягу.— *Р. С.*), что (будут) ему государю (Василию Шуйскому.— *Р. С.*) служить». Половина казаков отказались сложить оружие. Они пытались вырваться из окружения, но воеводы были наготове, и множество повстанцев попало в плен.

Благодаря сопротивлению заборских казаков Болотников сумел вывести из-под удара ядро своей армии. Как отметили очевидцы, отступив из-под Москвы, он заперся в Калуге, куда вместе с ним пришло «всяких людей огненого бою (с ружьями.— *Р. С.*) больши десяти тысячь».

Осада Москвы воочию показала, что привилегированные верхи и низы общества по-разному воспринимали идею доброго царя. В низах жила легенда о том, что «Дмитрий» находится среди восставшего народа. Следуя народной молве, повстанцы письменно уведомили единомышленников, что «Дмитрий» уже в России. Двое монахов-лазутчиков, посланные из Москвы в окрестности Коломны, повстречали мятежников, и те поклялись, что сами видели Дмитрия. Царь Василий велел посадить на кол пленного «вора», и тот, умирая, твердил, что Дмитрий жив и находится в Путивле. Не имея возможности опровергнуть факт гибели Лжедмитрия, восставшие толковали, что в Москве убит прямой Расстрига Гришка, а истинный царевич находится с ними.

После неудачных переговоров с московским посадом вожди повстанцев осознали, что отсутствие «Дмитрия» мешает как вступлению восставших в Москву, так и полному успеху движения. Болотников тщетно писал Шаховскому в Путивль и просил, чтобы «Дмитрий» отложил заботы о сборе войск и прибыл бы под Москву как можно скорее. Самозванческая интрига в Самборе окончательно заглохла.

Столкнувшись с серьезным кризисом, руководители движения в Путивле приняли решение, отвечавшее повсеместным ожиданиям народа. Г. Шаховской пригласил в Путивль самозванного царевича «Петра Федоровича», появившегося в России еще при жизни Отрепьева.

Выдвинутый казаками в апреле 1606 года Петр (Илейка Коровин) писал грамоты мнимому дяде Лжедмитрию в Москву и требовал уступить ему трон. В критической для себя ситуации Отрепьев намеревался использовать движение казаков против политических противников. Но факт остается фактом. Возглавив восставших казаков, Петр громил поволж-

ские крепости, в которых сидели воеводы Лжедмитрия, и вел форменную войну против него. Все это помогает объяснить, почему «Петр», укрывшись на Дону после переворота 17 мая, решительно отказывался присоединиться к отрядам донских казаков, которые один за другим отправлялись с Дона в Путивль на помощь сторонникам «Дмитрия». Некоторое время Петр с казаками держался в Монастырском городке под Азовом, а затем на стругах прошел на Северский Донец. Тут, по словам Петра, к казакам прибыл гонец с грамотой «от князя Григорья Шаховского да ото путивлцов (жителей Путивля.— *Р. С.*) ото всех». Как видно, посад в Путивле играл еще большую роль в повстанческом движении, чем московский посад в царском лагере. Жители Путивля настойчиво просили Петра идти «наспех в Путиаль, а царь Дмитрий жив, идет со многими людми в Путивль».

Водворение Петра в Путивле сопровождалось своего рода переворотом. «Цвревич» явился в сопровождении казаков, с полным основанием считавших его своим ставленником и не желавших отказываться от власти. Старому путивльскому руководству пришлось основательно потесниться. Князю Г. Шаховскому не удалось предотвратить массовые расправы над своей же братией — пленными дворянами. Начало массовых расправ над дворянами точно зафиксировано Разрядами: «В Путивль привели казаки инова вора Петрушку... и тот вор Петрушка боярина князь Василья Кардануковича и воевод и дворян, и воевод которых приводили (из городов.— *Р. С.*), ...всех побили до смерти разными казнями, иных метали з башен, и сажали по колью и по суставам резали». По свидетельству осведомленного автора «Казанского сказания», «царек» казнил бояр и воев «богатых и добродородных» на путивльской площади «числом на день по 70 человек». В сходных выражениях казни дворян в Путивле описывали «Новый» и «Пискаревский» летописцы, Карамзинский хронограф и прочие источники. Разряды объясняют причину их казни кратко и точно: «побили за то, что вору (Петру.— *Р. С.*) креста не целовали». В числе казненных в Путивле лиц были боярин князь В. К. Черкасский (его беглый холоп числился среди казаков, провозгласивших Илейку Коровина «царевичем» Петром), князь Г. С. Коркодинов, Н. В. Измайлов, И. Г. Ловчиков, П. Д. Юшков, возможно, А. Плещеев, двое Бутурлиных, Воейковы, И. Пушкин, Ф. Бартенев и другие. Родственники казненных еще много лет вспоминали о страшных путивльских расправах.

Сохранив ядро своей армии, Болотников продолжил войну с боярским царем. Он укрепил обветшавшие укрепления Калуги и приготовился отразить натиск царских ратей. Вскоре же под стены Калуги явились сначала боярин Иван Шуйский, а затем глава Боярской думы Федор Мстиславский и Михаил Скопин. Стены Калуги были деревянными, и воеводы решили их сжечь. К городу свезли гору дров, заготовленных в окрестных лесах. Бояре не успели осуществить свой замысел. Повстанцы сделали подкоп и взорвали гору из дров, после чего совершили успешную вылазку.

Тем временем «царевич» Петр с войском перенес ставку из Путивля в Тулу. В феврале 1607 года воевода «царевича» князь В. Ф. Мосальский пытался пробиться в Калугу с отрядом казаков и обозом, но был наголову разгромлен. В мае на помощь к Болотникову выступил другой боярин «царевича» князь А. А. Телятевский (некогда Болотников служил у него холопом). Телятевский разбил отряд Б. П. Татева, пытавшегося задержать его продвижение. В осадном лагере под Калугой вспыхнула паника. Болотников довершил дело вылазкой из крепости. Армия Шуйского бежала из-под Калуги, бросив почти всю артиллерию.

Между тем, царь Василий предпринимал отчаянные усилия, чтобы упрочить свою власть и покончить с брожением низов в столице. Лазутчиков, пытавшихся распространять в столице прелестные письма от имени Дмитрия, жестоко наказывали. Так, в январе 1607 года публично казнили священника, схваченного с подметными грамотами.

По мере того, как восстание Болотникова приобретало все более глубокий социальный характер, усиливался процесс консолидации дворянства. И все же кризис феодального сословия, служивший одной из главных причин гражданской войны, не был преодолен. Принятием экстренных мер Шуйский восстановил распавшееся дворянское ополчение, что помогло ему довести до конца борьбу с Болотниковым.

Особого внимания заслуживает политика Шуйского в отношении низов. Один из первых законов Шуйский посвятил холопам. Закон был принят 7 марта 1607 года как именной указ царя. Указ содержал важные уступки боевым холопам. Военные послужильцы-холопы были единственной прослойкой феодально зависимого населения, обладавшей оружием и боевым опытом. В обстановке гражданской войны противоречия между дворянами и воинами невольного состояния стали одним из главных факторов развала поместного ополчения. «Великое разорение» конца XVI века и трехлетний голод начала XVII века привели к деклассированию многих мелких землевладельцев. Используя их бедствия, писал А. Палицын, вельможи превращали обнищавших дворян в своих холопов. В годы голода царь Борис распустил слуг опальных бояр. К ним присоединились боевые послужильцы тех землевладельцев, которые не желали или не могли прокормить их и сгоняли со двора. Дворянский публицист увидел в этом едва ли не главную причину последующей смуты: беглые боевые холопы уклонились «ко греху», «более двадесяти тысящ сицевых воров обретеся... во осаде в сидении в Колуге и в Туле». Поместное ополчение включало до 20—30 тысяч боевых холопов. Если верить Палицыну, все они «аще и не вкупе» (не все разом) оказались в лагере Болотникова. Как видно, дворянский писатель не избежал преувеличения. Но основную тенденцию он подметил точно: беглые боярские люди — боевые холопы — явились одним из важных элементов в «воровских» казачьих и прочих повстанческих отрядах. Из этой группы населения вышли такие деятели Смуты, как Хлопко, Юрий Отрепьев, Иван Болотников, «царевич» Петр-Илейка. Некоторые из них по происхождению были детьми боярскими. По-видимому, этой группе Василий Шуйский и адресовал свой именной указ. Сколько бы ни служили вольные люди — «добровольные холопы» у бояр, детей боярских и прочих служилых людей — полгода, или год, или больше, «а кабал дати не хотят,— гласил новый закон,— ино тех добропольных холопей в неволю давати не велеть». Указ сохранял привычную терминологию: любого послужильца по старинке именовали холопом. Но теперь послужильцам (и прежде всего, боевым холопам) из вольных людей не грозило насильственное закабаление. Правительство возродило институт вольных послужильцев, убедившись в ненадежности насильно закабаленных боевых слуг.

В виду важности крестьянского вопроса власти поручили выработку нового Уложения о крестьянах руководству Поместного приказа. В присутствии царя и высшего духовенства Боярская дума заслушала доклад приказных и 9 марта 1607 года утвердила приговор. Учитывая популярность царя Ивана IV в народе, судьи Поместного приказа подчеркивали, что при нем крестьянские переходы не вели к «великим крамолам», ябедам и насилиям «немочным от сильных», потому что «крестьяне выход имели вольный». При царе Федоре Шуйские заседали в думе как старшие бояре. В угоду им дьяки отметили, что «царь Федор Иванович, по наговору Бориса Годунова, не слушая советов старейших бояр, выход крестьяном заказал... и после того началися многие вражды, крамолы и тяжи». Шуйские не старались представлять себя противниками законов, уничтоживших Юрьев день. Смысл преамбулы уложения заключался совсем в другом. Шуйские желали снять с себя ответственность за те распри, разброд и шатания, которые возникли в феодальном сословии накануне Смуты. Борис Годунов, столкнувшийся с кризисом в годы голода, частично возродил крестьянский выход, что вызвало крайнее негодование мелкого дворянства. Василий Шуйский не желал повторять ошибки Годунова, и его законы исключали самую возможность восстановления Юрьева дня. Поместный приказ не мог справиться с решением бесчисленных споров помещиков из-за крестьян, множившихся из года в год. Его руководители предложили фактически аннулировать распоряжения о крестьянах Б. Годунова и Лжедмитрия, а вместе с ними аннулировать весь клубок нерешенных проблем. По новому закону, срок сыска беглых крестьян был продлен с 5 до 15 лет. Эта мера отвечала требованиям дворянства.

В стране царил хаос, вызванный гражданской войной. Повстанцы контролировали добрую треть уездов. Закон о крестьянах был скорее программным заявлением, чем практическим руководством. Осуществить сыск беглых в южных уездах, охваченных восстанием, было попросту невозможно. Уложение 1607 года, тем не менее, способствовало сплочению дворянства, преодолению разброда в его среде. Жесткое подавление очагов крестьянской войны и возрождение крепостнических порядков по всей территории государства — этим целям подчинена была как практическая деятельность Шуйского, так и его законодательство.

Окончание следует



НАШИ АВТОРЫ

● БОРИСОВА Майя Ивановна. Родилась в Ленинграде. Окончила ЛГУ. Работала в газетах Абакана, Канска, Красноярска. Первые стихи опубликовала в 1955 году. Автор многих поэтических сборников, а также нескольких книг прозы. Член СП. Живет в Ленинграде.

● ЛИПКОВИЧ Яков Соломонович. Родился в 1923 году в Киеве. По образованию журналист. Окончил ЛГУ. Участник Великой Отечественной войны. Прозаик и драматург. Автор более десятка книг. Член СП. Живет в Ленинграде.

● КАРПОВА Наталия Ивановна. Родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт культуры. Кандидат педагогических наук, доцент. Первая подборка стихов — в альманахе «Молодой Ленинград», 1965. Автор нескольких поэтических книг. Член СП. Живет в Ленинграде.

● ХАЛУПОВИЧ Вадим Абрамович. Родился в 1932 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Первая поэтическая публикация — в 1952 году. Поэт и переводчик. Автор нескольких стихотворных сборников. Член СП. Живет в Ленинграде.

● ЮШКОВ Евгений Владимирович. Родился в 1949 году в городе Дальнем. По специальности — строитель. Первая стихотворная публикация — в 1983 году в альманахе «Молодой Ленинград». Живет в Ленинграде.

● РОДИОНОВ Станислав Васильевич. Родился в 1931 году в городе Белёв Тульской области. Окончил юридический факультет ЛГУ. Работал следователем прокуратуры, юрисконсультом, корреспондентом. Дебютировал как писатель-юморист. Выпустил несколько книг в жанре психологического детектива и других произведений на современную тему. Член СП. Живет в Ленинграде.

Сдано в набор 25.04.88. Подписано к печати 27.06.88. М-24051. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Печать высокая. 18,2 + 2 вкл. = 18,55 усл. печ. л. 21,0 усл. кр.-отт. 24,55 + 2 вкл. = = 24,86 уч.-изд. л.

Тираж 555 000 экз. Заказ № 1414. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3

Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 315-84-72, 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 312-70-35, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Уважаемая редакция! Сердечное спасибо за публикацию нового романа Владимира Дмитриевича Дудинцева! Должен, однако, признаться, что «Не хлебом единым» я закрывал осенью 56-го с иным настроением: хотелось срочно доламывать авдиевский град Китеж, помогать Лопаткиным, стараться достойно продолжить их дело. Не могу сказать, что я не старался, и не могу сказать, что старания мои пропали зря. Но, тем не менее, после последней страницы «Белых одежд» ничего такого мне уже больше не хочется. Хотя бы потому, что теперь мне достоверно известно: даже тридцать лет спустя мечты героев обеих книг так и не смогли осуществиться. Ни в части труб, ни в части картошки. Трубы к нам на Север везут не из машин уральского умельца, а из ФРГ, с четкой надписью «Маннесманн», что же до спасенного Дежкиным «дитяти», то я как раз поставил вариться суп, предварительно выкинув в отбросы процентов сорок очищаемой картошки. Будучи связистом, я в сортах разбираюсь плохо, но полагаю, что изъеденные каким-то картофельным подобием рака мелкие клубни были чем угодно, только не гибридом контумакса. Где он, этот прекрасный гибрид? Ау! Несомненно, там же, где и трубы Лопаткина...

Понимаю, что и лопаткинская машина, и стригалевский гибрид условны — на их месте могло быть любое из тысяч загубленных Злом творений человеческих рук и ума. Но от этой мысли, право, не легче! Когда, например, смотрю, с какой аппаратурой междугородней связи мы собрались в XXI век вступать, то от стыда за свою профессию провалиться сквозь землю хочется: обеспечиваем переговоры на высшем неполитическом (по сравнению с Сименсом или Беллом) уровне... А ведь мы нация Ломоносова, Попова, Зворыкина, Шорина! И Лопаткина со Стригалевым. И бог весть, сколько воды утекло с того дня, как счастливые единомышленники ели за столом свой сказочный, буквально на крови взращенный гибрид, уверенные, что уж теперь-то накормят им миллионы людей. Ан нет! Не накормили... Зло снова победило. Только на сей раз не с высокого берега, а с далекого — такого далекого, что и не разглядишь, где там оно.

•

Почему так случилось? Мне кажется, что отчасти ответ на это дает сцена в академической столовой. Сидит, спокойно откушивая голубцы, палач, отправивший на тот свет многих честных ученых, — и никто из окружающих не плюнет (хотя бы!) ему в лицо! А герою, лишь чудом избегнущему участи прочих жертв палача, его даже... жалко!! Потрясающе! Но — абсолютно правдиво. На нас это похоже. Но тогда нечего и возмущаться мерзостями брежневской эпохи: что хотели, то и съели. И, боюсь, как бы не пришлось нам есть то же блюдо (под иным соусом, разумеется) и еще раз. Ибо прекраснодушно-сострадательное благородство по отношению ко всевозможным Рядно, Ассикритовым, Молотовым и Кунаевым в конце концов непременно оборачивается верой в ненаказуемость Большого Зла. Ведь ни персональную пенсию, ни комфортабельную дачу, ни изоляцию от назойливых иностранных журналистов (среди своих назойливых, похоже, уже давно нет), ни почетное место на кладбище к числу наказаний не отнесешь. Кого можно воспитать примером такого «наказания»? (...)

Очевидно, одно дело — смотреть на «обыкновенный сталинизм» сквозь розовый просвет 56-го, и совсем другое — сквозь гнилую прозелень тины семидесятых... Тоскливое какое-то впечатление у меня осталось. Нет чувства, что Зло действительно «побежало искать новый высокий бережок». Оно побежало бы только в том случае, если осознание бескомпромиссной борьбы с ним (по совершенно справедливому определению академика Рядно) «попало бы в мозги людей. Если бы таких людей было много. Чтобы мнение создалось. Чтобы началась его, мнения, самостоятельная жизнь». Этого не произошло. Но книгу в этом, конечно, винить не приходится. Она прекрасна! Низкий поклон Владимиру Дмитриевичу за счастье сопереживания радостей и бед его достойных героев. Верю, что пока существуют такие герои — и такие писатели — у Добра (то бишь, у Перестройки) все же будет шанс!

ГОРЧАКОВ Р. В.,
г. Игарка Красноярского края

ГЕОРГИЙ МОСЕЕВ
СЦЕНОГРАФ И ЖИВОПИСЕЦ



Г. МОСЕЕВ. АВТОПОРТРЕТ. 1959



ТИХИЙ ДОН. НАТАЛЬЯ И МИШАТКА. 1973



ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК». 1950



НАТЮРМОРТ С ГАРМОНЬЮ. 1975



БЛОКАДНОЕ ОКНО. Март 1942



ДЕКОРАЦИЯ СПЕКТАКЛЯ И. ДВОРЕЦКОГО «ВЗРЫВ». 1973

БЫТЬ ХУДОЖНИКОМ

Огромное окно смотрит на уходящие к горизонту крыши с антеннами и оказавшуюся совсем рядом колокольню Пантелеймоновской церкви, а на стенах — полотна, наполненные ярким пронзительным цветом, контрастирующим с холодной и прозрачной атмосферой города. В этой мастерской несколько последних десятилетий жил и работал замечательный художник Георгий Николаевич Мосеев.

Мне посчастливилось оказаться в этой мансарде в начале 60-х годов. Рядом с весело потрескивавшим камином, за большим столом под низко висевшей лампой, заваленном комплектами «Аполлона» и томами русского лубка в издании Ровинского, за чашкой крепчайшего чая собирались вечерами молодые художники...

Начинал Георгий Николаевич путь в искусстве в бурные 20-е годы. Сначала — художественно-производственный техникум, где готовили макетчиков и художников-исполнителей, затем — мастерские Академического театра оперы и балета, где он знакомится с мастером, определившим своим творчеством целую эпоху в истории советского театра — В. Дмитриевым. Многое взяв от учителя, Мосеев постепенно приобретает самостоятельный опыт работы на сцене. Подлинный успех придет, когда по заказу театра имени Е. Вахтангова он оформит «Маскарад» М. Лермонтова. Именно в этой работе вырабатывает художник свой пластический язык, свой способ прочтения классики. Премьерная афиша «Маскарада» была датирована 21 июня 1941 года.

Страшный 1942 год Мосеев провел в блокадном Ленинграде, работая и учась на офицерских курсах. Потом были фронт, тяжелое ранение, а с 1945 года художник активно включился в театральную жизнь города.

Балет О. Евлахова «Ивушка», поставленный Н. Анисимовой в Академическом Малом театре оперы и балета, определил дальнейший путь мастера. Здесь он впервые вошел в прямой контакт с лубком и народным искусством. Опираясь на эстетическое мировоззрение народа, Мосеев органично включил его творчество в контекст искусства профессионального. Работая над современной драматургией, он использует традиции этого творчества с его своеобразным цветовым решением пространства, строящимся на четком делении окрашенных в контрастные тона планов, что в полной мере отвечало устремлениям театра — максимально освободить сцену для актера.

Это было время, когда Мосеев своим творчеством формировал ситуацию в искусстве сценографии. В полной мере его новаторство проявилось в оформлении оперы Д. Шостаковича «Катерина Измайлова» (Малый оперный театр, 1965) с простыми и строгими декорациями и точным отбором выразительных средств и оперы И. Дзержинского «Григорий Мелехов» (Куйбышев, 1970), в эскизах к которой крупные, почти нерасчлененные плоскости с тончайшей цветовой растяжкой, фигуры персонажей и точно выстроенные мизансцены, контрастирующие с архитектурными массами, создавали емкий образ спектакля.

Постановщиков привлекал зоркий взгляд Мосеева на драматургию. Тем не менее, лишь изредка мастер встречал единомышленников. Ибо Мосеев — художник-режиссер, и для постановщиков работа с ним сложна: его декорации задавали тон спектаклю, диктовали его строй и стиль. Все реже и реже встречалось имя художника на театральных афишах. Но, уйдя из театра, Мосеев в театре остался. Как и прежде, весь день у мольберта, он создает большие циклы эскизов к тем спектаклям, которые ему хотелось бы оформить («Нос» Д. Шостаковича, «Бег» М. Булгакова), пишет декоративные полотна на исторические и фольклорные сюжеты, своеобразные картины-мизансцены. В последние годы значительное место в его творчестве занимали портрет и натюрморт. Колорит холстов Мосеева несет на себе печать чисто русского понимания цвета: краски яркие, звонкие, нетлеющие. Цветовая насыщенность произведений, их резкий контурный абрис связаны с фольклорной стихией, во власти которой находился художник.

Эскизы к «Петербургу» А. Белого остались Мосеевым не завершенными. Его не стало летом 1987 года...

На последней персональной выставке в залах Союза художников (1986) во всю силу прозвучал мужественный и честный живописный монолог человека, всегда отвергавшего фальшь и конъюнктуру в искусстве. «Перебитый» войной, не обласканный при жизни критикой, Георгий Николаевич через всю жизнь пронес одно единственное звание, которое имел и которым гордился — звание Художника. А впрочем, если вдуматься, то не так уж это и мало — быть художником...

В. ПЕРЦ